

Мак

ТВЕИ

•
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
художественной
литературы



Марк ТВЕН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В 12 ТОМАХ

Под общей редакцией
А.А. ЕЛИСТРАТОВОЙ
М.О. МЕНДЕЛЬСОНА
А.И. СТАРЦЕВА



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва

Марк ТВЕН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ТРЕТИЙ

ПОЗОЛОЧЕННЫЙ ВЕК

(ПОВЕСТЬ НАШИХ ДНЕЙ)

Перевод с английского
Н. ГАЛЬ и Л. ХВОСТЕНКО



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1 9 5 9

MARK TWAIN and CHARLES D. WARNER

THE GILDED AGE
A TALE OF TO-DAY
1874

Редактор перевода
Э. КАБАЛЕВСКАЯ

Художник
Е. ГАННУШКИН

同心坭變金
協力山成玉¹

¹ Единение сил превращает скалы в драгоценные камни;
единение сердец превращает глину в золото (китайск.).

МАРК ТВЕН и ЧАРЛЬЗ Д. УОРНЕР

ПОЗОЛОЧЕННЫЙ ВЕК

*(Повесть
наших дней)*

Книга эта была написана не для узкого круга друзей; она была написана не затем, чтобы развлечь какого-нибудь больного родственника авторов или снабдить его назидательным чтением; она также и не пустячок, созданный в часы досуга и отдыха от более утомительных трудов. Ее появление на свет не вызвано ни одной из этих причин, и посему мы отдаем ее на суд читателя без обычных извинений.

Читатель убедится, что наша книга описывает несуществующее общество; самое большое затруднение для писателей, вступивших в эту область художественного вымысла, — недостаток ярких и убедительных примеров. В стране, где неизвестна лихорадка наживы, где никто не томится жаждой быстрого обогащения, где бедняки простодушны и довольны своей судьбой, а богачи щедры и честны, где общество сохраняет перво-зданную чистоту нравов, а политикой занимаются только люди одаренные и преданные отечеству, — в такой стране нет и не может быть материала для истории, подобной той, которую мы создали на основе изучения нашего несуществующего государства.

Нам нет необходимости извиняться и за то, что, следуя почтенной традиции, мы поместили в

начале каждой главы занимательные отрывки из литературных произведений. Как справедливо заметил Вагнер, такие эпиграфы, туманно намекая на содержание следующих за ними глав, возбуждают интерес читателя, не удовлетворяя полностью его любопытства, и мы уповаем, что так будет и в данном случае.

Мы приводим эти цитаты на самых разных языках; мы сделали это потому, что лишь очень немногие народы, среди которых наша книга будет иметь хождение, умеют читать на каком-либо иностранном языке, а мы пишем не для одного избранного класса, сословия или народа, но для всего мира.

Мы не против критических суждений и вовсе не рассчитываем, что критик прочтет нашу книгу, прежде чем писать о ней. Мы даже не надеемся, что рецензент признается в том, что он не читал ее. Нет, в наш век критицизма мы уже не уповаем на чудеса. Но если когда-нибудь в минуту скуки какому-нибудь Юпитеру Громовержцу, высказавшему свое суждение о нашем романе, доведется все-таки заглянуть в него, да не испытает он горького, но, увы, запоздалого раскаяния.

И последнее. Это произведение является совместным трудом двух авторов, — и мы просим именно так и смотреть на него; мы не только вместе разрабатывали его замысел и характеры героев, но и буквально вместе писали его. Вряд ли во всей книге есть хоть одна глава, которой не коснулось бы перо обоих авторов.

С. Л. К.

Ч. Д. У.

КНИГА ПЕРВАЯ

Глава I

СКВАЙР ХОКИНС И ЕГО ЗЕМЛИ В ШТАТЕ ТЕННЕССИ

Nibiwa win o-dibendan aki¹.

Э н д ж и н. Прекрасный кус
Достался вам.

М и р к р а ф т. Земля даст фунт за акр.
Сперва пушу задешево. Но, сэр,
Вам даже это дорого, как видно².

Бен Джонсон, Одураченный дьявол.

В июне 18** года сквайр Хокинс сидел на одном из толстых бревен, сложенных пирамидой перед его домом, и наслаждался летним утром.

Дело происходило в Обэдстауне, в восточной части штата Теннесси. Не всякий знает, что Обэдстаун расположен на вершине горы, ибо ничто вокруг на это не указывает; и все же поселок стоял на горе; она была очень отлогая и так велика, что на ней разместилось несколько округов штата. Местность эта называлась Восточно-Теннессийские Бугры и пользовалась славой своеобразного Назарета, ибо никто не ожидал от нее ничего хорошего.

Сквайр жил в пятистенном рубленом доме, уже пришедшем в ветхость; у крыльца дремало несколько тощих псов; когда миссис Хокинс или ее дети переступали через их распростертые тела, псы поднимали головы и грустно смотрели на хозяев. Двор был завален мусором;

¹ Он владеет множеством земель (на языке индейцев чиппевеев).

² Переводы стихотворных эпиграфов сделаны Л. В. Хвостенко.

на скамейке около двери стоял жестяной тазик для умывания, а рядом — ведро и кувшин из высушенной тыквы; кошка начала было лакать воду из ведра, но, устав от непомерных усилий, решила передохнуть. У изгороди чернели таган и чугунный котел для варки мыла.

Дом сквайра составлял одну пятнадцатую часть Обэдстауна. Остальные четырнадцать домов были разбросаны среди высоких сосен или по окрестным кукурузным полям так, что пришелец, полагайся он только на свои глаза, мог стоять в самом центре поселка и не знать, где он находится.

Хокинса величали «сквайром» по той простой причине, что он числился обэдстаунским почтмейстером; правда, эта должность не давала ему официального права на звание сквайра, но в тех краях все видные граждане непременно обладали каким-нибудь титулом, и Хокинс лишь пользовался обычной данью уважения. Почта приходила раз в месяц и порой доставляла целых три, а то и четыре письма. Но и при таком наплыве корреспонденции почтмейстеру большую часть месяца делать было нечего, и в свободное время он «держал магазин».

Сквайр наслаждался спокойным и безмятежным летним утром; перелетный ветерок разносил повсюду аромат цветов, жужжали пчелы, и воздух был напоен ощущением покоя, исходившего от пригретого солнцем леса; в такие минуты в душу невольно закрадывается легкая, приятная грусть.

Наконец верхом на лошади прибыла почта Соединенных Штатов. Она доставила только одно письмо, адресованное на сей раз самому почтмейстеру. Долговязый юнец, развозивший почту, задержался на часок поболтать, так как торопиться было некуда; вскоре на помощь ему собралось все мужское население Обэдстауна. Все щеголяли в домотканых синих или желтых штанах (других цветов здесь не признавали); штаны держались на помочах, вязанных вручную из крепкой пряжи, а иногда даже только на одной лямке; кое-кто поверх рубахи носил жилет, и очень немногие — куртку. Хотя курток и жилетов было мало, они являли собой довольно живописное зрелище, так как изготовлялись из набивного холста самых причудливых расцве-

ток. Эта мода сохранилась и по сей день; ее придерживаются все, чьи вкусы возвышаются над средним уровнем и кто может позволить себе роскошь одеваться шикарно.

Люди подходили один за другим, держа руки в карманах; если для какой-нибудь надобности рука и покидала ненадолго карман, она тут же возвращалась на место; в тех случаях, когда требовалось, скажем, почесать в затылке, красовавшееся на голове подобие соломенной шляпы сдвигалось набок и торчало под самым неожиданным углом до следующего случая, и тогда угол наклона несколько изменялся. Шляп было великое множество, но ни одна не сидела прямо и ни одна не была сдвинута набекрень под одним и тем же углом. Все сказанное нами относится в равной степени к мужчинам, парням и мальчишкам поселка. Эти три категории мы подразумеваем и тогда, когда говорим, что все присутствующие либо жевали вяленый листовой табак, выращенный на собственной земле, либо курили его в маленьких трубках, выдолбленных из кукурузного початка. Кое-кто из мужчин носил бакенбарды, но усов не было ни у кого. Под подбородком темнела густая поросль, закрывавшая шею: здесь признавали только такую моду; никто из мужчин вот уже по крайней мере неделю не брал в руки бритву.

Соседи Хокинса останавливались около почтальона и несколько минут задумчиво слушали; однако вскоре им надоедало стоять, и они взбирались на изгородь и усаживались на верхней жерди, мрачные и нахохлившиеся, словно стая стервятников, собравшихся попировать и только ждавших предсмертного хрипа очередной жертвы. Первым заговорил старик Дамрел:

— Что там слышно насчет судьбы? Или еще ничего?

— А кто его знает! Одни говорят, вот-вот нагрянет, а другие говорят — нет. Расс Моусли сказал дядюшке Хэнксу, вроде бы судья доберется до Обэдса не то завтра, не то послезавтра.

— Надо бы разузнать поточнее. А то у меня в зале суда свинья опоросилась. Ума не приложу, куда ее девать. Ежели суд начнет заседать, придется мне ее, стало быть, убрать оттуда. Ну, завтра успеется...

Оратор оттопырил толстые губы так, что они собра-

лись в складки, точно помидор у стебля, и выпустил струю коричневой от табака слюны; шмель, усевшийся на былпинке шагах в трех от изгороди, был сражен наповал. Один за другим еще несколько любителей жевательного табака последовали примеру Дамрела, тщательно прицеливаясь и попадая в покойника с безошибочной точностью.

— Ну а что нового в Форксе? — возобновил разговор старик Дамрел.

— А кто его знает... Дрейк Хиггинс на той неделе ездил в Шелби. Возил туда зерно, да ничего не продал. Рано, говорит, продавать. Привез обратно. Буду, говорит, ждать до осени. Собирается переезжать в Миссури будто. Старик Хиггинс говорит, многие собираются. Здесь, мол, не проживешь, такие времена настали. Сай Хиггинс съездил в Кентукки и женился там. Нашел себе образованную, из богатой семьи. А теперь вернулся в Форкс, да и пошел чудить, — так люди говорят. Взял да и переделал все в отцовском доме на кентуккский лад. Даже из Терпентайна приезжали посмотреть, чего он там натворил. Весь дом обмазал изнутри шкатуркой.

— Что это за шкатурка такая?

— Я-то почему знаю? Это *он* так называет. Старуха Хиггинс сама мне говорила. Она говорит: «Я, мол, не свинья, не останусь в этой дыре. Эта, говорит, грязь, или еще какая дрянь, прилипает к стене и больше уже не отстает, шкатурка эта самая».

Необычайная новость обсуждалась довольно долго и вызвала некоторое оживление. Но вскоре неподалеку от кузницы собаки затеяли драку, и гости соскользнули с изгороди, как черепахи в воду, и, живо заинтересованные, направились к полю боя. Оставшись один, сквайр прочитал письмо; потом вздохнул и долго сидел погруженный в раздумье. Время от времени он повторял:

— Миссури, Миссури... Да, да, да... Очень уж все неопределенно...

Наконец он проговорил:

— Эх, была не была! Не гнить же здесь заживо! Как поглядишь на дом мой, на двор — по всему видно, что я и сам превращаюсь в такую же скотину, как все здешние. А ведь когда-то у меня дела шли неплохо.

Сквайру Хокинсу было не больше тридцати пяти лет, но у него было такое изможденное лицо, что он казался много старше. Он встал с бревна и вошел в ту часть дома, где помещался магазин. Там он отпустил старушке в грубой шерстяной кофте кварту густой патоки в обмен на енотовую шкурку и плитку воска, спрятал письмо и прошел на кухню. Жена его пекла пирог с яблоками, чумазый мальчишка лет десяти мечтательно разглядывал флюгер собственной конструкции, а его младшая сестренка — ей еще не было и четырех — макала куски кукурузной лепешки в подливку, застывшую на сковородке; она с трудом удерживалась от искушения заехать лепешкой за черту, проведенную пальцем посередине сковородки: вторая половина принадлежала брату, но сейчас он был слишком занят своими мыслями, чтобы думать о еде. Кухарка негритянка хлопотала у огромного очага. На всем лежала печать убожества и нужды.

— Я принял решение, Нэнси. Мир давно отвернулся от меня; может, и мне надо бы отвернуться от него. Но ничего, я еще подожду. Мы едем в Миссури. Не намерен я оставаться в этом гиблом краю и гнить вместе с ним. Я уже не первый день об этом думаю. Продам все за любую цену, куплю фургон с упряжкой лошадей, посажу тебя с ребятами — и двинемся в путь.

— Где тебе хорошо, там и мне будет хорошо. Думаю, и ребятишкам в Миссури будет не хуже, чем здесь.

Хокинс позвал жену в комнату, чтобы никто не услышал их.

— Нет, — сказал он, — детям там будет лучше. О них-то я позаботился, Нэнси. — Лицо Хокинса просветлело. — Видишь эти бумаги? Так вот: из них видно, что я приобрел здесь, в нашем округе, семьдесят пять тысяч акров земли! Подумай, ведь когда-нибудь эта земля будет стоить огромных денег. Да что там «огромных»! Это еще слишком слабо сказано! Послушай, Нэнси...

— Сай, прошу тебя...

— Подожди, Нэнси, подожди, выслушай меня. Мне эти мысли уже с месяц покоя не дают, и если я не выскажусь, то просто лопну! Ни одной живой душе я ни словом не обмолвился, ни словечком, носил на лице

маску, боялся, как бы эти жалкие скоты не догадались, что они ходят по золотой жиле и не замечают ее. А чтобы сохранить эту землю за нашей семьей, нужно только платить каких-то пять или десять долларов налога в год. Сейчас весь участок не даст и трети цента за акр, но когда-нибудь за него рады будут заплатить по двадцать, пятьдесят, по сто долларов за акр! А что ты скажешь насчет (тут он перешел на шепот и тревожно оглянулся, боясь, как бы кто-нибудь не подслушал)... насчет *тысячи долларов за акр!*

Да, да, можешь смотреть на меня во все глаза! Я не шучу. Мы с тобой не доживем до этого дня, но дети наши доживут. Доживут, помяни мое слово! Ты ведь слышала о пароходах, Нэнси, и, наверное, не думаешь, что это басни, — конечно, нет. Ты слышала, как здешние ослы глумились над ними, говорили, что все это чушь и вранье. Но пароходы не чушь и не вранье, они в самом деле существуют; а когда-нибудь появятся пароходы еще удивительней нынешних. Они все перевернут на белом свете, и пойдут такие дела, что люди будут только диву даваться. Пока другие спали, я наблюдал; да, да, я следил и знаю, к чему все идет.

Даже мы с тобой доживем до того дня, когда по нашей маленькой Индюшечьей речке пойдут пароходы. Они будут останавливаться в каких-нибудь двадцати милях от нашей земли, а в половодье смогут подняться прямо до нашего участка! И это еще не все, Нэнси, далеко не все! Есть на свете еще большее чудо — железная дорога! Наше дурачье про нее и не слыхивало, а услышит — не поверит. Но это тоже чистая правда. Вагоны летят по земле, двадцать миль в час делают. Подумать только, Нэнси: двадцать миль в час! Даже дух захватывает! Когда-нибудь, когда нас с тобой уже не будет, железная дорога протянется на сотни миль — от Северных штатов до самого Нового Орлеана, и уж конечно пройдет милях в тридцати отсюда, а то и задепет краешек наших владений. Знаешь ли ты, что кое-где в восточных штатах уже не жгут дрова в топках? И как ты думаешь, что они жгут? Каменный уголь! (Он наклонился к ней и снова перешел на шепот.) *А здесь угля несметные залежи!* Видела ты, на берегу вылезает

из-под земли такой черный камень? Это он и есть, уголь! Ты, да и все здешние думали, что это простой камень. Даже запруды из него складывали и все что ни понадобится. Один чужак хотел сложить из него печную трубу. Знаешь, Нэнси, я прямо обомлел. Ведь труба бы загорелась — и все бы открылось. Я его убедил, что камень этот не подходит — он крошится. Тогда он надумал сложить трубу из медной руды, из превосходной руды, сорок процентов меди! Да в нашей земле одной меди столько, что можно нажить несколько состояний! Представляешь, как я испугался? Ведь этот дурень, сам того не подозревая, сложил бы у себя в доме плавильную печь, а там уж понял бы, что к чему! После этого он затеял складывать трубу из *железной руды*! Здесь горы железной руды, Нэнси, целые горы! Я не мог рисковать. Я ходил за ним по пятам, преследовал его, как привидение, не оставлял его в покое, пока он не сложил трубу из глины и палок, как все делают в этой несчастной дыре. Сосновые леса, земля под пшеницу и кукурузу, железо, медь, уголь — дай только железной дороге да пароходам появиться здесь! Нам-то с тобой никогда этого не дожидаться, Нэнси, нет, нет, родная, никогда!.. Нам остается только тянуть свою лямку, довольствоваться коркой хлеба, трудиться и бедствовать без просвета и без надежды... Но зато дети наши будут ездить по железной дороге, Нэнси! Они будут жить, как короли; перед ними будут преклоняться и заискивать; имена их прославятся от моря и до моря! Эх, вот будет времечко! И, может быть, вернутся они когда-нибудь сюда — по железной дороге или на пароходе — и скажут: «Пусть все здесь остается нетронутым: эта лачуга — святыня для нас, ибо здесь мать и отец наши страдали ради нас, думали о нашей судьбе, закладывали прочную, как эти горы, основу нашего будущего!»

— Ты добрый, благородный, ты большой души человек, Сай Хокинс, и я горжусь, что я твоя жена. — Слезы стояли в глазах Нэнси, когда она это говорила. — Да, мы уедем в Миссури. Тебе не место среди этих невежд и тупиц. А там ты займешь более высокое положение и будешь жить с людьми, которые тебя поймут, а

не станут таращить на тебя глаза, будто ты говоришь на чужом языке. Я готова поехать с тобой куда угодно, хоть на край света. Лучше умереть с голоду, чем глядеть, как твоя душа томится и чахнет в этом гиблом краю.

— Слова, достойные тебя, Нэнси! Но нам не придется умирать с голоду. Ничуть не бывало! Я только что получил письмо от Бирайи Селлерса. Письмо, которое... Сейчас я тебе кое-что оттуда прочту.

Он выбежал из комнаты. Тень набежала на сияющее лицо Нэнси, — теперь оно выражало беспокойство и разочарование. Тревожные мысли одолевали ее, обгоняя друг друга. Вслух она не сказала ни слова и продолжала сидеть молча, уронив на колени руки; она то сжимала их, то разжимала, то постукивала кончиками пальцев друг о друга, вздыхала, кивала, улыбалась, а иногда качала головой. Описанная нами пантомима красноречиво выражала произнесенный монолог, примерно такой:

«Этого-то я и боялась больше всего, этого и боялась. В Вирджинии Бирайя Селлерс уже пытался помочь нам разбогатеть — и едва не разорил; пришлось переехать в Кентукки и начинать все сначала. В Кентукки он снова помогал нам разбогатеть — и снова посадил нас на мель; и нам пришлось перебраться сюда. Помогая нам разбогатеть здесь, он чуть совсем нас не потопил. Он честный человек, и намерения у него самые что ни на есть хорошие, но я боюсь, я просто боюсь, что он слишком легкомысленный. Идеи у него прекрасные, и он щедрой рукой раздает их друзьям; у него добрая, благородная душа... но почему-то всегда что-нибудь случается, и все идет насмарку. Да я и всегда знала, что он какой-то взбалмошный. Мужа я не виню: ведь, право же, когда Селлерс загорится какой-нибудь новой идеей, он и машину уговорит, не то что человека! Он увлечет своей затеей всякого, кто послушает его хоть десять минут, — да он бы и глухонемого убедил, только бы тот видел, как у него горят глаза и как он красноречиво размахивает руками. Что за голова! Помню, тогда в Вирджинии он придумал потихоньку скупать целыми партиями негров в Делаваре, Вирджинии и Теннесси, потом выправлять бумаги, чтоб этих негров до-

ставляли в Алабаму, а уж там он бы знал, когда и где их получить и кому за них заплатить; тем временем он хотел добиться такого закона, чтоб в один прекрасный день запретили бы продажу негров в южные штаты, или что-то в этом роде... Бог ты мой, какие барыши загреб бы он на этом деле! Цены на негров сразу повысились бы вчетверо. Он уже потратил кучу денег, ездил, хлопотал, законтрактовал уйму негров, и все шло как по маслу, — а потом ему не удалось добиться этого закона, и вся затея лопнула. А как он в Кентукки распотрошил какого-то старого чудака, который двадцать два года изобретал вечный двигатель, и Бирайя Селлерс с первого взгляда понял, какого там еще колесика не хватает. Как сейчас помню: примчался он в полночь, ну точь-в-точь безумный, барабанил изо всех сил, пока не поднял нас с постели, потом запер дверь на все замки, поставил свечку в пустой бочонок и принялся шепотом рассказывать. Деньги потекли бы рекой, это всякому было ясно. Но ведь и откупить у старого чудака его изобретение стоило недешево... А потом, когда колесико было поставлено на место, оказалось, что они где-то чего-то недоглядели, и толку никакого не вышло; столько хлопотали, однако машина работать не стала. А здешняя его затея? Казалось, уж на что была хороша. Он и Сай целыми ночами сидели и трудились; занавески на окнах задернуты, а я все поглядываю, чтобы соседи не нагрянули невзначай. И ведь он искренне верил, будто на черной липкой смоле, что сочится между камней, которые Сай называет углем, можно нажить целое состояние. Он очищал эту смолу, пока она не стала жидкой, как вода, — она, и правда, горела, уж тут спорить не приходится! И в Цинциннати, когда он собрал полный зал всяких богачей и показывал им свою новую лампу, надо думать, у него все пошло бы на лад, но только посреди его речи лампа взорвалась и чуть не снесла головы всем присутствующим. Я до сих пор опомниться не могу, сколько денег мы ухлопали на это дело! Когда Бирайя Селлерс уехал в Миссури, я радовалась, а теперь думаю: лучше бы его там никогда не было. Интересно, что он пишет? Письмо, конечно, бодрое — уж он-то никогда не унывает: за всю жизнь ни

разу не попал в беду, а если и попадал, так сам того не замечал. Для него солнышко всегда на восходе, светлое да яркое, — до зенита, впрочем, оно никогда не доходит: исчезнет, и снова взойдет. И ведь нельзя не любить этого человека, так он старается всем помочь. Но я боюсь снова встретиться с ним — он обязательно опять закружит нам всем головы... А, вдова Хопкинс ушла наконец! Ей всякий раз нужна целая неделя, чтобы купить катушку ниток или выменять моток пряжи. Ну, теперь-то уж Сай придет с письмом...»

И он пришел.

— Задержался из-за вдовы Хопкинс — такая надоедливая старуха, никакого терпения с нею нет. Ну вот, слушай, Нэнси, что я тебе прочту, ты только послушай!

«Немедленно выезжайте в Миссури! Распродайте все — не дожидайтесь, пока дадут хорошую цену, берите любую — и сразу же выезжайте, не то будет поздно. Если потребуется, бросайте пожитки и приезжайте с пустыми руками. Не пожалеете. Край здесь чудесный, земля прекрасная, воздух — чище нет на свете! Описать все это невозможно: перо бессильно. Но с каждым днем людей становится все больше, народ валит со всех сторон. У меня на примете грандиозный план, и я хочу принять вас в долю; я приму в долю всех моих друзей, всех, кто когда-либо выручал меня, ибо здесь хватит с избытком на каждого. Но — молчок, ни словечка, держите все про себя! Приедете — сами увидите! Приезжайте! Спешите! Мчитесь! Не задерживайтесь!» Он все тот же, Нэнси, все тот же, правда?

— Да, в его голосе как будто в самом деле звучат прежние нотки. И ты... ты все-таки поедешь, Сай?

— Поеду ли? Разумеется, поеду, Нэнси! Конечно, все зависит от везенья, а нам до сих пор, признаться, не очень-то везло. Но что бы ни стряслось, женушка, дети наши обеспечены. Возблагодарим же за это господа бога!

— Аминь, — тихо и благоговейно ответила Нэнси.

И Хокинсы принялись за сборы так внезапно и с такой энергией, что у всего Обэдстауна от удивления дух захватило; в каких-нибудь четыре месяца они покончили со всеми делами и исчезли в таинственных, неизвестных просторах, что лежали за Теннессийскими Буграми.

СКВАЙР ХОКИНС УСЫНОВЛЯЕТ КЛАЯ

መፍትወ፡ሕክ፡ክርስቲያን፡እለ፡እልሮሙ፡ወሉ፡
 ፂሕፃንዎሙ፡ለእጊሉ፡ማወጥ፡ወራከት፡ወጀናላ፡
 ወፂረደዎሙ፡ከመ፡ወሉ፡ወፈጽሞ፡ወፈጽ፡፡¹

К концу третьего дня, в час, когда путники начинали уже подумывать о ночлеге, в лесу показалась бревенчатая хижина. Хокинс остановил лошадей и вошел во двор. На пороге, закрыв лицо руками, сидел мальчуган лет десяти. Хокинс подошел ближе, надеясь, что звук шагов привлечет внимание мальчика, но тот не шевельнулся. Подождав минуту, Хокинс заговорил:

— Что же ты, паренек, спишь? Солнце-то еще не зашло.

Мальчик поднял голову; измученное лицо его было залито слезами.

— Прости, сынок, я не хотел тебя обидеть. Скажи, что случилось?

Едва заметным кивком мальчик указал на дверь и отодвинулся, пропуская Хокинса в дом, потом снова

¹ Христианам, у которых нет своих детей, подобает брать детей усопших — отроков или дев — и растить их как своих детей... (эфиопск.).

закрыв лицо руками и стал раскачиваться из стороны в сторону, точно горе его было так велико, что ни вздох, ни стон, ни крик не могли его выразить. Хокинс перешагнул порог и оказался в бедной, убогой комнате; семь-восемь пожилых мужчин и женщин столпились посреди комнаты вокруг какого-то предмета, стараясь не шуметь и разговаривая только шепотом. Хокинс обнажил голову и приблизился. На двух табуретах стоял гроб. Соседи только что кончили убирать покойницу — женщину с изможденным кротким лицом, глядя на которое можно было подумать, что она не умерла, а только заснула. Какая-то старушка, кивнув в сторону двери, шепотом заговорила с Хокинсом:

— Покойница-то матерью ему была. Померла ночью от лихорадки. Спасти никак нельзя было, куда там. Да и ей-то лучше так, лучше. Муж и двое других детишек померли весной, и она с той поры все в себя не могла прийти. Бродила как потерянная и ни на кого не глядела, только на своего сыночка Клая, — воп он там сидит. Она прямо молилась на Клая, да и он на нее. Только у них и было в жизни, что сидеть рядышком да глядеть друг на друга. Три недели она болела; и вот, верите ли, этот ребенок и работал, и приносил лекарство и не забывал давать его вовремя, и по ночам не спал и ухаживал за нею, и старался подбодрить ее, — ну прямо как взрослый. А ночью, когда она начала отходить и отвернулась к стене и уж не узнавала его больше, он забрался к ней на кровать, прижался щекой к ее щеке и звал ее так жалостно, а она не отвечала, так у меня сердце чуть не разорвалось. А потом она приподнялась, дико посмотрела вокруг и вдруг увидала его — да как закричит, да как прижмет его к груди, и давай его целовать... Ну, это отняло у нее последние силы: глаза стали закрываться, руки упали, — видим, скончалась, бедняжка... А Клай, бедная, несчастная сиротиночка... не могу я говорить про это, не могу, сил моих нет...

Клай, незадолго перед тем исчезнувший с крыльца, теперь вернулся в дом, и соседи почтительно расступились, пропуская его. Он молча склонился над открытым гробом, и слезы снова потекли по его щекам. По-

том он любовно провел рукою по волосам матери и погладил ее по щеке. В другой руке он сжимал несколько только что сорванных полевых цветков; он положил их на грудь покойницы, нагнулся и несколько раз поцеловал холодные губы, потом повернулся и, ни на кого не взглянув, вышел из дома.

Старушка объяснила Хокинсу:

— Она очень любила эти цветы. Клай каждое утро приносил их ей, и она всегда его целовала. Они откуда-то с севера; когда они приехали, она поначалу открыла здесь школу. Один бог ведает, что теперь станет с несчастным мальчонкой. Ни отца у него, ни матери, да и родни никакой нет. Некуда ему податься, некому о нем позаботиться... Мы и сами-то кое-как перебиваемся, у всех семьи большие...

Хокинс понял. Все присутствующие вопросительно смотрели на него. Он сказал:

— Друзья, у меня тоже лишних достатков нет, но все же я не отвернусь от бездомного сироты. Если он согласится поехать со мной, я дам ему кров и буду заботиться о нем и любить его, — хотел бы я, чтобы кто-нибудь так заботился о моем ребенке, случись со мной несчастье.

Один за другим люди подходили к нему и крепко, от всего сердца, пожимали ему руку, и в глазах их можно было прочесть все, чего не выразили руки и не произнесли губы.

— Вот слова благородного человека, — сказал один.

— Минуту назад вы были для меня чужим, но теперь вы все равно что родной, — сказал другой.

— Это — хлеб, отпущенный по водам; за него воздастся сторицей, — сказала уже знакомая нам старушка.

— Пока вы здесь, располагайтесь в моем доме, — сказал Хокинсу один из мужчин. — Ежели для всех не хватит места, мы переберемся на сеновал.

Через несколько минут, когда заканчивались приготовления к похоронам, Хокинс подошел к своему фургону, ведя за руку приемыша, рассказал жене все, что произошло, и спросил ее: правильно ли он сделал, возложив на нее и на себя новую заботу?

Она ответила:

— Если ты и дурно поступил, Сай Хокинс, то в день страшного суда твой дурной поступок засияет ярче, чем праведные дела многих других людей. И если ты, решившись на такое дело, не усомнился, что и я готова помогать тебе, то это для меня высшая похвала. Готова ли? Иди ко мне, бедный сиротка, и я разделю твою горе и помогу тебе нести его!

На другое утро мальчик проснулся словно после тяжелого сна. Но постепенно сознание его прояснилось, и он вспомнил все: и свою огромную утрату, и любимую мать в гробу, и разговор с добрым незнакомцем, предложившим ему кров, и похороны, во время которых жена незнакомца стояла рядом с ним у могилы, держа его за руку, и плакала вместе с ним, и шептала слова утешения; вспомнил он, как она укладывала его спать в доме соседа и как ласковыми уговорами заставила поделиться с нею своим горем; а потом она выслушала его вечерние молитвы, поцеловала на сон грядущий и ушла, почти исцелив боль его сердца и успокоив мятущуюся душу.

Утром новая мать опять пришла к нему, помогла одеться, причесала и, рассказывая о предстоящем путешествии и о всех чудесах, которые он увидит, понемногу отвлекла его мысли от тягостных событий вчерашнего дня. А после завтрака они вдвоем сходили на могилу, и там сердце мальчика раскрылось перед новым другом; дав волю своим чувствам, он в бесхитростных словах поведал, какое сокровище отняла у него смерть. Вдвоем они посадили розовые кусты у изголовья могилы и разбросали по ней полевые цветы; и вдвоем ушли, взявшись за руки и оставив мертвых спать тем долгим сном, который исцеляет все сердечные муки и кладет конец всем печалям.

ДЯДЯ ДЭНИЕЛ ВПЕРВЫЕ ВИДИТ ПАРОХОД

Babillebabou! (disoit-il) voici . pis qu'antan. Fuyons! C'est, par la mort bœuf, Léviathan, descript par le noble prophète Moses en la vie du saint homme Job. Il nous avallera tous, comme pilules... Voy-le-cy! O que tu es horrible et abhominable!.. Ho! ho! Diable, Satanas, Léviathan! Je ne te peuz veoir, tant tu es ideux et détestable!

Rabelais, Pantagruel, b. IV, c. 33¹

Как бы ни относились остальные переселенцы к нескончаемому путешествию, дети только дивились и восхищались; для них это был мир чудес, и они верили, что он населен таинственными карликами, великанами и духами, о которых рабы негры любили рассказывать им по вечерам при неверном свете кухонного очага.

В конце первой недели путешествия Хокинсы остановились на ночлег вблизи жалкой деревушки, которая

¹ «Бабилебабу! — сказал он. — Это еще хуже, чем в тот раз. Бежим! Провалиться мне на месте, если это не Левиафан, о котором благородный пророк Моисей говорит в своем жизнеописании Иова. Он проглотит нас всех, как пригоршню пилуль... Вот он! О, как ты ужасен и отвратителен!.. Ох-хо-хо! Дьявол, Сатана, Левиафан! Не могу я смотреть на тебя, такой ты уродливый и гнусный» — Ф. Р а б л е, Пантагрюэль, кн. IV, гл. 33 (*старофранц.*).

дом за домом сползала в подмывавшую берег ненасытную Миссисипи. Река несказанно поразила детей. В сгущавшихся сумерках полоса воды шириною в милю казалась им океаном, а туманная кромка деревьев на дальнем берегу — началом нового материка, которого никто, кроме них, еще, конечно, не видал.

Дядя Дэн — сорокалетний негр, тетушка Джинни — его жена, тридцати лет, молодая мисс — Эмилия Хокинс, молодой масса — Вашингтон Хокинс и молодой масса — Клай, новый член семьи, усевшись после ужина рядышком на бревне, глядели на удивительную реку и тихонько разговаривали о ней. Мелькая в путанице разорванных облаков, высоко в небе плыла луна; темная река чуть посветлела под ее рассеянным светом; в воздухе царила глубокая тишина, которую, казалось, не нарушали, а лишь подчеркивали раздававшиеся по временам звуки: крик совы, собачий лай, глухой гул обрушившегося где-то вдали берега.

Все пятеро, сидевшие тесной кучкой на бревне, были детьми — по крайней мере по своему простодушию и полному невежеству; и все, что они говорили о реке, было по-детски наивно. Они с благоговением смотрели на открывшуюся перед ними величавую и торжественную картину, глубоко верили в то, что в воздухе летают невидимые духи, которые движением крыльев вызывают слабое дуновение ветерка, и потому невольно заговорили о сверхъестественном, перейдя на тихий, таинственный шепот. Внезапно дядя Дэн воскликнул:

— Дети, там что-то движется!

Все прижались друг к другу еще теснее, и у каждого сердце тревожно забилося в груди. Дядя Дэн показал костлявым пальцем вниз по реке.

Где-то за лесистым выступом берега, черневшим в миле от них, нарушая тишину, раздавалось глухое пыхтение. Вдруг из-за мыса выглянул свирепый огненный глаз, от которого по сумеречной воде наискосок побежала яркая полоска света. Пыхтение становилось все громче и громче, а сверкающий глаз все увеличивался и сверкал все свирепее. В темноте начал вырисовываться какой-то огромный предмет; из двух его высоких рогов валили густые клубы дыма, — сверкнув звез-

дами искр, они сливались с черной пеленой мрака. Темная громада надвигалась все ближе и ближе, и вот уже вдоль ее вытянутых боков засияли пятнышки света и, отражаясь в реке, побежали рядом с чудовищем, словно фигурки из факельного шествия.

— Что это! Ой, что это, дядя Дэн?!

Проникновенно и торжественно прозвучал ответ:

— Это сам господь всемогущий! Скорее на колени!

Вторичного приглашения не потребовалось: все тут же упали на колени. И пока таинственное пыхтение нарастало и приближалось, а грозный блеск все шире и дальше разливался по реке, голос негра звенел мольбою:

— О господи, все мы грешники, большие грешники, да; и мы знаем, что ежели мы попадем туда, в нехорошее место, значит так нам и надо. Но, боже, хороший, добрый боженька, мы еще не совсем готовы, мы еще не готовы; дай этим бедным детишкам немножко времени, совсем немножко. Коли уж тебе надо кого-то забрать, то заberi меня, старого негра. Милосердный боже, добрый ты наш боженька, мы не знаем, за кем ты пришел, на кого направил свой глаз, но раз ты примчался сюда в огненной колеснице, значит какой-то бедный грешник дождался своего последнего часа. Господи, эти детишки не здешние, они из Обэдстауна, там они ничего и знать не знали и ведать не ведали; ты и сам понимаешь, что они не могут отвечать за чужие грехи. Боженька, добрый наш боженька, не пристаю твоему милосердию, твоему всепрощению и благому долготерпению забирать этих детишек, когда кругом столько взрослых полны порока и им давно пора жариться в аду! О господи, пощади этих детишек, не отрывай их от друзей, прости им на этот, только на этот раз и считайся за все со мной, со старым негром. Тут я, господи, тут! Старый негр ждет, он готов, господи, он...

Сверкающий, пыхтящий пароход поравнялся с ними и двигался теперь по реке шагах в двадцати. И вдруг, заглушая молитву, раздался грохот продуваемых клапанов. Дядя Дэн мгновенно схватил под мышки по ребенку и кинулся в лес; следом за ним помчались остальные. Потом, устыдившись своей трусости,

он остановился во тьме густого леса и крикнул (правда, не слишком громко):

— Я тут, господи, я тут!

Минута напряженного ожидания — и ко всеобщему удивлению и радости стало ясно, что господь бог прошествовал мимо, ибо страшный шум стал утихать вдаль. Предводительствуемые дядей Дэном, все осторожно направились на разведку к покинутому бревну. Оказалось, что «всемогущий» уже поворачивал за мысок, удаляясь вверх по течению; и пока они глядели, последние огоньки, мигнув, исчезли, а пыхтенье становилось все тише и наконец совсем замерло.

— Уф-ф! И ведь есть же такие, что говорят, будто молитва не помогает. А знаешь ли ты, что бы сейчас с нами было, если бы не моя молитва? Вот то-то!

— Дядя Дэн, значит ты думаешь, что это твоя молитва спасла нас? — спросил Клай.

— Думаю? Ничего я не думаю: я знаю! Где были твои глаза? Разве ты не видел, как господь шел на нас: тш-тшу, тш-тшу, тш-тшу! Да еще как страшно-то! А зачем бы это ему, если бы его что-нибудь не рассердило? И разве он не смотрел прямо на нас и не тянулся прямо к нам рукой? И неужели ты думаешь, он отпустил бы нас, если бы никто его не попросил? Ну уж нет!

— По-твоему, он нас заметил, дядя Дэн?

— Да пойми же ты, дитя: я своими глазами видел, как он смотрел на нас!

— А ты не испугался, дядя Дэн?

— Нет, нет, сэр! Когда человек молится, он ничего не боится: никто его и тронуть не посмеет.

— А почему же ты побежал?

— Да я... я... Масса Клай, когда на человека нисходит благодать, он сам не знает, что творит; да, да, сэр: он сам ничего не знает! Можешь подойти к нему и снять у него голову с плеч, и он даже не заметит. Вот возьми, например, иудейских детей, что прошли сквозь огонь; они здорово обожглись, еще как обожглись, — только сами-то они этого не почувствовали, а раны у них тут же зажили; если б это были девочки, они, может, спохватились бы, что их длинных волос не стало, но ожогов и они бы не заметили.

— А может, это и были девочки? Я думаю, что девочки.

— Ты не можешь так думать, масса Клай. Тебя иногда и понять нельзя: думаешь ты то, что говоришь, или говоришь такое, чего вовсе не думаешь? Ты все говоришь одинаково.

— Но откуда мне знать, кто они были: мальчики или девочки?

— Господи боже мой, масса Клай, а библия на что? К тому же ты сам говоришь «они». А в библии про женщин всегда пишут не «они», а «оне». Некоторые будто и читать умеют, да сами не понимают, что они читают!

— Ну, дядя Дэн, мне кажется... Эй, глядите: еще один господь поднимается по реке! Не может же их быть целых два?!

— На этот раз мы пропали, теперь уж наверняка пропали! Нет, масса Клай, их не два, а один, и это тот же самый. Господь бог, когда хочет, сразу где угодно появится. Ух ты! Дым так и валит, огонь так и пышет! Тут уж не до шуток, дружок! Вишь, спешит, будто он что забыл! Пошли, дети; вам пора спать. Бегите, бегите; а дядя Дэн пойдет в лес и помолится за вас. Может, и удастся старому негру спасти вас еще раз.

Он и в самом деле ушел в лес и стал молиться за них, но он ушел так далеко, что сам сомневался, могли ли господь, поспешая мимо, услышать его молитву...

**ПУТЕШЕСТВИЕ СКВАЙРА ХОКИНСА НА ПАРОХОДЕ
ПО МИССИСИПИ**

В-седьмых, отправляясь в путь, ему следует воздать богово богови, уплатить кредиторам долги, если они есть, помолиться, дабы удача сопутствовала ему и опасности миновали его; и ежели он достиг совершеннолетия, то составить завещание и разумно всем распорядиться, ибо многие, отправляясь в дальний путь, не возвращаются домой. (Сие благое и христолюбивое наставление дано Мартином Зейлером в его «Аподемических канонах», предпосланных его же «Путеводителю по Испании и Португалии».)

Лей, Рассуждение о путешествии, стр 7.

Рано утром сквайр Хокинс вместе со своей семьей и двумя невольниками сел на небольшой пароход; вскоре прозвенел колокол, перекидной трап убрали, и судно двинулось вверх по реке. Обнаружив, что вчерашнее чудовище — создание человеческих рук, дети и дядя Дэн с женой были, пожалуй, не менее обеспокоены, чем накануне, когда они думали, что это сам владыка земной и небесный. Они испуганно вздрагивали каждый раз, когда из предохранительных вентилях вырывалось сердитое шипение, и дрожали с головы до ног, когда громыхали клапаны. Содрогание корпуса и шлепанье колес по воде причиняло им истинное страдание.

Однако, пообвыкнув, они скоро забыли свои страхи, и поездка на пароходе сразу превратилась в удивительное приключение, в волшебное путешествие в глубь царства романтики, в осуществление самых заманчивых грез. Они часами сидели в тени рулевой рубки на верхней палубе и глядели на сверкавшие под лучами солнца изгибы широкой реки. Иногда пароход, борясь с течением, выходил на середину реки, и тогда зеленый мир проплывал с обеих сторон на одинаковом расстоянии; иногда пароход приближался к береговой косе с ее стоячими водами и водоворотами и шел так близко от берега, что густые ветви нависающих ив задевали верхнюю палубу и усыпали ее листьями; отойдя от очередной косы, пароход каждые пять миль пересекал реку, чтобы избежать сильного течения на внешней дуге поворота, а иногда выходил ближе к середине и поднимался вдоль высокого песчаного берега, по временам чуть не попадая на мелководье; но разумный корабль, почуяв мель, отказывался садиться на нее, и сразу же полосы пены, разбегавшиеся от его носа, куда-то исчезали, огромный гладкий вал подкатывался под бок, и пароход, резко накренившись на один борт, отскакивал от песчаной косы и мчался прочь, словно перепуганный зверь от опасности. И счастлив был лоцман, когда удавалось вовремя «выправить» его и не дать ему врезаться носом в противоположный берег. Иногда пароход шел прямо на глухую стену высоких деревьев, как бы собираясь протаранить ее, но вдруг перед ним открывалась щель, едва достаточная, чтобы пропустить его, и, тесно зажатый между берегом и островом, он с шумом принимался вспенивать воды протоки; в этих медленных водах пароход мчался, как скаковая лошадь. Изредка на расчищенных участках берега показывались бревенчатые домики, и около них неопрятные женщины и девушки в замызганных, выцветших платьях из грубой шерсти; они стояли, прислонясь к косяку двери или облокотившись на поленницу или изгородь, и сонно глядели на проносившееся мимо них судно. Иногда, при выходе из протоки или пересекая реку, пароход все-таки попадал на мелководье, — тогда на нос посылали матроса, который бро-

сал лот, пока судно, сбавив скорость, осторожно продвигалось вперед; иногда корабль на минуту останавливался у пристани, чтобы забрать груз или пассажира, а тем временем белые и негры кучкой стояли на берегу и равнодушно взирали на происходящее, — конечно, не вынимая рук из карманов; если они и вынимали их, то только для того, чтобы потянуться; тогда они извивались всем телом, вздымали кулаки вверх и с наслаждением поднимались на цыпочки.

Заходящее солнце превратило широкую реку в государственный флаг, украшенный яркими полосами золотого, пурпурного и алого цвета; потом наступили сумерки, великолепные краски поблекли, и только сказочные острова отражались причудливой бахромой листвы в серо-стальном зеркале реки.

Ночью пароход продолжал двигаться по безмолвным просторам реки; ни один огонек на берегу не выдавал присутствия человека, стена леса тянулась миля за милю и лига за лигой, охраняя широкие изгибы реки; тишину этих лесов еще не нарушал ни голос человека, ни его шаги, и кощунственный топор еще не касался их.

Спустя час после ужина взошла луна, и Клай с Вашингтоном поднялись на верхнюю палубу, чтобы еще раз полюбоваться этим царством чудес. Они бегали наперегонки по палубе, резвились около судового колокола, подружились с собаками, привязанными под спасательной шлюпкой, пытались подружиться с другим четвероногим пассажиром — медведем, сидевшим на цепи у переднего края палубы, но не встретили поощрения с его стороны; потом они раскачивались на леерах, — одним словом, перепробовали все доступные развлечения. И вот они начали завистливо поглядывать на рулевую рубку, и наконец Клай первый осмелился забраться на ведущую к ней лесенку; Вашингтон скромно последовал за ним. Вскоре лоцман оглянулся, чтобы проверить курс по створному знаку, увидел мальчиков и позвал их в рубку. Теперь их счастье было полным. Этот уютный стеклянный домик, из которого открывался чудесный вид на все стороны, казался им тронем волшебника; их восторгу не было границ.

Они уселись на высокой скамье; впереди на много

миль, за лесистыми мысами, открывались все новые и новые повороты реки; а позади серебристый водный путь миля за милей постепенно сужался и наконец где-то далеко, казалось, сходил на нет.

Вдруг лоцман воскликнул:

— Убей меня бог, если это не «Амаранта»!

В нескольких милях за ними над самой водой вспыхнула искорка. Лоцман внимательно поглядел в подзорную трубу и сказал, обращаясь главным образом к самому себе:

— Это уж никак не «Голубое Крыло»: ему бы ни за что нас не догнать. Это наверняка «Амаранта».

Он нагнулся над переговорной трубкой:

— Кто у вас там на вахте?

В трубке зарокотал чей-то глухой голос, не похожий на человеческий.

— Я, второй механик.

— Прекрасно. Так вот что, Гарри, придется малость подналечь: «Амаранта» только что показалась из-за косы и прет на всех парах!

Лоцман взялся за конец веревки, протянутой к носу, и дернул два раза; в ответ дважды ударил главный судовой колокол. Голос на палубе крикнул:

— Эй, внизу, приготовься к промеру с левого борта!

— Мне нужен не промер, — сказал лоцман. — Мне нужен ты. Разбуди старика, скажи ему, что «Амаранта» догоняет. И позови Джима, скажи и ему.

— Есть, сэр!

Под «стариком» имелся в виду капитан: на всех парусных кораблях и пароходах капитана всегда так называют; что касается Джима, то это был подвахтенный лоцман. Через две минуты оба они уже летели по трапу, перепрыгивая через три ступеньки. Джим бежал в одной рубашке; сюртук и жилет были перекинuty через руку.

— Я только собрался лечь, — сказал он. — Где труба?

Он взял подзорную трубу и посмотрел в нее.

— На гюйсштоке, кажется, не видать никакого вымпела? Бьюсь об заклад, это «Амаранта»!

Капитан долго смотрел в трубу и выговорил только одно слово:

— Проклятье!

Вахтенный лоцман Джордж Дэвис крикнул ночному дозорному:

— Как там осадка?

— Два дюйма ниже ватерлинии по носу, сэр!

— Маловато!

Тогда раздался голос капитана:

— Вызови старшего помощника! Пусть свистит всех наверх! Надо перегрузить мешки с сахаром поближе к носу, чтоб осадка по носу была не меньше десяти дюймов. Живо!

— Есть, сэр!

Вскоре с нижней палубы донеслись крики и топот ног; корабль все хуже слушался руля, — ясно было, что «осадка по носу» становится больше.

Трое в лоцманской рубке начали переговариваться короткими, отрывистыми фразами, негромко и озабоченно. Чем больше нарастало возбуждение, тем глуше звучали голоса. Как только один опускал подозрную трубу, другой с нарочито спокойным видом подхватывал ее. И каждый раз следовало одно и то же заключение:

— Догоняет!

Капитан проговорил в трубку:

— Как давление пара?

— Сто сорок два, сэр! Но жару все прибывает.

Пароход содрогался всем корпусом, трепетал и стоял, как раненое чудовище. Теперь у рулевого колеса стояли оба лоцмана; сюртуки и жилеты они сбросили, распахнув рубашки на груди; по лицам обоих струился пот. Они вели судно так близко к берегу, что ветви деревьев задевали леера верхней палубы от носа до кормы.

— Приготовились! — прошептал Джордж.

— Готово! — вполголоса откликнулся Джим.

— Давай ходу!

И пароход, как испуганный олень, метнулся наискосок от одного берега к другому. Он снова прижался к самому берегу и, яростно шлепая колесами, мчался мимо нависших ив. Капитан опустил подозрную трубу.

— Бог ты мой, ну и шпарит! Вот беда, неужели обгонит?

— Джим, — сказал Джордж, глядя прямо перед собой и отвечая быстрым движением рулевого колеса на

малейшее отклонение судна от курса, — а может, попробуем Протоку Убийцы?

— Рискованная штука! На сколько видна была сегодня утром коряга на фальшивой косе, что пониже острова Бордмана?

— Торчала из воды по самые корни.

— Трудная задача, прямо скажем. Значит, у выхода из протоки глубина будет не больше шести футов. Если ни на волос не отклониться, то кое-как проскочим, правда впритирку! Но рискнуть стоит. Уж она-то во всяком случае не решится! — закончил Джим, под-разумевая «Амаранту».

Через мгновение «Борей» углубился в протоку, которая казалась извилистым ручьем, и приближавшиеся огни «Амаранты» тут же исчезли из виду. Никто не произносил ни слова, даже шепотом; все трое пристально вглядывались в темноту; двое крутили колесо то в одну, то в другую сторону, напряженно управляя стремительным движением парохода; каждые пятьдесят шагов казалось, что протока кончилась, но в последнее мгновение впереди всякий раз открывался новый просвет. Теперь выход из протоки был уже недалеко. Джордж три раза ударил в колокол, двое лотовых одним прыжком очутились на своих местах, и через минуту их загадочные выкрики уже раздавались в ночном воздухе; их тут же подхватывали и повторяли двое матросов на верхней палубе:

— Нет дна!

— Четыре полных!

— Три с половиной!

— Три с четвертью!

— Отметка под водой — три!

— Два с половиной!

— Два с четвертью!

Дэвис потянул веревку, другую — где-то далеко внизу прозвенели маленькие колокольчики; пароход сбавил скорость, засвистел выпускаемый пар, предохранительные клапаны пронзительно завизжали,

— На отметке — два!

— Два без че-етверти!

— Восемь с половиной!

— Восемь футов!

— Семь с половиной!

Снова зазвенели колокольчики, и колеса совсем перестали вращаться. Теперь пар свистел с ужасающей силой, почти покрывая все остальные звуки.

— Готовьсь! Сейчас потягаемся!

Джордж положил рулевое колесо вправо до отказа и держал его мертвой хваткой.

— Готово!

Пароход дрогнул, как бы затаив дыхание; вместе с ним замерли капитан и оба лоцмана, но вот «Борей» начал разворачиваться вправо, и глаза у всех загорелись.

— Ну, теперь держись! Пошел, пошел! Не зевай!

Рулевое колесо так стремительно завертелось влево, что спицы слились в один сплошной круг, разворот прекратился, пароход выправился и...

— Семь футов!

— Се... Шесть с половиной!

— Шесть футов! Шесть фу...

Трах! «Борей» ударился килем о дно! Джордж крикнул в переговорную трубку:

— Самый полный! Шпарь всю!

Пуф-пуф! Чу-чу! Выпускные трубы изрыгали в небо белоснежные клубы пара; пароход заскрежетал, дернулся вперед, задрожал и соскользнул...

— На отметке — два!

— Два с че-е...

Бум-бум-бум! Теперь три удара колокола означали, что лоты можно убирать.

И пароход помчался прочь от опасного места вверх по течению, вдоль заросшего ивами берега, а вокруг простиралось серебристое море Миссисипи.

«Амаранта» исчезла!

— Ха-ха! Ну, ребята, на этот раз наш фокус удался! — воскликнул капитан.

И в ту же секунду у выхода из протоки появился красный огонек, и «Амаранта» снова стала их нагонять!

— Разрази меня гром!

— Что же это такое, Джим?

— А вот что! Помните, Вашингтон Хастингс кричал нам с пристани в Наполеоне, просил, чтобы мы его

подбросили до Каира, а мы не остановились. Это он сейчас там, в рубке, учит речных черепах водить паром по тихим заводам!

— Так и есть! Стоило мне увидеть, как «Амаранта» огибает среднюю косу у Кабаньего Глаза, как я понял, что в рубке у нее не какой-нибудь слюнтят! Ну а если это Вашингтон Хастингс — уж он-то реку знает как свои пять пальцев, настоящий лоцман; таким только и стоять в рубке — с золотыми листочками на фуражке, алмазной булавкой в галстук и лайковыми перчатками на руках! Нет, старик, с ним этот фокус не пройдет!

— Да, надо было взять его на борт, что и говорить.

«Амаранта» была уже в трехстах шагах от «Борея» и все приближалась. «Старик» заговорил в трубку:

— Что на манометре?

— Сто шестьдесят пять, сэр!

— Как с дровами?

— Сосновые кончились, кипарисовые наполовину; пожирает тополевы, как пирожки!

— На палубе стоят бочки с канифолью; взломай несколько штук и вали их в топку. Ничего, заплатим!

«Борей» уже зарывался носом в воду, содрогался и скрежетал еще яростнее прежнего. Однако нос «Амаранты» почти поравнялся с его кормой.

— Как пар, Гарри?

— Сто восемьдесят два, сэр!

— Взломай бочки с беконом в переднем трюме... Вали все в топку! Забирай скипидар из кормового, полей им каждое полено!

Пароход теперь напоминал движущийся вулкан.

— Ну а как сейчас?

— Сто девяносто шесть, и все лезет кверху! Вода поднялась до среднего стекла. Большого давления не выдержать. Предохранительный клапан уже не держит: посадил на него негра!

— Хорошо! А тяга?

— Лучше некуда! Каждый раз как негр бросает полено в топку, он сам чуть не летит в трубу следом!

«Амаранта» упорно выигрывала дюйм за дюймом: вот ее гюйсшток поравнялся с рубкой «Борея»; потом на месте гюйсштока оказались трубы, но она продол-

жала ползти вперед, пока не пошла колесо в колесо с «Бореем»! Тут они столкнулись, сильно ударившись бортами, и намертво сцепились прямо на середине залитой лунным светом реки! С палуб обоих пароходов раздалось громовое ура!.. Матросы, крича и размахивая руками, бросились к бортам, чтобы посмотреть, что случилось. От перенесения центра тяжести оба парохода накренились друг к другу; боцманы с проклятиями и угрозами носились взад и вперед по палубам, пытаясь отогнать людей от бортов; оба капитана, перегнувшись через перила мостиков, потрясали кулаками, чертыхались и проклинали друг друга; черные клубы дыма поднимались из труб, нависая над судами и осыпая их дождем искр. Прогремело два револьверных выстрела, но капитаны метнулись в сторену и остались невредимы, а пассажиры отхлынули от бортов и рассеялись по палубам; покрывая невообразимый шум, в небо взмывали пронзительные вопли женщин и крики детей...

И вдруг раздался гулкий рев, оглушительный треск, и изувеченную, беспомощную «Амаранту», освободившуюся от уз, понесло по течению!

Кочегары «Борея» мгновенно распахнули дверцы топок и принялись заливать огонь: остановить машины при таких перегретых котлах было бы равносильно смерти.

Как только это стало возможно, «Борей» подошел к плавучим развалинам «Амаранты» и снял мертвых, раненых и тех, кто остался невредим, — по крайней мере всех, до кого можно было добраться, ибо передняя часть парохода представляла собою бесформенную груду обломков, поверх которых крест-накрест лежали две огромные трубы, а под ними — больше десятка заживо погребенных жертв, вызывавших о помощи. Пока люди, вооружившись топорами, не щадя сил вызволяли несчастных, лодки «Борея» сновали по реке, подбирая тех, кто барахтался в воде.

Но тут разразилось новое несчастье. Из разрушенных топок «Амаранты» вырвались языки пламени, поползли по палубе, и в несколько минут потерпевший катастрофу пароход был охвачен огнем. Никогда еще никто не трудился более упорно и самоотверженно, чем

храбрецы матросы с топорами в руках. Но все было напрасно. Огонь упрямо пожирал все на своем пути, презирая усилия команды, пытавшейся бороться с ним. Он лизал одежду матросов, опалял волосы, заставлял их отступать фут за футом, дюйм за дюймом, — и вот они дрогнули и, нанеся врагу последний удар, сдались! Отступая, они слышали вопли заживо погребенных:

— Не бросайте нас! Не оставляйте нас! Помогите!

А один из мучеников крикнул:

— Я Генри Уорли, кочегар. У меня мать в Сент-Луисе. Пожалейте ее, не говорите ей правду. Скажите, что меня убило сразу и что я даже не знал, от чего погиб, хотя, видит бог, на мне и сейчас нет ни одной царапины. Обидно сгореть живьем в такой клетке, когда мир божий совсем рядом. Прощайте, ребята, всем нам не миновать смерти так или иначе!

«Борей» отошел на безопасное расстояние, и горящую «Амаранту» понесло вниз по течению. Теперь она казалась пылающим островком; огонь, извиваясь, расползался по ней, время от времени изрыгая клубы дыма; после каждого такого взрыва языки пламени вспыхивали еще ярче и вздымались выше и выше. Раздававшиеся по временам отчаянные вопли говорили о том, что еще одна жертва дождалась своей последней минуты. Вскоре «Амаранту» вынесло на песчаную отмель; и когда «Борей» повернул за ближайший мыс вверх по реке, огонь на «Амаранте» бушевал с прежней яростью.

Мальчики спустились в главный салон «Борея», и глазам их предстало душераздирающее зрелище: одиннадцать несчастных лежали мертвыми, а еще пятьдесят стонали, кричали и молили о помощи. Десятка два добрых самаритян хлопотало возле них, стараясь чем можно облегчить их страдания: обмывали обожженные лица и тела известковой водой или льняным маслом, накладывали на открытые раны неочищенный хлопок, — и это придавало пострадавшим какой-то особенно страшный, фантастический вид.

Молоденький мичман француз — совсем мальчик, лет четырнадцати, не больше — лежал изувеченный и без единого стога переносил нечеловеческие страдания.

Когда врач из Мемфиса подошел перевязать его, он спросил:

— Я буду жить? Не бойтесь, говорите правду.

— Нет... я... я думаю, что нет.

— Тогда не тратьте на меня время: помогайте тем, кого еще можно спасти.

— Но...

— Помогайте тем, кого можно спасти! Я не девчонка. В моих жилах течет кровь одиннадцати поколений солдат.

Врач, сам некогда служивший на флоте, отдал честь юному герою и перешел к другому пострадавшему.

Старший механик «Амаранты», великолепно сложенный красавец, с трудом поднялся и, едва передвигая ноги, подошел к своему родному брату, второму механику, оставшемуся невредимым; это было страшное зрелище. Приблизившись к брату, он сказал:

— Ты стоял на вахте. Ты командовал в машинном отделении. Когда я умолял тебя сбавить пар, ты не послушал меня. Так на же, возьми! Отдай это кольцо моей жене и скажи ей, что она берет его из рук моего убийцы! Возьми его, а вместе с ним и мое проклятье. Пусть оно жжет твое сердце все сто лет, которые я желаю тебе прожить!

И, сдирая кожу и мясо с пальца, он сорвал обручальное кольцо, швырнул его на пол и упал мертвым.

Но не будем останавливаться на таких подробностях! В ближайшем большом городе «Борей» снял с борта свой страшный груз и передал его в заботливые руки сотен добросердечных южан. Груз этот теперь состоял из тридцати девяти раненых и двадцати двух мертвецов. Вместе с ними был передан список девяносто шести человек, пропавших без вести: во время катастрофы они или утонули, или погибли иной смертью.

Началось следствие, были заслушаны свидетельские показания, и после надлежащего рассмотрения последовал неизбежный в Америке вердикт, который мы неоднократно слышали на протяжении всей нашей жизни: *«Виновные не обнаружены»*¹.

¹ Обстоятельства описанного взрыва не являются вымыслом. Все они имели место в действительности. (Прим. авторов.)

ХОКИНСЫ УДОЧЕРЯЮТ ЛОРУ ВАН-БРАНТ

دِهَرِي ڪهي اُتھاري پنهَن ڇي ڪهرِ دھاري پاڙهيُنڊا هُسي¹

Il veut faire sécher de la neige au four et la vendre pour du sel blanc².

«Борей» отошел от берега и продолжал свой путь вверх по реке, увозя обогащенных новым жизненным опытом Хокинсов: за последние сутки они только и видели, что человеческие страдания, и по мере сил своих пытались облегчить их самоотверженной помощью. Но они стали теперь богаче и в другом отношении. Во время сумятицы, наступившей после взрыва, в толпе пассажиров, собравшихся в салоне «Борея», испуганно металась черноглазая девочка лет пяти. Она горько плакала и звала маму и папу, но никто ей не отвечал. Что-то в лице мистера Хокинса привлекло девочку: она подошла к нему и, подняв глаза, внимательно поглядела на него; должно быть, осмотр удовлетворил ее, и девочка доверчиво прильнула к Хокинсу. Он приласкал ребенка, выслушал ее печальный рассказ и обеща-

¹ А младшую дочь они перевезли в свой дом, и там воспитывали ее (на языке синдхи).

² Ловкий человек и снег за соль продаст (франц.).

разыскать ее близких; потом отвел девочку в каюту и велел своим детям не обижать ее (все взрослые хлопотали около раненых), а сам отправился на поиски.

Однако все его усилия были напрасны. Целый день они с женой наводили справки и не теряли надежды, хотя надежды, в сущности, уже не оставалось. Им удалось только узнать, что девочка села с родителями на пароход в Новом Орлеане, что незадолго перед тем они прибыли из Кубы, что происходили они, по-видимому, откуда-то из приатлантических штатов и что фамилия их — Ван-Брант, а имя девочки — Лора. Вот и все. Родителей ее никто после взрыва не видел. Девочка была прекрасно воспитана, а такой нарядной и богатой одежды, как у нее, миссис Хокинс никогда прежде не видела.

Часы текли, и бедный ребенок совсем впал в отчаяние; Лора так жалобно звала свою мать, что стоны и вопли раненых, казалось, меньше терзали душу Хокинсов, чем страдания этого маленького покинутого существа. Они изо всех сил старались утешить ее и невольно сами к ней привязались, видя, как она льнет к ним, обнимает их своими ручонками и успокаивается только от их ласковых взглядов и слов. У обоих в груди затаился немой вопрос — вопрос, который с каждым часом становился настоятельнее и все настойчивее требовал ответа, — но оба они не решались произнести его вслух, оба хранили молчание и выжидали. Наконец настала минута, когда откладывать более стало уже невозможно. Пароход причалил к пристани, мертвых и раненых уже переносили на берег. Измученная девочка спала на руках у миссис Хокинс. Мистер Хокинс подошел к жене и молча остановился около нее. Глаза их встретились, и они оба посмотрели на девочку; в эту минуту она пошевелилась во сне и прижалась еще теснее к груди миссис Хокинс; умиротворенное и довольное выражение ее личика взволновало материнское сердце миссис Хокинс, и когда она снова обменялась взглядом с мужем, вопрос был задан и ответ на него получен...

С тех пор как Хокинсы начали свое путешествие, «Борей» прошел уже около четырехсот миль. И вот на-

конец вдаль показался длинный ряд пароходов, плотно, бок о бок, словно сардины в банке, прижавшихся к пристани; над ними и позади них вырисовывались купола, башни и всевозможные постройки большого города — города, прикрытого сверху внушительным зонтом черного дыма. Это был Сент-Луис. Дети Хокинсов бегали по верхней палубе, а отец и мать сидели на подветренной стороне рулевой рубки, пытаясь унять их и не очень жалея, что это им не удастся.

— Хоть с ними и хлопотно, Нэнси, но они того стоят.

— Они стоят большего, Сай.

— Верно, Нэнси! Ты бы согласилась отдать хотя бы одного за кругленькую сумму?

— Ни за какие деньги, Сай!

— У нас с тобой всегда одни и те же мысли. Правда, мы не богаты, но все же ты не жалеешь... Тебя не беспокоит, что в семье прибавилось еще двое?

— Нет. Бог нас не оставит.

— Аминь. Значит, ты и с ними не хотела бы расстаться? Ни с Клаем, ни с Лорой?

— Ни за что на свете! Я люблю их так же, как своих детей. Мне кажется, что они даже более ласковы и внимательны ко мне, чем родные. Как-нибудь справимся, Сай.

— Конечно, все будет хорошо, старушка. Владея землями в Теннесси, я не побоюсь усыновить хоть тысячу детей, если потребуется: там хватит богатства на целую армию. Да, да — на целую армию, Нэнси! Мыто с тобой не доживем до этого дня, но малыши доживут, поверь моему слову! Когда-нибудь их станут величать: «богатая мисс Эмилия Хокинс» и «состоятельная мисс Лора Ван-Брант Хокинс»; «достопочтенный Джордж Вашингтон Хокинс, миллионер» и «губернатор Генри Клай Хокинс, миллионер»! Вот как мир назовет их! Об этих ребятишках тужить не приходится. Они обеспечены. В наших землях таятся несметные богатства, Нэнси, помяни мое слово!

Тем временем дети на минуту прервали свои игры и подошли послушать взрослых. Хокинс спросил:

— Вашингтон, мой мальчик, чем ты займешься, когда станешь одним из самых богатых людей на свете?

— Сам не знаю, папа. Иногда мне кажется, что хорошо бы иметь воздушный шар и летать высоко-высоко в небе, иногда мне хочется много-много книг, а иногда я думаю, что неплохо бы приобрести разные водяные колеса и флюгеры или такую машину, какую вы купили с полковником Селлерсом; а иногда мне кажется, что я куплю... Ну я, правда, не знаю... я не очень уверен, — может, лучше всего сначала завести собственный пароход?

— Ты веришь себе, малыш! Как всегда, тебя тянет то к одному, то к другому. А ты, ты чем займешься, Клай, когда станешь одним из самых богатых людей на свете?

— Не знаю, сэр. Моя мама — моя другая мама, которой больше нет, — всегда говорила мне, чтобы я работал и не особенно надеялся разбогатеть, тогда я не стану горевать, если никогда не разбогатею. И поэтому, мне кажется, лучше подождать, пока я разбогатею, — к тому времени я уж наверняка придумаю, чем заняться. А сейчас я еще не знаю, сэр!

— Разумная ты у меня головушка! Губернатор Генри Клай Хокинс — вот кем ты когда-нибудь будешь, Клай! Умная, рассудительная головушка! Ну а теперь отправляйтесь играть! Идите, идите! Первоклассный товар, Нэнси, как говорят сбэдаунцы о своих свиньях.

Пароходик, на который Хокинсы пересели в Сент-Луисе, отвез их со всеми пожитками еще на сто тридцать миль вверх по Миссисипи, до убогой деревушки, приютившейся на миссурійском берегу; тут они и высадились в сумерках теплого октябрьского вечера.

На следующее утро Хокинсы снова запрягли лошадей в фургон и два дня медленно тащились по бездорожью в глубь безлюдного лесного края. И когда они, выражаясь фигурально, в последний раз раскинули свои шатры, они были у цели — перед ними лежала их новая родина, средоточие всех их надежд. У обочины грязной дороги стоял новый рубленый одноэтажный домик — лавка; неподалеку от нее жались друг к другу

еще десять — двенадцать таких же домиков, старых и новых.

В печальном свете угасавшего дня деревушка казалась унылой, бесприютной. Двое или трое молодых людей сидели перед лавкой на большом ящике, ковыряли его ножами, стучали по нему растоптанными башмаками и плевались табачной жвачкой, стараясь попасть то в одну, то в другую цель. Несколько оборванных негров удобно прислонились к столбам, подпиравшим навес над крыльцом лавки, и с ленивым любопытством разглядывали вновь прибывших. Все указанные лица вскоре переорались поближе к фургону Хокинсов, где и замерли в неподвижности, засунув руки в карманы и переминаясь с ноги на ногу; став на якорь, они с удовольствием продолжали глазеть на фургон. Помахивая хвостами, вокруг фургона бегали бродячие собаки: они заинтересовались собакой Хокинсов, но полученные сведения их, видимо, не удовлетворили, ибо они тут же открыли против нее совместные военные действия. Это событие могло бы разжечь любопытство местных жителей, если бы силы были более равные, а то какая же это собачья драка, если много псов бросается на одного? Посему мир был восстановлен, и чужая собака, поджав хвост, поспешила укрыться под фургоном. Ловко держа на голове ведра, вразвалку подходили неопрятные старые и молодые негритянки; они присоединялись к зрителям и тоже глядели во все глаза. Полуодетые белые мальчуганы и маленькие голышастые негритята, на которых только и было, что короткие рубашонки из небеленого холста, сбегались к фургону со всех сторон, останавливались и, заложив руки за спину, изо всех сил помогали взрослым смотреть на вновь прибывших. Остальные жители деревни уже собирались отложить свои дела, готовясь двинуться к фургону, как вдруг сквозь толпу с громкими криками прорвался какой-то мужчина и начал восторженно трясти руки Хокинсам.

— Кто бы мог подумать! — восклицал он. — Нет, это в самом деле вы?! А ну, повернитесь! Поднимите-ка головы: я хочу хорошенько разглядеть вас! Вот так история, прямо глазам своим не верю! Бог ты мой, как

я счастлив снова вас видеть! Сердце радуется, и на душе светло! Дайте мне ваши руки еще разок, дайте мне пожать их как следует! Вот это подарок! А что моя женушка-то скажет! Да, да, я женился, всего неделю тому назад, — чудеснейшее, прелестнейшее создание, женщина благороднейшей души. Она вам понравится, Нэнси. Да что там понравится! Бог ты мой, вы полюбите ее, вы души в ней не будете чаять, вас потом и водой не разольешь! А ну, дайте-ка мне еще раз взглянуть на вас! Все такие же... Нет, вы только подумайте: не далее как сегодня утром моя женушка говорит: «Полковник, — говорит она; как я ее ни отучаю, она меня все равно зовет полковником. — Полковник, — говорит она, — сердце мне подсказывает, что к нам едут гости!» И вот вам — пожалуйста! Приехали те, кого я меньше всего ожидал! Теперь она будет считать себя пророчицей, и провалиться мне на этом месте, если я и сам так не считаю! Прямо как в поговорке: «Несть отечества без своего пророка». Бог ты мой, и ребятишки здесь! Вашингтон, Эмилия, разве вы не узнали меня? А ну, кто меня поцелует? С вами-то мы подружимся: для вас найдутся и лошади, и коровы, и собаки — все, что радует сердце ребенка! И... А это кто? Чужие детишки? Ну что ж, здесь вы не будете чужими, это я вам говорю! У нас-то вы почувствуете, что это и есть ваш настоящий дом, вот увидите. А ну, валите все гуртом за мной. В нашем лагере вам разрешается почтить своим присутствием только мой очаг. Вы мои гости, и больше ничьи. И вообще вы обязаны немедленно расположиться здесь как у себя дома, устроиться поудобнее и отдыхать! Вы слышали, что я вам сказал? Эй, Джим, Том, Пит, Джейк, быстрее сюда! Отведите упряжку к моему дому, поставьте фургон на дворе, а лошадей под навес да задайте им овса и сена, накормите их досыта! Что? Нет ни овса, ни сена? Так достаньте! Пусть запишут на мой счет! А ну, пошевеливайтесь! А теперь построились в одну колонну, левое плечо вперед — и в ногу, шагом марш!

И полковник, посадив Лору к себе на плечи, сам возглавил процессию, а воодушевленные и преисполненные благодарности переселенцы, расправив затек-

шие конечности и почувствовав свежий прилив сил, бодро зашагали следом за ним.

Вскоре они сидели рядом у старомодного очага; от пылавших в нем дров в комнате было, пожалуй, излишне жарко, — но что делать: без ужина не обойдешься, а ужин без огня не состряпаешь. Комната служила одновременно спальней, гостиной, кабинетом и кухней. Хозяйственная женушка полковника то входила, то выходила из комнаты с кастрюлями и сковородками, довольная и веселая, и когда она смотрела на мужа, в глазах ее светилось обожание. И вот наконец она расстелила скатерть и завалила стол горячими кукурузными лепешками, жареными курами, копченой свиной, поставила банки с топленым молоком, кофе и прочие деревенские яства, а полковник Селлерс сразу же умерил свои излияния и на минуту совсем прекратил их, чтобы подобающе благочестивым тоном пробормотать молитву, но его красноречие тут же снова прорвалось и продолжало нестись могучим и шумным потоком, пока все не набили себе желудки. А когда гости поднялись по лесенке на второй этаж, сиречь на чердак, где им были посланы мягкие перины, миссис Хокинс невольно проговорила:

— Ну что за человек, право! По-моему, он стал еще более сумасшедшим, чем прежде. И все равно его нельзя не любить, что тут поделаешь? Да и как его не любить! Стоит только послушать его речи и посмотреть ему в глаза, сразу обо всем забываешь.

Не прошло и двух недель, как Хокинсы удобно разместились в собственном рубленом доме и уже начали привыкать к новому месту. Детей отдали в школу, если ее можно было так назвать; впрочем, в то время других школ не было: восемь, а то и десять часов в день юная поросль человечества посвящала тому, что зубрила по книжкам несусветную чепуху, а потом, как попугаи, повторяла ее наизусть; поэтому, получив законченное образование, ученики приобретали лишь постоянную головную боль и умение читать вслух не переводя дыхание и не останавливаясь на малопонятных словах. Хокинс за гроши перекупил лавку и принялся извлекать из нее столь же грошовые доходы.

Под необычайно выгодным предприятием, на которое полковник Селлерс намекал в своем письме, подразумевалось выращивание мулов для рынков южных штатов; оно и в самом деле было многообещающим: молодняк стоил дешево, а его прокорм — и того дешевле. И Хокинс легко поддался уговорам вложить в дело все свои скромные сбережения и возложить дальнейшую заботу о животных на Селлерса и дядю Дэна.

Все шло хорошо. Дело понемногу разрасталось. Хокинс даже построил новый дом, на этот раз двухэтажный, и установил на нем громоотвод. Люди шли двести миль, чтобы посмотреть на него. Но они знали, что громоотвод притягивает молнию, и поэтому во время грозы обходили дом Хокинса стороной; они хорошо понимали, что такое стрельба в цель, и были уверены, что с расстояния в полторы мили молния может попасть в маленький железный прутик не чаще, чем один раз из ста пятидесяти. Хокинс обставил свой дом «магазинной» мебелью, купленной в Сент-Луисе, и молва о ее великолепии широко разнеслась по округе. Ковер для гостиной был привезен из Сент-Луиса, хотя остальные комнаты довольствовались половиками местного изготовления. Вокруг дома Хокинс первым в деревне поставил настоящий дощатый забор; мало того — он его выбелил! Что же касается клеенчатых занавесок на окнах, то на них красовались такие величественные замки, какие можно увидеть только на оконных занавесках и больше нигде на свете. Восторги, которые эти чудеса вызывали у соседей, радовали Хокинса, но он не мог не улыбаться при мысли о том, сколь жалкими и дешевыми они покажутся по сравнению с теми, какие в будущем украсят особняк Хокинса, когда теннессийские земли принесут свои отчеканенные на монетном дворе плоды. Даже Вашингтон заметил однажды, что, когда землю в Теннесси продадут, он купит для своей с Клаем комнаты такой же «магазинный» ковер, как в гостиной. Слова эти понравились Хокинсу, но беспокоили его жену: она считала неразумным возлагать все земные надежды на уголья в Теннесси и забывать о том, что человек должен трудиться.

Хокинс выписывал еженедельную газету из Филадельфии и листок, выходивший два раза в неделю, из Сент-Луиса; других газет в деревне почти не появлялось, хотя «Женский альманах Годи» находил в ней хороший сбыт и считался, по мнению наиболее авторитетных местных критиков, образцом изящной словесности. Здесь, пожалуй, уместно напомнить, что мы излагаем события давно минувших дней: они произошли лет двадцать — тридцать тому назад. В этих двух газетах и крылась тайна все возрастающего благополучия Хокинса. Газеты постоянно информировали его о состоянии посевов на юге и востоке страны, и поэтому он знал, на какие товары будет спрос, а на какие нет, по крайней мере за несколько недель, а то и месяцев до того, как об этом узнавали все окружающие. Шло время, и постепенно все стали считать, что ему удивительно везет. Его соседям было невдомек, что за этим «везеньем» скрывается сметливый ум.

Вскоре его звание «сквайр» снова вошло в обиход, — правда, только на год: по мере того как состояние Хокинса и его авторитет возрастали, оно незаметно перешло в «судью», и можно было надеяться, что со временем превратится в «генерала». Все сколько-нибудь влиятельные лица, приезжавшие в деревню, стремились попасть в дом Хокинсов, и «судья» радушно принимал гостей.

Узнав местных жителей поближе, Хокинс полюбил их. Это были неотесанные, невоспитанные и даже не очень трудолюбивые люди, но зато прямые, честные, достойные уважения. Они отличались горячим, несколько старомодным патриотизмом: родина была для них кумиром, а национальный флаг — предметом великой гордости. Человек, запятнавший честь нации, навлекал на себя их смертельную ненависть. Они все еще осыпали проклятиями Бенедикта Арнольда, как будто он был их личным другом, обманувшим их доверие всего лишь неделю назад.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ. ЮНАЯ КРАСАВИЦА ЛОРА

十年前事幾翻新¹

Mesu eu azheĩâshet
 Washkebemâtizitâking,
 Nâwuj beshegandâguzé
 Manwâbegönig edush wen.
Ojibwa Nuguwioshâng, p. 78².

Мы пропустим десять лет и расскажем о переменах, которые произошли в судьбах наших героев за это время.

Судья Хокинс и полковник Селлерс успели нажить и потерять по два-три скромных состояния и теперь живут в нужде. У Селлерса две пары близнецов и сверх того еще четверо детей. В семье Хокинсов шестеро своих детей и двое приемных. Время от времени, когда фортуна улыбалась отцам, этим пользовались

¹ Дела десятилетней давности — как часто они кажутся новью! (*китайск.*)

² Юность гордая красою
 На лице цветет небесном —
 Ярче всех весенних красок,
 Краше самой свежей розы. — «Из «Песен оджибвеев» (*на языке индейцев чиппеев*).

старшие дети и проводили счастливые месяцы в лучших школах Сент-Луиса; в менее удачные годы они оставались дома, в гнетущей обстановке нужды и лишений.

Дети Хоккинсов, как и все окружающие, даже не подозревали, что одна из их сестер — чужая им по крови и рождению. Если Лора с Эмилией и не походили друг на друга, то так часто бывает во многих семьях. Девочки росли как сестры, а во время катастрофы на Миссисипи они были слишком малы, чтобы запомнить, что именно это событие соединило их судьбы.

И все же всякий, кто узнал бы тайну происхождения Лоры и наблюдал ее в счастливом возрасте двенадцати — тринадцати лет, должно быть понял бы, чем Лора привлекательнее своей подружки.

Философы спорят о том, что чарует нас в шаловливой школьнице: то ли будущая женщина, угадываемая в едва расцветающей девушке, то ли просто безмятежная прелесть ребенка. Если в свои двенадцать лет Лора и обещала стать красавицей, то сама она даже не подозревала об этом. Гораздо более важные мысли занимали ее в то время. К своему незатейливому школьному платью она уже научилась добавлять таинственные украшения в виде бантиков и сережек и озабоченно советовалась о них со своими взрослыми друзьями.

Когда в летний день Лора шла по улице быстрой и легкой походкой, положив прелестные ручки в отороченные лентой карманы передника и поневоле слегка расставив локти, а под порывами ветра широкие поля белой панамы то опускались ей на глаза, то поднимались, открывая свежее хорошенькое личико, когда на губах ее играла по-девичьи кокетливая, задорная улыбка и от всей фигурки веяло чистотой и невинностью, свойственной этой счастливой поре, — поистине это зрелище согревало самое холодное сердце и радовало самое печальное.

Щедрая и своенравная, чуткая и заносчивая, ласковая и непостоянная — одним словом, неотразимо очаровательная, — вот какой была Лора в этот период своей жизни. Не выйди она из него, нашу историю не пришлось бы и писать. Но к концу тех нескольких лет,

о которых мы сейчас рассказываем и которые принесли судье Хокинсу множество испытаний, Лора выросла и стала почти женщиной.

Когда судья обанкротился впервые, перед ним предстал добрый ангел в образе человека и предложил ему полторы тысячи долларов за теннессиjsкие земли. Миссис Хокинс считала, что нужно соглашаться. Искушение было велико, но Хокинс устоял. Он заявил, что земля принадлежит его детям и что ради такой ничтожной суммы он не может лишать их будущих миллионов. Когда та же беда постигла его вновь, появился второй ангел и предложил три тысячи долларов. К тому времени Хокинс был в таком отчаянии, что позволил жене уговорить его составить запродажную; но когда он вновь увидел нищенскую одежку детей, он почувствовал себя предателем и отказался подписать бумагу.

Теперь он снова бедствовал, и его положение было хуже, чем когда-либо прежде. Целыми днями ходил он взад и вперед по комнате и почти не спал по ночам. Ему стыдно было признаться даже самому себе, но он замыслил измену: он решился наконец продать землю. В комнату вошла миссис Хокинс. Он еще не сказал ни слова, но почувствовал себя таким виноватым, как будто она застигла его за каким-то позорным занятием.

— Сай, я прямо не знаю, что делать, — сказала она. — Одежда у детей такая плохонькая, что стыдно в ней показаться на глаза людям. Но это еще не самое худшее: в доме пусто, хоть шаром покати.

— Так что же ты, Нэнси! Сходи к Джонсону и...

— К Джонсону, как же! Когда у этого человека не было ни единого друга на всем белом свете, ты поддержал его, поставил на ноги, помог ему разбогатеть. И вот результат: он живет в нашем чудесном доме, а мы в его жалкой лачуге. Он уже намекал, чтобы наши ребята не приходили играть с его детьми, -- что, впрочем, еще можно перенести, и даже без особого труда, потому что не такие они люди, чтобы стоило поддерживать с ними знакомство; но сегодня утром я послала к нему Фрэнки взять немного муки, и он заявил мальчику, что за нами уже и без того многовато записано; больше он ничего не сказал: просто не дал муки,

отвернулся и продолжал разговаривать с девицами Харгрейв, которые выторговывали у него подешевле какую-то материю. «Многовато записано!» Уж этого-то я никак не могу перенести спокойно!

— Нэнси, это неслыханно!

— Конечно неслыханно, ты прав. Я ничего тебе не говорила, Сай, терпела, сколько могла. Но дела наши с каждым днем становятся все хуже и хуже; я до того измучилась, что совсем перестала выходить из дому. У тебя и так довольно забот, я бы и сейчас ни слова не сказала, только теперь все так плохо, что и просто не знаю, куда кинуться, где искать помощи. — И, не выдержав, она закрыла лицо руками и заплакала.

— Бедняжка моя, не надо так убиваться. Вот уж никогда бы не подумал такого о Джонсоне. Прямо голова идет кругом. Ума не приложу, что теперь делать! Если бы кто-нибудь сейчас пришел и предложил мне три тысячи... О, если бы только кто-нибудь предложил три тысячи за землю в Теннесси...

— Ты бы продал ее, Сай? — возбужденно спросила миссис Хокинс.

— Пусть только предложат!

Миссис Хокинс выбежала из комнаты и через минуту вернулась, ведя за собой солидного, похожего на бизнесмена человека. Усадив незнакомца, она снова вышла. «Разве можно терять надежду? — подумал Хокинс. — В самый тяжелый час провидение приходит на выручку, — никогда еще помощь не являлась к несчастному горемыке так кстати. — Пусть этот человек предложит мне хотя бы тысячу, я благословлю и обниму его, как родного брата!»

— Мне известно, что вы являетесь владельцем семидесяти пяти тысяч акров земли в Восточном Теннесси, — заговорил незнакомец, — и чтобы не отнимать у вас лишнего времени, я сразу перейду к делу. Я представляю интересы сталелитейной компании и уполномочен предложить вам за ваш участок десять тысяч долларов.

Сердце Хокинса екнуло. Он весь дрожал от сдерживаемого ликования. Первым его побуждением

было крикнуть: «По рукам, и дай бог счастья вашей сталелитейной компании!»

Но вот что-то промелькнуло в его сознании, и он, хоть и открыл было рот, не вымолвил ни слова. Воодушевление погасло в его глазах, в них появилось выражение глубокого раздумья. Затем он нерешительно сказал:

— Видите ли, я... мне кажется, что этого мало. Моя земля... представляет большую ценность, очень большую. Она до краев полна железной рудой, сэр, до краев! И медью, и каменным углем — всего даже не перечислишь! Так вот что я вам скажу. Я сохраню за собой все богатства ее недр, кроме железной руды, которую готов продать за пятнадцать тысяч долларов наличными, с тем, однако, что вступаю в долю и получаю половину доходов, или акций, как у вас там говорят. Я сейчас не у дел и готов принять участие в управлении предприятием. Что вы на это скажете?

— Что касается меня, то я всего лишь посредник владельцев компании; они мои друзья, и я даже ничего не получу за свои труды. По совести говоря, я пытался убедить их не впутываться в это дело — потому-то я сразу и выложил их предложение, не закидывая никаких удочек: я надеялся, что вы откажетесь. Люди чаще всего отказываются от первого предложения, каково бы оно ни было. Но я выполнил поручение и с удовольствием передам ваш ответ.

Он сделал движение, собираясь встать, но Хокинс остановил его:

— Погодите минутку.

Хокинс снова задумался. Суть его размышлений была такова: «Он хитрый человек, очень хитрый; мне не нравится его откровенность. Эти нарочито откровенные бизнесмены — хитрые пройдохи, все они таковы. Он и есть сталелитейная компания, вот кто он такой!.. И земля ему нужна до зарезу, — не настолько я слеп, чтобы не видеть этого. Он, видите ли, считает, что компании лучше не впутываться в это дело. Превосходно, ничего не скажешь! Просто здорово придумано! Не пройдет и дня, как он вернется и, конечно, примет мое предложение. Примет? Готов держать любое пари, что

ему и сейчас не терпится принять его; тут надо разобраться как следует. С чего это вдруг такая горячка вокруг железа? Интересно, откуда подул ветер? Даю голову на отсечение, что с железом начинаются большие дела. (Тут у Хокинса загорелись глаза; он встал и принялся шагать по комнате, размахивая руками.) Огромные дела, в этом нет ни малейшего сомнения, а я сижу в этой дыре, как крот, и не знаю, что творится на свете. Боже ты мой, ведь я чуть не попался в ловушку! Еще немного, и этот мошенник разорил бы меня. Но все-таки я не попался, и теперь я ни за что на свете...»

На этом он прервал свои размышления и, обернувшись к незнакомцу, сказал:

— Я сделал вам предложение, вы не приняли его, и теперь я прошу вас считать, что никакого предложения не было. Впрочем, совесть не позволяет мне... Пожалуйста, измените названную мною цифру на тридцать тысяч долларов, если вам угодно, и можете передать предложение компании — буду стоять на своем, даже если у меня разорвется сердце!

Незнакомец поглядел на Хокинса с явным удивлением: чувствовалось, что вся сцена забавляет его; но Хокинс этого даже не заметил. В самом деле, он едва ли замечал что-либо вокруг и вряд ли понимал, что происходит. Незнакомец ушел. Хокинс опустил на стул и задумался; потом испуганно огляделся и бросился к двери...

— Поздно, поздно! Ушел! Какой же я дурак! Опять опростоволохился! Тридцать тысяч — этакий осел! Почему, ну почему я не сказал пятьдесят тысяч!

Он запустил обе пятерни в волосы и, опершись локтями о колени, принялся раскачиваться, застонав, как от боли.

Миссис Хокинс, сияя, вбежала в комнату.

— Ну как, Сай?

— О Нэнси, я самый что ни на есть про-клятый, рас-про-клятый дурак! Если бы ты знала, что я сделал!

— Что ты сделал, Сай? Говори скорей, ради бога!

— Что сделал? Погубил все на свете!

— Скажи, скажи наконец, что случилось? Не мучай меня! Неужели он так и не купил нашу землю? Неужели он ничего тебе не предложил?

— Предложил? Он давал за нее десять тысяч долларов, и...

— Слава богу! От всей души, от всего сердца я благодарю небо! Но почему же ты говоришь, что все погубил, Сай?

— Нэнси, неужели ты думаешь, что я принял это нелепое предложение? Нет, к счастью я не такой простак! Я сразу разгадал, что за всем этим кроется! С железом затеваются большие дела! Тут пахнет миллионами! А я, этаким дурак, сказал ему, что согласен уступить половину железной руды за тридцать тысяч! Вернись он сейчас, меньше чем за четверть миллиона ему ее не видать!

Миссис Хокинс побелела как полотно и посмотрела на мужа полными отчаяния глазами.

— И ты отказался, позволил этому человеку уйти, когда мы в таком безвыходном положении? Неужели ты говоришь серьезно? Не может быть!

— Отказался? Еще чего выдумала! Послушай, Нэнси, неужто ты думаешь, что он сам себе враг? Не беспокойся: завтра же утром прибежит ко мне со всех ног!

— Нет, Сай, нет! Он ни за что не вернется. Что теперь с нами будет? Господи, что теперь с нами будет!

На лицо Хокинса набежала тревожная тень. Он сказал:

— Как, Нэнси, ты... ты в самом деле веришь в то, что говоришь?

— Верю? Я наверняка знаю, что это так. И еще я знаю, что, не имея ни гроша в кармане, мы бросили на ветер десять тысяч долларов!

— Нэнси, ты меня пугаешь! Неужели этот человек... Не может быть, чтобы я... Черт меня побери, ведь я и в самом деле, кажется, упустил прекрасный случай! Не убивайся, Нэнси, не убивайся! Я найду его. Я возьму... Я возьму... Ах, какой я дурак! Я возьму любую сумму, какую он предложит!

Он выскочил из дому и бегом пустился по улице. Но незнакомец исчез. Никто не знал, откуда он прибыл

и куда уехал. Хокинс медленно возвращался домой и с тоской, уже без всякой надежды искал глазами незнакомца; чем тяжелее становилось у него на сердце, тем в меньшую сумму оценивал он свою землю. Дойдя наконец до порога собственного дома, он готов был уступить ее всю целиком за пятьсот долларов: двести наличными, и остальное тремя годовыми взносами, без каких бы то ни было процентов.

Грустное общество собралось на следующий вечер у очага Хокинсов. Все дети, кроме Клая, были дома. Мистер Хокинс сказал:

— Кажется, мы совсем на мели, Вашингтон. Мы безнадежно запутались. У меня уже не хватает сил. Не знаю, куда пойти, что делать; никогда еще я не был в таком безвыходном положении, никогда будущее не казалось мне таким беспросветным. Посмотри, сколько ртов надо прокормить. Клай уже уехал на заработки; боюсь, что ненадолго нам придется расстаться и с тобой, сынок. Но только ненадолго: землю в Теннесси...

Он умолк, почувствовав, что краснеет. На минуту воцарилось молчание, и затем Вашингтон — теперь это был двадцатидвухлетний долговязый юнец с мечтательными глазами — сказал:

— Если бы полковник Селлерс приехал за мной, я не прочь пожить у него, пока земля в Теннесси не будет продана. С тех пор как он переехал в Хоукай, он все время приглашает меня к себе.

— Боюсь, что ему трудно будет приехать за тобой, Вашингтон. Из того, что я слышал, — конечно, не от него самого, а от других, — его дела немногим лучше наших, да и семья у него тоже большая. Он, пожалуй, сможет подыскать тебе какое-нибудь занятие, но лучше уж ты попытайся добраться до него сам. Тут всего тридцать миль.

— Но как это сделать, отец? Туда даже дилижансы не ходят.

— А если бы и ходили, то за проезд нужно платить. Дилижанс ходит из Суонси, это в пяти милях отсюда. Но дешевле добраться туда пешком.

— Тебя там наверняка знают, отец. И конечно согласятся подвезти меня в долг, ведь это совсем недалеко. Почему бы тебе не написать и не попросить их об этом?

— А почему бы тебе самому не написать, Вашингтон? Ведь ехать-то тебе, а не мне... Кстати, чем ты собираешься заняться в Хоукае? Может быть, додумаешь до конца способ изготовления матовых стекол?

— Нет, сэр. Это изобретение меня больше не интересует. Я уже почти догадался, как надо изготавливать такие стекла, но с ними столько хлопот, что мне надоело возиться.

— Вот этого-то я и боялся, сынок. А как насчет куриного корма? Ты ведь, кажется, собирался придумать такой корм, от которого менялся бы цвет яичной скорлупы?

— Да, сэр. И мне почти удалось найти нужный состав, но куры от него почему-тодохнут; так что пока я отложил это дело, хотя, возможно, еще вернусь к нему, когда разузнаю, как лучше изготавливать нужную смесь.

— И какие же у тебя теперь планы? Или никаких?

— Есть, даже целых три или четыре. Все они неплохие и вполне осуществимы, но требуют ужасно много возни и, кроме того, денег. Зато, конечно, как только земля будет продана...

— Эмилия, ты как будто хотела что-то сказать?

— Да, сэр. Если вы не против, я могу поехать в Сент-Луис. Все-таки еще одним ртом меньше. Миссис Бакнер давно зовет меня.

— А на какие деньги, дитя мое?

— Она, наверное, вышлет, если вы ей напишете. А возврата долга она бы подождала до...

— Ну, послушаем, что скажет Лора.

Эмилия и Лора были примерно одного возраста — обеим еще не исполнилось восемнадцати лет. Эмилия, хорошенькая голубоглазая блондинка, была по-детски застенчива. Лора, напротив, казалась более зрелой и горделивой, черты ее лица были удивительно правильными и изящными, а белизна кожи оттенялась тем-

ными глазами и волосами; назвать ее хорошенькой было бы неверно — она была по-настоящему красива.

— Я тоже поеду в Сент-Луис, сэр, — сказала Лора. — Я найду способ добраться туда. Я пробью себе дорогу. И я найду способ позаботиться не только о себе, но и сделать что смогу для остальных.

Она проговорила эти слова с величественным достоинством принцессы. Миссис Хокинс любовно посмотрела на нее и улыбнулась, но в ее ответе слышался ласковый упрек:

— Значит, одна из моих девочек хочет оставить нас и зарабатывать себе на жизнь? Тебе нельзя отказать в мужестве, доченька, но будем надеяться, что до этого дело не дойдет.

Глаза девушки засияли любовью. Она выпрямилась, сложила белые руки на коленях и застыла, подобно великолепному айсбергу. Собака Клая высунула из-под стола коричневый нос, желая обратить на себя внимание, и это ей вполне удалось. Жалобно тявкнув, она снова укрылась под столом; айсберг остался холоден и равнодушен...

Незадолго перед тем судья Хокинс написал Клаю, прося его приехать и принять участие в домашнем совете. Клай приехал на следующий вечер после только что описанной сцены, и вся семья восторженно встретила его. Он привез столь необходимую помощь: около двухсот долларов, отложенных им за полтора года труда.

Словно луч солнца прорвался сквозь тучи, и всей семье, не привыкшей унывать, показалось, что этот луч сулит им ясные небеса.

На другое утро все весело хлопотали, собирая Вашингтона в дорогу, — все, кроме самого Вашингтона, который сидел в стороне погруженный в мечты. Когда наступила минута прощанья, стало особенно ясно, как все любят его и как неохотно расстаются с ним, хотя в прежние, школьные, годы его уже не раз провожали в Сент-Луис. Они привычно, как нечто само собой разумеющееся, взяли на себя всю тяжесть сборов; им даже в голову не приходило, что и он мог бы принять в них участие. И тоже как нечто само собой разумею-

пееся, Клай пошел и нанял лошадь с телегой, а когда все прощальные слова были сказаны, взвалил на телегу пожитки Вашингтона и повез изгнанника в Суонси.

Там он оплатил его проезд в дилижансе, усадил и помахал ему вслед рукою. Затем он вернулся домой и отчитался перед семьей, как исполнительный комитет перед законодательным собранием.

Несколько дней Клай оставался дома. Он много раз обсуждал с матерью денежные дела семьи и беседовал с отцом на ту же тему, правда только один раз. Клай обнаружил в нем большие и горестные перемены: постоянные превратности судьбы сделали свое дело, каждая новая неудача подрывала силы и угнетала дух его отца, а последнее бедствие, казалось, окончательно убило в нем все чаяния и надежды; он уже не вынашивал никаких проектов, не строил никаких планов — жизнь доконала его. Выглядел он усталым и измученным. Он поинтересовался успехами Клая и его видами на будущее и, убедившись, что дела у сына идут неплохо, а в будущем, надо полагать, пойдут и того лучше, легко примирился с мыслью, что отныне Клай будет опорой ему и семье.

— Не забывай справляться, как там наш бедный Вашингтон, — сказал он, — присматривай за ним, Клай, и помогай ему чем можешь.

Все младшие члены семьи тоже, по-видимому, сразу забыли свои горести и готовы были признать Клая своим новым кормильцем. Не прошло и трех дней, как в доме воцарились мир и покой. Деньги Клая — те сто восемьдесят — сто девяносто долларов, которые он привез с собой, — сотворили чудо. Все были веселы и беззаботны, как будто получили целое состояние. Хорошо еще, что деньгами распоряжалась миссис Хокинс, а то они очень быстро пришли бы к концу.

На погашение самых срочных денежных обязательств Хокинса потребовалась лишь небольшая сумма, так как он всегда до смерти боялся влезать в долги.

Когда Клай, распрощавшись с домашними, отправился снова трудиться, он уже отдавал себе полный отчет в том, что с этого дня семья отца перешла на его

попечение; однако он не позволял себе огорчаться, ибо считал, что отец всю жизнь любовно и не скупясь заботился о нем и что теперь, когда неудачи сломили его, помогать ему должно быть не тягостно, а отрадно. Младших детей растили и воспитывали белоручками. Их не научили заботиться о себе; им и сейчас не приходило в голову, что пора об этом подумать.

Девушкам ни при каких обстоятельствах не позволили бы зарабатывать себе на жизнь: Хокинсы — южане, в их жилах течет благородная кровь, и если бы кто-нибудь из их семьи, не считая, конечно, Лоры, высказал подобную мысль, его попросту сочли бы сумасшедшим.

ПОЛКОВНИК СЕЛЛЕРС СТРОИТ ПЛАНЫ ОБОГАЩЕНИЯ

Via, Rescipia! ¹ Пусть она бежит,
Погибнет, сгинет — я верну ее,
Найду беглянку в старой винной бочке!
Осадок, ополоски вин иль пива
Родят ее мне вновь! Вы ж, сэр, чеканьте
Ее из пыли или паутины,
Растите шерсть на скорлупе яичной
Или овес на косточках бараньих —
Авось она вернется!

Бен Джонсон.

Дилижанс, увозивший Вашингтона со всеми его пожитками и надеждами, под веселое дуденье рожка мчался по улицам Суонси, и полгорода любовалось этим зрелищем из окон или дверей. Но как только дилижанс выехал за городскую черту, он сбавил ход и до следующей деревушки тащился еле-еле; у околицы рожок снова весело задудел, и экипаж с грохотом по-несся мимо домов. Это повторялось каждый раз, когда дилижанс подъезжал или отъезжал от очередной почтовой станции. Недаром в те времена дети вырастали уверенные, что дилижансы всегда бешено мчатся и что рожок всегда весело трубит. Впрочем, они также верили, что пираты бросаются в бой в своих лучших,

¹ Прочь, корысть! (*лат.*)

«воскресных», одеждах, с черным флагом в одной руке и с пистолетом в другой, — на картинках пиратов изображали именно так. Однако, по мере того как годы надеялись их холодной житейской мудростью, иллюзии рассеивались, и они узнавали, что дилижанс — это просто жалкое, неуклюжее сооружение, которое тащится по бесконечным пустынным дорогам, а пираты — когда они попадают не на картинках, а в жизни — всего лишь оборванные и нисколько не романтические бродяги.

Под вечер дилижанс въехал в Хоукай с подобающей скоростью и торжественным грохотом, что было вполне понятно и уместно, ибо для центрального Миссури Хоукай мог считаться вовсе не таким уж маленьким городком. Усталый и проголодавшийся Вашингтон выбрался из экипажа и распрямил затекшие конечности, ломая голову над тем, что делать дальше. И тут же облегченно вздохнул: в конце улицы показался полковник Селлерс, — не прошло и минуты, как он, запыхавшись, подбежал к стоянке.

— Рад тебя видеть, Вашингтон, — заговорил он, — просто счастлив видеть тебя, мой мальчик, да хранит тебя бог! Письмо твое получил. Поджидал тебя. Слышал почтовый рожок, но не мог сразу бежать — разговаривал с одним человеком; он затеял грандиозное дело, хочет, чтобы я вложил в него кое-какой капитал, и, поверь мне, я мог бы найти ему худшее, гораздо худшее применение. Нет, нет, оставь свой багаж в покое, сейчас я все улажу. Эй, Джерри, ты не занят? Ну так взвали на спину это сокровище и ступай за мной. Идем, Вашингтон. Боже, как я рад тебя видеть! Жена и дети ждут тебя не дождутся. Да они тебя и не узнают, так ты вырос! Надеюсь, дома все здоровы? Вот и хорошо, рад слышать. Мы все собирались съездить повидаться с вами, но уж очень много дел, и все они не из тех, которые можно кому-нибудь передоверить. Так и откладываешь поездку со дня на день. А какие в этих краях возможности! Господи боже мой, здесь деньги можно загребать лопатой! Вот мы и пришли, вот тут и обретается династия Селлерсов. Сваливай все на крыльцо, Джерри. Чернее его нет негра во всем Миссури, Вашингтон, но сердце у него доброе, — он

славный малый, этот Джерри! Ты, наверное, ждешь свои десять центов, Джерри? Правильно: всякий, кто работает на меня... Всякий, кто... Не в тот карман полез я, что ли? Всякий, кто... Куда это мой кошелек запропастился? Всякий... Ничего не понимаю! А, вспомнил! Я его забыл в банке, и убей меня бог, если я не оставил там же свою чековую книжку; недаром Полли говорит, что мне нужна нянька. Ну ладно, дай-ка мне десять центов, Вашингтон, если у тебя есть... Спасибо. А теперь беги, Джерри, а то когда ты рядом, сумерки наступают на полчаса раньше! Неплохая шутка, а? Совсем неплохая! Вот он, Полли! Дети, Вашингтон приехал! Только не проглотите его за один присест, оставьте немного на ужин! Добро пожаловать, мой мальчик! Добро пожаловать в дом, который почитает за честь принять сына лучшего из людей, живущих на земле. Сай Хоккинс всегда был мне хорошим другом, и, полагаю, я вправе говорить, что если только мне представлялся случай привлечь его к выгодному делу, я привлекал его с радостью и охотой. Ведь это я устроил ему сделку с сахаром. Все было задумано великолепно, жаль только, что мы придерживали сахар дольше, чем нужно!

Так оно и было — именно стремление «придерживать» и разорило партнеров. Самым печальным во всей истории было то, что никогда прежде они не теряли столько денег: в тот год Селлерс сбыв в Новом Орлеане партию мулов с большой прибылью, в тот раз ему сопутствовала настоящая удача. Самым разумным, конечно, было бы не впутываться в торговлю сахаром, а вернуться домой и по-прежнему заниматься мулами. Селлерс же, погнавшись за двумя зайцами, упустил обоих. Иначе говоря, в ожидании высоких цен он придерживал сахар до тех пор, пока, можно сказать, не упустил его, продав по самой низкой цене. Эта катастрофа в свою очередь привела к тому, что он упустил мула, снесшего золотое яичко (последнее — всего лишь метафора и, надо надеяться, не будет истолковано превратно). Селлерс вернулся домой бодрым, но с пустыми карманами, а торговля мулами перешла в другие руки. После этого шериф описал

имущество Хокинсов и продал его с молотка, а убитые горем Хокинсы стали свидетелями того, как дядя Дэн и его жена перешли к работоторговцу. Тот угнал их далеко на юг, и больше Хокинсы никогда не видели своих верных слуг. Они чувствовали себя так, будто это их собственную плоть и кровь продали на чужбину.

Кирпичный дом Селлерса — двухэтажный дом с мезонином, выстроенный в более изящном стиле, чем все соседние, — очень понравился Вашингтону. Рой маленьких Селлерсов торжественно повел Вашингтона в гостиную, а родители шли сзади, обняв друг друга за талию.

Все семейство было одето скромно, даже бедно; по всему было видно, что платье уже основательно послужило им, хотя и сейчас оставалось чистым и опрятным. Цилиндр полковника потерял весь ворс и лоснился от постоянной чистки, однако сохранил нечто такое, что заставляло верить, будто его только что принесли из магазина. Остальные предметы туалета полковника тоже потеряли ворс и лоснились, но и они выглядели так, будто весьма довольны собой и снисходительно сочувствуют всякому другому платью.

В комнате становилось темно, давала себя знать вечерняя прохлада. Селлерс сказал:

— Снимай пальто, Вашингтон, подсаживайся поближе к печке и устраивайся поудобней. Считай, что ты под родным кровом, мой мальчик! Сейчас в печке запылает огонь. Зажги лампу, Полли, и нам сразу станет весело. Я так рад видеть тебя, Вашингтон, словно потерял тебя сто лет назад, а сейчас снова нашел!

Полковник сунул спичку в маленькую, жалкую печурку и подпер кочергой дверцу, петли которой давно вышли из строя. Вделанный в дверцу небольшой квадратик слюды тускло засветился. Миссис Селлерс зажгла дешевую лампу под аляповатым абажуром, отчего мрак почти рассеялся, и все уселись поближе к свету, включив и печурку в свой тесный дружеский круг.

Дети тормошили Селлерса, карабкались на него, ласкали, и он в ответ тоже осыпал их ласками. Дет-

ские мордашки, руки и ноги скрывали полковника от взоров окружающих, но сквозь гомон и смех все же пробивался его голос: речь Селлерса текла непрерывной струей, неустойчиво и жизнерадостно; его кошечка-жена сидела рядом и, не отрываясь от вязанья, слушала мужа со счастливым и гордым видом, словно внимала оракулу или слову божьему и вкушала благодарной душой хлеб жизни. Детишки понемногу затихли, собрались вокруг отца и, опершись локтями на его колени, ловили каждое слово, будто из уст его неслась музыка небесных сфер.

Вся обстановка комнаты состояла из старой волосяной кушетки необычайно унылого вида, нескольких поломанных стульев, столика, на котором стояла лампа, и покалеченной печурки. На полу не было ковра, а предательские четырехугольные пятна на стене, выделявшиеся кое-где на фоне выцветшей краски, говорили о том, что некогда здесь висели картины. Никаких безделушек и украшений в доме не было, если не считать украшением часы, которые, отбивая время, ошибались не меньше чем на пятнадцать ударов, а стоило стрелкам дойти до двадцати двух минут любого часа, как они непременно сцеплялись и продолжали дальнейший путь уже вместе.

— Замечательные часы! — проговорил Селлерс, вставая, чтобы завести их. — Мне за них предлагали... Э, да ты просто не поверишь, сколько мне предлагали за них. Когда старый губернатор Хейджер встречает меня, он всякий раз говорит: «Что же вы, полковник! Назначайте наконец свою цену! Я от ваших часов не отступлюсь». Но боже мой, это все равно что продать жену! Однажды я... Т-с-с! Они начинают бить! Прошу публику соблюдать тишину! Их все равно не перекричишь, приходится набираться терпения и ждать, пока они не выскажутся до конца. Так вот, как я уже говорил, однажды.. Тише, они снова начинают — девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать... Ага, вот и все. Однажды я, значит, говорю старому судье... Ну, ну, бейте себе на здоровье, не обращайтесь на меня внимания! Как тебе нравится их бой, Вашингтон? Сочный, гулкий! Он и мертвого разбудит.

Спать? Нет, брат, это то же самое, что пытаться заснуть на фабрике, где изготовляют грома небесные! Ты только послушай! Теперь они пробьют сто пятьдесят раз подряд, не меньше. Других таких часов не сыщешь во всем подлунном мире!

Слова Селлерса несколько утешили Вашингтона, так как нескончаемый звон действовал на него угнетающе, хотя всему семейству Селлерсов он доставлял, по-видимому, только удовольствие, и чем усерднее часы, по выражению хозяина, «давали жару» и чем невыносимее становился трезвон, тем в больший восторг приходило семейство полковника. Когда наконец наступила тишина, миссис Селлерс обратила к Вашингтону сиявшее наивной гордостью лицо и сказала:

— Часы достались ему от бабушки.

Взгляд ее, которым сопровождалась эти слова, яснее ясного говорил, что от Вашингтона ждут удивления и восхищения, и потому он сказал первое, что пришло в голову:

— Неужели?

— Да, да! Правда, папа? — воскликнул один из близнецов. — А мне она была прабабушкой, и Джорджу тоже; правда, папа? Мы-то ее никогда не видели, а сестрица видела, когда была совсем маленькой; правда, сестрица? Она ее видела раз сто! Прабабушка была ужасно глухая, а сейчас она уже умерла; правда, папа?

И тут началось настоящее вавилонское столпотворение: все дети заговорили разом, стараясь сообщить Вашингтону все, что знали о покойнице; и беспорядок скоро принял устрашающие размеры, но никто не думал подавлять его или даже осуждать; однако главный близнец скоро перекричал остальных детей и стойко держался один против всех:

— А теперь это наши часы, и внутри у них всякие колесики и еще такая штучка, которая трепыхается, как только они начинают бить; правда, папа? Прабабушка умерла, когда почти никого из нас еще и в помине не было; она была баптисткой Старой Школы, и у нее было полным-полно бородавок... спросите у папы, если не верите. А еще у нее был дядя, лысый и

принадочный. Нам-то он не дядя; не знаю, кем он нам приходился — каким-нибудь родственником, наверно; папа его видел тысячу раз, — правда, папа? А у нас был теленок, который ел яблоки и жевал кухонные полотенца, а если вы останетесь здесь, то увидите столько похорон! Правда, сестрица? А вы когда-нибудь видели пожар? Я-то видел. Однажды мы с Джимом Терри...

Но тут заговорил Селлерс, и столпотворение прекратилось. Полковник принялся рассказывать о грандиозном предприятии, в которое собирался вложить кое-какой капитал и по поводу которого к нему приезжали советоваться банкиры из самого Лондона; и скоро он уже строил сверкающие пирамиды из долларов, а Вашингтон, покоренный его волшебным красноречием, мало-помалу начал чувствовать себя богачом. Однако холод все сильнее давал себя знать. Вашингтон уселся как можно ближе к печке, но, несмотря на то, что слюдяная дверка продолжала мягко и спокойно светиться, он не мог убедить себя, что ощущает хоть немного тепла. Он попытался пододвинуться еще ближе, задел кочергу, и дверца свалилась на пол. И тут он сделал необычайное открытие: оказалось, что печка пуста, в ней нет ничего, кроме горящей сальной свечи!

Бедняга готов был провалиться сквозь землю. А полковник растерялся только на мгновение и тут же снова обрел голос:

— Моя собственная идея, Вашингтон, великолепнейшая вещь, скажу я тебе. Обязательно напиши о ней отцу, — только не забудь. Я тут как-то прочел несколько отчетов европейских научных обществ, мне их высылают граф Фужье — чего только он не присылает мне из Парижа! — он, знаешь ли, очень высокого мнения обо мне, этот Фужье... И вдруг вижу: Французская Академия, исследуя свойства тепла, пришла к выводу, что оно не проводник, или что-то в этом роде, и поэтому, вполне естественно, должно оказывать пагубное влияние на людей с легко возбудимой нервной системой, особенно склонных к ревматизму. Храни тебя бог, мальчик! Я в одну минуту понял, что со всеми нами творится, и тут же сказал: долой все огни из печек! Не желаю я подвергать себя медленной

пытке и верной смерти, нет, сэр! Человеку нужно не само тепло, а только видимость тепла, — вот в чем моя идея. Осталось только придумать, как претворить ее в жизнь. Пораскинул я мозгами, поломал голову пару деньков, и вот вам — пожалуйста! Ревматизм? В нашем доме теперь так же невозможно заболеть ревматизмом, как заставить заговорить мумию. Печка со свечой внутри и прозрачная дверца — вот что спасло мою семью! Не забудь же написать отцу, Вашингтон. И подчеркни, что это моя идея. Полагаю, я ничуть не тщеславнее других, но ведь вполне естественно, что, сделав такое открытие, человек ищет признания своих заслуг.

Посиневшими от холода губами Вашингтон проговорил, что непременно напишет, но в глубине души решил, что ни при каких обстоятельствах не станет поощрять подобное безумие. Он пытался убедить себя, что это изобретение полезно для здоровья, в чем более или менее преуспел, — но так и не сумел понять, что лучше: в добром здравии помереть от холода или заболеть ревматизмом.

ВАШИНГТОН ХОКИНС В ГОСТЯХ У ПОЛКОВНИКА
СЕЛЛЕРСА

Whan pe borde is thynne, as of seruyse,
Nought replenished with grete diuersite
Of mete & drinke, good chere may then suffice
With honest talkyng... «The Book of Curtesye»¹.

М а м м о н. Идемте, сэр. И в Novo Orbe² мы
Сойдем на берег. Перу перед вами —
Богатый край! Там — золотые копи,
Офир, открытый древле Соломоном.

Бен Джонсон, Алхимик.

Ужин в доме полковника Селлера сначала мог показаться далеко не роскошным, но при более близком ознакомлении становился все лучше и лучше. Иначе говоря, то, что Вашингтон с первого взгляда принял за низменный заурядный картофель, оказалось сельскохозяйственным продуктом, вызвавшим у него благоговейный трепет, ибо выращен он был в каком-то заморском княжеском огороде, под священным

¹ Коль стол не ломится от яств и серебра

И нет вина, чтоб душу веселить,

То потчуй гостя с ночи до утра

Беседой честной... — «Книга изящного обхо-
ждения» (староангл.).

² В Новом Свете,

надзором самого князя, который и прислал его Селлерсу; лепешки были из кукурузной муки, а кукуруза эта произрастала в одном-единственном, избранном уголке земного шара, и раздобыть такую кукурузу могли только избранные; бразильский кофе, сперва показавшийся Вашингтону отвратительной бурдой, приобрел более приятный вкус и аромат после того, как гость, следуя совету Селлера, стал пить его маленькими глотками, дабы по достоинству оценить напиток, — ведь недаром этот кофе из личных запасов одного бразильского аристократа... как, бишь, там его... Уста полковника, словно волшебный жезл, превращали сушеные яблоки в инжир и воду в вино с такой же легкостью, с какой они могли превратить любую лачугу во дворец, а нынешнюю нищету в грядущие богатства.

Вашингтон лег спать в холодную постель в комнате, где даже ковра на полу не было, а проснулся утром во дворце; во всяком случае, он оставался дворцом, пока Вашингтон протирает глаза и вспоминал, где он находится; но потом дворец исчез, и юноше стало ясно, что зажигательные речи полковника навеяли на него волшебный сон. Накануне он устал и потому проснулся поздно; войдя в гостиную, он сразу заметил, что старой волосяной кушетки уже нет, а за завтраком полковник небрежно швырнул на стол долларов семь бумажками, пересчитал их, промолвил, что наличные у него кончаются и надо бы заглянуть в банк, и снова сунул деньги в бумажник с безразличным видом человека, привыкшего к крупным суммам. Завтрак был ничуть не лучше ужина, но полковник заговорил и постепенно превратил его в восточное пиршество. Наконец он сказал:

— Я намерен позаботиться о тебе, мой мальчик. Вчера я подыскал тебе одно местечко, но сейчас речь не о нем. Это просто для начала, на кусок хлеба с маслом — только и всего! Нет, когда я говорю, что намерен позаботиться о тебе, я имею в виду совсем другое. Я собираюсь открыть перед тобою такие перспективы, по сравнению с которыми этот заработок покажется жалким пустяком. Я помогу тебе нажить столько

денег, что ты не будешь знать, куда их девать. Когда мне что-нибудь подвернется, ты должен быть здесь, поблизости. У меня уже наклеиваются грандиозные комбинации, но я пока помалкиваю, — опытный игрок никогда лишнего не сболтнет, чтобы никто не догадался, какие у него козыри на руках и с какой карты он пойдет. Всему свое время, Вашингтон, всему свое время. Ты еще увидишь. Намечается неплохое дельце с кукурузой. Кое-кто из моих нью-йоркских приятелей уговаривает меня вступить в долю: скупить весь урожай на корню, а потом диктовать свои цены рынку, — очень неплохая штука, скажу я тебе. И нужны-то сущие пустяки: всего каких-нибудь два — два с половиной миллиона. Я им еще ничего не обещал; да и к чему спешить: чем я равнодушнее, тем сильнее хочется им меня заполучить. Есть у меня на примете и кое-что покрупнее: насчет свиней. Наши люди незаметно действуют (последняя фраза прозвучала весьма внушительно), шныряют везде и всюду, договариваются с фермерами по всему Западу и Северо-Западу, контрактуют поголовье свиней; другие посредники потихоньку ведут переговоры с предпринимателями. А когда мы приберем к рукам всех свиней и все бойни — фью! — тогда денег будет столько, что и на трех пароходах не увезешь! Я уже все изучил, подсчитал шансы за и против; и хотя я пока еще качаю головой и, на первый взгляд, колеблюсь и взвешиваю, я твердо решил: если удастся обойтись капиталом в шесть миллионов долларов, то денежки надо ставить именно на эту лошадку! Да что говорить, Вашингтон: каждому ясно, что денег тут целый Атлантический океан со всеми его бухтами и заливами в придачу. Но есть у меня кое-что и покрупнее этого, крупнее, чем...

— Что вы, полковник, куда же еще крупнее! — воскликнул Вашингтон, у которого загорелись глаза. — Как бы я хотел взяться с вами вместе хоть за какое-нибудь из ваших грандиозных начинаний. Будь у меня только деньги! Обидно чувствовать себя связанным по рукам и ногам, скованным, раздавленным проклятой нищетой, когда перед тобой открываются такие блестящие возможности! Что может быть хуже бед-

пости? Только не бросайте эти великоленные дела, полковник; даже я вижу, что они сулят богатство. Не бросайте их ради других, может быть более заманчивых, но на самом деле более рискованных. На вашем месте я бы держался за них. Эх, если бы отец был сейчас таким, как прежде! Я бы обязательно вызвал его сюда. Такого случая у него никогда в жизни не было. Нет, полковник, ничего лучшего вы не найдете, это просто невозможно!

Мягкая сочувственная улыбка заиграла на лице полковника, и он перегнулся через стол с видом человека, который сейчас «откроет тебе глаза», и притом сделает это легко и просто.

— Послушай, Вашингтон, мой мальчик, все эти дела сущие пустяки. Они только *кажутся* крупными, да и то лишь новичку; а для человека, привыкшего к широкому размаху, они — пшик! Конечно, ими можно заняться часок-другой на досуге, когда под рукой нет ничего лучшего, и пустить в ход капитал, который пока не находит себе применения, в ожидании чего-либо настоящего, но... Слушай меня внимательно, я объясню тебе, что такое «настоящее дело», как понимаем его мы, старые дельцы. Вот, например, предложение Ротшильдов, — это, конечно, между нами...

Вашингтон нетерпеливо закивал головой, а его горящие глаза говорили: «Да, да, я все понимаю, говорите же!»

— ...Я ни за что не хочу, чтобы о нем стало известно. Они предлагают мне вместе с ними втихомолку — их человек приезжал сюда недели две тому назад, — вместе с ними втихомолку (тут голос Селлера снизился до многозначительного шепота) скупить сто тринадцать банков в штатах Огайо, Индиана, Кентукки, Иллинойс и Миссури — те, что занимаются аферами; сейчас бумаги этих банков обесценены, их можно приобрести в среднем за сорок четыре процента номинала, — так вот, скупить их, а потом вдруг взять и выпустить кота из мешка. Фью-у-у! Тут их бумаги одним махом подскочат в цене, да как! До самых небес! Прибыль от этой операции будет сорок миллионов и ни долларом меньше! (Красноречивая пауза —

Вашингтон должен прочувствовать все великолепие открывающейся перед ним картины.) А ты говоришь о свиньях! Дорогой мой, наивный мой мальчик, ведь после этого нам остается только посиживать на крыльчке и торговать банками оптом и в розницу, словно спичками!

Вашингтон, у которого захватило было дух, обрел наконец голос.

— Да это же просто поразительно, — заговорил он. — Почему моему отцу ни разу не представился такой случай? А я... Я ничего не могу сделать! Счастье улыбается мне на каждом шагу и дразнит меня. Я никак не поймаю его, и мне приходится лишь смотреть, как другие пожинают чудесные плоды.

— Ничего, Вашингтон, не расстраивайся. Я помогу тебе. Таких предложений сколько угодно. У тебя много денег?

Мысли Вашингтона были еще так полны банками и миллионами, что он невольно покраснел, когда ему пришлось признаться, что все его достояние — восемнадцать долларов.

— Ну ничего, не отчаивайся. Другим приходилось начинать с меньшего. Есть у меня в голове одна идейка, которая со временем может дать кое-что нам обоим. Береги свои денежки и добавляй к ним все что сумеешь. А я их приумножу. От нечего делать я тут экспериментировал — изобрел средство для лечения глаз; получился своего рода эликсир, в котором девять частей воды и одна часть — химикалии, ценою не дороже доллара за бочку. Я и сейчас продолжаю опыты; не хватает всего лишь одного ингредиента, но почему-то именно его я никак не могу подобрать, а к аптекарю я, понятно, не хочу обращаться. Но я уже близок к успеху и ручаюсь, что через несколько недель вся страна будет благословлять «Непогрешимый Восточный Глазной Эликсир Бирайи Селлерса. Спасение для Больных Глаз. Медицинское Чудо Нашего Века!» Маленький флакон — пятьдесят центов, большой — один доллар. Затраты в среднем: на маленький флакон — пять центов, на большой — семь. Сбыт за первый год, скажем, десять тысяч флаконов в Миссури, семь тысяч

в Айове, три тысячи в Арканзасе, четыре тысячи в Кентукки, шесть тысяч в Иллинойсе и, скажем, двадцать пять тысяч флаконов во всех остальных штатах. Итого пятьдесят пять тысяч флаконов; чистая прибыль, за вычетом всех расходов, по самым скромным подсчетам — двадцать тысяч долларов. И нужно для этого только... скажем, полтораста долларов для производства первых двух тысяч флаконов. А потом уж деньги потекут рекой. На следующий год сбыт достигнет двухсот тысяч флаконов, а чистая прибыль — примерно семидесяти пяти тысяч долларов; тем временем можно строить большую фабрику в Сент-Луисе стоимостью, скажем, в сто тысяч долларов. На третий год мы легко могли бы продать миллион флаконов в Соединенных Штатах и...

— Это же замечательно! — воскликнул Вашингтон. — Давайте начнем немедленно! Давайте...

— ...миллион флаконов в Соединенных Штатах: прибыль — самое малое триста пятьдесят тысяч долларов... И вот тут-то подойдет самое время начать *настоящее* дело.

— Настоящее? Разве триста пятьдесят тысяч долларов в год — это не настоящее?..

— Чепуха! Ты суший младенец, Вашингтон! Наивный, близорукий, нетребовательный простачок! Впрочем, что спрашивать с бедного несмышленища, выросшего в деревенской глуши! Неужели ты думаешь, что я стал бы тратить столько сил ради тех жалких крох, которые перепадут нам здесь, в Америке? Разве я похож на человека, который... Разве мое прошлое говорит, что я из тех, кто довольствуется малым, чей кругозор ничуть не шире кругозора серой бездарной толпы, неспособной видеть дальше своего носа? Уж ты-то понимаешь, что я не из их числа, что для меня это невозможно. Тебе бы следовало знать, что если я решусь посвятить свое время и способности изготовлению патентованного средства, то это будет такое патентованное средство, которое распространится по всему миру. Им будут пользоваться все народы во всех уголках земного шара! Что такое одна Америка для глазного эликсира? Бог с тобой, мой мальчик, это

же всего лишь безлюдный тракт, который надо пройти, прежде чем доберешься до *настоящего* рынка! Ведь в странах Востока людей несчетное множество, как песку в пустыне; на каждой квадратной миле кишат тысячи страждущих, и все до одного больны офтальмией! Эта болезнь для них так же естественна, как грехи, как нос на лице человека. Они рождаются с офтальмией, живут с нею и подчас умирают, не нажив ничего другого. Три года предварительных торговых операций на Востоке, и к чему мы придем? Наши передовые части проникнут в Константинополь, а тыловые займут Малайский архипелаг. Фабрики и склады в Каире, Исфагани, Багдаде, Дамаске, Иерусалиме, Иеддо, Пекине, Бангкоке, Дели, Бомбее и Калькутте! Годовой доход... Один бог знает, сколько миллионов придется на брата!

Вашингтон был поражен и ошеломлен. Мысли его витали в далеких заморских странах, а перед глазами проносились такие груды шелестящих и звенящих денег, что он чувствовал себя так, словно очень долго кружился и, внезапно остановившись, увидел, что все вокруг продолжает кружиться в стремительно вращающемся вихре. Однако мало-помалу Селлерсы перестали мелькать перед его глазами и заняли свои прежние места, а комната, потеряв весь блеск, стала такой же убогой, как прежде. И только тогда юноша вновь обрел голос и принялся уговаривать Селлерса бросить все остальные дела и скорее закончить глазной эликсир. Он вынул свои восемнадцать долларов и попытался заставить полковника взять их; он упрашивал и умолял Селлерса, но тот не соглашался. Этот капитал — полковник в присущей ему величественной манере называл восемнадцать долларов капиталом, — этот капитал ему не понадобится до тех пор, пока эликсир не станет реальностью. Но он успокоил Вашингтона, заверив его, что обратится к нему за деньгами, как только завершит свое изобретение, и добавил, к радости Вашингтона, что, кроме него, он никого больше не возьмет в долю.

К концу завтрака Вашингтон только что не молился на Селлерса. Этот юноша был из тех, кто се-

гедня возносится мечтою в небеса, а завтра посыпает голову пеплом. Сейчас он витал в облаках. Полковник собирался отвести его в контору, где он подыскал ему местечко, но Вашингтон упросил его подождать несколько минут, пока он напишет домой; такие люди, как он, живут только интересами сегодняшнего дня, отдавая им все свои помыслы, и легко отметают от себя все, что волновало их вчера, — это у них в крови. Вашингтон побежал наверх и принялся с воодушевлением писать матери о свиньях и кукурузе, о банках и глазном эликсире, в каждом случае накидывая сверх расчетов Селлерса еще парочку-другую миллионов. Люди и представления не имеют, что за человек полковник Селлерс, писал он, а когда мир узнает его, все ахнут от удивления. Закончил он письмо следующими словами:

«Поэтому успокойся, мама, и не волнуйся ни о чем. Скоро у тебя будет все, что ты захочешь, и даже больше. Уж для тебя-то я ничего не пожалею, можешь не сомневаться. Эти деньги предназначены не для меня одного, а для всей семьи. Мы поделим их поровну, и у каждого из нас будет столько, сколько одному человеку никогда не истратить. Сообщи обо всем отцу, но только очень осторожно; ты сама понимаешь, как важна здесь осторожность, — после всех пережитых неудач он в таком состоянии, что хорошие вести могут выбить его из колеи даже скорее, чем плохие: ведь к плохим-то он привык, а хороших не слышал давным-давно. Расскажи Лоре и всем нашим. И напиши Клаю, если он еще не вернулся. Можешь написать ему, что я охотно поделюсь с ним всем, что у меня будет. Он знает это и так, и мне не придется клятвенно заверять его в искренности моих слов. Будь здорова. И помни: вам больше не о чем волноваться и беспокоиться, скоро наши беды придут к концу».

Бедный Вашингтон! Он и понятия не имел, что его любящая мать прольет не одну сочувственную слезу над его посланием и перескажет остальным членам семьи только ту его часть, где говорилось о любви

к ним Вашингтона, но почти ни словом не обмолвится о его планах и надеждах. Он и помыслить не мог, что, получив такое радостное письмо, она опечалится и будет вздыхать всю ночь напролет, думая горькие думы и с тревогой заглядывая в будущее.

Закончив письмо, Вашингтон спустился к полковнику, и они отправились в путь; по дороге Вашингтон узнал, что его ожидает. Он будет клерком в конторе по продаже недвижимого имущества. Непостоянный юноша мгновенно предал забвению глазной эликсир, и мысли его вновь унеслись к теннессийским землям. Необыкновенные перспективы, которые сулят эти обширные владения, так захватили Вашингтона, что он с трудом заставлял себя прислушиваться к словам полковника и улавливать их смысл. Он радовался, что поступает в контору по продаже недвижимого имущества, — теперь-то его будущее обеспечено.

Полковник рассказал ему, что генерал Босуэл очень богат, у него солидное и процветающее дело; работа у Вашингтона будет нетрудная, получать он будет сорок долларов в месяц, а жить и питаться ему предстоит в семье генерала, что равноценно надбавке по крайней мере в десять долларов, если не больше, ибо даже в «Городском отеле» он не получит таких удобств, хотя в этой гостинице за приличную комнату с пансионом дерут пятнадцать долларов.

Генерала Босуэла они застали в конторе, уютной комнате, сплошь увешанной планами земельных участков; какой-то человек в очках вычерчивал за длинным столом еще один план. Контора помещалась на главной улице Хоукая. Генерал принял Вашингтона доброжелательно, но сдержанно. Он очень понравился Вашингтону. Это был осанистый, хорошо сохранившийся и прекрасно одетый человек лет пятидесяти. После того как полковник распрощался, генерал еще немного поговорил с Вашингтоном, главным образом о предстоящих ему обязанностях. Из ответов

Вашингтона он с удовлетворением заключил, что новый клерк сумеет вести конторские книги и что, хотя его познания в области бухгалтерии пока чисто теоретические, опыт быстро научит его применять теорию на практике. Потом пришло время обеда, и они вдвоем направились к дому генерала. Вашингтон заметил, что невольно старается держаться не то чтобы позади генерала, но и не совсем рядом, — горделивая осанка и сдержанные манеры пожилого джентльмена не располагали к фамильярности.

СКВАЙР ХОКИНС УМИРАЕТ, ЗАВЕЩАВ ДЕТЯМ ЗЕМЛИ
В ТЕННЕССИ

Quando ti veddi per la prima volta,
Parse che mi s'aprisse il paradiso,
E venissano gli angioli a un per volta
Tutti ad apporsi sopra al tuo bel viso,
Tutti ad apporsi sopra il tuo bel volto;
M'incatenasti, e non mi so'anco sciolto.

J. Caselli, Chants popul. de l'Italie¹.

Yvmohmi hoka, himak a yakni ilvppvt
immi ha chi ho...²

— Tajma kittôrnaminut innèiziung-
nærame, isikkæne sinikbingmum illièj,
annerningærdlunilo siurdliminut piok.

Mos. Agl. Sundt, 49, 33³.

Шагая по улице, Вашингтон предавался мечтам, и воображение его стремительно переносилось от зерна к свиньям, от свиней к банкам, от банков к главному

¹ Тебя увидел я — и предо мною
Открылся рай, и показалось мне,
Что ангелы небесные толпою
Слетаются в глубокой тишине
И вьются над твоею головою.

И я в цепях — навек теперь с тобою. — И. К а с е л л и, Народные песни Италии (*итал.*).

² Раздели землю сию в удел девяти коленам... (*на языке индейцев чоктау.*)

³ И кончил Иаков завещание сыновьям своим, и положил ноги свои на постель, и скончался, и приложился к народу своему. — Первая книга Моисеева, Бытие, 49, 33 (*на языке гренландских эскимосов.*).

эликсиру и от глазного эликсира к землям в Теннесси, останавливаясь на каждом из этих соблазнов только на одно лихорадочное мгновение. Он не замечал ничего вокруг, смутно ощущая лишь присутствие генерала.

Наконец они подошли к лучшему особняку в городе. Это и был дом генерала Босуэла. Вашингтона представили миссис Босуэл, и он уже готов был вновь разнести в туманные выси фантазии, как вдруг в комнату вошла очаровательная девушка лет шестнадцати — семнадцати. Это видение сразу вытеснило из головы Вашингтона сверкающий мусор воображаемых богатств. Женская красота и прежде никогда не оставляла его равнодушным, он не раз влюблялся, а иногда даже был влюблен в одну и ту же девушку несколько недель подряд, но не помнил случая, когда бы сердце его испытало столь внезапное и сильное потрясение.

Всю вторую половину дня Луиза Босуэл не выходила у него из головы, и он то и дело путался в вычислениях. Юноша поминутно ловил себя на том, что погружается в грезы, — ему вновь представлялось ее лицо, когда она впервые появилась перед ним; он слышал ее голос, так его взволновавший, когда она заговорила, и воздух, который окутывал ее, казался ему полным неизъяснимых чар. И хотя сладостные грезы не покидали его весь день, часы тянулись бесконечно, и Вашингтон с нетерпением ждал новой встречи с Луизой. За первым днем последовали другие. Вашингтон отдался охватившей его любви так, как он отдавался всякому увлечению, — не колеблясь и не размышляя. Время шло, и становилось ясно, что он понемногу завоевывает расположение Луизы, — не очень быстро, но, как ему казалось, достаточно заметно. Внимание, которое он оказывал Луизе, слегка беспокоило ее родителей, и они мягко предупредили дочь, не вдаваясь в подробности и ни на кого не намекая, что если девушка связывает свою судьбу с человеком, который не может ее обеспечить, она совершает большую ошибку.

Чутье подсказало Вашингтону, что безденежье может оказаться серьезным, хотя, возможно, и не роко-

вым препятствием на пути осуществления его надежд, и бедность сразу же превратилась для него в такую пытку, перед которой бледнели все прежние его страдания. Теперь он жаждал богатства больше, чем когда-либо раньше.

Раза два он обедал у полковника Селлерса и, с унынием отмечая, что стол становится все хуже не только по качеству, но и по количеству подаваемых блюд, принимал это за верный признак того, что недостающий ингредиент глазного эликсира все еще не найден, — хотя Селлерс всегда объяснял изменения в меню то указаниями врача, то какой-нибудь случайно прочитанной им научной статьей. Так или иначе, недостающего ингредиента по-прежнему не доставало, а полковник по-прежнему утверждал, что он уже напал на его след.

Всякий раз, когда полковник входил в контору по продаже недвижимого имущества, сердце Вашингтона начинало бешено колотиться, а глаза загорались надеждой; однако всегда оказывалось, что полковник всего лишь опять напал на след какой-то грандиозной земельной спекуляции и тут же добавлял, что нужный ингредиент почти у него в руках и он вот-вот сможет назвать день и час, когда на их горизонте забрезжит долгожданный успех. И сердце Вашингтона вновь падало, а из груди вырывался глубокий вздох.

Однажды Вашингтон получил письмо, сообщавшее, что последние две недели судья Хокинс прихварывал и врачи считают его положение серьезным; Вашингтону надо бы приехать домой. Известие это очень опечалило Вашингтона — он любил и почитал отца. Босуэлов тронуло горе молодого человека, и даже генерал смягчился и сказал несколько ободряющих слов. Это уже было некоторым утешением. Но когда Луиза, прощаясь с ним, пожала ему руку и шепнула: «Не огорчайтесь, все будет хорошо; я знаю, все будет хорошо», — несчастье стало для Вашингтона источником блаженства, а наворачнувшиеся на глаза слезы говорили лишь о том, что в груди у него бьется любящее и благодарное сердце; когда же на ресницах Луизы блеснула ответная слеза, Вашингтон с трудом сдержал на-

хлынувшую радость, хотя за минуту до того душа его была переполнена печалью.

Всю дорогу домой Вашингтон лелеял и холил свое горе. Он рисовался себе таким, каким, несомненно, видела его *она*: благородный юноша, пробивающий себе дорогу в жизни и преследуемый несчастьями, стойко и терпеливо ждет приближения грозного бедствия, готовясь встретить удар, как подобает человеку, привыкшему к тяжким испытаниям. От таких мыслей хотелось рыдать еще горестнее, и он мечтал только об одном: чтобы *она* видела, как он страдает.

Не следует придавать особого значения тому, что Луиза, рассеянная и задумчивая, стояла вечером в своей спальне у секретера и снова и снова выводила на листке бумаги слово «Вашингтон». Гораздо важнее было то, что всякий раз, написав это имя, она тут же старательно зачеркивала его и разглядывала зачеркнутое слово так пристально, будто боялась, что его еще можно разобрать, потом снова все перечеркнула и наконец, не удовлетворившись этим, сожгла листок.

Приехав домой, Вашингтон сразу понял, что отец очень плох. Завешенные окна спальни, прерывистое дыхание и стоны больного, шепот родных, ходивших по комнате на цыпочках, чтобы не обеспокоить его, — все это было исполнено печального значения. Миссис Хокинс и Лора дежурили у постели больного уже третью или четвертую ночь; за день до прибытия Вашингтона приехал Клай, который тут же стал помогать им. Кроме них троих, мистер Хокинс никого не хотел видеть, хотя его старые друзья не раз предлагали свои услуги. С приездом Клая были установлены трехчасовые дежурства, и теперь больного не оставляли одного ни днем, ни ночью. Лора с матерью, видимо, уже сильно устали, но ни та, ни другая не соглашалась переложить на Клая хоть какую-нибудь из своих обязанностей. Как-то в полночь он не разбудил Лору на ночное дежурство, но его поступок вызвал такие упреки, что больше он уже на это не решался; Клай понял, что дать Лоре выспаться и не разрешить ухаживать за больным отцом, — значит, лишить ее самых драгоценных минут в жизни; он понял также, что

для нее эти ночные дежурства честь, а вовсе не тяжелая обязанность. И еще он заметил, что, когда часы бьют полночь, взор больного с надеждой обращается к двери, и стоило Лоре задержаться, как в глазах мистера Хокинса появлялось выражение нетерпения и тоски, но он тотчас успокаивался, как только дверь открывалась и Лора входила в комнату.

И без упреков Лоры он понял, что был неправ, услышав обращенные к Лоре слова отца:

— Клай очень добрый, а ты устала, бедняжка... но я так соскучился по тебе...

— Не такой уж он добрый, папа, раз не позвал меня. Будь я на его месте, ни за что бы этого не сделала. Как ты только мог, Клай?

Клай вымолил себе прощение и пообещал больше не обманывать сестру; отправляясь спать, он говорил себе: «У нашей маленькой «герцогини» добрая душа, и глубоко ошибается тот, кто думает удружить ей, намекая на то, что она взялась за непосильное дело. Раньше я этого не знал, но теперь знаю твердо: хочешь доставить Лоре удовольствие, не пытайся помогать ей, когда она выбивается из сил ради тех, кого любит».

Прошла неделя, больной все больше слабел. И вот наступила ночь, которой суждено было положить конец его страданиям. То была холодная зимняя ночь. В густом мраке за окном шел снег, а ветер то жалобно завывал, то в яростном порыве сотрясал дом. Уходя от Хокинсов после очередного визита, доктор в разговоре с ближайшим другом семьи обронил фразу: «Теперь мне тут, кажется, больше нечего делать», — роковую фразу, которую всегда случайно слышит тот, кому меньше всего следовало бы ее слышать и которая одним сокрушительным ударом убивает последнюю, едва теплившуюся надежду... Слякани с лекарствами были убраны, комната аккуратно прибрана в ожидании неизбежной развязки; больной лежал с закрытыми глазами, дыханья его почти не было слышно; родные, дежурившие у постели, вытирали с его лба выступавший по временам пот, и слезы безмолвно текли по их лицам; глубокая тишина лишь изредка нарушалась рыданиями окруживших умирающего детей.

Ближе к полуночи мистер Хокинс очнулся от за-
бытья, огляделся и попытался что-то сказать. Лора
тотчас приподняла голову больного; в глазах его за-
горелись искорки бывшего огня, и он заговорил слабею-
щим голосом:

— Жена... дети... подойдите... ближе... ближе. Свет
меркнет... Дайте взглянуть на вас еще разок.

Родные тесным кольцом обступили умирающего, и
теперь уже никто не мог сдержать слез и рыданий.

— Я оставляю вас в нищете. Я был... так глуп...
так недалёковиден. Но не отчаивайтесь! Лучшие дни
уже недалеко. Помните о землях в Теннесси. Будьте
благоразумны. В них — ваше богатство, несметное бо-
гатство... Мои дети еще выйдут в люди, они будут
не хуже других. Где бумаги? Бумаги целы? Покажите
их, покажите их мне!

От сильного возбуждения голос его окреп, и по-
следние слова он произнес без особого напряжения.
Сделав усилие, он почти без посторонней помощи сел
в постели, но взор его тут же погас, и он в изнемо-
жении упал на подушки. Кто-то побежал за докумен-
тами, их поднесли к глазам умирающего; слабая
улыбка мелькнула на его губах, — он был доволен.
Хокинс закрыл глаза; признаки приближающейся кон-
чины становились все явственнее. Некоторое время он
лежал неподвижно, потом неожиданно чуть приподнял
голову и посмотрел по сторонам, словно пристально
разглядывал мерцающий вдали неверный огонек.

Он пробормотал:

— Ушли? Нет... Я вижу вас... еще вижу... Все... все
кончено. Но вы не бойтесь. Не бойтесь. Теннесс...

Голос его упал до шепота и замер; последняя
фраза осталась незаконченной. Исхудалые пальцы на-
чали щипать покрывало, конец был близок. А через
несколько минут в комнате не было слышно иных зву-
ков, кроме рыданий осиротевшей семьи, да со двора
доносилось унылое завывание ветра.

Лора наклонилась и поцеловала отца в губы в тот
самый момент, когда он выпускал последний вздох.
Но она не зарыдала, не издала ни единого звука, по
лицу ее текли безмолвные слезы. Потом она закрыла

покойнику глаза и скрестила на груди его руки; помедлив, она благоговейно поцеловала его в лоб, натянула на лицо простыню, а затем отошла в сторону и опустилась на стул, — казалось, отныне она покончила все счеты с жизнью, потеряла всякий интерес к ее радостям и печалям и забыла все свои надежды и стремления. Клай зарылся лицом в одеяло; а когда миссис Хокинс и остальные дети поняли, что теперь уже и в самом деле все кончено, они бросились друг к другу в объятия и отдались охватившей их скорби.

ОТКРЫТИЕ ЛОРЫ. МОЛЬБА МИССИС ХОКИНС

Okarbigàlo: «Kia pannigátit? Assar-sara! uamnut nevsoïngoarna...»

Mo. Agleg. Siurdl, 24, 23¹.

Nootah nuttaunes, natwontash,
Kukkeihtash, wonk yeueyu
Wannanum kummissinninumog
Kah Koosh week pannuppu².

La Giannetta rispose: Madama, voi dalla povertà di mio padre togliendomi, come figliuola cresciuta m'avete, e per questo agni vostro piacer far dovrei.

Boccaccio, Decam., Giornata 2, Nov. 8³.

После похорон прошло всего два или три дня, как вдруг произошло событие, которому суждено было изменить всю жизнь Лоры и наложить отпечаток на еще не вполне сложившийся характер девушки.

¹ И сказал: «Чья ты дочь? Скажи мне...» — Первая книга Моисеева, Бытие, 24, 23 (*на языке гренландских эскимосов*).

² Слушай, дочь моя, внимли мне,
Слушай лишь меня отныне,
Позабудь народ свой прежний,
Отчий дом и край родимый (*на языке массачусетских индейцев*).

³ Джанетта отвечала: «Сударыня, вы взяли меня у отца моего и вырастили меня как дочь свою, и за это я должна угождать вам чем только могу». — Боккаччо, Декамерон, день 2, новелла 8 (*итал.*).

Майор Лэкленд был некогда заместной фигурой в штате Миссури и считался человеком редких способностей и познаний. В свое время он пользовался всеобщим доверием и уважением, но в конце концов попал в беду. Когда он заседал в конгрессе уже третий срок и его вот-вот должны были избрать в сенат, — а звание сенатора в те дни считалось вершиной земного величия, — он, отчаявшись найти деньги для выкупа заложенного имени, не устоял перед искушением и продал свой голос. Преступление раскрылось, и немедленно последовало наказание. Ничто не могло вернуть ему доверия избирателей; он был опозорен и погиб окончательно и бесповоротно! Все двери закрылись перед ним, все его избегали. Несколько лет провел он то в мрачном уединении, то предаваясь разгулу, и наконец смерть избавила его от всех горестей; его похоронили вскоре после мистера Хокинса. Майор Лэкленд умер, как и жил последние свои годы, — в полном одиночестве, покинутый всеми друзьями. Родных у него не было, а если и были, то они давно отреклись от него. Среди вещей покойного были обнаружены записки, раскрывшие жителям городка глаза на одно обстоятельство, о котором они прежде и не подозревали, а именно, что Лора не родная дочь Хокинсов.

Сплетники и сплетницы тотчас принялись за работу. В записках только и было сказано, что настоящие родители Лоры неизвестны, но это ничуть не смущало кумушек — напротив, только развязало им языки. Они сами заполнили все пробелы и придумали недостающие сведения. Вскоре в городе только и разговору было, что о тайне происхождения Лоры и о ее прошлом. Ни одна история не походила на другую, но зато все они были одинаково подробны, исчерпывающи, таинственны и занимательны, и все сходились на одном главном выводе: на тайне происхождения Лоры лежит подозрительная, если не сказать позорная, тень. На Лору начали поглядывать косо, отводить глаза при встрече, покачивать головой и чуть ли не показывать на нее пальцем. Все это чрезвычайно озадачивало девушку, но через некоторое время вездесущие сплетни дошли и до ее ушей, и она сразу все поняла. Гор-

дость ее была уязвлена. Сперва она просто удивилась и ничему не поверила. Она уже собралась было спросить у матери, есть ли в этих слухах хоть доля правды, но по зрелом размышлении решила воздержаться. Вскоре ей удалось выяснить, что в записках майора Лэкленда упоминались письма, которыми он, по-видимому, обменивался с судьей Хокинсом. В тот же день она без труда составила план действий.

Вечером Лора подождала в своей комнате, пока все в доме затихло, а затем пробралась на чердак и принялась за поиски. Она долго рылась в ящиках, где хранились покрытые плесенью деловые бумаги, не содержавшие ничего интересного для нее, пока не наткнулась на несколько связок писем. На одной была надпись: «Личное», и в ней она наконец нашла то, что искала. Отобрав шесть-семь писем, она уселась и принялась с жадностью читать их, не замечая, что дрожит от холода.

Судя по датам, все письма были пяти-семилетней давности. Написаны они были майором Лэклендом мистеру Хокинсу. Суть их сводилась к тому, что какой-то человек из восточных штатов справлялся у майора Лэкленда о потерянном ребенке и его родителях, — предполагалось, что этим ребенком могла быть Лора.

Некоторых писем явно не хватало, так как имя незнакомца, наводившего справки, нигде не упоминалось; лишь в одном письме была ссылка на «джентльмена с аристократическими манерами и приятными чертами лица», словно и автор писем и адресат часто говорили о нем и оба знали, о ком идет речь.

В одном письме майор соглашался с мистером Хокинсом в том, что джентльмен напал, по-видимому, не на ложный след, но соглашался также и с тем, что лучше молчать, пока не появятся более убедительные доказательства.

В другом письме говорилось, что, «увидев портрет Лоры, бедняга совсем расстроился и заявил, что это песомненно она».

В третьем письме сообщалось:

«У него, видимо, никого нет на свете, и все его мысли так заняты розысками, что, если они обманут

его ожидания, он, боюсь, не переживет этого; я уговорил его обождать немного и поехать вместе со мной на Запад».

В одном из писем был такой абзац:

«Один день он чувствует себя лучше, другой — похуже, но мысли его все время мешаются. За последние недели в ходе его болезни наблюдаются явления, которые поражают сиделок, но, возможно, не поразят вас, если вы читали медицинскую литературу. Дело вот в чем: когда он бредит, к нему возвращается память, но стоит ему прийти в себя, как все воспоминания угасают, — точь-в-точь, как в случае с Канадцем Джо, который в тифозном бреде свободно говорил на *patois*¹ своего детства, но сразу забывал его, как только кончался бред. У нашего страдальца память всегда обрывается на событиях, предшествовавших взрыву парохода: он помнит только, как отправился с женой и дочкой вверх по реке, смутно припоминает гонку пароходов, но в этом он уже не уверен; он не может вспомнить даже названия парохода, на котором плыл. Из его памяти выпал целый месяц или даже больше, — здесь он не помнит решительно ничего. Я, конечно, и не думал ему подсказывать; но в бреде все всплывает: и названия обоих пароходов, и обстоятельства взрыва, и подробности его удивительного спасения, вернее — до той минуты, когда к нему подошел ялик (он держался за гребное колесо горящего судна) и упавшее сверху бревно ударило его по голове. Но подробнее я напишу о том, как он спастся, завтра или через день. Врачи, естественно, не позволяют мне сказать ему, что наша Лора — его дочь, это можно сделать позднее, когда он как следует окрепнет. Вообще-то его болезнь не опасна, и доктора считают, что он скоро поправится. Но они настаивают на том, чтобы после выздоровления он немного попутешествовал, и рекомендуют прогулку по морю. Они надеются, что им удастся убедить его поехать, если мы ничего пока не скажем ему и пообещаем устроить встречу с Лорой только после его возвращения».

¹ Диалект (франц.).

В последнем из писем были следующие слова:

«Все это совершенно необъяснимо: тайна его исчезновения по-прежнему окутана непроницаемым мраком. Я искал его везде и всюду, расспрашивал каждого встречного, но все напрасно: следы его теряются в том самом нью-йоркском отеле. Вплоть до сегодняшнего дня мне не удалось получить каких-либо сведений о нем; не думаю, что он отплыл на пароходе, так как его имени нет в книгах ни одного из пароходных агентств Нью-Йорка, Бостона или Балтимора. Остается только радоваться, что мы не проговорились. Лора сохранила в вашем лице отца, и для нее будет лучше, если мы навсегда забудем об этой истории».

Больше Лоре ничего узнать не удалось. Сведя воедино разрозненные замечания, она нарисовала себе весьма туманный портрет темноволосого и темноглазого мужчины лет сорока трех — сорока пяти, представительного, но прихрамывавшего на одну ногу, — на какую, из писем понять было нельзя. И эта смутная тень должна была заменить ей образ отца. Она перерыла весь чердак, надеясь найти недостающие письма, но напрасно. Вероятнее всего, их сожгли; она не сомневалась, что и отысканные ею письма подверглись бы той же участи, не будь мистер Хоккинс рассеянным мечтателем: когда он получил их, то, наверное, был поглощен очередным увлекательным планом.

Опустив письма на колени, она долго сидела в раздумье, не замечая, что мерзнет. Она чувствовала себя заблудившимся путником, пробирающимся по незнакомой тропе в надежде на избавление, но ночь застигла его у реки, через которую нет никакой переправы, а противоположный берег, если он и есть, затерялся в непроглядной тьме. «Почему я не разыскала этих писем хотя бы на месяц раньше! — думала она. — А теперь мертвецы унесли свои тайны в могилу...» Безысходная тоска овладела ею. В груди нарастало неясное ощущение обиды. Как она несчастна!

Лора как раз достигла того романтического возраста, когда девушка, узнав, что с ее прошлым связана какая-то тайна, испытывает щемящую, но сладкую грусть, которая несет в себе утешение; никакое другое

открытие не может вызвать такого чувства. У Лоры было вполне достаточно здравого смысла, но она была человеком, а человеку свойственно хранить где-то в тайниках души крупицу романтизма. Всякий человек всю жизнь видит в себе героя, но с годами он развенчивает прежние кумиры и начинает поклоняться другим — как ему кажется, более достойным.

Томительные бессонные ночи у постели больного и пережитая утрата, упадок сил, который явился естественной реакцией на неожиданно наступившую бездеятельность, — все это сделало свое дело, и Лора особенно легко стала поддаваться романтическим впечатлениям. Она чувствовала себя героиней романа, у которой где-то есть таинственный отец. Она не была уверена, что ей действительно хочется его найти и тем самым все испортить, но, следуя романтическим традициям, нужно было хотя бы попытаться разыскать его; и Лора решила при первом удобном случае начать поиски. «Нужно поговорить с миссис Хокинс», — пришла ей в голову прежняя мысль; и, как обычно в таких случаях, в ту же минуту на сцене появилась сама миссис Хокинс.

Она сказала Лоре, что знает все: знает, что Лора раскрыла тайну, которую мистер Хокинс, старшие дети, полковник Селлерс и она сама хранили так долго и верно, — и, заплакав, добавила, что беда никогда не приходит одна: если она лишится любви дочери, сердце ее будет разбито. Горе миссис Хокинс так тронуло Лору, что из сострадания она на минуту почти забыла собственные горести. Наконец миссис Хокинс проговорила:

— Скажи мне хоть слово, дитя мое, не отталкивай меня. Забудь все, назови меня снова мамой. Ведь я так долго тебя любила, и у тебя нет другой матери. Перед богом — я твоя мать, и ничто тебя не отнимет у меня!

Все преграды рухнули перед этой мольбой. Лора бросилась на шею матери.

— Да, да! — воскликнула она. — Ты моя мама и останешься ею навсегда. Все будет как раньше. С этой минуты никакие глупые сплетни, ничто на

свете не сможет разлучить нас или отдалить друг от друга!

Всякое чувство отчужденности между Лорой и миссис Хокинс мгновенно исчезло. Теперь их взаимная любовь казалась более совершенной, более полной, чем прежде. Немного погодя они спустились вниз и, усевшись у камина, долго и взволнованно говорили о прошлом Лоры и о найденных ею письмах. Выяснилось, что миссис Хокинс ничего не знала о переписке мужа с майором Лэклендом. С обычной для него заботливостью мистер Хокинс постарался оградить жену от всех огорчений, которые могла причинить ей эта история.

Лора пошла спать, чувствуя, что утратила значительную долю своей романтической возвышенной печали, зато вновь обрела душевный покой. Весь следующий день она была задумчива и молчалива, но никто не обратил на это особого внимания — все ее близкие переживали кончину мистера Хокинса, всем было так же грустно, как и ей. Клай и Вашингтон оставались по-прежнему ее любящими и преданными братьями. Для младших братьев и сестер ее великая тайна была новостью, но и их любовь ничуть не стала меньше оттого, что тайна эта раскрылась.

Если бы местные сплетники успокоились, то, весьма вероятно, все постепенно вошло бы в прежнюю колею и тайна рождения Лоры утратила бы в ее глазах весь свой романтический ореол. Но сплетники не могли и не хотели успокаиваться. День за днем они навещали Хокинсов, якобы для того, чтобы выразить сочувствие, и старались выведать что-нибудь у матери или у детей, видимо даже не понимая, сколь неуместны и бестактны их расспросы. Они же никого не обижают — им только хочется кое-что узнать! Обывателям всегда только хочется кое-что узнать...

Хокинсы всячески уклонялись от расспросов, но это служило лишь еще одним доказательством правоты тех, кто говорил: «Если «герцогиня» дочь приличных родителей, почему Хокинсы не желают признаться в этом? Почему они так цепляются за шитую белыми

нитками историю о том, что они подобрали ее после взрыва парохода?»

Преследуемая этим нескончаемым потоком сплетен и расспросов, Лора снова предалась печальным размышлениям. По вечерам она подводила итог всем услышанным за день намекам, злым и клеветническим измышлениям и погружалась в раздумье. Вслед за раздумьем приходили гневные слезы, а порой у нее вырывались озлобленные восклицания. Шли минуты, и она успокаивалась, утешая себя презрительным замечанием, вроде следующего:

— Да кто они такие? Скоты! Что мне их пересуды? Пусть болтают! Я никогда не унижусь до того, чтобы обращать на них внимание. Я бы могла возненавидеть... Чепуха! Все, кого я хоть немного уважаю, разумеется ничуть не изменили своего отношения ко мне.

Ей самой, наверное, казалось, что заключительная часть ее монологического отступления относится ко многим людям, — на самом же деле она думала только об одном человеке; при мысли о нем на душе у нее становилось легко и приятно. Но однажды ее приятельница подслушала интересный разговор и немедленно передала Лоре его содержание:

«— Говорят, ты больше не ходишь к ним, Нэд. Неужели это правда?

— Да. Но я не бываю там вовсе не потому, что не хочу туда ходить, и вовсе не потому, что для меня имеет хоть какое-нибудь значение, кем был или кем не был ее отец. Но сплетни, эти бесконечные сплетни!.. Она чудесная девушка. И если бы ты знал ее так же хорошо, как знаю ее я, — ты бы сказал то же самое. Но ты ведь понимаешь: стоит девушке попасть на язык нашим сплетникам — и все кончено, ее уже не оставят в покое!»

Известие ошеломило Лору, но она ограничилась следующим ответом:

— Значит, будь все по-старому, я могла бы ожидать, что мистер Нэд Тэрстон осчастливит меня своим благосклонным вниманием? Природа наделила его привлекательной внешностью; кажется, он многим нравится и принадлежит к одному из лучших семейств

нашего городка; к тому же он преуспевает: уже год, как занимается врачебной практикой, и за год у него было два пациента... нет, даже три. Совершенно верно — три: я была на их похоронах. Ну что ж, не я первая, не я последняя: многим приходилось разочаровываться в своих ожиданиях. Оставайся обедать, Мария, у нас сегодня сосиски. И мне хочется рассказать тебе о Хоукае и взять с тебя обещание навестить нас, когда мы туда переедем.

Но Мария не осталась. Она пришла сообщить Лоре об изменнике и пролить вместе с ней романтические слезы, а вместо этого натолкнулась на черствую душу, целиком занятую сосисками и неспособную высидеть до истинного понимания своего горя!

Но как только Мария ушла, Лора топнула ногой и воскликнула:

— Жалкий трус! Неужели все книги лгут? А я-то думала, что, вопреки всем сплетням, он сразу станет на мою сторону и будет отважно и благородно защищать меня от всех врагов! Пусть уходит, жалкое ничтожество! Я, кажется, и в самом деле начинаю презирать весь мир...

Лора задумалась. Потом сказала:

— Если только когда-нибудь мне улыбнется счастье — о, тогда уж я...

Но она, по-видимому, не нашла достаточно выразительных слов, чтобы закончить свою мысль.

— Я рада, что так случилось, я рада! Да он мне по-настоящему никогда и не нравился!

И тут же, вопреки всякой логике, залилась слезами и с еще большим негодованием топнула ногой,

ОБЕД У СЕЛЛЕРСОВ. СКРОМНОЕ УГОЩЕНИЕ.
БЛЕСТЯЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

ずらゑゑあゑどへらく¹

Прошло два месяца, и семейство Хокинсов обосновалось в Хоукае. Вашингтон по-прежнему служил в конторе по продаже недвижимого имущества и, в зависимости от того, улыбалась ли ему Луиза, или казалась равнодушной, чувствовал себя то в раю, то в аду, — ибо равнодушие или невнимание с ее стороны могло означать лишь одно: мысли девушки заняты кем-то другим. Когда после похорон отца Вашингтон вернулся в Хоукай, полковник Селлерс несколько раз приглашал его обедать, но Вашингтон без всякой видимой причины ни разу не принял приглашения. Вернее, причина была, но он предпочитал умалчивать о ней: ему не хотелось ни на минуту расставаться с Луизой. И вот теперь Вашингтону пришло в голову, что полковник уже давно не приглашал его. Уж не обиделся ли он? Вашингтон решил немедленно отправиться к Селлерсам — для них это будет приятный сюрприз. Мысль была совсем неплоха, тем более что утром Луиза не вышла к завтраку, ранив его в самое

¹ Он ест, но удовольствия от еды не испытывает (японск.).

сердце; теперь он оплатит ей тем же, — пусть почувствует, каково приходится человеку, когда ему терзают душу.

Вашингтон явился к Селлерсам как снег на голову, — семья полковника как раз садилась за стол. На мгновение полковник смутился и растерялся, а миссис Селлерс была в полном замешательстве. Но уже через минуту глава дома пришел в себя и воскликнул:

— Отлично, мой мальчик, отлично! Мы всегда рады видеть тебя и слышать твой голос, всегда рады позвать тебе руку. Настоящие друзья не ждут особых приглашений — все это глупости! Приходи когда вздумается, и приходи почаще: чем чаще — тем лучше. Ты этим доставишь нам только удовольствие. Моя жена скажет тебе то же самое. Мы, знаешь ли, люди простые и не претендуем на какую-либо роскошь. Мы люди простые, и обед у нас простой, домашний, но зато мы всегда рады разделить его с друзьями, ты и сам это знаешь, Вашингтон! Скорее, дети, скорее! Лафайет¹, сынок, зачем ты наступаешь кошке на хвост, разве ты не видишь? Хватит, хватит, Родерик Ду, неприлично так цепляться за фалды гостей! Не обращай на него внимания, Вашингтон: он живой мальчуган, но ничего плохого не сделает. Дети всегда остаются детьми, знаешь ли. Садись рядом с миссис Селлерс, Вашингтон. Как тебе не стыдно, Мария-Антуанетта, отдай брату вилку, если он просит; ты же старше его!

Оглядев приготовленные яства, Вашингтон усомнился: в своем ли он уме? Неужели это и есть «простой домашний обед»? И неужели он весь тут, на столе? Вскоре стало ясно, что это и есть обед и ничего

¹ В те давние времена средний американец часто давал своим детям имена в честь любимых литературных или исторических героев. Поэтому трудно было найти семью без своего Вашингтона, Лафайета или Франклина; если же (по крайней мере на Западе) отпрыски продолжали появляться на свет, то в семье оказывалось еще семь-восемь столь же звучных имен — из Байрона, Скотта и библии. Гость, пришедший в такую семью, сталкивался с целой ассамблеей представителей величественных преданий и самых высокопоставленных покойников всех эпох. Человека неискушенного это всегда изумляло и даже потрясало. (*Прим. авторов.*)

другого не будет; состоял же он из большого кувшина свежей прозрачной воды и миски, наполненной сырой репой, — больше ничего на столе не было.

Вашингтон украдкой взглянул на миссис Селлерс и тут же горько раскаялся в этом. Лицо несчастной женщины было пунцовым, а глаза полны слез. Вашингтон не знал, что делать. Он уже жалел о том, что пришел и, подглядев царившую в доме жестокую нужду, причинил глубокую боль бедной хозяйшке и заставил ее покраснеть от стыда. Но — поздно: он уже здесь и отступления нет. Непринужденным движением рук полковник Селлерс поддернул манжеты, словно хотел сказать: «Вот теперь-то мы попируем на славу!» — схватил вилку, помахал ею в воздухе и, орудуя вилкой, как гарпуном, стал раскладывать репу по тарелкам.

— Позволь, я положу тебе, Вашингтон. Лафайет, передай эту тарелку Вашингтону. Ах, мой мальчик, если бы ты знал, какие блестящие перспективы открываются сейчас, — да, да, уж поверь мне! Выгоднейшие дела, воздух прямо насыщен деньгами! Да я не променяю одно дельце, которым я сейчас занят, на три огромных состояния... Передать тебе судки? Нет? Ты прав, прав! Некоторые любят есть репу с горчицей, но... вот, скажем, барон Понятовский... Бог ты мой, этот человек умел жить! Настоящий русский, знаешь ли, русский до мозга костей! Я всегда говорю жене: нет лучших сотрапезников, чем русские. Так этот барон говорил, бывало: «Возьмите горчицы, Селлерс, попробуйте-ка ее с горчицей, тогда только вы поймете, что такое репа!» Но я ему всегда отвечал: «Нет, барон, я человек простой и еду люблю простую. Все эти затеи не для Бирайи Селлерса, он предпочитает дары природы в их чистом виде». И в самом деле: светские привычки не столько украшают, сколько отравляют жизнь, поверь моему слову. Да, Вашингтон, задумал я тут одно дельце... Бери еще воды, Вашингтон, бери, не стесняйся, воды у нас вдоволь... Вкусная, правда? А как тебе эти плоды земные? Нравятся?

Вашингтон ответил, что лучшей репы ему никогда не приходилось пробовать. Он, правда, не сказал, что терпеть не может репу даже в тушеном виде, а сырую

и подавно. Нет, об этом он промолчал и продолжал расхваливать репу на погибель собственной души.

— Я так и знал, что она тебе понравится. Погляди-ка на нее как следует — она того стоит. Посмотри, какая она крепкая и сочная! В здешних краях никто еще такой не выращивал, можешь мне поверить. Эта репа из Нью-Джерси, я сам вывез ее оттуда. Немалых денежек она мне стоила, но, храни меня бог, я всегда беру только самый лучший товар, даже если он и обходится втридорога: в конечном счете это всегда окупается. Этот сорт называется «Малькольм Ранний»; его выращивают только в одном месте, и плоды тут же расхватывают. Бери еще воды, Вашингтон, все врачи говорят, что овощи надо запивать водой. С этой штукой нам никакая чума не страшна, мой мальчик.

— Чума? Какая чума?

— Как это, какая чума? Да та самая азиатская чума, которая два-три столетия назад чуть не опустошила Лондон!

— А нам-то что до этого? Здесь ведь нет чумы, надо полагать?

— Тс-с! Я все-таки проболтался. Ну, ничего, только помалкивай, прошу тебя! Может, мне и не следовало тебе говорить, но рано или поздно все выплывет, так что, в общем, это не так уж важно. Конечно, старику Мак-Дауэлсу не понравится, что я... Э, была не была: расскажу все — и дело с концом! Я, видишь ли, ездил недавно в Сент-Луис и встретился там с доктором Мак-Дауэлсом; он очень высокого мнения обо мне, этот доктор. Он человек не из общительных — и это понятно: его знает весь свет, и ему нужно беречь свою репутацию. Мало таких людей, с которыми он позволит себе говорить откровенно; но, видит бог, мы с ним все равно что братья. Когда я приезжаю в город, он ни за что не позволяет мне остановиться в гостинице — говорит, что только со мной он и отводит душу; и, видимо, в этом есть доля правды, потому что я... ну, я не привык хвалить себя или задира́ть нос — кто я, что я знаю и что могу, но здесь, среди друзей, я вправе сказать, что я куда начитаннее в области мно-

гих наук, чем большинство теперешних ученых. Так вот, на днях он под большим секретом доверил мне маленькую тайну насчет этой самой чумы.

Она, видишь ли, мчится сюда на всех парусах и, как все другие эпидемии, идет по Гольфштрему; через каких-нибудь три месяца она пойдет кружить по нашим местам, как вихрь, только держись. И уж если она к кому прикоснется, тот может сразу писать завещание и заказывать гроб. Одолеть ее никак нельзя, понимаешь ли, но предотвратить можно! Каким образом? Репа! Вот лучшее средство! Репа и вода! Нет ничего вернее, — так говорит старик Мак-Дауэлс. Надейся репой два-три раза в день, и никакая чума тебе не страшна! Но тс-с-с! молчок! Придерживайся этой диеты, и с тобой ничего не случится. Мне бы не хотелось, чтобы старик Мак-Дауэлс узнал, что я проболтался: он просто перестанет со мной разговаривать. Возьми еще водички, Вашингтон, — чем больше ты выпьешь воды, тем лучше. И давай-ка я положу тебе еще репы. Нет, нет, нет, непременно. Вот так. Скушай-ка еще вот эту. Она прекрасно поддерживает силы, питательнее ее ничего нет, — почитай медицинские книги. Достаточно несколько раз в день съесть от четырех до семи реп среднего размера, выпить от полутора пинт до кварты воды и отдохнуть пару часиков, чтоб репа перебродила, — на другой день будешь молодцом хоть куда!

Язык полковника работал не переставая еще минут пятнадцать — двадцать; за это время, рассказывая о тех «операциях», которые он затеял в прошлую неделю, он успел составить несколько состояний и теперь рисовал перед Вашингтоном великолепные перспективы, открывавшиеся в связи с недавними многообещающими опытами по отысканию недостающего ингредиента глазного эликсира. В другое время Вашингтон слушал бы его с жадностью и восхищением, но сейчас два обстоятельства тревожили его и отвлекали внимание. Во-первых, он, к своему стыду и огорчению, обнаружил, что, позволив положить себе добавочную порцию репы, ограбил голодных детей. «Плоды земные» вызывали у него ужас и были совсем не нужны ему; уви-

дев же опечаленные лица ребятишек, которым отказали в добавочной порции, ибо добавлять было уже нечего, он проклинал собственную глупость и от всей души пожалел изголодавшихся малышей. Во-вторых, у него начало пучить живот, и это все больше и больше беспокоило его. Вскоре ему стало совсем неважно. Репа, очевидно, уже начала «бродить». Вашингтон заставлял себя сидеть спокойно за столом, пока был в силах, но наконец страдания взяли верх над терпением.

Остановив поток слов полковника, он встал и откланялся, сославшись на деловое свидание. Полковник проводил его до двери, непрерывно повторяя обещание использовать все свои связи и раздобыть для него «Малькольма Раннего»; он требовал, чтобы Вашингтон перестал церемониться и при всяком удобном случае заходил к ним пообедать чем бог послал. Вашингтон рад был вырваться из дома Селлерсов и вновь почувствовать себя на свободе. Он немедленно отправился домой.

Целый час он метался в постели и за этот час чуть не поспедел, но затем благословенный покой снизошел на него, и сердце его исполнилось благодарности. Измученный и ослабевший, он повернулся на бок, мечтая о сне и отдохновении. И в ту минуту, когда душа его еще витала между сном и явью, он с глубоким вздохом сказал себе, что если раньше он проклинал предупредительное средство, придуманное полковником против ревматизма, то теперь готов приветствовать даже чуму — пускай приходит: чему быть, того не миновать; лично он со всякими предупредительными средствами покончил раз и навсегда, — если же кто-нибудь еще раз попытается соблазнить его репой и водой, то пусть его самого постигнет мучительная смерть.

Неизвестно, снились ли Вашингтону в ту ночь какие-нибудь сны; если и снились, то в потустороннем мире не нашлось ни одного духа, который захотел бы нарушить их, шепнув ему, что в восточных штатах, за тысячу миль от него, зреют невидимые события, которым суждено через несколько лет оказать роковое влияние на судьбу семьи Хокинсов.

ГЕНРИ И ФИЛИПП ОТПРАВЛЯЮТСЯ НА ЗАПАД
СТРОИТЬ ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ



Todtenbuch, 141, 17, 41.

— Разбогатеть совсем нетрудно, — сказал Генри.

— Я начинаю думать, что это труднее, чем кажется, — ответил Филипп.

— Почему же ты не займешься чем-нибудь? Сколько ни копайся в Асторской библиотеке, все равно ничего там не выкопаешь.

Если есть на свете место, где «заняться чем-нибудь» кажется делом совсем нетрудным, то это, конечно, Бродвей, такой, каким он бывает весенним утром, когда шагаешь к центру города и видишь перед собой длинные ряды роскошных магазинов; а сквозь мягкую дымку, нависшую над Манхеттеном, то там, то сям вырисовываются шпили высоких зданий и доносится гул и грохот оживленного уличного движения.

Не только здесь, но и повсюду перед молодым американцем открываются бесчисленные пути к обога-

¹ Приготовления на Западе. Дороги Запада. «Книга мертвых», 141, 17, 4 (египетск.).

щению; в самом воздухе и в широких горизонтах страны звучит призыв к действию и обещание успеха. Он не всегда знает, какой путь ему избрать; случается, что он тратит годы, упуская одну возможность за другой, прежде чем решится отдать все силы чему-то определенному. Не существует таких традиций, которые могли бы руководить им или мешать ему, и он инстинктивно стремится сойти с пути, которым шел его отец, и идти иной, собственной дорогой.

Филипп Стерлинг часто говорил себе, что стоит ему серьезно посвятить лет десять любому из десятка планов, зародившихся в его голове, и он станет богатым человеком. Ему хотелось разбогатеть, он искренне этого желал, но по какой-то необъяснимой причине все не решался ступить на узенькую дорожку, ведущую к богатству. Зато когда он гулял по Бродвею, сливаясь с бурлящим людским потоком, он всегда чувствовал, как ему передается царящее здесь упоение богатством, и сам невольно перенимал пружинящую походку удачливых представителей мира имущих.

С особой силой это чувство передавалось ему по вечерам, в переполненном театре (Филипп был слишком молод, чтобы помнить ложи старого театра на Чемберс-стрит, где невозмутимый Бэртон задавал тон своей буйной и беззастенчиво веселой команде), — и в антрактах между двумя действиями модной комедии, когда оркестр пиликал, гремел и дудел, выводя нестройные мелодии, весь мир казался Филиппу полным неограниченных перспектив, и у него распирало грудь от сознания, что он может взять от жизни все что ни пожелает.

Возможно, виною всему была та легкость, с которой события происходили на сцене, где к концу трех незаметно пролетающих актов добродетель всегда торжествовала; возможно, все дело было в ярком освещении, или в музыке, или в возбужденном гомоне толпы во время антрактов; возможно, просто в легковерной молодости; но, так или иначе, сидя в театре, Филипп все-

гда непоколебимо верил в жизнь и свою победу в борьбе за счастье.

Как восхитительны иллюзии, создаваемые красками, мишурой, шелковыми одеяниями, дешевыми чувствами и выпренными диалогами! Пение скрипок всегда нас чарует. — был бы смычок натерт канифолью! Разве мы не восторгаемся чувствительным героем, крадущимся из-за кулис справа, чтобы при первом удобном случае похитить из картонного домика у левой кулисы хорошенькую жену своего богатого и деспотичного соседа? А когда он подходит к рампе и с вызовом заявляет публике: «Тот, кто поднимет руку на женщину иначе, чем с добрыми намерениями...» — разве сами мы не заглушаем аплодисментами конец его реплики?

Филиппу так и не посчастливилось услышать, что же произойдет с человеком, который осмелится поднять руку на женщину с иными намерениями, кроме вышеуказанных, зато впоследствии ему довелось узнать, что женщина, с любыми намерениями поднявшая руку на мужчину, всегда будет оправдана судом присяжных.

В сущности, хотя Филипп Стерлинг сам того не признавал, ему хотелось добиться в жизни не только богатства. Этот скромный молодой человек вовсе не отказался бы от славы, если бы она пришла к нему в награду за какое-нибудь достойное деяние — например, за написанную им книгу, или за основанную им же влиятельную газету, или за какую-нибудь смелую экспедицию, вроде экспедиций лейтенанта Стрейна или доктора Кейна. Он сам не мог точно решить, что именно он бы предпочел. Иногда ему казалось, что приятно было бы стоять на кафедре в какой-нибудь известной церкви и смиренно проповедовать слово покаяния; ему даже приходило в голову, что, пожалуй, благороднее всего посвятить себя миссионерской деятельности в тех забытых богом краях, где растут финиковые пальмы, где особенно часто звучат трели соловья, а когда соловей молчит, по ночам поет бюль-бюль. Считаю он себя достойным, он с удовольствием присоединился бы к компании молодых людей из Бо-

гословской семинарии, которые готовились к принятию сана, наслаждаясь всеми прелестями Нью-Йорка.

Филипп был родом из Новой Англии и окончил Йельский университет. Он вынес оттуда далеко не все, что могло дать ему это почтенное заведение, но усвоил кое-что и не предусмотренное принятой там программой. Сюда входило прекрасное знание английского языка и достаточно обширные сведения из истории английской литературы; он мог недурно спеть песню — правда, не всегда в нужном ритме, но зато с большим подъемом; он мог экспромтом произнести вдохновенную речь в университетской аудитории, в студенческом клубе или стоя на первом попавшемся ящике или заборе; он умел подтягиваться на одной руке и «крутить солнце» на турнике в гимнастическом зале; на ринге он неплохо «работал» левой рукой, с веслами обращался как профессионал и в качестве загребного не раз помогал своей команде выиграть гонки. Аппетит у Филиппа был волчий, нрав веселый, а смех звонкий и искренний. У него были каштановые волосы, карие, далеко расставленные глаза, широкий, хотя и не очень высокий лоб и привлекательное лицо. Это был широкоплечий, длинноногий молодец шести футов росту, один из тех подвижных, жизнерадостных юношей, которые размашистой походкой и с независимым видом входят в мир и оживляют любое общество, в какое бы ни попали.

По совету друзей Филипп после окончания университета решил заняться юриспруденцией. В теории она казалась ему достаточно внушительной наукой, но когда он начал практиковать, то не смог обнаружить ни одного случая, с которым стоило бы обратиться в суд. Всем клиентам, которые приходили к новому юристу, появившемуся в приемной адвокатской конторы, Филипп неизменно советовал пойти на мировую и уладить дело без суда — все равно как, но уладить, — к величайшему недовольству своего патрона, считавшего, что всякий юридический спор между двумя лицами можно решить только в общепринятом процессуальном порядке, с уплатой положенного адвокату гонорара. К тому же Филипп терпеть не мог переписывать су-

дебные жалобы и был убежден, что жизнь, наполненная всяческими «посему» и «как упоминалось выше», с бесконечным переливанием из пустого в порожнее, будет для него просто невыносима.

И потому, а также «посему», но отнюдь не так, «как упоминалось выше», его перо занялось созданием произведений совсем иного рода. В некий злополучный час в популярных журналах, где платили три доллара за печатную страницу, появились две-три написанные им статьи, и вдруг Филипп все понял: литература — вот его призвание! Нет более упоительного мгновенья в жизни молодого человека, чем то, когда он начинает верить, что призван пополнить ряды бессмертных мастеров слова. Это благороднейшее проявление честолюбия, — жаль только, что обычно оно зиждется на весьма непрочном фундаменте.

В описываемое нами время Филипп приехал в Нью-Йорк, чтобы пробить себе дорогу в жизни. Он считал, что его талант легко обеспечит ему редакторское кресло в какой-нибудь из столичных газет; правда, он не имел никакого представления о газетной работе и в журналистике и понимал, что не сможет выполнять никакую техническую работу, но зато был уверен, что без всякого труда сумеет писать передовые статьи. Рутинная редакционных будней претила ему, к тому же она была ниже его достоинства — ведь он питомец университета и автор нескольких удачных журнальных статей! Он хотел начать прямо с верхней ступени лестницы.

К своему удивлению, он обнаружил, что все редакторские вакансии во всех газетах уже заполнены, всегда были заполнены и, вероятно, всегда будут заполнены. Издателям газет, решил он, нужны не талантливые люди, а всего лишь добросовестные, исполнительные посредственности. Поэтому Филипп принялся усердно читать книги в Асторской библиотеке, развивая свой талант и разрабатывая замыслы литературных произведений, которые привлекут к нему всеобщее внимание. У него не нашлось достаточно опытного приятеля, который посоветовал бы ему посетить заседавший в те дни Доркингский конвент, написать очерк о выступающих там ораторах и ораторшах, отнести его

редактору «Ежедневной Лозы» и постараться получить побольше за строчку.

Однажды верившие в его способности друзья предложили ему взять на себя руководство одной провинциальной ежедневной газетой; он решил посоветоваться по этому вопросу с мистером Гринго, тем самым Гринго, который когда-то редактировал газету «Атлас».

— Конечно соглашайтесь, — сказал Гринго. — Надо брать все, что попадается, чего там!

— Но они хотят, чтобы я превратил ее в рупор оппозиции.

— Ну и превращайте. Их партия все равно придет к власти: следующего президента выберут именно они.

— Я им не верю, — твердо сказал Филипп, — их политика в корне неверна, и они не должны прийти к власти. Как я могу служить делу, которому не верю?

— Ну, как хотите, — с легким оттенком презрения ответил Гринго, отворачиваясь от Филиппа. — Но если вы собираетесь заниматься литературой или сотрудничать в газете, вы быстро поймете, что совесть в наши дни — непозволительная роскошь.

Однако Филипп позволил себе эту роскошь и, поблагодарив в ответном письме своих друзей, отказался от предложения, объяснив при этом, что, по его мнению, их политические планы провалятся, во всяком случае — должны провалиться. И он вернулся к своим книгам в ожидании часа, когда ему представится возможность войти в литературу, не роняя своего достоинства.

Вот в эту-то пору нетерпеливого ожидания Филипп и прогуливался как-то утром по Бродвею вместе с Генри Брайерли. Он частенько провожал Генри в центр города, к дому на Брод-стрит, который Генри называл своей «конторой» и куда ходил (или делал вид, что ходит) каждый день. Даже случайный знакомый должен был знать, что Генри — человек деловой и что он поглощен какими-то таинственными, но, несомненно, очень крупными операциями. Было ясно, что он в любую минуту может ожидать вызова в Вашингтон, Бостон, Монреаль или даже в Ливерпуль.

Правда, этого ни разу не случилось, но никто из знакомых не удивился бы, услышав, что в один прекрасный день он уехал в Панаму или в Пеорию или стал владельцем коммерческого банка.

Когда-то Генри и Филипп учились в одной школе, сейчас они были близкими друзьями и проводили много времени вместе. Оба жили в одном пансионе на Девятой улице; этот же пансион имел честь предоставить кров и частично стол еще нескольким молодым людям того же склада, чьи пути с тех пор разошлись, приведя одних к славе, других — к безвестности.

Во время упомянутой выше утренней прогулки Генри Брайерли неожиданно спросил:

— Филипп, а тебе не хотелось бы поехать в Сент-Джо?

— Пожалуй, это было бы совсем не плохо, — ответил Филипп после некоторого колебания. — Но зачем?

— Там затеваются крупные дела. Нас туда много едет: инженеров, железнодорожников, подрядчиков. Ты ведь знаешь, мой дядюшка большой человек в железнодорожном мире. Уверен, что мне удастся устроить и тебя.

— Но в качестве кого?

— Ну, я, например, еду как инженер. Ты тоже можешь поехать инженером.

— Я не отличаю паровоза от тачки.

— Можешь работать геодезистом или строителем. Начнешь с того, что будешь носить рейки и записывать промеры. Это совсем нетрудно. Я тебе все покажу. Возьмем с собой Траутвайна и еще кое-какие книги.

— Понятно. Но для чего все это? Что там будет?

— Неужели ты не понимаешь? Мы прокладываем трассу, отмечаем лучшие земли вдоль линии, записываем, узнаем, где будут станции, отмечаем и их, скупаем около них лучшие участки. Это необычайно денежное дело. Инженерить нам придется недолго.

— Когда ты едешь? — помолчав, спросил Филипп.

— Завтра. Слишком скоро?

— Нет, не то. Я уже полгода готов ехать куда угодно. По правде говоря, Гарри, мне порядком на-

доело пробиваться туда, куда меня не пускают, и я готов поплыть по течению и посмотреть, куда меня вынесет. Будем считать, что это сама судьба: все так неожиданно-негаданно.

Оба молодых человека, теперь уже одинаково увлеченные ожидающим их приключением, дошли до Уолл-стрит, где помещалась контора дядюшки Генри, и переговорили обо всем с этим бывалым дельцом. Дядюшка давно знал Филиппа, ему понравилось искреннее увлечение молодого человека, и он согласился испытать его на строительстве железной дороги. С той стремительностью, с какой все делается в Нью-Йорке, было решено, что на следующий день утром они отправляются вместе со всеми остальными на Запад.

По пути домой наши искатели приключений купили несколько книг по разным вопросам техники, прорезиненные костюмы, которые, как им казалось, должны понадобиться в незнакомых, но, вероятно, сырых краях, и множество других никому не нужных вещей.

Всю ночь Филипп писал письма: он не хотел предпринимать такой важный шаг, не сообщив о нем друзьям. «Если даже они меня и не одобряют, — думал он, — я все-таки выполнил свой долг». Счастливая юность, в одну минуту и по первому слову готовая собраться и отправиться хоть на край света!

— Кстати, — окликнул Филипп приятеля, занимавшего соседнюю комнату, — где этот Сент-Джо?

— Где-то в Миссури, на границе штата, кажется. Можно посмотреть по карте.

— Зачем нам карта! Скоро мы его увидим собственными глазами. Я просто боялся, что это слишком близко к дому.

Прежде всего Филипп написал большое письмо матери, полное любви и радужных надежд. Он не хочет надоедать ей скучными подробностями, но недалек тот день, когда он вернется к ней, скопив небольшое состояние и обрета еще нечто такое, что будет ей радостью и утешением в старости.

Дяде он сообщил, что поступил на службу в одну нью-йоркскую фирму и едет в Миссури, чтобы при-

нять участие в кое-каких земельных и железнодорожных операциях, которые помогут ему узнать мир и, возможно, положат начало его карьере. Он знал, как обрадуется дядя, услышав, что он наконец решил посвятить себя какому-то практическому делу.

Последней, кому написал Филипп, была Руфь Боултон. Может статься, он никогда больше не увидит ее: он едет навстречу неведомой судьбе. Ему хорошо известно, чем грозит жизнь на границе — дикие нравы пограничных селений, скрывающиеся в засаде индейцы, губительная лихорадка. Но если человек способен за себя постоять, ему нечего бояться. Можно ли ему писать ей и рассказывать о своей жизни? Если ему улыбнется удача, то тогда — кто знает... Если же нет и ему не суждено вернуться, то, быть может, это и к лучшему — как знать... Но ни время, ни расстояние не изменят его чувств к ней; он не прощается, а говорит только «до свиданья».

Мягкое весеннее утро едва брезжило, дымка ожидания еще висела над набережными большого города, и жители Нью-Йорка еще не садились завтракать, когда наши молодые искатели приключений направились к вокзалу Джерси-сити, где кончается линия, идущая от озера Эри; здесь им предстояло начать свой долгий извилистый путь на Запад, по дороге, пролежавшей, по словам одного забытого ныне писателя, по расколотым шпалам и лопнувшим рельсам.

ПОЛКОВНИК СЕЛЛЕРС ПРИВЕТСТВУЕТ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ
В СЕНТ-ЛУИСЕ

What ever to say he toke in his entente,
his langage was so fayer & pertynante,
yt semeth vnto manys herying
not only the worde, but veryly the thyng.
Caxton's, Book of Curtesye'.

В числе тех, с кем наши путешественники отправились на Запад, находился Дафф Браун, знаменитый железнодорожный подрядчик и посему не менее знаменитый конгрессмен. Плотно сложенный и чисто выбритый, веселый и жизнерадостный бостонец, обладатель массивного подбородка и низкого лба, Дафф Браун был человеком весьма приятным, если вы не становились ему поперек дороги. Помимо железнодорожных, он имел государственные подряды на строительство таможенных зданий и судоремонтных верфей от Портленда до Нового Орлеана. Под видом субсидий и ассигнований Браун ухитрялся выколачивать из

¹ О чем бы он ни вздумал говорить — так ярко вел он рассуждений нить, что многим слушавшим казалось: перед ними не слово, а предмет, вещь, а не просто имя. — Кэкстон, «Книга изящного обхождения» (староангл.).

конгресса примерно столько же золота, сколько весил камень, поставляемый им на строительство.

Вместе с ним ехал и Родни Шейк, ловкий нью-йоркский маклер, фигура одинаково заметная как в церкви, так и на бирже; то был щеголеватый и обходительный делец, без которого не обходилось ни одно рискованное предприятие Даффа Брауна, где требовались решительность и натиск.

Вряд ли наши путешественники могли бы найти более приятных спутников, людей, более охотно отрезающихся от всех ограничений строгой пуританской морали и более готовых добродушно и снисходительно принимать мир таким, каков он есть. Любая роскошь была доступна: денег хватало на все, и ни у кого не возникало сомнения, что так будет продолжаться и впредь и что скоро каждый без особого труда разбогатеет. Даже Филипп поддался общему настроению, а что касается Гарри, то он и не нуждался в подобном стимуле: говоря о деньгах, он всегда оперировал только шестизначными цифрами. Этому милому юноше богатство казалось столь же естественным состоянием, как большинству людей — бедность.

Очень скоро старшие из путешественников открыли то, что рано или поздно открывают все едущие на Запад: а именно, что вода там плохая. К счастью, у них, по-видимому, были предчувствия на этот счет, и у всех оказались с собой фляжки с бренди, с помощью которого они улучшали местную воду; надо полагать, что только боязнь отравиться заставляла их экспериментировать на всем протяжении пути, ибо они ежечасно спасали свою жизнь, смешивая содержимое фляжек с опасной жидкостью, называемой водой. Позже Филипп понял, что трезвость, неуклонное соблюдение воскресных обычаев и солидность манер являются чисто географическими особенностями, которые люди не всегда берут с собой, покидая родной дом.

Наши путешественники пробыли в Чикаго достаточно долго, чтобы убедиться, что здесь они могли бы нажить состояние в какие-нибудь две недели, не стоило ли тратить на это время? Запад куда привлекательнее: чем дальше они уедут — тем ближе богат-

ство. По железной дороге они добрались до Альтона; здесь, решив посмотреть реку, они пересели на пароход, который доставил их в Сент-Луис.

— Ну разве не здорово?! — воскликнул Генри, выпорхнув из парикмахерской и переступая по палубе мелкими шажками: раз, два, три, раз, два, три. Он был побрит, завит и надушен с обычной для него изысканностью.

— Что здорово? — спросил Филипп, глядя на унылые, однообразные просторы, по которым, крихтя и фыркая, пробирался содрогающийся всем корпусом пароход.

— Как что? Да все это! Это же грандиозно, поверь моему слову! От *этого* я бы не отказался, даже если бы мне через год гарантировали сто тысяч долларов наличными.

— Где мистер Браун?

— В салоне. Играет в покер с Шейком и тем длинноволосым типом в полосатых штанах, который вскарабкался на борт, когда трап был уже наполовину убран. А четвертым у них этот детина — делегат в конгрессе от Запада.

— У этого делегата довольно-таки внушительный вид; посмотри на его черные лоснящиеся бакенбарды: настоящий вашингтонский деятель! Ни за что бы не подумал, что он сядет играть в покер.

— Он говорит, что это маленькая предобеденная партия со ставками в пять центов, просто ради интереса.

— Так или иначе, ни за что бы не подумал, что член конгресса станет играть на пароходе в покер, да еще при всех.

— Чепуха, надо же как-то убить время. Я и сам попытался сыграть, но куда мне против таких китов. Делегат — тот прямо как будто в твои карты глядит. Готов держать пари на сто долларов, что, когда его территория оформится, он организует маленькую предобеденную партию и мигом очутится в сенате. У него хватит нахальства.

— Во всяком случае, — добавил Филипп, — откашливается он со всей сосредоточенностью и вдумчивостью истинного государственного мужа.

— Гарри, — сказал Филипп после минутного молчания. — Для чего ты надел сапоги? Ты что, собираешься добираться до берега вброд?

— Я их разнашиваю.

Истинная же причина заключалась в том, что Гарри нарядился в костюм, который он считал самым подходящим для поездки в необжитые края, и теперь являл собою нечто среднее между бродвейским щеглом и лесным бродягой. Синеглазый, розовощекий, с шелковистыми бакенбардами и вьющимися каштановыми волосами, он походил на красавца, только что сошедшего со страниц модного журнала. В это утро он надел мягкую фетровую шляпу, короткий сюртук с закругленными лапами и низко вырезанный жилет, под которым виднелась белоснежная сорочка; талию его стягивал широкий ремень, а голенища до блеска начищенных сапог из мягкой кожи поднимались выше колен и держались на шнурке, привязанном к ремню. Беспечный Гарри прямо-таки упивался видом своих стройных ног; он уверял Филиппа, что в прериях такие сапоги являются лучшей защитой против гремучих змей, так как змеи никогда не кусают человека выше колен.

Когда наши путники покидали Чикаго, вокруг простирался еще почти зимний пейзаж; когда же они сошли на берег в Сент-Луисе, стоял настоящий весенний день: пели птицы, в городских скверах цвели персиковые деревья, наполняя воздух сладким ароматом, а шум и суeta длинной набережной создавали атмосферу возбуждения, вполне созвучную радужным надеждам наших молодых людей.

Вся компания направилась в отель «Южный», где великого Даффа Брауна хорошо знали; он был такой важной персоной, что даже дежурный портье вызывал ему должное уважение. Должно быть, наибольшее почтение вызывала в нем та вульгарно-хвастливая манера держаться и та наглость, какие появляются у людей «больших денег», — качества, приводившие портье в восхищение.

Молодым людям понравились и отель и город; город показался им «ужасно» вольным по своим правам и «ужасно» гостеприимным. Их, жителей восточных

штатов, здесь многое поражало. Во-первых, курили тут прямо на улице; все, нимало не смущаясь, «пропускали глоточек», когда у них появлялось на то желание или когда кто-нибудь их угощал; причем никому, по-видимому, не приходило в голову, что эту привычку надо скрывать или как-то оправдывать. Вечером, когда Филипп и Гарри пошли прогуляться, они заметили, что многие сидят на крылечке, чего в северных городах никогда не увидишь; тротуары перед некоторыми гостиницами и ресторанами были заставлены стульями и скамейками. «На парижский манер», — сказал Гарри; и в эти теплые весенние вечера здесь собиралось множество людей; они сидели и беспрерывно курили, а в воздухе носился звон бокалов и стук бильярдных шаров. Восхитительно!

Гарри сразу же обнаружил, что его костюм бывалого лесовика в Сент-Луисе не понадобится, и, чтобы не ударить лицом в грязь перед местными щеголями, ему пришлось призвать на помощь все ресурсы своего гардероба. Но это не имело особого значения, так как при любых обстоятельствах не одежда украшала Гарри, а он — ее. Поскольку предполагалось, что им придется задержаться в городе, Гарри заявил Филиппу, что не намерен терять времени даром. И он остался верен своему слову. Каждый трудолюбивый человек вдохновился бы, глядя, как этот молодец встает, тщательно одевается, не спеша завтракает, спокойно выкуривает сигару и затем с серьезным, деловым видом и с безупречной бодростью направляется в свою комнату, чтобы, как он сам выражался, «поработать».

Там Гарри снимал скюртук, развязывал галстук, закатывал рукава рубашки, поправлял перед зеркалом свои кудри, вынимал технический справочник, готовальни, чертежную бумагу и миллиметровку, раскрывал таблицу логарифмов, разводил тушь, затачивал карандаши, закуривал сигару и усаживался за стол «спрофилировать участок пути», всерьез считая, что он овладевает тайнами инженерного искусства. Половину дня он тратил на всякие приготовления, так ни разу и не решив ни одной технической задачи и не имея ни малейшего представления о «профилирова-

нии» и логарифмах. Свой рабочий день он заканчивал в полной уверенности, что «сегодня славно поработал».

Вскоре Филиппу стало ясно, что где бы Гарри ни находился — в номере гостиницы или в палатке, — он всюду оставался самим собой. В лагере полевой партии он тщательно одевался в самый изысканный костюм, который имелся в его распоряжении, начищал высокие сапоги, раскладывал перед собой чертежи и, если кто-нибудь на него смотрел, проводил час-другой за «работой», тихонько напевая и хмурия брови; и если к тому же за ним наблюдала толпа деревенских ротозеев, он получал истинное удовлетворение.

— Понимаешь ли, — сказал он Филиппу как-то утром, располагаясь «работать» в номере отеля вышеописанным способом, — я хочу овладеть теорией этого дела, чтобы иметь возможность проверять наших инженеров.

— А я-то думал, что ты сам собираешься стать инженером? — вопросительно заметил Филипп.

— Ну уж нет, меня на эту удочку не поймает. Есть игра более стоящая. Браун и Шейк получили, или скоро получат, в свое полное распоряжение всю линию Солт-Лик — Пасифик, а это — сорок тысяч долларов за милю пути на ровной местности, с приплатой за выемку твердого грунта, причем твердый грунт будет почти всюду, можешь мне поверить. Кроме того, в их распоряжение поступает каждый второй участок земли вдоль железнодорожной линии. Тут пахнет миллионами. Я договорился с ними, что буду субподрядчиком по строительству первых пятидесяти миль пути. Неплохое дельце, уж будь уверен!

— Знаешь, что я сделаю, Филипп? — продолжал Гарри в порыве великодушия. — Если мне не удастся сделать тебя своим компаньоном, то ты поедешь с инженерами. Застолби первый же участок, намеченный под строительство станции, купи у фермера землю, прежде чем он пронюхает что-нибудь, и мы с тобой заработаем на этом сотенку-другую. Я ссужу тебе деньги, а ты потом сможешь продавать участки. Для начала Шейк обещал дать мне заработать десять тысяч долларов на этом деле.

— Но это же большие деньги!

— Подожди, скоро и ты привыкнешь к таким деньгам. Я ехал сюда не ради какой-нибудь безделицы. Мой дядюшка хотел, чтобы я остался на Востоке и поступил в Мобильскую таможню, взяв на себя ведение дел в Вашингтоне; он говорит, что ловкий парень может нажить себе на этом состояние, но я решил рискнуть и приехал сюда. Я не говорил тебе, что Бобетт и Фэншо предлагали мне должность чиновника по особым поручениям с окладом в десять тысяч долларов в год?

— Почему же ты не согласился? — спросил Филипп, для которого оклад в две тысячи показался бы до его путешествия на Запад целым богатством.

— Почему не согласился? Я предпочитаю работать на свой страх и риск, — с самым невозмутимым видом ответил Гарри.

Через несколько дней после того как они поселились в «Южном», Филипп и Гарри познакомились с весьма приятным джентльменом, которого они раньше встречали в коридорах отеля и с которым иногда обменивались словечком-двумя. Походил он на делового человека и, очевидно, был важной птицей.

Джентльмен сам позаботился о том, чтобы случайный обмен репликами превратился в более солидную форму знакомства. Как-то вечером он встретил друзей в холле, спросил у них, который час, и добавил:

— Прошу прощения, джентльмены! Вы впервые в Сент-Луисе? Ах да! Вероятно, из восточных штатов? Конечно, конечно. Я и сам родом оттуда — из Вирджинии. Зовут меня Селлерс, Бирайя Селлерс. Да, кстати: из Нью-Йорка, говорите? Как раз недели две тому назад я познакомился с двумя джентльменами из вашего же штата; очень известные люди, политические деятели, вы их, несомненно, знаете. Дайте-ка вспомнить, дайте вспомнить... Странно, но их фамилии почему-то вылетели у меня из головы. Я точно знаю, что они из вашего штата, так как немного позже мой старый друг, губернатор Шэкльби, помнится, сказал мне... превосходный человек, этот губернатор, один из достойнейших сынов нашего отечества, — так вот он сказал: «Полковник, как вам понравились нью-йоркские

джентльмены? Мало таких людей встретишь на белом свете, полковник Селлерс», — так он и сказал; да, да, он говорил: «нью-йоркские», это я твердо помню. А вот фамилий их никак не могу вспомнить. Но это не важно. Вы остановились здесь, джентльмены? В «Южном»?

Собираясь ответить, молодые люди сначала хотели назвать своего нового знакомого «мистером», но когда настала их очередь говорить, они невольно называли его «полковником».

Они подтвердили, что живут в «Южном», и сказали, что, по их мнению, это очень хороший отель.

— Да, да, «Южный» недурен. Сам-то я останавливаюсь в старинном аристократическом «Плантаторском». Мы, южане, не любим изменять своим привычкам, знаете ли. Там я всегда чувствую себя как дома, когда приезжаю сюда из Хоука, — моя плантация в Хоуке, немного дальше на север. Вам следует побывать в «Плантаторском».

Филипп и Гарри оба заявили, что с удовольствием посетят некогда столь знаменитый отель.

— Вот где, наверное, было весело, — сказал Филипп, — когда дуэли происходили прямо за табльдотом и пули летали над обеденным столом.

— Можете мне поверить, сэр, — это необычайно приятная гостиница. Пройдемтесь немного?

И все трое зашагали по улицам Сент-Луиса. Всю дорогу полковник болтал в самой непринужденной и дружеской манере, с той откровенностью и чистосердечием, которые располагают к доверию.

— Да, я сам родом из восточных штатов, вырос там, но хорошо знаю Запад. Это великий край, джентльмены. Самое подходящее место для молодых людей с отважной душой. Стоит только нагнуться, чтобы поднять с земли целое состояние! Да, да, нагнуться и поднять, — здесь оно лежит прямо под ногами. Мне чуть ли не каждый день приходится отказываться от богатейших возможностей просто потому, что я слишком занят. Все время уходит на управление собственным имением. Так, значит, вы здесь впервые? Приглядываетесь, с чего начать?

— Да, пока приглядываемся, — ответил Гарри.

— Вот мы и пришли. Вы, наверное, предпочитаете посидеть на воздухе, а не идти в мои апартаменты? Я также. С чего начать, говорите? — Глаза полковника засверкали. — Так, так... Все в нашем краю только начинается; единственное, чего нам не хватает, чтобы поднять его, — это капитала. Уложите рельсы, и на землю сразу появится спрос. У подножья трона господня нет земель богаче тех, что лежат на запад отсюда. Будь мой капитал свободен, я бы вложил его в эти земли и вырастил миллионы долларов.

— Ваш капитал, я полагаю, вложен главным образом в плантацию?

— Частично, сэр, частично. Сюда я приехал в связи с одной небольшой операцией. Так, пустячок, ничего особенного. Кстати, джентльмены, простите меня за вольность, но в это время я обычно...

Полковник сделал паузу, но поскольку его знакомые никак не реагировали на достаточно ясный намек, он решил пояснить свои слова:

— Я стараюсь придерживаться определенного часа: в нашем климате иначе нельзя.

Поскольку и это откровенное проявление гостеприимных порывов полковника осталось непонятым, он вежливо проговорил:

— Джентльмены, не хотите ли вы что-нибудь выпить?

Полковник повел молодых людей на Четвертую улицу, в ресторан, расположенный в первом этаже, и там они приобщились к местным обычаям.

— Не это, — заявил полковник бармену, который привычным движением подвинул к ним бутылку скверного, явно кукурузного виски, будто другого заказа он и не ожидал, — не это! — И полковник махнул рукой. — Вон ту бутылочку отарда, прошу вас. Да, да! Никогда не пейте спиртных напитков низкого качества, джентльмены, особенно по вечерам да еще в здешнем климате! Вот это другое дело. Ваше здоровье!

Гостеприимный полковник, выпив свою порцию виски и пробормотав, что это не совсем то, — «когда у человека свой винный погреб, он поневоле становится немного придиричивым», — заказал сигары. Однако те,

что предложил бармен, не удовлетворили полковника; он жестом велел убрать их и принести гаванские сигары какого-то особого сорта: каждая в отдельной упаковке.

— Я курю только эту марку, джентльмены; они немного дороже, но вы скоро поймете, что в здешнем климате лучше не экономить на таких пустяках, как сигары.

Поделившись с ними столь ценными сведениями, полковник с удовлетворенным видом закурил ароматную сигару и небрежным жестом сунул два пальца в правый карман жилета. Однако там ничего не оказалось; на лице полковника появилась легкая тень недовольства, и он перенес пальцы в левый карман жилета. Не найдя и там ничего, он огляделся с самым серьезным и раздосадованным видом, обеспокоенно похлопал рукой сперва по правому карману брюк, потом по левому и воскликнул:

— Бог ты мой, какая досада! Бог ты мой, как это неприятно! В жизни со мной ничего подобного не случилось. Я где-то оставил бумажник. Постойте, кажется какая-то бумажка все-таки нашлась. Нет, черт побери, это только квитанция.

— Позвольте мне, — проговорил Филипп, видя, как расстроился полковник.

Филипп вытащил кошелек, но полковник заявил, что об этом не может быть и речи, и пробормотал что-то бармену насчет «следующего раза». Однако этот поставщик веселящего зелья никак не реагировал на его слова, и Филиппу все же выпала честь расплатиться за дорогостоящий «глоточек». Полковник многословно извинился и заявил, что за ним остается право угостить молодых людей «в другой раз, в другой раз».

Затем он пожелал своим друзьям спокойной ночи, и скоро они исчезли из виду, но Бирайя Селлерс и не подумал возвращаться в «свои апартаменты» в «Плантаторском»; вместо этого он направился в дальний квартал города, где жил на квартире у приятеля.

В ФИЛАДЕЛЬФИИ. ПЕРВОЕ ПОЯВЛЕНИЕ РУФИ БОУЛТОН

Pulchra duos inter sita stat Philadelphia rivos;
 Inter quos duo sunt millia longa viæ.
 Delawar hic major, Skulkil minor ille vocatur;
 Indis et Suevis notus uterque diu.
 Illic plateas mensor spatiis delineat æquis,
 Et domui recto est ordine juncta domus.

T. Mairn ¹

Vergin era fra lor di già matura
 Verginità, d'alti pensieri e regi,
 D'alta beltà; ma sua beltà non cura,
 O tanta sol, quant' onestà sen fregi.

Tasso ².

Письмо, которое Филипп Стерлинг написал Руфи Боултон, перед тем как пуститься на Запад в поисках счастья, застало ее в доме отца в Филадельфии. Это

¹ Стоит Филадельфия в блеске своей красоты
 Между двух рек, разделенных пространством в две мили.

Побольше река — Делавар, а поменьше — Скалкилом зовется;

Индейцам и сведам известны они издавна.
 Широкие улицы здесь проложены ровно и прямо,
 Прямыми рядами дома прижались друг к другу вдоль улиц.

Т. Мэйкин (лат.).

² Чистыми мыслями, строгостью нрава,
 Зрелой красой эта дева блистала.
 Скромность и честь — ее добрая слава —
 Вместо нарядов ее украшала. — Тассо (итал.).

был один из самых приятных пригородных домов этого гостеприимного города, по своей территории одного из крупнейших городов мира, который давно стал бы центром нашей страны, если бы не помеха в виде кэмден-амбойских песков, отрезавших его от Атлантического океана. Филадельфия движется к процветанию медленно, но верно; на ее гербе можно было бы изобразить черепаху — ту самую неторопливую, но зато восхитительно вкусную черепаху, которая превращает обед в Филадельфии в королевское пиршество.

Быть может, виновата была весна, но в то утро Руфь казалась несколько встревоженной и не могла найти себе места ни в доме, ни в саду. Ее сестры ушли в город показывать гостям, приехавшим из провинции, Индепенденс-Холл, колледж Джирарда, Фармаунтовские фонтаны и парк — четыре достопримечательности, не увидев которых ни один американец не может умереть спокойно даже в Неаполе. Но Руфь призналась, что она устала от этих достопримечательностей, так же как и от Монетного двора. Она устала и от многого другого. В то утро она попыталась сесть за рояль, немного поиграла, спела простую песенку приятным, хотя и чуть резким голосом, а потом уселась у открытого окна и принялась читать письмо Филиппа.

О чем думала она, глядя поверх зеленой лужайки и деревьев на Челтонские холмы? О Филиппе? Или о том мире, который он помог ей открыть своим вторжением в ее жизнь, скованную условностями и традициями? О чем бы она ни думала, по выражению ее лица было видно, что она предается не праздным мечтам. Потом она взяла в руки книгу — какой-то труд по медицине. Судя по всему, восемнадцатилетней девушке он должен был казаться не более занимательным, чем свод законов; однако вскоре лицо ее прояснилось, и она настолько увлеклась чтением, что не заметила, как в открытую дверь вошла ее мать.

— Руфь!

— Да, мама? — с легким оттенком нетерпения отозвалась Руфь, отрывая взгляд от книги.

— Мне хотелось бы поговорить с тобой о твоих планах на будущее.

— Ты же знаешь, мама, что я не могла больше оставаться в Уэстерфильде. Я там задыхалась. Эта школа годится только на то, чтобы засушивать все молодое.

— Я знаю, — произнесла Маргарет Боултон, и на лице ее появилась тревожная улыбка, — что тебя раздражает та жизнь, которую ведут Друзья. Но чего ты сама хочешь? Откуда такая неудовлетворенность?

— Если ты настаиваешь, мама, то я скажу. Я хочу выбраться из этого стоячего болота.

Посмотрев на Руфь с болью и упреком, миссис Боултон заметила:

— Тебя и так ни в чем не ограничивают. Одеваешься ты по своему вкусу, гуляешь где вздумаешь, ходишь в любую церковь, какая тебе по душе, и занимаешься музыкой. Вчера только у меня была дисциплинарная комиссия из Общества: у нас в доме рояль, — а это нарушение устава.

— Надеюсь, ты объяснила старейшинам, что за рояль ответственность несем мы с отцом, а ты даже не входишь в комнату, когда кто-нибудь играет, хоть и очень любишь музыку. К счастью, отец уже вышел из Собрания, и к нему они не могут применить дисциплинарные меры. Я слышала, как отец рассказывал дяде Эбнеру, что в детстве его так часто пороли за привычку свистеть, что теперь он решил вознаграждать себя при каждом удобном случае.

— Ты очень удручаешь меня, Руфь, — и ты и твои новые знакомые. Превыше всего я желаю тебе счастья, но ты стала на опасный путь. Отец согласен, чтобы ты поступила в мирскую школу?

— Я еще не спрашивала его, — ответила Руфь; по тому, как она взглянула на мать, легко было понять, что Руфь принадлежит к числу тех волевых натур, которые привыкли сперва принимать решение сами, а потом заставлять других соглашаться.

— Ну а когда ты получишь образование и тебя уже не будет удовлетворять общество твоих друзей и образ жизни твоих предков, чем займешься ты тогда?

Руфь совершенно спокойно посмотрела матери прямо в глаза и тем же ровным голосом ответила:

— Мама, я собираюсь изучать медицину.

На мгновение Маргарет Боултон чуть не утратила свою обычную невозмутимость.

— Ты — изучать медицину? Такая слабая, хрупкая девочка, как ты, — изучать медицину? Неужели ты думаешь, что выдержишь хоть полгода? А лекции, а анатомический театр? Ты подумала об анатомическом театре?

— Мама, — все так же спокойно проговорила Руфь. — Я обо всем подумала. Я убеждена, что выдержу и клиники, и анатомический театр, и все остальное. Ты думаешь, что у меня неостанет мужества? И почему мертвецов нужно бояться больше, чем живых?

— Но у тебя же не хватит ни здоровья, ни сил, дитя. Ты не вынесешь тяжелых условий. Ну, хорошо, предположим, ты изучишь медицину, — что потом?

— Буду практиковать.

— Здесь?

— Здесь.

— В этом городе, где так хорошо знают тебя и твоих родных?

— Отчего же нет? Только бы ко мне пошли больные.

— Я надеюсь, что ты по крайней мере дашь нам знать, когда вздумаешь открыть прием? — ответила миссис Боултон, и в голосе ее послышались нотки сарказма, к которому она прибегала крайне редко. Вслед за тем она встала и вышла из комнаты.

Руфь продолжала сидеть неподвижно; на лице ее появилось напряженное выражение, щеки горели. Итак, тайное стало явным. Она вступила в открытую борьбу.

Экскурсанты вернулись из города в полном восторге. Существовало ли когда-нибудь в Греции здание, которое может сравниться с колледжем Джирарда? Где и когда для бедных сирот строили такую великолепную каменную громаду? Подумайте, крыша покрыта вытесанными из камня плитами толщиной в восемь дюймов! Руфь спросила у своих восторженных друзей, захотели ли бы они сами жить в таком мавзолее, в огромных залах и комнатах которого каждый звук отдается

громким эхом и в котором не найти ни одного уютного уголка? Если бы сами они были сиротами, хотели бы они жить в древнегреческом храме?

А Брод-стрит! Разве это не самая широкая и не самая длинная улица в мире? У нее действительно нет конца, и даже Руфь признавала (для этого она была в достаточной мере дочерью Филадельфии), что улицам не полагается иметь ни конца, ни края, ни даже каких-либо архитектурных украшений, на которых мог бы отдохнуть утомленный глаз. Но ничто так не потрясло гостей, как великолепные витрины улицы Каштанов и лавки Восьмой улицы. Куда там святому Джирарду или Брод-стрит, куда там всем чудесам Монетного двора и славе Индепенденс-Холла, где тени наших предков все еще сидят, подписывая декларацию! Дело в том, что провинциальные родственницы приехали в Филадельфию, чтобы посетить Ежегодное Собрание, и едва ли светские дамы делали столько покупок и так готовились к премьере в опере, как кузины Руфи к этому религиозному событию.

— Ты пойдешь на Ежегодное Собрание, Руфь? — спросила ее одна из кузин.

— Мне нечего надеть, — осмотрительно ответила Руфь. — Но если ты хочешь поглядеть на новые шляпки, самые что ни на есть ортодоксальные по цвету и форме, советую тебе посетить Собрание на Арк-стрит. Если ты хоть в чем-нибудь отступишь от принятого там цвета и формы, это сразу будет замечено. Мама потратила уйму времени, пока нашла в магазинах материю нужного оттенка для новой шляпки. Сходи туда, обязательно сходи. Но все равно никого красивее нашей мамы ты там не увидишь.

— А ты не пойдешь?

— Зачем это мне? Я была там много раз. И уж если идти на Собрание, то я предпочитаю старую тихую молельню в Джермантауне, где окна всегда открыты настежь и можно смотреть на деревья и слушать шорох листвы. На Ежегодном Собрании на Арк-стрит всегда такая давка, а когда выходишь, то у обочины тротуара обычно выстраивается вереница щеголей, которые только и делают, что таращат на тебя

глаза. Нет, на Арк-стрит я всегда чувствую себя не в своей тарелке.

В этот вечер, как, впрочем, и в другие вечера, Руфь допоздна сидела с отцом у камина в гостиной. Это были часы откровенных разговоров.

— Ты как будто опять получила письмо от молодого Стерлинга? — спросил Эли Боултон.

— Да. Филипп уехал на Дальний Запад.

— Как далеко?

— Он не пишет, но это где-то на самой границе. А все, что лежит западнее, помечено на карте лишь словами «индейцы» и «пустыня» и кажется таким унылым, как молитвенное собрание в среду.

— Гм! Ему давно пора чем-нибудь заняться. Уж не собирается ли он выпускать там ежедневную газету для индейцев кикапу?

— Отец, ты несправедлив к Филиппу. Он собирается вступить в дело.

— В какое же дело может вступить молодой человек без всякого капитала?

— Он подробно не пишет, — не совсем уверенно ответила Руфь. — Что-то связанное с землей и железными дорогами. Ты ведь знаешь, в тех краях состояния наживаются самыми неожиданными способами.

— Вот именно, наивный ты мой котенок. И не только в тех, но и в этих. Но Филипп — честный малый и к тому же достаточно талантливый, чтобы пробить себе дорогу, — если, конечно, он бросит бумагомаранье. А тебе надо бы подумать о себе, Руфь, и не забивать себе голову приключениями этого молодого человека, пока ты не решила определенно, чего же ты сама хочешь от жизни.

Этот превосходный совет, по-видимому, не произвел особого впечатления на Руфь, ибо она продолжала рассеянно глядеть в пространство своими серыми задумчивыми глазами, не видя ничего вокруг, что не раз бывало с ней и прежде. Наконец она воскликнула с едва сдерживаемым нетерпением:

— Как бы я хотела уехать на Запад или на Юг — куда угодно, лишь бы уехать! Женщин все время ста-

раются уложить в футляр: смолоду подгоняют под мерку и укладывают. Если нас и везут куда-нибудь, то опять же в футляре, под вуалью, а наше бесправие связывает нас по рукам и ногам. Отец, мне хочется сломать этот порядок и вырваться на волю!

Нужно было слышать, каким наивным и вместе с тем нежным тоном произнесла она эти слова.

— Придет время, и ты будешь ломать все что захочешь, ничуть не сомневаюсь. Женщины всегда так делают. Но чего тебе сейчас не хватает?

— Мне хочется стать кем-нибудь, хочется делать что-нибудь, работать. Неужели я должна покрываться плесенью и сидеть сложа руки только потому, что родилась женщиной? Это же глупо. Что со мной будет, если вы разоритесь и умрете? Чему я научилась, как я смогу заработать на жизнь себе, маме и сестрам? И даже будь я богата — разве вы хотели бы, чтобы я вела бесполезную жизнь?

— А разве твоя мать провела бесполезную жизнь?

— Это отчасти зависит от того, стоят ли чего-нибудь ее дети, — возразила находчивая спорщица. — Какая польза, отец, от нескольких поколений людей, из которых ни один не продвинулся ни на шаг вперед?

«Друг Боултон» давно уже снял квакерское одеяние и вышел из Собранин; проведя полную сомнений юность, он до сих пор не определил своего кредо и с удивлением поэтому смотрел на неукротимого орленка, выросшего на его квакерской голубятне. Но он не стал высказывать вслух своих мыслей. Вместо этого он заметил:

— А ты посоветовалась с матерью, какую профессию выбрать? Ведь ты мечтаешь о какой-нибудь профессии, не так ли?

Руфь уклонилась от прямого ответа, она лишь посоветовала на то, что мать не понимает ее. На самом же деле эта умудренная жизнью, спокойная женщина понимала прелестную бунтарку лучше, чем Руфь сама понимала себя. Возможно, что и у матери в прошлом была своя история и что она тоже некогда билась молодыми крыльями о клетку традиций, предаваясь мечтам о новом общественном порядке и переживая

тот пламенный период в жизни всякого мечтателя — одиночки, когда еще веришь, что силой одного только разума можно изменить весь мир.

На письмо Филиппа Руфь ответила сразу же сердечным, однако лишенным излишней сентиментальности письмом. Филиппу оно очень понравилось, — как, впрочем, нравилось все, что она делала. Однако у Филиппа осталось смутное впечатление, что письмо имеет больше отношения к ней самой, чем к нему. Выйдя из «Южного» прогуляться, он взял письмо с собой и на одной из самых малолюдных улиц перечитал его. Несформировавшийся и ничем не примечательный почерк Руфи показался ему своеобразным и необычным, не похожим на почерк ни одной другой женщины.

Руфь выражала свою радость по поводу успехов Филиппа и уверенность в том, что его талант и мужество помогут ему пробиться в жизни. Она будет молиться, чтобы бог послал ему удачу и чтобы индейцы в Сент-Луисе не сняли с него скальп.

Последняя фраза несколько озадачила Филиппа, и он пожалел, что написал ей об индейцах.

РУФЬ ИЗУЧАЕТ МЕДИЦИНУ. АНАТОМИЧЕСКИЙ ТЕАТР

— *Rationalem quidem puto medicinam esse debere, instrui vero ab evidentibus causis obscuris omnibus non a cogitatione artificis, sed ab ipsa arte rejectis. Incidere autem vivorum corpora et crudele, et supervacuum est: mortuorum corpora discen-
tibus necessarium.*

Celsus ¹.

Эли Боултон и раньше часто не без тревоги говорил с женой о Руфи. Из всех их детей она одна не хотела мириться с запретами и унылой рутинной «Общества Друзей», не проявляла ни малейшего желания принять «внутренний свет» в качестве руководства к жизни бездеятельной и пассивной. Когда Маргарет Боултон рассказала мужу о новых планах Руфи, он удивился гораздо меньше, чем она ожидала. Более того, он сказал, что если женщина чувствует призвание к медицине, пусть она и занимается ею, почему бы нет?

¹ Полагаю, что искусство врачевания должно основываться на доводах разума и руководствоваться только неоспоримыми симптомами; все неопределенное должно быть чуждо не только серьезному вниманию врача, но и самой его профессии. Подвергать вскрытию живые тела не только жестоко, но и излишне; мертвые же тела необходимы учащимся. — Цельс (лат.).

— Но подумай, ведь она совсем не знает жизни, да и здоровье у нее плохое, — возражала его жена. — Разве такая слабенькая девочка сможет вынести все тяготы подготовки к врачебной практике, а потом напряженную жизнь врача?

— А ты не подумала, Маргарет, каково ей будет отказаться от цели, к которой она стремится всей душой? Когда она в детстве болела, ты же сама заменяла ей учителей и знаешь, какая у нее сила воли, сколько настойчивости и решительности вкладывала она в учение. Она не успокоится, пока не испытает свои силы.

— Уж лучше бы она влюбилась и со временем вышла замуж, — заявила Маргарет с чисто женской непоследовательностью. — Думаю, это излечило бы ее от некоторых идей. Может, если послать ее учиться в какой-нибудь другой город, она попадет в новую обстановку и мысли ее примут совсем другое направление?

Эли Боултон чуть не засмеялся, глядя на жену с нежностью, пронесенной им через все годы их совместной жизни.

— А ты разве не помнишь, что до нашей свадьбы, еще до того как ты вошла в Собрание, ты тоже была полна всяких идей, — сказал он. — Мне кажется, что Руфь честно идет навстречу тем стремлениям, которые ты погребла под квакерским платьем.

Против этого Маргарет ничего не могла возразить; молчание ее говорило о том, что в своем прошлом она ищет доводы против только что высказанных ею мыслей.

— Почему бы не разрешить Руфи позаниматься некоторое время? — сказал Эли. — У нас в городе недавно открылся Женский медицинский колледж. Весьма вероятно, что она сама скоро обнаружит, что ей не хватает общей подготовки, и согласится с твоим предложением повидать свет и поучиться в каком-нибудь солидном учебном заведении.

На этом они и порешили, и Маргарет, отнюдь не одобрявшей этого плана, в конце концов пришлось согласиться, что это наилучший выход из положения. Чтобы избавить Руфь от лишней траты сил, договорились, что она будет жить у знакомых, неподалеку от

колледжа, и попытается постичь науку, которой все мы обязаны жизнью, хоть иногда кажется, что мы появились на свет только благодаря чуду.

В тот день мистер Боултон привел к обеду нового гостя, мистера Биглера из знаменитой фирмы железнодорожных подрядчиков «Пеннибеккер, Биглер и Смолл». Мистер Боултон постоянно приводил к обеду кого-нибудь, кто собирался построить новую дорогу или заложить шахту, засадить болото камышом для снабжения сырьем бумажных фабрик или основать больницу, вложить деньги в создание молотилки нового типа или открыть колледж где-то около границы заселенных земель Запада, предварительно занявшись спекуляцией земельными участками.

Дом Боултонов служил постоянным пристанищем для подобного рода людей. Они все время появлялись и исчезали. Руфь привыкла видеть их в доме с самого детства и не раз говорила, что они льнут к ее отцу, как мухи к меду. Руфь была уверена, что половина человечества только тем и живет, что вовлекает другую половину в разного рода аферы. И мистер Боултон никому не мог сказать «нет», утверждала Руфь, даже представителям общества по гравировке библейских цитат на устричных раковинах.

На этот раз мистер Биглер на протяжении всего обеда громко разглагольствовал о постройке железной дороги от Танкханнока до Янгвуменс-тауна через Рэтлснейк, которая станет не только столбовой дорогой на Запад, но и откроет выход на рынок неисчерпаемым запасам каменного угля и древесины. План действий был чрезвычайно прост.

— Мы скупаем землю, — объяснял он, — пользуясь долгосрочным кредитом, поддержанным гарантиями верных людей; затем закладываем земли и получаем достаточно денег, чтобы построить большую часть дороги. Потом добиваемся, чтобы в городах, оказавшихся на новой железнодорожной линии, выпустили акции на сумму, необходимую для завершения работ; акции мы продаем и достраиваем дорогу. Под достроенную линию частично выпускаем новые акции, что будет нетрудно, если по мере завершения работ на каждом

новом участке мы будем закладывать его. Остальные акции можно будет продать, разрекламировав возможности, которые открывает в этих краях наша дорога. Затем мы продаем с большой прибылью скупленные ранее земли. Все, что нам нужно, — непринужденно продолжал Биглер, — это несколько тысяч долларов, чтобы начать изыскательские работы и уладить кое-какие дела в законодательном собрании штата. Некоторые субъекты оттуда могут доставить нам немало хлопот. Надо будет повидаться с ними.

— Для начала потребуются немалые деньги, — заметил мистер Боултон, который прекрасно знал, что значило «повидаться» с некоторыми законодателями Пенсильвании, но вежливость не позволяла ему высказать мистеру Биглеру свое мнение о нем, пока он его гость. — Ну, а какие вы даете гарантии?

На лице мистера Биглера появилась жесткая улыбка, и он сказал:

— Вступив в дело, мистер Боултон, вы будете первым при дележе доходов.

Руфь не все понимала в этом разговоре, но с любопытством посматривала еще на одного представителя уже известного ей типа людей. Наконец она прервала беседу вопросом:

— Мистер Биглер, я полагаю, вы будете продавать акции каждому, кого привлечет реклама?

— О, конечно, всем без исключения, — проговорил мистер Биглер, только сейчас заметивший Руфь и слегка озадаченный выражением обращенного к нему спокойного, умного лица.

— А что станет с теми бедняками, которых уговорят рискнуть своими скромными сбережениями, после того как вы выйдете из дела, не доведя его до конца?

Сказать, что мистер Биглер смутился или что он вообще умел смущаться, было бы равносильно утверждению, что фальшивый медный доллар способен позеленеть, когда обнаруживается, что он фальшивый; однако вопрос был задан в присутствии мистера Боултона, и это раздосадовало гостя.

— Видите ли, мисс, во всяком большом деле, принятом на благо общества, могут, конечно, произойти некоторые... мелкие... неприятности, которые.. которых... Ну и конечно же о бедных следует заботиться, я и жене своей говорю, что о бедных нужно заботиться; правда, не всегда определишь, кто бедняк, а кто нет, столько сейчас развелось мошенников. К тому же надо заботиться и о бедняках из законодательного собрания, — сказал с усмешкой подрядчик. — Не так ли, мистер Боултон?

Эли Боултон ответил, что ему почти не приходилось иметь дела с членами законодательного собрания.

— Да, — продолжал всеобщий благодетель, — в этом году народ там подобрался довольно бедный, необыкновенно бедный, а потому и дорогостоящий. Дело в том, мистер Боултон, что цены на сенаторов поднялись в Соединенных Штатах так высоко, что это отражается на состоянии всего рынка: стало почти невозможно провести в жизнь какое-нибудь общественно-полезное дело на сходных условиях. Симонья — вот что это такое! Симонья — и ничего больше, — повторил мистер Биглер, считая, по-видимому, что нашел удачное слово.

Мистер Биглер продолжал разглагольствовать и рассказал некоторые интересные подробности о тесной связи железных дорог с политикой; весь обед он старательно развлекал сам себя и внушал все больше отвращения Руфи, уже не задававшей вопросов, и ее отцу, который отвечал ему лишь односложными словами.

— Хорошо, если бы ты перестал приводить к нам таких мерзких людей, — сказала Руфь отцу, после того как Биглер ушел. — Неужели все, кто носит в галстук булавку с крупным бриллиантом, непременно должны размахивать за столом ножом, неграмотно говорить и мошенничать?

— Э, дитя мое, ты слишком придирчива. Мистер Биглер один из самых видных людей в нашем штате; ни у кого нет такого влияния в Гаррисберге. Мне он нравится ничуть не больше, чем тебе, но уж лучше одолжить ему немного денег, чем стать его врагом.

— А я думаю, отец, что лучше стать его врагом, чем сидеть за одним столом с ним. Верно, что он дал деньги на постройку этой прелестной церкви святого Якова Малого и что он состоит в приходском совете?

— Верно. Он не такой уж плохой человек. Как-то на Третьей улице его спросили, из какой он церкви — Высокой или Низкой. Биглер ответил, что и сам точно не знает: в церкви он был, дескать, только один раз, но в боковом приделе свободно доставал до потолка рукой.

— И все же он нехороший человек, — окончательно и бесповоротно решила Руфь со свойственной женщинам способностью быстро делать выводы, несмотря ни на какие смягчающие обстоятельства. А Биглер даже и не подозревал, что он произвел столь неблагоприятное впечатление в семье Боултона, — сам-то он всячески старался понравиться. Маргарет Боултон согласилась с мнением дочери, и, хотя она никогда не вступала в разговор с людьми, подобными Биглеру, она была благодарна Руфи за то, что хоть дочь досадила ему.

В доме Боултонов царили мир и спокойствие, и постороннему никогда не пришло бы в голову, что кто-нибудь мог возражать против поступления Руфи в Медицинский колледж. Она спокойно переехала в город и начала посещать лекции, будто ничего естественнее и быть не могло. Что же касается оживленных сплетен и пересудов родственников и знакомых — сплетен, ничуть не менее распространенных у Друзей, чем в любой другой среде, хотя тут их передают только исподтишка, осторожным шепотком, — то Руфь не обращала на них никакого внимания, если даже она их и слышала.

Ученье целиком захватило Руфь; впервые в жизни она была по-настоящему счастлива и глубоко наслаждалась свободой и возможностью отдаться занятиям, которые с каждым днем приносили ей все больше нового. Приезжая по Первым Дням домой, она всегда была в прекрасном настроении, всюду звенел ее веселый смех, и остальным детям очень не хотелось, чтобы она уезжала. Но миссис Боултон с тревогой замечала, как горит порой ее лицо и сверкают глаза, свидетельствуя

о скрытых порывах души, и как подчас, когда она погружалась в себя, лицо ее становилось решительным и напряженным.

Медицинский колледж в Филадельфии был небольшим учебным заведением; он с трудом поддерживал свое существование в этом консервативном городе, давшем, однако, миру столько прогрессивных начинаний. На лекции ходило человек десять — двенадцать, и самим студентам колледж казался каким-то смелым экспериментом, а занятия — захватывающими приключениями пионеров науки. В Филадельфии в то время была одна-единственная женщина-врач; словно современная Беллона на боевой колеснице, разъезжала она в коляске по городу, смело и настойчиво сражаясь с самыми опасными болезнями, в каком бы квартале города они ни вспыхивали; говорили, что ее гонорар доходит до десяти и даже до двадцати тысяч долларов в год. Может быть, некоторые из студенток мечтали о том дне, когда у них будет столь же обширная практика, а заодно и муж; но, насколько нам известно, ни одна из них так и не практиковала за пределами больницы палаты или собственной детской, и более того — можно опасаться, что, подобно всем другим представительницам слабого пола, они предпочтут при малейшей опасности позвать «настоящего врача».

Если Руфь и питала какие-нибудь преувеличенные надежды на свою профессию, то она никому не поверяла их; и ее однокурсницы знали ее как веселого и отзывчивого товарища и серьезную студентку, всегда ровную и спокойную, кроме разве тех случаев, когда при ней намекали на то, что у женщин меньше способностей к наукам, нежели у мужчин.

— Говорят, — рассказывал как-то один юный квакерский отпрыск другому, — что Руфь Боултон всерьез решила стать костоправом — ходит на лекции, режет трупы и все такое. Во всяком случае, кровь у нее как раз такая холодная, какая нужна хирургу.

Сказано это было достаточно прочувствованно, так как юному квакеру, должно быть, не раз доводилось испытывать смутное чувство неловкости под оцениваю-

щим, спокойным взглядом Руфи и совершенно отчетливое чувство испуга при звуке короткого смешка, которым она отвечала на его пустую болтовню. Для Руфи подобные молодые люди в это время вообще не существовали, а если они и попадали в поле ее зрения, то она относилась к ним как к занятым пустячкам.

Руфь редко рассказывала друзьям о своей студенческой жизни, но впоследствии они убедились, что она довела учение до конца только ценой колоссального первого напряжения и полного истощения физических сил. Практику по анатомии она начала с отдельных частей человеческого тела, которые доставлялись прямо в аудиторию; она препарировала то глаз, то ухо, то какой-нибудь клубок мышц и нервов, и это занятие напоминало ей о смерти не больше, чем ботанику — исследование отдельных частей растения, из которого ушла жизнь, как только его вместе с корнями извлекли из земли. Привычка оказывает свое воздействие даже на самые впечатлительные натуры: рано или поздно они перестают обращать внимание на то, что вначале вызывало у них чувство глубокого отвращения; в последнюю войну нам не раз приходилось видеть, как самые изнеженные женщины, которые у себя дома не выносили и вида крови, так привыкали к кровавым сценам, что расхаживали по госпиталям и по полю боя, среди жалких, искалеченных существ, с таким самообладанием, будто разгуливали по цветущему саду.

Однажды вечером, занимаясь анатомией, Руфь начала изучать раздел, который без наглядного разбора был ей совершенно непонятен; она так увлеклась, что не захотела ждать до утра. Поэтому она уговорила занимавшуюся вместе с ней студентку пойти в анатомический театр колледжа и поработать там часок над интересующим их вопросом. Может быть, Руфи к тому же хотелось испытать себя, убедиться, что ее воля способна победить установившиеся суеверия.

Они подошли к ветхому, унылому зданию, и сторож, подозрительно оглядев девушек, впустил их внутрь; потом он дал им зажженные свечи, сообщил, что «наверху лежит новенький», и они направились к лестнице.

Поднявшись на четвертый этаж, они отперли дверь и, помедлив немного, вошли в длинную комнату с рядом окон по левой стене и одним окном в глубине. Комнату освещали лишь звезды да принесенные девушками свечи. В полумраке они разглядели два больших продолговатых стола и несколько маленьких, скамьи и стулья, пару скелетов, висящих на стене, умывальник; кое-где на столах под покрывалами лежали какие-то бесформенные предметы.

Окна были открыты, и прохладный ночной ветерок свободно гулял по комнате, поскрипывая створками окон и приподнимая по временам края белых покрывал. Но как бы ни были сильны запахи ночи, даже они не в состоянии были изгнать из комнаты ясно ощущимый запах тлена.

На мгновение девушки замерли в дверях. Сама по себе комната была им достаточно знакома, но ночь придает любому помещению загадочный облик; особенно таинственным казался этот временный приют непогрешенных человеческих останков, куда в любую минуту могли влететь на легких крыльях ночного ветерка блуждающие души их покойных владельцев.

Из окон, поверх крыш более низких строений, девушкам видно было стоящее напротив колледжа высокое здание, верхний этаж которого, по-видимому, занимал танцевальный зал. Его окна тоже были открыты, и оттуда доносились визги терзаемой кем-то скрипки и завывание гобоя, а иногда и выкрики распорядителя; в освещенных квадратах окон ярко вырисовывались силуэты мелькающих пар.

— Интересно, — проговорила Руфь, — что подумали бы танцующие там девицы, если бы увидели нас или узнали бы, что неподалеку от них находится такое место?

Они говорили вполголоса, а когда подошли к длинному столу, стоявшему посередине комнаты, то невольно прижались друг к другу. На столе лежал прямой продолговатый предмет, покрытый покрывалом: это, видимо, и был тот самый «новенький», о котором упомянул сторож. Руфь сделала шаг вперед и чуть дрогнувшей рукой откинула покрывало. Обе испуганно

отшатнулись. Перед ними лежал негр. Его черное лицо упорно не хотело покрываться восковой бледностью и пугало своим уродливым сходством с лицами живых. Руфь побелела как полотно, а ее подруга прошептала: — Уйдем отсюда, Руфь. Мне страшно.

То ли от колеблющегося света свечей, то ли от застывшего на лице мертвеца выражения предсмертной муки, но казалось, что лицо негра сердито нахмурилось: «Мало вам того, что вы всю жизнь мучали и преследовали чернокожего, так вам еще нужно было вытащить его из могилы и послать своих женщин кромсать на куски его тело!»

Кто он, этот мертвец, один из тысяч, которые умерли вчера и обратятся в прах завтра, — кто он, чтобы противиться стремлению науки использовать на благо людям его уже никому не нужные останки?

Конечно, Руфи и в голову не могли прийти такие мысли, но на мгновение жалость и скорбь сменили на ее лице выражение страха и отвращения, она почти-тельно прикрыла лицо негра покрывалом, и девушки направились каждая к своему столу. Около часа они работали молча, почти не разговаривая, но все время ощущая благоговейный страх от близости смерти, в то время как совсем рядом ключом била жизнь — слышалась веселая музыка и беззаботный смех.

Когда наконец они вышли из жуткой комнаты и, заперев за собой дверь, очутились на улице в толпе прохожих — только тогда по охватившему их облегчению они поняли, в каком нервном напряжении находились все это время.

**ОБРАЗЦОВЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ИНЖЕНЕР.
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ У ПРИСТАНИ СТОУНА**



Todtenbuch. 117, I, 3 1.

Пока шла весна и Руфь была поглощена своими занятиями, Филипп и его друзья продолжали жить в «Южном». Главные подрядчики уже закончили переговоры с государственными и железнодорожными чиновниками, а также с подрядчиками помельче и отбыли на Восток. Но Филиппа и Генри задержала в городе болезнь одного из инженеров, у постели которого они поочередно дежурили.

В одном из писем Филипп рассказал Руфи о их новом знакомом — полковнике Селлерсе, гостеприимном и задушевном джентльмене, искренне заинтересованном в процветании своего края и в их собственных успехах. Им еще не представился случай побывать «в его местах», в северной части штата, но полковник часто обедал с ними, поверял им по секрету свои планы и, по-видимому, испытывал к ним большое расположе-

¹ Я пришел. «Строй дорогу» — слова, выражающие мою суть (мое имя). — «Книга мертвых», 117, I, 3 (египетск.).

ние, особенно к его другу Гарри. Правда, он почему-то никогда не имел при себе наличных денег, но зато вел очень крупные операции.

Переписка между Филиппом и Руфью, столь поразному занятых, была не слишком оживленной; Филипп посылал длинные письма, а получал в ответ короткие, — правда, насыщенные меткими замечаниями; так, например, о полковнике Селлере Руфь написала, что такие люди по крайней мере раз в неделю обедают в их доме.

Выбранная Руфью профессия очень удивила Филиппа, и хотя он подробно обсуждал этот вопрос в своих письмах, но не смел и намекнуть ей, что боится, как бы увлечение медициной не помешало осуществлению его самых сокровенных планов. Он слишком уважал Руфь, чтобы возражать против ее решения, и готов был отстаивать его перед всем светом.

Вынужденная задержка в Сент-Луисе начинала беспокоить Филиппа. Деньги его быстро таяли, к тому же ему не терпелось поскорее заняться делом и самому убедиться, сможет ли он нажить состояние или хотя бы получить какую-нибудь должность. Подрядчики предоставили молодым людям право присоединиться к изыскательским партиям, как только они смогут уехать из города, но больше ничего для них не сделали, оставив их по сути дела лишь с весьма туманными надеждами на лучшее будущее.

Зато Гарри был вполне счастлив. Он очень быстро перезнакомился со всем городом, начиная от губернатора штата и кончая официантами в отеле. Жаргоном дельцов с Уолл-стрит он владел в совершенстве, разговаривал со всеми так, словно был важной персоной, и с увлечением погрузился в изучение земельных и железнодорожных спекуляций, которыми был насыщен самый воздух Сент-Луиса.

Полковник Селлерс и Гарри беседовали целыми часами и даже днями. Гарри сообщил своему новому другу, что скоро выезжает в изыскательскую партию, работающую на линии Солт-Лик — Пасифик, но что вовсе не это его настоящее дело.

— Как только начнется строительство дороги, мне

вместе с одним человеком предстоит получить большой подряд; а пока я хочу побродить с геодезистами и посмотреть хорошие земли и участки под железнодорожные станции.

— Самое главное — это знать, куда вложить капитал, — поддакнул ему полковник. — Я знавал людей, которые потеряли деньги только потому, что стеснялись спросить совета у Селлерса. А другие не постеснялись — и нажили огромные состояния. Уж кто-кто, а я эти края знаю, изучаю их вот уже двадцать лет. На карте штата Миссури нет такого местечка, которого я бы не знал как свои пять пальцев. Когда вы захотите пристроить немного деньжат, — доверительным тоном продолжал полковник, — дайте знать Бирайе Селлерсу. Вот и все.

— Ну, сейчас у меня на руках не так уж много денег, но если с пятнадцатью или двадцатью тысячами долларов здесь можно сделать что-нибудь, то в нужную минуту я смогу собрать такую сумму.

— Это уже нечто, уже нечто — пятнадцать или двадцать тысяч... скажем — двадцать, для начала, — задумчиво проговорил полковник, как бы подыскивая мысленно какое-нибудь дельце, которое можно было бы затеять с такой пустячной суммой. — Вот что я вам скажу, мистер Брайерли, но помните, я говорю это только вам. Я давно держу про запас один небольшой проект. Вернее, он выглядит небольшим на бумаге, но у него большое будущее. Что вы скажете, сэр, относительно города, выросшего за два года будто по мановению волшебного жезла Аладдина — да еще в таком месте, где его возникновение так же неожиданно, как появление маяка на вершине Пайлот-ноба? А земля, на которой будет выстроен город, может стать вашей собственностью! Это вполне осуществимо, вполне осуществимо!

Полковник пододвинул свой стул ближе к Гарри, положил руку ему на колено и, предварительно оглядевшись по сторонам, заговорил вполголоса:

— Линия Солт-Лик — Пасифик пойдет через Пристань Стоуна! Во всех прериях господь всемогущий не создал более чистой и ровной строительной площадки

для города, чем там. К тому же это природный центр края по выращиванию конопли и табака.

— Почему вы решили, что линия пройдет именно там? Судя по карте, это примерно в двадцати милях от прямой трассы.

— Никогда нельзя предвидеть, где пройдет прямая трасса, пока инженеры не проложат ее. Между нами говоря, я уже беседовал с начальником участка, инженером Джеффом Томпсоном. Он понимает нужды Пристаней Стоуна и жителей города — будущих жителей. Джефф считает, что железная дорога строится для удобства населения, а не для сусликов; и он говорит, что будь он проклят, если линия не пройдет через Пристань Стоуна! Вам бы следовало познакомиться с Джеффом — он один из самых больших энтузиастов Запада, а лучшего собутыльника я еще не встречал.

Полковник был близок к истине. Чтобы удружить приятелю, Джефф мог пойти на все: он был всегда готов разделить с ним последний доллар и с той же готовностью мог подбить его на дуэль. Когда полковник Селлерс объяснил ему, какие богатства таит земля у Пристаней Стоуна, он от души пожал руку этому джентльмену, пригласил его выпить и громовым голосом провозгласил:

— Бог ты мой, полковник! Джентльмену из Вирджинии достаточно сказать словечко другому вирджинцу — и дело сделано! Пристань Стоуна ждет железной дороги по крайней мере четыре тысячи лет, и будь я проклят, если она ее не получит!

Гарри рассказал о новом проекте Филиппу, но тот не очень уверовал в него; зато сам Гарри говорил о нем так, будто несуществующий город уже был его собственностью.

Гарри искренне верил во все свои планы и изобретения и жил, ослепленный их золотым ореолом. Молодой человек всем нравился; да и как он мог не нравиться, когда у него были такие подкупающие манеры и такое солидное состояние? Официанты в отеле прислуживали ему как никому другому; он обзавелся в городе множеством знакомых, и все они сочувствовали его разумным и широким взглядам на проблемы

развития Сент-Луиса и всего Запада. Он считал, что этот город следовало сделать столицей Соединенных Штатов. С некоторыми из местных коммерсантов он уже почти договорился о поставках для его участка строительства на линии Солт-Лик — Пасифик; он изучал карты с инженерами, проверял профиль пути с подрядчиками, заранее прикидывал возможные цены на участки. Этим делам он отдавал все время, которое оставалось у него свободным от дежурств у постели больного приятеля и от обсуждения деталей нового проекта с полковником Селлерсом.

Тем временем проходили дни, за днями — недели, и деньги Гарри таяли. Он по-прежнему не считал их, — такой уж он был человек, что никогда не считал деньги, ни свои, ни чужие; он умел истратить или дать взаймы один доллар с таким видом, что невольно казалось, будто это десять. И вот однажды, когда ему в конце недели подали счет за номер и услуги, Гарри порылся в карманах и не нашел в них ни цента. Он небрежно сказал хозяину, что у него кончились наличные и что он напишет в Нью-Йорк. Он тут же сел и написал подрядчикам пышущее энтузиазмом письмо о перспективах стройки и попросил выслать ему аванс в сотню или две. Ответа не последовало. Тогда он написал снова и, не выражая никакой обиды, по-деловому попросил прислать ему жалованье хотя бы за три дня. На это последовал короткий ответ, в котором сообщалось, что с деньгами на Уолл-стрит сейчас туго и что ему лучше всего поскорее присоединиться к изыскательской партии.

Однако по счету надо было платить, и Гарри отправился с ним к Филиппу посоветоваться, не стоит ли «запросить» немного денег у дядюшки. Филипп не особенно верил в силу «запросов» Гарри и сказал, что заплатит по счету сам. Гарри немедленно выкинул эту заботу из головы и с легким сердцем, как было свойственно его широкой натуре, предоставил Филиппу платить по всем следующим счетам. Филипп так и делал, несмотря на чудовищные «дополнительные услуги», фигурировавшие в них; однако он озабоченно пересчитывал свои убывающие «капиталы», так как это

было все, что он имел и на что мог рассчитывать. Но разве они с Гарри не заключили молчаливого соглашения делить все поровну? И разве его щедрый товарищ не поделился бы с ним, если бы он, Филипп, оказался в стесненных обстоятельствах, а у Гарри еще оставалось бы хоть немного денег?

Лихорадке наконец надоело трепать героически сопротивлявшегося молодого инженера, которого она свалила с ног в номере отеля, и она покинула его — истощавшего, слегка пожелтевшего, но зато «акклиматизировавшегося». Все уверенно заявляли, что теперь он окончательно «акклиматизировался», хотя никто толком не знал, что такое «акклиматизация» и какое она имеет отношение к западной лихорадке. Некоторые говорили, что это своего рода прививка, благодаря которой смерть от особенно злокачественной лихорадки становится менее вероятной. Другие считали «акклиматизацию» неким обрядом посвящения, подобным тому, какой принят в «Клубе Чудаков» и после которого всякий получает то, что ему положено. Остальные же полагали, что «акклиматизироваться» — значит просто-напросто усвоить привычку пропускать каждое утро перед завтраком стаканчик горькой — смеси виски с другими дезинфицирующими веществами, приготовленной в специально созданном для «акклиматизации» сосуде.

Впоследствии Джефф Томпсон рассказывал Филиппу, что однажды он спросил у сенатора Ачисона, тогдашнего вице-президента Соединенных Штатов, верит ли он в «акклиматизацию». Томпсон полагал, что мнение второго в нашем государстве человека представляло бы несомненную ценность. Они сидели на скамье перед деревенским трактиром и запросто болтали, — ведь наши демократические обычаи не препятствуют этому.

— Ну как, сенатор, вы уже акклиматизировались в здешних краях?

— Пожалуй, — ответил вице-президент, закинув ногу на ногу и надвинув свою широкополую шляпу на глаза; затем он метким плевком заставил отскочить в сторону проходившего мимо цыпленка и сказал, по-сенаторски взвешивая каждое слово: — Пожалуй, да. Я здесь живу уже двадцать пять лет, и разрази меня

гром, если я не пережил по крайней мере двадцать пять землетрясений — по одному в год! Только негры и могут выдержать здешний климат!

Выздоровление инженера послужило сигналом к снятию лагеря в Сент-Луисе; и, полные воодушевления, наши молодые искатели счастья отправились на пароходе вверх по реке. Они плыли по Миссисипи только второй раз в жизни, и все, что они видели, еще не утратило для них очарования новизны. Полковник Селлерс пришел на пристань проводить их.

— А ящик шампанского я пошлю вам вдогонку следующим пароходом; нет, нет, никаких благодарностей; на бивуаке не плохо распить бутылочку! — кричал он, пока убирали сходни. — Передайте привет Томпсону. Пусть не забывает про Пристань Стоуна! Мистер Брайерли, дайте мне знать, если вы выберете что-нибудь конкретное, — я тут же приеду из Хоукая. До свиданья!

И пока молодые люди не скрылись из вида, полковник все махал им шляпой, всем своим сияющим существом излучая пожелания счастья и удачи.

Путешествие было очень приятным и достаточно коротким, чтобы не почувствовать его однообразия. По существу, наши пассажиры не успели даже как следует привыкнуть к великолепию обширного салона, где сервировался обед: это было поистине чудо красок и позолоты, с потолка свешивались прихотливые гирлянды из разноцветной бумаги с бесконечными в своем разнообразии фестончиками и узорами. Салон по красоте отделки превосходил даже парикмахерскую. Отпечатанное в типографии меню, как справедливо хвастались хозяева, было длиннее, чем в любом нью-йоркском отеле. Автор этого произведения несомненно обладал талантом и воображением, и не его вина, что сам обед был до некоторой степени обманом чувств и что все заказываемые пассажирами блюда были на вкус почти одинаковы; не его вина также, что запах розового масла, витавший над всеми разновидностями десерта, свидетельствовал о том, что по пути из кухни этот десерт попадал сперва в парикмахерскую.

Наши путешественники высадились в небольшом поселке на левом берегу и немедленно отправились

верхом в глубь штата к лагерю; одежду и постель они приторочили к седлам. Гарри облачился в уже знакомый нам костюм, и его высокие, начищенные до блеска сапоги неизменно привлекали внимание тех немногих встречных, которые им попадались по дороге; особенно они нравились розовощеким красоткам, легко шагавшим с небольшими корзинками в руках и в живописных косынках на голове или же ехавшим на мулах, держа перед собою более тяжелую поклажу.

Гарри распевал отрывки из оперных арий и говорил об их будущем богатстве. Даже Филипп был возбужден охватившим его чувством свободы, духом приключений и красотой пейзажа. Прерия, покрытая молодой травой и яркими пятнами цветов, преимущественно всякими разновидностями флоксов, казалась издавна возделанной заботливой рукой, а попадавшиеся по временам светлые рощи белого дуба придавали ей вид парка. Казалось, в любую минуту за расчищенной дубравой могут показаться остроугольные коньки крыши и квадратные окна старинного помещичьего дома, выстроенного в елизаветинском стиле.

К вечеру третьего дня, перед заходом солнца, когда молодые люди, по их предположениям, должны были находиться около города Магнолия, вблизи которого следовало искать лагерь изыскателей, они увидели бревенчатый дом и подъехали к нему — справиться о дороге. Половина дома была занята под лавку, половина — под жилье. У двери стояла негритянка в ярком тюрбане.

— Не можете ли вы сказать, тетушка, — обратился к ней Филипп, — далеко ли отсюда до города Магнолия?

— Э, бог с тобой, дитяtko, — рассмеялась женщина, — да вот же он!

Так оно и было: бревенчатый дом являл собою весь компактно выстроенный город, а пригородом ему служило все мироздание. Лагерь же находился всего в трех или четырех милях.

— Мимо не проедете, — объяснила им негритянка. — Только не держитесь дороги, а езжайте прямехонько на закат.

Всадники поскакали галопом и, когда в небе начали загораться звезды, увидели мерцающие огни ла-

гера. Он был разбит в небольшой ложине, по которой меж редких белых дубков протекал ручей. Под деревьями стояло несколько палаток; лошади и волы были привязаны неподалеку, а обитатели лагеря сидели на складных стульях или лежали на одеялах возле ярко пылавшего костра. Подъехав поближе, Филипп и Гарри слышали звуки банджо и разглядели нескольких негров с одной из ближних плантаций, которые «откалывали» джубу под дружные «ух! ух!» зрителей.

Джефф Томпсон — ибо лагерь был разбит партией этого прославленного инженера — сердечно поздравил их с прибытием, предложил обосноваться в его палатке, приказал накормить ужином и вытащил на свет небольшой кувшин, заявив, что ввиду прохладного вечера необходимо «пропустить по глоточку».

— Я еще не видел ни одного человека из восточных штатов, который умел бы пить из кувшина, держа его одной рукой. А это легче легкого. Вот, смотрите.

Он взял за ручку кувшина правой рукой, откинул его на тыльную часть руки и приложился губами к носику: все это было сделано изящно и просто.

— К тому же, — сказал мистер Томпсон, опуская кувшин, — каждый пьет, сколько ему совесть позволяет.

Спать в лагере ложились рано, так уж было заведено, и в девять часов все были под одеялами, — все, кроме самого Джеффа, который посидел еще немного над полевым журналом, потом вышел из палатки и пропел сильным приятным тенором «Звездное знамя» от начала до конца. По-видимому, в словах этой волнующей песни изливалась вся неизрасходованная им за день словесная энергия.

Филипп долго не мог уснуть. Он видел лагерный костер, яркие звезды, блиставшие сквозь листву деревьев, слышал журчанье ручья и стук лошадиных копыт, время от времени до него доносился крик совы и отрывистый лай собаки, приставшей к фургону повара. А потом он уже перестал что-либо слышать и видеть, кроме Джеффа, — тот стоял на крепостной стене в красном зареве вспыхнувшей ракеты и распевал: «О, разве не видишь, не видишь ты?» Впервые в жизни Филипп спал прямо на земле.

ПРИСТАНЬ СТОУНА ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ГОРОД НАПОЛЕОН —
ПОКА ТОЛЬКО НА БУМАГЕ

...Мы осмотрели всё,
Измерили и сняли план масштабный.
Земли богаче нет, друг, в королевстве!
Коли умело взяться, то семнадцать
Иль восемнадцать миллионов даст она!

Бен Джонсон, Одураченный дьявол.

По одежде и внешнему виду никто не походил на инженера больше, чем Генри Брайерли. Все изыскатели завидовали законченному совершенству его костюма, а сам весельчак Генри стал кумиром всех слуг, лесорубов, возчиков и поваров.

— Сапоги-то вы небось не здесь покупали, не в Сент-Луисе? — спросил у него высокий молодой парень из Миссури, работавший в партии помощником интенданта.

— Нет, в Нью-Йорке.

— Ага, слышал я о Нью-Йорке, — продолжал загорелый юнец, пожирая глазами каждую деталь костюма Гарри и пытаясь прикрыть свой истинный интерес непринужденной беседой. — А еще есть Массачусетс.

— Это недалеко отсюда.

— Слышал я, что Массачусетс — чертовски веселое местечко. Пойдите, Массачусетс — это в каком штате?

— Массачусетс, — охотно откликнулся Гарри, — находится в штате Бостон.

— Это где запрещали торговать неграми? Верно, влетели вам в копеечку. — Последняя реплика относилась уже к сапогам.

Утром Гарри выходил на работу и целый день шагал по прерии с рейкой на плече, а по вечерам производил подсчеты и вычерчивал очередной участок трассы на миллиметровке, делая все это с отменным трудолюбием и бодростью духа, но без малейшего теоретического или практического представления об инженерном искусстве. Весьма вероятно, что научных знаний не хватало и у остальных изыскателей, да они, собственно, и не очень требовались. Инженеры занимались тем, что называется предварительными изысканиями, а главная цель таких изысканий — создать шумиху вокруг строительства дороги, заинтересовать каждый близлежащий город тем, что линия будет проходить именно через него, и заручиться поддержкой плантаторов, посулив каждому из них, что именно на его земле будет выстроена станция.

Для такой работы трудно было найти более подходящего инженера, чем мистер Джефф Томпсон. Он не ломал голову над техническими деталями или целесообразностью того или иного решения, а беззаботно двигался вперед от одного водораздела к другому, сворачивая к любому городку или большой плантации, лежащим в двадцати — тридцати милях от основной трассы. Выражаясь его собственным языком, он «шпарил напролом».

Этот способ ведения работ позволял Гарри, как он сам говорил, изучать проектирование железных дорог на практике, а Филиппу предоставлялся случай осмотреть новые места и выяснить, что они ему сулят. Оба они успели заручиться гарантиями на покупку нескольких плантаций, и оба тут же написали своим восточным корреспондентам о красотах облюбованных ими земель и о том, что стоимость участков учтется, как только трасса будет окончательно проложена. Им казалось очень странным, что люди, имею-

щие капитал, не бросаются сюда, чтобы захватить лучшие участки.

Друзья не успели провести в лагере и двух недель, как Гарри написал своему приятелю, полковнику Селлерсу, чтобы тот поторапливался, так как дорога наверняка подойдет к Пристани Стоуна. Глядя на план трассы, трудно было предугадать, куда она направится дальше, поскольку каждый день в ней происходили изменения; но Джеффф провозгласил, что, по его мнению, от той точки, где они находятся, единственный целесообразный маршрут пролегает по водоразделу к Пристани Стоуна; и всем стало ясно, что пункт, обозначенный на карте как «Пристань Стоуна», явится очередным объектом, куда устремится трасса дороги.

— Ребята, — сказал начальник партии, — мы доберемся туда, даже если нам придется лететь на воздушном шаре.

И они добрались. Не прошло и недели, как этот неукротимый инженер вывел свой караван по холмам и лощинам, через ручьи и заводи к Пристани Стоуна и стал лагерем в самом сердце города.

— Разрази меня гром! — раздался на следующее утро жизнерадостный голос мистера Томпсона, только что вышедшего из палатки. — Разрази меня гром, если я что-нибудь понимаю! Эй, Грейсон, возьми-ка свою астролябию и посмотри, где здесь городишко старого Селлерса. Черт меня побери! Ведь если бы вчера сумерки наступили чуть позднее, мы бы проскочили мимо. Эй, Стерлинг, Брайерли, вставайте и полюбуйте на эту столицу. Сейчас к ней вон из-за того мыса подойдет пароход! — И Джеффф громко расхохотался. — А мэр города уже спешит к нам завтракать!

Молодые люди выбрались из палатки и, протирая глаза, огляделись вокруг. Лагерь стоял на прибрежной отмели извилистой, лениво несущей свои воды реки, ширина которой даже при теперешнем высоком уровне воды была не больше двадцати пяти метров. Перед ними стояло около десятка рубленых домишек с глинобитными печными трубами, разбросанных как попало по обеим сторонам не очень ясно очерченной до-

роги, которая, не зная, видимо, сама, куда ей направиться, нерешительно пробивалась сквозь «город» и вилась по холмистым просторам прерии; казалось, что началась она, не догадываясь, где окончится, но твердо решив достичь конечной цели. Однако на самой черте города ее немного ободрял и поддерживал дорожный указатель с надписью: «До Хоука 10 миль».

Дорогу эту никто никогда не строил — ее просто наездили; сейчас, в дождливую июньскую пору, она представляла собой ряд прорезанных в черноземе рытвин и бездонных колдобин. В центре города она, несомненно, пользовалась бóльшим вниманием, ибо здесь в ней рылись и копошились свиньи и поросята, превратившие ее в жидкую топь, которую можно было перейти только по брошенным кое-где доскам.

Вокруг главного домика, служившего этому торговому центру универсальным магазином, грязь была еще жиже, и все местные бездельники сходились на грубо сколоченной перед домом площадке, где и коротали время, сидя на ящиках из-под бакалейных товаров. У самой реки виднелась полуразвалившаяся постройка — склад для хранения конопли, и шаткие мостки вели от него в воду. К пристани была пришвартована плоскодонная баржа, уткнувшаяся носом под продольные балки мостков. Выше по течению через реку был переброшен шаткий деревянный мост: его опоры торчали из зыбкой почвы под самыми неожиданными углами; в некоторых местах настил был сломан, и представители закона могли не беспокоиться о том, что кто-нибудь нарушит правила, проезжая через мост на слишком большой скорости.

— А это, джентльмены, — продолжал Джефф, — река Колумба, она же Гусиная Протока. Если ее расширить, углубить, выпрямить и удлинить, то на всем Западе не сыщешь лучшей реки.

Взошло солнце, и его лучи постепенно разогнали малярийные миазмы и слой колыхавшегося над рекой реденького тумана; но даже солнечный свет не смог оживить тусклые, безжизненные воды или проникнуть в них настолько, чтобы казавшиеся бездонными глубины раскрыли свои тайны. Речные черепахи

почтенного возраста вылезали из грязи и грелись на старых корягах посреди реки; солнце поблескивало на спинах этих столичных жителей, первыми начавших активную трудовую деятельность.

Вскоре, однако, над городскими трубами взвились дымки; и не успели инженеры разделаться с завтраком, как уже стали объектом пристального внимания со стороны семи-восьми подростков и мужчин, которые не спеша подошли к лагерю и принялись с интересом разглядывать приехавших, невозмутимо заложив руки в карманы.

— Доброе утро, джентльмены! — приветствовал их из-за стола главный инженер.

— Доброе утро! — протянул представитель делегации. — Это, стало быть, и есть железная дорога? Был тут у нас про нее слух.

— Совершенно верно, железная дорога; не хватает только железного коня, рельсов да бревен для шпал.

— Бревен-то здесь сколько душе угодно, у меня кон целая роща белых дубов, — ответил все тот же оратор; он, по-видимому, был человек с достатком и не прочь совершить выгодную сделку.

— О бревнах вам придется вести переговоры с подрядчиками, сэр, — сказал Джефф. — Вот, например, с мистером Брайерли; я уверен, что со временем он не откажется закупить у вас лес.

— А я-то думал, что вы все привезете с собой. Но если нужны бревна — пожалуйста, у меня есть. Верно, Эф?

— Хоть завались, — ответствовал Эф, не сводя глаз с сидевших за столом.

— Итак, — проговорил Томпсон, вставая и направляясь к своей палатке, — железная дорога прибыла на Пристань Стоуна. По этому поводу предлагаю всем выпить.

Предложение было встречено всеобщим одобрением. Джефф провозгласил тост за процветание Пристани Стоуна и за развитие судоходства на Гусиной Протоке; гости с воодушевлением опрокинули по стопке простого кукурузного виски и в свою очередь похвалили железную дорогу и самого Джеффа Томпсона — «парня что надо».

Часов около десяти в прерии показался фургон, медленно двигавшийся к лагерю. Когда он подъехал поближе, стал виден сидевший в нем представительный джентльмен, который все время нетерпеливо наклонялся вперед и глядел в сторону палаток, подергивал вожжи и слегка подхлестывал лошадь, стараясь передать кипевшую в нем энергию замороженному животному. Когда же наконец фургон остановился у палатки мистера Томпсона, джентльмен осторожно сошел на землю, выпрямился, потер руки и, всем своим обликом излучая радость и довольство, направился к поджидавшей его группе людей, которые начали приветствовать его по имени, как только он очутился на достаточно близком расстоянии.

— Добро пожаловать в город Наполеон, джентльмены, добро пожаловать! Горжусь тем, что вижу вас здесь, мистер Томпсон. Вы прекрасно выглядите, мистер Стерлинг. Свежий воздух вам на пользу! Счастлив, счастлив видеть вас, мистер Брайерли. Вы получили ящик шампанского? Нет? Ах, эти проклятые речные воры! Ничего больше не стану посылать с ними. А ведь лучшей марки — Редерер. Все, что оставалось в моем погребе от партии, присланной сэром Джорджем Гором: я возил его охотиться на бизонов, когда он приезжал в Америку. Время от времени он посылает мне какой-нибудь пустячок. Вы еще не осмотрелись здесь, джентльмены? Тут всё вчерне пока, всё вчерне. Все эти здания придется снести. Вон там будет городская площадь, поблизости — суд, гостиницы, церкви, тюрьма и прочее. А примерно вот здесь, где мы стоим, вокзал! Как это на ваш инженерский взгляд, мистер Томпсон? Подальше — деловые кварталы, спускающиеся к речным причалам. А университет — вон там, на высоком живописном холме, — реку с него видно на много миль. Это река Колумба, по ней всего сорок девять миль до Миссури. Поглядите на нее: спокойная, не капризная, течение слабое, никаких помех для судоходства; кое-где ее придется расширить и расчистить, углубить дно для пристани и построить набережную по фасаду города; сама природа уготовала здесь место для торгового центра. Взгляните вокруг: на

десять миль никаких других построек и никакой другой реки, — ничего лучшего не придумаешь; пенька, табак, кукуруза — все устремится сюда. Дело только за железной дорогой; через год город Наполеон сам себя не узнает.

— Он и сейчас себя не узнаёт, — прошентал Филипп своему другу. — Вы уже позавтракали, полковник?

— На скорую руку. Выпил чашечку кофе. Выписываю его сам, другого не признаю. Но захватил с собой корзинку с провизией: жена настояла, дала с собой кое-какие деликатесы, — вы же знаете женщин, — и полдюжины того самого бургундского, о котором я вам говорил, мистер Брайерли. Кстати, вы так со мной ни разу и не отобедали. — И полковник решительно подошел к фургону и заглянул под сиденье.

Должно быть, корзинки там не оказалось, потому что он приподнял брезент, поискал в передней части фургона, сзади и воскликнул:

— Проклятье! Все надо делать самому. Доверил служанкам положить корзинку в фургон — и нет ее!

Лагерный повар быстро приготовил для полковника аппетитный завтрак, состоявший из жареного цыпленка, яиц, оладий и кофе; отдав завтраку должное, он завершил его глотком старого бурбонского из личных запасов мистера Томпсона. Этот сорт виски, заявил полковник, он прекрасно знает: можно подумать, что это то самое, которое стоит в его собственном буфете.

Пока инженеры делали профильную съемку Гусиной Протоки и проверяли, удастся ли вообще подвести железную дорогу к Пристани Стоуна и потом хоть как-нибудь вывести ее оттуда, полковник Селлерс и Гарри уселись и принялись набрасывать на большом листе черновой план города Наполеона.

— Я заручился письменной гарантией на покупку целой квадратной мили земли у пристани, — сказал полковник, — сроком на год, на имя нас четверых; причем при продаже участков двадцать пять процентов безвозмездно отходят к четырем совладельцам.

Город они распланировали щедро и широко, оставив достаточно места для железной дороги и для реки — какой она станет после расширения и расчистки.

Инженеры сообщили, что дорогу удастся подвести к будущему городу только в том случае, если она опишет небольшую дугу и пересечет реку по высокому мосту, но что подъемы будут очень крутые. Полковник Селлерс заявил, что подъемы не имеют особого значения, лишь бы линия подошла к элеваторам у реки. На следующий день Томпсон спешно сделал кое-какие промеры вверх и вниз по реке, примерно мили на две, чтобы полковник с Гарри могли на своем плане показать, какие удобства для города представляет этот водный путь. Джефф получил от них что-то вроде расписки взамен еще не выпущенных акций, но Филипп отказался от участия в этом деле, сказав, что денег у него нет, а брать на себя невыполнимые обязательства он не желает.

Наутро лагерь снялся с места и двинулся дальше. Кучка местных жителей, собравшихся у лавки, провожала изыскателей равнодушным взглядом, пока они не скрылись из виду. Один из них сказал:

— Пусть меня разорвут собаки, если *эта* железная дорога появится здесь еще хоть раз!

Гарри уехал с полковником в Хоукай заканчивать разработку плана; в частности, им предстояло подготовить прошение в конгресс относительно необходимости улучшить условия судоходства на реке Колумба.

МНИМЫЙ БРАК. ЛОРА СТАНОВИТСЯ ЖЕРТВОЙ
ОБМАНА

•○|+,|| ∴ ⊙ ☐ ☐ ✕ + ☐ |
.. ∴ ++ | ○ ∴ ⊙ || ☐ ... ✕ ○ ∴

*Bedda ag Idda*¹.

— E ve us lo covinentz gals er,
Que voill que m' prendatz a moiler.
— Qu'en aissi l'a Dieus establida,
Per que not pot esser partida.

Roman de Jaufre. *Raynouard*, «Lexique Roman», I. 139².

Прошло восемь лет со дня смерти мистера Хокинса. Восемь лет — небольшой отрезок времени в жизни народа или в истории государства, но иногда они могут решить ход событий и судьбу целого столетия. Именно

¹ Приди она в наши пустынные степи,
Сбежались бы все посмотреть на нее. — Б е д д а а г И д д а
(на языке тамачек).

² — Не нужен мне обет иной,
Коль ты зовешь меня женой.
— Раз бог связал нас в добрый час,
Ничто уж не разлучит нас. — Роман о Жофре, Ренуар,
«Романская лексика», I, 139 (старофранц.).

такие годы последовали за короткой перестрелкой на Лексингтонской пустоши и за категорическим требованием о сдаче форта Самтер. Историки никогда не перестанут изучать эти годы, собирать сведения о них и стремиться понять их значение.

Восемь лет в истории Америки, а именно годы с 1860 по 1868, пошатнули вековые устои, дали новое направление политической жизни всего народа, изменили общественные порядки в одной половине страны и оказали такое глубокое влияние на национальный характер, что оно будет давать себя знать в жизни еще двух-трех поколений — не меньше.

Согласно привычному для нас понятию о высшем промысле, жизнь одного человека ничто по сравнению с жизнью нации или расы; но если придерживаться более широких взглядов и более разумного соотношения ценностей, не включает ли в себе жизнь одного человека нечто большее, чем жизнь нации, и нет ли где-нибудь судилища, в котором трагедии одной человеческой души будет придаваться больше значения, чем любым переворотам в вековых обычаях?

Когда задумываешься о мощных силах добра и зла, которые вступают в борьбу за душу женщины в короткие годы ее перехода от нежного девичества к женственной зрелости, невольно испытываешь почтительный трепет перед лицом этой глубочайшей драмы.

Сколько чистоты, нежности и доброты способна вместить в себе женщина, какую бездну порока, горечи и зла! Природа вынуждена быть щедрой, создавая женщину — мать рода человеческого — и сосредоточивая в ней изобилие всех жизненных сил. Несколько критических лет могут решить, будет ли ее жизнь полной любви и света, станет ли она непорочной жрицей святого храма или падшей жрицей оскверненной святыни. Правда, есть и такие женщины, которые не способны ни подняться, ни пасть и которым житейские условности мешают сколько-нибудь решительно проявить свой характер.

Но Лора не принадлежала к их числу. Она была наделена роковым даром — красотой, и другим, еще

более роковым даром, отнюдь не всегда сопутствующим красоте и часто существующим помимо красоты, — обаянием. Она обладала силой воли, гордостью, смелостью и честолюбием, да к тому же она оказалась предоставленной самой себе как раз в том возрасте, когда романтика приходит на помощь страсти и когда пробуждающимся силам живого ума почти не на чем сосредоточиться.

Никто из окружающих не подозревал о трагическом конфликте в душе Лоры, и очень немногие догадывались о том, что в ее жизни происходит что-то необычайное, или романтическое, или странное.

В те беспокойные дни в Хоукае, как и в большинстве городов Миссури, царило смятение; приход и уход федеральных и конфедеративных войск, грабительские набеги, внезапные стычки и бои — все это отвлекало внимание от отдельных личностей и избавляло их от осуждения за поступки, которые в более спокойные времена стали бы предметом громкого скандала.

К счастью, нам придется рассматривать этот период в жизни Лоры только в историческом плане; мы воскресим лишь отдельные эпизоды, которые помогут нам показать ее такой, какой она стала к моменту прибытия в Хоукай Гарри Брайерли.

После переезда в Миссури жизнь Хокинсов протекала в упорной борьбе с нуждой и в попытках хотя бы внешне поддерживать честь семьи и видимость благополучия, в соответствии с теми большими ожиданиями, которые они втайне связывали с Восточно-Теннессиjsкими Буграми. Может быть, только Клай, оставшийся по сути единственной опорой семьи, отдавал себе отчет в истинном положении дел. Вашингтон то приезжал в Хоукай, то вновь уезжал, увлекаемый какой-нибудь грандиозной земельной спекуляцией, после которой он неизменно возвращался в контору генерала Босуэла таким же бедняком, как и раньше. Он изобрел бесконечное множество бесполезных вещей, и ни одно его изобретение не стоило того, чтобы его запатентовать; так, в грезах и бесплодном изобретательстве, проходили годы, и в тридцать лет Вашингтон, высокий темноволосый мечтатель, полный самых лучших намере-

ний и неспособный сделать ни одного решительного шага, не имел ни профессии, ни постоянной работы. Возможно все же, что все эти годы он был счастливее своих близких, ибо он прожил восемь лет в сладостном ожидании сказочных богатств.

В войну он ушел с отрядом из Хоукая и проявил себя отнюдь не трусом; но он воевал бы еще лучше, если бы меньше занимался изобретением способов перехитрить врага при помощи тактики, неизвестной военной науке.

Однажды, в одну из своих самовольных вылазок, он попал в плен, но после краткого допроса полковник армии северян отпустил его, убедившись, что нанесет южанам гораздо больше ущерба, если вернет им Вашингтона.

Что касается полковника Селлерса, то он, разумеется, во время войны был выдающейся фигурой. В Хоукае он командовал местной гвардией и только раз покинул родной город: по распространившимся впоследствии слухам, он совершил обходный маневр, вышел к Пристани Стоуна и укрепил этот важный пункт, о существовании которого никто, кроме старожилов, и не подозревал.

— Бог ты мой, — говаривал потом полковник, — да ведь это же ключевая позиция на пути в северный Миссури и единственное место, не попавшее в руки врага. Если бы другие пункты имели такую оборону, исход войны был бы совсем иным, да, сэр!

На войну, как и на все прочее, полковник имел свои собственные взгляды. Если бы все, говорил он, подобно ему, оставались дома, Юг не был бы побежден. Ибо в таком случае некого было бы побеждать! Мистер Джефф Дэвис несколько раз писал ему, предлагая взять на себя командование корпусом в армии конфедератов. Нет, отвечал полковник Селлерс, его долг — оставаться дома. И он отнюдь не пребывал в бездействии. Это он изобрел знаменитую воздушную мину, которая чуть не уничтожила армию северян в Миссури, а заодно и сам город Сент-Луис.

План его заключался в том, чтобы наполнить мину зажигательной смесью и смертоносной шрапнелью,

прикрепить ее к воздушному шару и пустить с горящим фитилем в расположение вражеских войск, с тем чтобы в нужный момент она взорвалась. При помощи своего изобретения он хотел захватить Сент-Луис: надо было до тех пор взрывать мины над городом и сеять в нем смерть и разрушение, пока оккупационная армия не сложит оружие. Добыть зажигательную смесь ему не удалось; он, правда, сконструировал мину, вполне отвечавшую его целям, но первая же опытная мина взорвалась раньше времени в его дровяном сарае, — сарай взлетел на воздух, а дом Селлерса загорелся. Соседи помогли погасить пожар, но заставили его прекратить дальнейшие эксперименты.

Однако этот немолодой, но патриотически настроенный джентльмен успел заложить столько мин и прочих подрывных устройств на всех дорогах, ведущих к Хоукаю, тут же забыв точное местоположение опасных участков, что окрестные жители боялись ездить по дорогам и обычно пробирались в город полем. У полковника был свой девиз: «Миллионы на оборону, ни цента на уплату контрибуций».

Если бы после переезда в Хоукай Лора была меньше предоставлена самой себе или встретила больше понимания и чуткости со стороны окружающих, она, возможно, забыла бы сплетни, досаждавшие ей в Мерфисберге, и избавилась от нараставшей в сердце горечи. Но у нее почти не было друзей, и чем старше она становилась, тем реже встречала близких по духу людей; мысли Лоры поневоле вращались вокруг нее самой, а тайна ее рождения одновременно повергала ее в уныние и наполняла самыми фантастическими надеждами.

Гордость Лоры была уязвлена тем, что ей приходится жить в нищете. К тому же она не могла не сознавать своей красоты, и это щекотало ее самолюбие; девушке даже нравилось испытывать силу своих чар на тех неотесанных молодых людях, которые встречались на ее пути и которых сама она презирала.

Правда, для нее был открыт и другой мир — мир книг. Но то был не лучший из миров этого рода, ибо

побольшие библиотеки, в которые она имела доступ в Хоукае, подбирались случайно и состояли главным образом из романов, изображавших своих героев и героинь в ореоле ложного романтизма и создававших у нее искаженное представление о жизни. Из этих произведений она узнала, что женщина, обладающая острым умом и хоть некоторым образованием, а к тому же красотой и обаянием, может рассчитывать на успех в обществе — в том обществе, о котором она читала; из этих же книг она почерпнула и кое-какие идеи об эмансипации женщин.

Читала она и другие книги: биографии великих людей, описания путешествий по далеким странам, исторические книги, стихи; особенно нравились ей стихи Байрона, Скотта, Шелли и Мура, их она поглощала с жадностью, а самые лучшие запоминала наизусть. В Хоукае никто не прочел столько книг и не занимался так настойчиво и усердно, как Лора. Ее считали образованной девушкой, да она и сама так думала, и по сравнению с теми, кто окружал ее, она действительно была образованной.

Во время войны в городе появился офицер армии южан, полковник Селби; будучи командующим всего округа, он некоторое время жил в Хоукае. Это был красивый, статный человек лет тридцати; он окончил Вирджинский университет и, по его словам, происходил из родовитой семьи; он, несомненно, видал виды и на своем веку успел попутешествовать и пережить немало приключений.

Встреча в этом захолустье с такой женщиной, как Лора, была для него большой удачей, — с чем полковник Селби себя и поздравил. Он был подчеркнуто вежлив с Лорой и обращался с нею с непривычной для нее обходительностью. Только в книгах читала она о людях столь воспитанных, столь благородных в проявлении чувств, столь занимательных в разговоре и привлекательных по всему своему облику и манерам.

Все дальнейшее — долгая история; к несчастью — это и старая, как мир, история, и на ее подробностях можно не останавливаться. Лора полюбила и поверила, что любовь Селби к ней так же чиста и глубока, как ее

собственная. Она боготворила его и охотно отдала бы за него жизнь, искренне считая, что это ничтожная плата за его любовь и за право любить его.

Страсть всецело овладела ею; она больше не замечала ничего вокруг, ей казалось, что она парит в небесах. Значит, то, о чем она читала в романах, блаженство любви, о которой она мечтала, — все это правда! Почему же она раньше никогда не замечала, как радостен мир, как звенит он любовью! Птицы пели о любви, и деревья шептали ей о любви, и цветы устилали ей путь, словно она шествовала к алтарю.

Перед отъездом полковника они обручились; свадьба должна была состояться, как только он сделает все необходимые приготовления и уволится из армии.

Из Хардинга, небольшого городка в юго-западной части штата, он прислал ей письмо: против его ожиданий, ему не удалось сразу освободиться от службы в армии, но он добьется этого через несколько месяцев; тогда он сможет увезти ее в Чикаго, где у него есть кое-какая недвижимость и где он собирается вступить в дело — сразу же или после окончания войны, а это уже не за горами. Тем временем, зачем жить в разлуке? В Хардинге у него удобная квартира; если бы ей удалось найти попутчиков и приехать к нему, они бы поженились и обрели несколько лишних месяцев счастья!

Бывает ли женщина осмотрительна и осторожна, когда она любит? Лора поехала в Хардинг, но соседям сказала, что едет ухаживать за заболевшим Вашингтоном.

В Хоукае, разумеется, знали о ее помолвке, и вся семья гордилась этим событием. Если бы Лора не предупредила миссис Хокинс, та не стала бы ни от кого скрывать, что Лора уехала к будущему мужу, но сама Лора не хотела допускать разговоров о том, будто она гоняется за женихом; пусть о ее замужестве узнают уже после венчания.

Итак, воспользовавшись уже упомянутым нами предлогом, она поехала в Хардинг и вышла замуж. Замуж она вышла, но уже на другой день или через день что-то, видимо, встревожило ее. Вашингтон так и

не узнал, что это было, но Лора запретила ему писать в Хоукай об ее замужестве и попросила миссис Хокинс никому ничего не говорить. Какие бы страхи и сомнения ни терзали ее, она гнала их от себя и не позволяла им омрачать свое счастье.

В то лето между далеким лагерем южан в Хардинге и Хоукаем, как легко можно себе представить, не было регулярного сообщения, и жители Хоукай почти потеряли Лору из виду: у каждого довольно было своих забот и неприятностей.

Лора целиком посвятила себя мужу и жила только им одним; если у него и были недостатки, если он был эгоистичен, а порою груб и распушен, она не замечала или не хотела замечать этого. Она переживала страсть, какая бывает раз в жизни, чувства кипели в ней, сметаая все препятствия на пути. Может быть, ее муж временами бывал холоден или безразличен к ней? Лора на все закрывала глаза и ничего не хотела знать, кроме одного: ее кумир принадлежит ей.

Прошло три месяца. Однажды утром муж сообщил ей, что он получил приказ ехать на Юг и что через два часа должен покинуть город.

— Я успею собраться, — весело ответила Лора.

— Но я не могу взять тебя с собой. Тебе придется вернуться в Хоукай.

— Не можешь... взять... меня? — удивленно переспросила Лора. — Но я не могу жить без тебя. Ты говорил...

— Мало ли что я говорил! — Полковник принялся пристегивать палаши и невозмутимо продолжал: — Дело в том, Лора, что роман наш окончен.

Лора слышала его слова, но не поняла их смысла. Схватив его за руку, она воскликнула:

— Это слишком жестокая шутка, Джордж! Я поеду с тобой куда угодно. Я буду ждать — скажи только где. Я не могу вернуться в Хоукай.

— Тогда поезжай куда хочешь. А может быть, — продолжал он с издевательской усмешкой, — может быть, тебе стоило бы остаться здесь и подцепить другого полковника?

У Лоры голова шла кругом. Она все еще не понимала.

— Что все это значит? Куда ты едешь?

— Это значит, — отчетливо проговорил офицер, — что тебе нечем доказать законность нашего брака и что я возвращаюсь в Новый Орлеан.

— Это невозможно, Джордж, это невозможно! Я твоя жена. Я тоже еду. Я поеду с тобой в Новый Орлеан.

— Но моей жене это может не понравиться!

Лора подняла голову, глаза ее сверкнули, она попыталась что-то крикнуть и упала на пол без чувств.

Когда она пришла в себя, полковника уже не было. У ее постели сидел Вашингтон. Для чего же сознание вернулось к ней? Что осталось у нее в сердце, кроме ненависти и горького разочарования, кроме чувства глубокого оскорбления, нанесенного ей единственным человеком, которого она когда-либо любила?

Лора вернулась в Хоукай. Никто, кроме Вашингтона и его матери, не знал о том, что произошло. Соседи решили, что помолвка с полковником Селби расстроилась. Долгое время Лора была больна, но наконец поправилась: такова была сила ее воли, что казалось, она способна победить даже смерть. Вместе со здоровьем вернулась и красота, но теперь к ней прибавилось новое очарование, нечто такое, что по ошибке можно было принять за грусть. Не привносит ли познание зла особой красоты — красоты, светящейся на лице человека, внутренняя жизнь которого омрачена трагическими переживаниями? Отчего глаза Беатриче Ченчи полны такой страсти — от сознания вины или невиновности?

Лора не очень изменилась. Просто в сердце этой очаровательной женщины поселился дьявол. Только и всего.

БРАЙЕРЛИ ФЛИРТУЕТ С ЛОРОЙ И ПОПАДАЕТ В СЕТИ

Wie entwickeln sich doch schnelle
Aus der flüchtigsten Empfindung
Leidenſchaften ohne Grenzen
Und die zärtlichſte Verbindung?
Täglich wächst zu dieſer Dame
Meines Herzens tieffte Neigung,
Und daſſ ich in ſie verliebt ſei,
Wird mir faſt zur Ueberzeugung.

Heine 1

Живя в «Городском отеле» Хоукая, мистер Гарри Брайерли продолжал получать жалованье инженера. Мистер Томпсон был очень добр: он сказал, что ему совершенно все равно, где находится мистер Брайерли. И хотя Гарри ежедневно уверял полковника Селлерса

¹ Как внезапно и мгновенно
Мимолетные волненья
Создают союз нежнейший
И родят страстей кипенью.
К этой даме с каждой встречей
Сердце клонится сильнее.
Я влюблен — в том нет сомненья:
Жизнь мила мне только с нею. — Гейне (нем.).

и Вашингтона Хокинса, что ему надо немедленно вернуться на трассу пзысканий и руководить работами в соответствии с договором, он все же не уезжал и только писал длинные письма Филиппу, прося его глядеть в оба и сразу дать ему знать, если возникнут какие-нибудь трудности и потребуется его присутствие.

Тем временем Гарри цвел в хоукайском обществе таким же пышным цветом, как и во всяком другом, куда его забрасывала судьба и где ему представлялась хоть малейшая возможность показать себя. Впрочем, в таком городе, как Хоукай, таланты богатого и образованного Гарри Брайерли не могли остаться незамеченными. Человек, причастный к крупным земельным спекуляциям, любимец избранного нью-йоркского общества, состоящий в переписке с биржевиками и банкирами и близко знакомый с государственными деятелями Вашингтона, весельчак, умеющий играть на гитаре и слегка бренчать на банджо, ценитель женской красоты и мастер на комплименты, Гарри имел свободный доступ в любой дом Хоукая. Даже мисс Лора Хокинс сочла для себя не лишним испробовать на нем свои чары и попытаться завлечь ветреного юношу в свои сети.

— Черт побери! — говорил Гарри полковнику. — Вот это женщина! Каким успехом пользовалась бы она в Нью-Йорке, есть у нее деньги или нет! Да я знаю людей, которые положили бы к ее ногам целую железную дорогу или оперный театр, или уж во всяком случае пообещали бы ей все что угодно, стоит ей только пожелать этого.

Гарри привык смотреть на женщин так же, как и на всякую другую вещь, которую ему хотелось бы заполучить, и за время пребывания в Хоукае он почти решил, что мисс Лора должна принадлежать ему. Может быть, полковник угадал его намерения или же его оскорбила болтовня Гарри, но он сказал:

— Без глупостей, мистер Брайерли, только без глупостей. В Хоукае это не пройдет, особенно с моими друзьями. В жилах Хокинсов течет благородная кровь: не какая-нибудь, а теннессийская. Сейчас они в стес-

ненных обстоятельствах, но когда на их землю в Теннесси появится спрос, они получают за нее миллионы.

— Конечно, полковник, конечно. У меня и в мыслях нет ничего плохого. Но не станете же вы отрицать, что она очаровательна! Мы с вами только что говорили об ассигнованиях, и я подумал, что такая женщина, как она, могла бы многого добиться в Вашингтоне. Опять же ничего плохого я не хотел сказать, ничего плохого. В Вашингтоне это обычное дело, уверяю вас; жены сенаторов, депутатов, членов правительства, ну и всякие другие жены и не жены — все они используют свое влияние. Вам нужно назначение? Куда же идти? К сенатору Икс? Вовсе нет! Вы подходите — с нужной стороны, конечно, — к его жене. Ах, ассигнование? Вы, наверное, обратились бы прямо в бюджетную комиссию или министерство, не так ли? Но вы бы скоро поняли, что избрали не тот путь. Чтобы протащить что-нибудь через Земельное управление, нужна женщина. Если бы мисс Лора приехала в Вашингтон — в качестве вашего друга, полковник, только в качестве вашего друга, — она бы очаровала весь сенат и палату представителей и провела необходимое вам ассигнование через конгресс за одну сессию.

— Может быть, ей стоит подписать наше прошение? — простодушно спросил полковник.

Гарри рассмеялся.

— Прощениями женщины никогда ничего не добились в конгрессе. Да и не только женщины. Прощения пишутся для проформы. Их прилагают к делу, и больше их никто не видит. А хорошенькую женщину не приложишь к делу, особенно когда она является к вам собственной персоной. К тому же любой сенатор предпочтет хорошенькую женщину любому делу.

Однако прошение было тщательно продумано и написано; оно заключало в себе восторженное описание Наполеона и его окрестностей, а также заявление о том, что для обеспечения процветания всего этого района, будущего важного транспортного узла на великом пути к Тихому океану, совершенно необходимо немедленно улучшить условия судоходства на реке Колумба. К прошению были приложены план города и план

реки, а подписано оно было всеми грамотными жителями Пристани Стоуна и полковником Селлерсом. Полковник согласился, чтобы в начале списка подписавших прошение стояли имена всех сенаторов и членов конгресса от штата Миссури, а также бывших губернаторов и бывших членов конгресса. В законченном виде прошение представляло собою внушительный документ. На его подготовку, а также на разработку более мелких планов, связанных со строительством нового города, у Селлерса и Гарри ушло несколько недель драгоценного времени, но зато все это время настроение у них было превосходное.

Гарри в глазах Вашингтона Хокинса был существом высшего порядка, человеком, чье умение делать дела не могло не вызывать восхищения. Вашингтону никогда не надоело слушать рассказы Гарри о том, что он уже успел и что еще собирается совершить. Гарри же считал Вашингтона человеком способным и неглупым, но слегка «не от мира сего», как он сказал полковнику. Полковник ответил, что Гарри, может быть, и прав, но сам он ничего такого в Вашингтоне не замечал.

— У него много всяких планов, сэр. Господи помилуй, да у меня у самого в его годы голова была битком набита разными планами. Но опыт отрезвляет человека. Ныне я уже не берусь за дело, не продумав его как следует и не вынеся окончательного суждения. А уж если Бирайя Селлерс вынес свое суждение, можете быть уверены, что он не ошибается.

Каковы бы ни были первоначальные намерения Гарри в отношении Лоры, он с каждым днем проводил с ней все больше времени и наконец дошел до такого состояния, когда без нее просто не находил себе места. А эта искусная актриса делала вид, что увлечена им еще больше; она так умело играла на тщеславии Гарри, разжигая одновременно его пыл, что скоро он окончательно потерял голову. Лора ухитрилась добиться того, что ее сдержанность и застенчивость казались ему робкой самозащитой скромной, неиспорченной натуры и привлекали его даже больше, чем те случайные проявления нежности, которых ему иногда удавалось до-

ждаться. Он не мог и часа провести вдали от нее, и скоро об их отношениях заговорил весь город. Она так ловко вела свою игру, что казалась ему безумно влюбленной; и все же он с изумлением обнаруживал, что ни на шаг не приблизился к победе.

Раздумывая об этом, он чувствовал себя уязвленным. Она же провинциалка и, судя по всему, довольно бедная — живет с родными в убогом, скудно обставленном и весьма непритязательном деревянном домишке, сколоченном на американский лад; к тому же она лишена таких выгодных союзников, как нарядные туалеты, драгоценности и светские манеры. Гарри не мог понять всего этого. Но она притягивала его — и в то же время держала в некотором отдалении. С нею он забывал, что дом Хокинсов — жалкая деревянная лачуга с четырьмя комнатками на первом этаже и мезонином наверху: для него это был дворец.

Лора была, пожалуй, старше Гарри. Во всяком случае, она уже достигла того возраста, когда зрелая красота женщины кажется более законченной, нежели робкая нежность девичества; своим оружием она научилась владеть в совершенстве и точно знала, какую долю девичьего лукавства и непосредственности следует сохранять без ущерба для себя. Ей часто приходилось наблюдать, как многие женщины вносят слишком много детской наивности в свое поведение, сами не подозревая, какую ошибку они совершают. Такая женщина могла бы ненадолго привлечь Гарри, но только женщина, наделенная холодным умом и владеющая искусством очаровывать, могла заставить его потерять голову, ибо Гарри считал себя человеком бывалым. Но у него и в мыслях не было, что он является всего лишь подопытным кроликом; Лора не без удовольствия испытывала силу своего ума и чар на человеке совсем другого мира, — ведь таких, как он, она до сих пор встречала только в книгах.

Ибо у Лоры были свои мечты. Ее тяготили узкие рамки, predeterminedные ей судьбой; она ненавидела бедность. Многие из современных литературных произведений, прочитанных ею и написанных представительницами ее пола, раскрыли ей глаза на собственные

возможности и создали преувеличенное представление о положении в обществе, богатстве и влиянии, какого может добиться женщина, обладающая красотой, талантом, честолюбием и хотя бы небольшим образованием и пользующаяся всем этим без чрезмерной щепетильности. Ей хотелось богатства и роскоши, ей хотелось видеть мужчин рабами у своих ног, — тому виной были прочитанные ею романы; и она не очень задумывалась о различии между доброй и дурной славой, — возможно она и не подозревала, как опасна дурная слава для женщины, только что вступившей в жизнь.

Как и все остальные дети Хокинсов, Лора росла в убеждении, что, унаследовав теннессийские земли, она получит когда-нибудь огромное состояние. Она вовсе не разделяла всех иллюзий своей семьи, но голова ее часто была занята всякого рода планами. Вашингтон, по ее мнению, способен был только мечтать о богатстве и ждать, когда оно прольется на него в виде золотого дождя; но у нее самой не хватало на это терпения, и она жалела, что она не мужчина и не может взять дело в свои руки.

Однажды, беседуя с Гарри о Нью-Йорке, Вашингтоне и о делах, которыми Гарри был все время занят, она сказала ему:

— Вам, мужчинам, наверное, приятно сознавать, что вы можете сами распоряжаться своей судьбой и вольны ехать куда вам угодно.

— О да, — ответил этот великомученик от бизнеса, — все это очень хорошо, пока не надоест. Но одного этого мало.

— Чего ж вам еще?

— Если женщина сама ни о чем не догадывается, то и говорить бесполезно. Как вы думаете, почему я уже столько недель торчу в Хоукае, хотя мне давно пора вернуться в лагерь?

— Наверное, это связано с теми делами, которые вы с полковником Селлерсом затеяли по поводу Наполеона. По крайней мере вы сами мне так говорили, — ответила Лора, бросив на Гарри взгляд, говоривший совсем иное.

— А если я сейчас скажу вам, что все уже решено, вы, наверное, ответите, что мне пора уезжать?

— Гарри! — воскликнула Лора, на секунду коснувшись его руки. — Мне совсем не хочется, чтобы вы уезжали. Вы здесь единственный человек, который меня понимает.

— Но зато вы не хотите понять *меня*, — ответил Гарри, польщенный ее словами, но все еще дующь. — Когда мы остаемся одни, вы холодны, как лед.

Лора удивленно посмотрела на него, потом на лице ее появилось что-то вроде румянца стыда, а взгляд больших глаз стал таким томным, что проник в самую глубину сердца Гарри.

— Разве вы когда-нибудь замечали недоверие с моей стороны, Гарри? — И она протянула ему руку, которую он пылко пожал: что-то в ее поведении подсказало Гарри, что ему придется довольствоваться этой милостью.

И так всегда. Она возбуждала в нем надежды — и тут же отказывала ему в их исполнении, разжигала его страсть — и гасила ее, день за днем все больше опутывая его своими сетями. Но для чего? Лоре доставляло острое наслаждение сознавать, что она обладает властью над мужчинами.

Лора любила слушать рассказы о жизни в восточных штатах, особенно в тех высоких кругах, в которых вращался Гарри, когда жил дома. Ей нравилось воображать себя царицей этого мира.

— Вам следовало бы провести зиму в Вашингтоне, — сказал Гарри.

— Но у меня нет там знакомых.

— Неужели вы не знакомы ни с кем из членов конгресса или их семей? Они будут рады иметь своей гостьей хорошенькую женщину.

— Нет, ни с кем.

— Ну а предположим, что у полковника Селлерса появятся дела в Вашингтоне? Скажем, в связи с ассигнованием на реку Колумба?

— У Селлерса? — рассмеялась Лора.

— Вы напрасно смеетесь. Случались и более странные вещи. Селлерс знаком со всеми уроженцами Мис-

сури, да и, пожалуй, всех западных штатов, если уж на то пошло. Он сумел бы очень быстро ввести вас в вашингтонское общество. Чтобы проникнуть в него, можно обойтись без лома и отмычки, которые требуются, например, в Филадельфии. Она вполне демократична, наша столица. Деньги или красота легко откроют любую дверь. Будь я красивой женщиной, я бы поехал искать принца или богатство только в Вашингтон.

— Благодарю вас, — ответила Лора, — но я предпочитаю покой домашнего очага и любовь тех, кого я хорошо знаю. — И появившееся на лице Лоры выражение полной умиротворенности и отрешенности от всяческой суеты окончательно выбило Гарри из седла — по крайней мере до следующего утра.

И все же оброненный им намек упал на благодарную почву и дал обильные плоды: Лора до тех пор взращивала его, пока не выработала целый план, охватывающий чуть ли не все ее будущее. «Почему бы нет? — думала она. — Разве мне запрещено поступать так, как поступали другие женщины?» При первом же удобном случае она постаралась выведать у полковника Селлерса все, что он думает о поездке в Вашингтон, как идут дела с проектом развития судоходства и не придется ли ему в связи с этим поехать в Джефферсон-сити или, может быть, в Вашингтон?

— Все может случиться. Если жители Наполеона захотят, чтобы я сам поехал в Вашингтон и лично занялся этим делом, мне, пожалуй, придется оторваться от семьи. Кое-кто уже поговаривает об этом. Но — ни слова жене или детям. Вряд ли им понравится, что глава семьи будет болтаться где-то в Вашингтоне. Дилуорти, — я имею в виду сенатора Дилуорти, — уже говорил мне: «Полковник, как раз вы-то нам и нужны. В таком вопросе вы можете заполучить больше голосов, чем кто-либо другой. Вы один из первых миссурийских поселенцев, вы связаны с народом, знаете нужды своего штата; к тому же вы уважаете религию, — говорил он, — и понимаете, как способствует распространению слова божья всякое благое начинание». И он прав, мисс Лора; но, увы, об этом недостаточно ду-

мают, когда имеют в виду Наполеон. Он способный человек, этот Дилуорти, способный и хороший. Чтобы так преуспеть, нужно быть хорошим человеком. Он всего несколько лет в конгрессе, но уже стоит добрый миллион долларов. Как-то он гостил у меня, и утром он прежде всего спросил, когда у нас в семье читают молитвы: перед завтраком или после? Очень мне не хотелось разочаровывать сенатора, но пришлось сознаться, что у нас их вовсе не читают, вернее — не всегда. «Да, да, понимаю, — сказал он, — дела и все такое», — некоторые, дескать, обходятся без них; но сам он никогда не пренебрегает религиозными обычаями. Если мы не призовем божье благословенье на прошение об ассигновании для реки Колумба, он сомневается, будет ли оно иметь успех.

Читатель, вероятно, уже понял, что сенатор Дилуорти никогда не гостил у Селлерса и что это была всего лишь очередная выдумка полковника, одно из тех внезапных порождений его буйной фантазии, которые мгновенно возникали в его голове и срывались с его уст в ходе любого разговора, ни на секунду не нарушая общего течения беседы.

В то лето Филипп как-то раз ненадолго приехал верхом в Хоукай, и Гарри мог показать ему, каких успехов добились они с полковником Селлерсом в строительстве Пристани Стоуна, представить его Лоре и занять у него, уже перед отъездом, немного денег. Гарри по привычке похвастался одержанной им победой и повел Филиппа полюбоваться на покоренную им красавицу Запада.

Лора приняла Филиппа вежливо и слегка надменно, что удивило и даже немало заинтересовало его. Он сразу увидел, что она старше Гарри, и вскоре понял, что она заставляет его танцевать некий контрданс, в фигурах которого Гарри не очень разбирается, — так ему по крайней мере показалось. И он осторожно намекнул об этом своему другу, но тот бурно вознегодовал. Однако во время второго визита к Лоре Филипп начал колебаться: она была несомненно добра к Гарри и относилась к нему с дружеским доверием, а к самому Филиппу проявила величайшую предупреди-

тельность. Она выказывала полное уважение к его мнениям и внимательно слушала все, что он говорил; на его откровенные высказывания она отвечала с такой откровенностью, что он поверил в ее искренность, — независимо от того, как она относилась к Гарри. Возможно, что его мужественная прямота и в самом деле завоевала ее расположение. Возможно, что, мысленно сравнивая его с Гарри, она увидела в нем человека, которому женщина может смело и без оглядки отдать всю душу, не задумываясь ни о чем. Да и Филипп не остался безразличен к ее красоте и духовному обаянию.

Неделя, проведенная в Хоукае, показалась Филиппу очень короткой; прощаясь с Лорой, он испытывал такое чувство, будто знаком с нею целый год.

— Надеюсь, мы снова встретимся, мистер Стерлинг, — сказала она, подавая ему руку, и в ее чудесных глазах появилась легкая тень грусти.

А когда он повернулся, чтобы уйти, она проводила его таким взглядом, который несомненно нарушил бы его покой, если бы во внутреннем кармане его сюртука не лежало маленькое квадратное письмецо, полученное из Филадельфии и подписанное: «Руфь».

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ — ДИЛУОРТИ ЗЛАТОУСТ

buaball bionnolonaс go mbuaib ninnene 7 nuplaбпа
ceille, 7 coḡaiple, go ccaibbriб teipce ma бпеic accan
la_зас аен ас аг cюб¹.

Приезд сенатора Эбнера Дилуорти стал настоящим событием в Хоукае. Немалая честь, когда сенатор, возвращающийся среди великих мира сего и управляющий судьбами всей нации, покидает свое место в Вашингтоне, снисходит до общения с простыми людьми и пользуется гостеприимством такого города, как Хоукай. Все были польщены приездом человека столь прославленного, и в его присутствии политическая рознь была временно предана забвению.

Эбнер Дилуорти, уроженец соседнего штата, оставался сторонником Севера в самые тяжелые для страны дни, благодаря чему и преуспел; но разве это причина для того, чтобы полковник Селлерс, который был на стороне южан и не преуспел, с презрением отвернулся от него?

¹ Сладкозвучный рог, наделенный дарами красноречия и обхождения, разума и прозорливости; на лице его было написано благоволение, которое покоряло всех взиравших на него (староирландск.).

Сенатор остановился у своего старого приятеля, генерала Босуэла, но могло показаться, что радушным гостеприимством, оказываемым ему в Хоукае, он обязан только полковнику Селлерсу. Ведь именно полковник с присущей ему щедростью предложил сенатору распоряжаться в городе, как у себя дома.

— Вас здесь хорошо знают, — сказал полковник, — и Хоукай гордится вами. Перед вами открыта любая дверь, вам будут рады у каждого очага. Если бы генерал Босуэл, ваш старый друг, не предъявил на вас своих прав, я настоял бы, чтобы вы остановились у меня. Вы встретитесь с жителями нашего города и увидите здесь такие перемены, которые поразят вас.

Полковник был так неудержим в своем гостеприимстве, что, по-видимому, убедил самого себя в том, что и в самом деле принимал сенатора в своем доме; во всяком случае, впоследствии он неоднократно рассказывал о том, как Дилуорти гостил у него, и упоминал о некоторых блюдах, особенно понравившихся сенатору. Что правда, то правда — однажды полковник в самом деле настойчиво приглашал Дилуорти отобедать, но, к сожалению, это было в тот день, когда сенатор уже уезжал из Хоукай.

Сенатор Дилуорти был тучный и представительный мужчина, хоть и не очень высокого роста. О нем хорошо отзывались, он пользовался популярностью в народе.

Сенатор проявил большой интерес к жизни города и всей округи, к развитию сельского хозяйства, просвещения и религии и особенно к положению недавно освобожденной расы.

— Провидение, — говорил он, — вручило нам их судьбы; и хотя мы с вами, генерал, при помощи конституции могли бы выбрать им иной удел, провидению виднее.

— Ничего из них не выйдет, и не пытайтесь, — прервал его полковник Селлерс. — Эти расчетливые людишки, сэр, не хотят работать на белых: подавай им гарантии, видите ли! Все высматривают, как бы прожить, работая только на себя. Бездельники, сэр:

взгляните на мой огород — весь зарос сорняками. Неделовой народ, сэр.

— В ваших словах есть доля правды, полковник. Но надо им дать образование.

— Дайте негру образование, и он станет еще расчетливее. Если он захочет заниматься тем ремеслом, какое нравится ему самому, какая от него польза?

— Однако, полковник, образованный негр сможет обратить свою расчетливость на пользу всего общества.

— Никогда этого не будет, сэр, никогда. Вы развяжете ему руки — он станет еще больше вредить себе. У негра нет хватки, сэр. Возьмите белого человека — он умеет и задумать большое дело и претворить его в жизнь. А негр — нет.

— И все-таки, — возразил сенатор, — даже допуская, что он может навредить себе с точки зрения земных благ, возвысить его при помощи образования — значит увеличить возможности его спасения в ином мире, а именно это-то и важно, полковник. Каков бы ни был результат, мы должны исполнить свой долг перед этим созданием божьим.

— Правильно, — подхватил полковник, — возвышайте его душу, раз вам нравится, она все равно не станет слишком бессмертной, но не трогайте его самого, сэр! Вот так-то, сэр! Возвышайте его душу, но самого негра оставьте таким, каков он есть.

Естественно, что одним из проявлений гостеприимства, оказанного сенатору, был большой официальный прием в здании суда, во время которого Дилуорти обратился к своим согражданам с речью. Распорядителем торжества был полковник Селлерс. Он сопровождал духовой оркестр от «Городского отеля» до дома генерала Босуэла. Он шел впереди колонны масонов, «Клуба Чудаков», пожарников, Добрых Храмовников, Поборников Трезвости и Молодых Поборников Трезвости, Дочерей Ревекки и учащихся воскресных школ, а заодно и всех остальных граждан города, которые шествовали вслед за сенатором к зданию суда. Он суетился еще долго после того, как все в зале уселись, и громко требовал тишины среди гробового молчания,

воцарившегося перед тем, как генерал Босуэл представил сенатора собравшимся. Полковник давно ждал случая показать себя во всей красе и впоследствии долго и с удовольствием вспоминал об этом событии.

Поскольку наш роман печатается не в «Вестнике конгресса», мы не можем привести речь сенатора Дилуорти целиком. Начал он примерно так:

— Сограждане! Мне доставляет большое удовольствие видеть вас и находиться здесь, среди вас. Я рад, что могу хоть на время отдохнуть от своих тяжких государственных и общественных обязанностей и поговорить по душам с моими друзьями, живущими в этом великом штате. Я нахожу одно утешение от всех моих забот и тревог, и это сладостное утешение — доброе мнение обо мне моих сограждан. Я с нетерпением жду того момента, когда смогу сложить с себя бремя своих забот... («Кто тебе поверит!» — выкрикнул какой-то подвыпивший парень у входа. Голоса: «Выставить его за дверь!»)

Нет, друзья мои, не гоните его. Пусть эта заблудшая овца останется. Я вижу, что и он стал жертвой зла, которое разъедает наши общественные добродетели и подтачивает устои нашей жизни. Как я уже сказал, когда-нибудь я смогу сложить с себя бремя своих обязанностей и посвятить себя заслуженному отдыху в таком приятном, мирном, просвещенном, передовом и патриотически настроенном городе, как, например, Хоукай. (Аплодисменты.) Я много путешествовал, я побывал во всех частях наших славных штатов, но нигде я не видел более прелестного уголка, чем ваш, нигде я не видел более ярких доказательств торгового, промышленного и религиозного прогресса... (Снова аплодисменты.)

Тут сенатор пустился в описание нашей великой страны и больше часа распространялся о ее процветании и о грозящих ей опасностях.

Затем он благоговейно заговорил о религиозных устоях и о том, что для поддержания общественных нравов на должной высоте надо строго следить за нравственностью в частной жизни. «Полагаю, что мой голос достигнет и детских ушей», — заметил он и после

нескольких назидательных слов, предназначенных для детей, закончил свою речь прославлением «духа американской свободы, восходящего по овеянным славой ступеням Капитолия и ведущего за собой одной рукою — Воскресную Школу, а другой — Трезвость».

Полковник Селлерс, конечно, не упустил случая внушить столь влиятельной особе мысль о необходимости улучшить условия судоходства на реке Колумба. Они с мистером Брайерли возили сенатора в Наполеон и там открыли ему свои планы. Подобного рода планы сенатор понимал без особых разъяснений, видимо ему не раз приходилось иметь с ними дело. Однако, когда они доехали до Пристани Стоуна, он огляделся и спросил:

— Это и есть Наполеон?

— Только его основа, только основа, — сказал полковник, развертывая карту. — Вот здесь будет вокзал, здесь — церковь, а вот тут — муниципалитет, ну и так далее.

— Так, так, понятно. А далеко отсюда река Колумба? Этот ручей впадает, видимо...

— Да это Гусиная Протока, — вмешался один из местных жителей, подошедший поглазеть на приезжих, — и никакой реки Колумба здесь нет; может, она и течет где-нибудь поближе к Хоукаю... Прошлым летом приезжала сюда железная дорога, но больше ее тут не видали.

— Да, да, сэр, — поспешил объяснить полковник, — на старых картах река Колумба называлась Гусиной Протокой. Взгляните, какую великолепную дугу она описывает у города; по ней всего сорок девять миль до Миссури, и на всем ее протяжении ходят барки, причем довольно часто; в нее впадают все здешние реки; немножко труда — и пароходы будут доходить до самого города. Ее нужно расширить и углубить. Взгляните на карту: вот река Колумба! Этому краю необходим свой водный путь.

— Вам потребуются немалые ассигнования, полковник Селлерс.

— Не меньше миллиона долларов... ведь вы называли эту цифру, мистер Брайерли?

— Согласно предварительным изысканиям, — сказал Гарри, — миллиона должно хватить; затратьте на реку Колумба один миллион, и город Наполеон принесет вам не меньше двух.

— Понимаю, — кивнул сенатор. — Но лучше пойти обычным путем и для начала ходатайствовать о двухстах или трехстах тысячах. Получив это ассигнование, вы сможете начать продажу городских участков.

Будем справедливы к сенатору: ни река, ни ее окрестности его, собственно, не интересовали; зато ассигнование пришлось ему по душе, и сенатор дал понять полковнику и мистеру Брайерли, что постарается протащить его. Гарри, считавший себя знатоком вашингтонских нравов, намекнул на коммиссионные.

Но он тут же увидел, что сенатор глубоко оскорблен.

— Если вы еще раз скажете что-нибудь подобное, — проговорил Дилуорти, — вы меня просто обидите. Все, что я делаю, я делаю в интересах общества. Часть ассигнования уйдет на неизбежные расходы и, как это ни грустно, придется повидаться кое с кем из членов конгресса. Но на мою скромную поддержку вы можете рассчитывать.

Больше об этой стороне дела никто не упоминал. Необходимые данные сенатор добыл не путем личных наблюдений, а непосредственно из уст полковника. Узнав все, что ему нужно, Дилуорти приобщил ассигнование на реку Колумба к остальным своим общественно-полезным проектам.

В тот же приезд сенатор познакомился с мистером Вашингтоном Хокинсом и был тронут его житейской неопытностью, непосредственностью и, возможно, его готовностью согласиться на любое деловое предложение.

Полковник был доволен, что Вашингтон возбудил в сенаторе такой интерес, тем более что это могло помочь ему осуществить надежды, связанные с теннесийскими землями; да и сам сенатор сказал полковнику, что с радостью поможет всякому достойному молодому человеку, если при этом личные выгоды можно сочетать с общественным благом. А он не сомневается,

что в данном случае речь идет именно о такой возможности.

После нескольких встреч с Вашингтоном сенатор предложил ему поехать с ним в столицу в роли его личного секретаря и секретаря его комиссии; предложение было принято с восторгом.

Воскресенье застало Дилуорти еще в Хоукае. Он посетил церковь и поднял дух достойного и ревностного пастыря своим сочувствием к его трудам и расспросами о благочестии паствы. Оказалось, что паства не очень благочестива, и добряк священник с грустью подумал о том, насколько ему было бы легче, будь у него поддержка такого человека, как сенатор Дилуорти.

— Я рад был убедиться, дорогой сэр, — сказал сенатор, — что вы разъясняете основополагающие догматы веры. Только из-за пренебрежения к догматам в нашей стране столько людей отходит от церкви! Хорошо, если бы мы могли увидеть вас в Вашингтоне — священником при сенате, например.

Старик невольно почувствовал себя польщенным, и можно ли удивляться, что впоследствии в минуты безысходного отчаяния он начинал мечтать о том времени, когда его, быть может, вызовут в Вашингтон и назначат священником при сенате, — и на душе у него сразу становилось светлее. Во всяком случае, похвала сенатора сослужила ему важную службу: она подняла его в глазах жителей Хоукая.

В это воскресенье Лора пошла в церковь одна, и домой ее провожал мистер Брайерли. Часть пути они прошли вместе с генералом Босуэлом и сенатором Дилуорти, и генерал представил молодых людей сенатору. У Лоры были свои причины искать знакомства с сенатором, а Дилуорти был не из тех, кто мог остаться безразличным к ее чарам. За время короткой прогулки скромная красавица так понравилась сенатору, что он заявил о своем намерении нанести ей визит на другой же день. Гарри выслушал его слова довольно мрачно, а когда сенатор отошел, обозвал его «старым дураком».

— Фи, — недовольно протянула Лора. — Неужели вы ревнуете? Он очень приятный собеседник. А вас он назвал многособещающим молодым человеком.

На следующий день сенатор и в самом деле нанес Лоре визит и ушел, окончательно убедившись в собственной неотразимости. Во время пребывания в Хоукае он вновь и вновь встречался с Лорой и все больше поддавался под обаяние ее красоты, которое испытывал на себе каждый, кому случалось увидеть ее хоть раз.

Пока сенатор оставался в городе, Гарри был вне себя от ярости; он утверждал, что женщины готовы бросить любого человека ради более крупной добычи и что его неудача объясняется только появлением сенатора. Красота Лоры доводила беднягу до безумия, и от досады он готов был разmozжить себе голову. Возможно, Лоре и доставляли удовольствие его муки, но она утешала его ласковыми словами, которые только разжигали его пыл, а она улыбалась про себя, вспоминая, что, твердя ей о своей любви, он ни разу не заговорил о браке... Должно быть, этот пылкий юноша просто еще не думал о женитьбе... Во всяком случае, когда он наконец уехал из Хоукая, он был так же далек от этой мысли, как и раньше. Но страсть настолько захватила его, что теперь от него можно было ожидать любого, самого отчаянного поступка.

Лора простилась с ним с нежностью и сожалением, которые, однако, ничуть не нарушили ни ее душевного покоя, ни ее планов. Приезд сенатора Дилуорти был для нее гораздо важнее: со временем он принес те плоды, которых она ждала так долго, — приглашение приехать в столицу на время зимней сессии конгресса в качестве гостя его семьи.

РУФЬ В СЕМИНАРИИ. НОВЫЕ ДРУЗЬЯ,
НОВЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ

Unusquisque sua noverit ire via.

*Propert., Eleg., II, 25*¹.

...Так вознеситесь выше,
Стремитесь к цели, бейтесь за свободу!
Подруги, знания — не родник запретный,
Так пейте же, пока привычки рабства,
Грехи кичливости и болтовни пустой
И сплетен злых — не сгинут!

«Принцесса».

Неизвестно, наука ли медицина, или всего лишь способ кормиться за счет человеческого невежества, — однако Руфь еще до окончания первого семестра поняла, что, помимо специальных знаний, ей нужны еще и многие другие, которых не найдешь в медицинских учебниках, и что без более основательного общего образования ей никогда не осуществить своих чаяний.

— А знает ли что-нибудь лечащий вас врач? — спросил ее однажды один старый и опытный медик. — Я говорю не о медицине, а о знаниях вообще. Достаточно ли он умен и образован в широком смысле этого

¹ Пусть каждый идет по пути, который избрал себе сам. — Проперций, Элегии, II, 25 (лат.).

слова? Если он ничего не знает, кроме медицины, то вполне возможно, что не знает и ее.

Лекции и утомительные лабораторные занятия уже пачали сказываться на слабом здоровье Руфи, а лето принесло с собой только усталость и боязнь всякого умственного напряжения.

При таком душевном и физическом состоянии Руфи спокойствие и тишина отцовского дома и малозанимательное общество родных угнетали ее больше чем когда-либо.

Теперь она куда внимательнее читала восторженные письма Филиппа о его жизни на Западе и мечтала о таких же увлекательных приключениях, о встречах с людьми, столь непохожими на всех, кто ее окружает, и о которых Филипп писал ей то с добродушной усмешкой, то с нескрываемым презрением. Но зато он узнает мир со всем, что в нем есть хорошего и плохого, как и подобает всякому, кто хочет чего-либо добиться в жизни.

«Но что может сделать женщина, связанная по рукам и ногам условностями, традициями и обычаями, из которых почти невозможно вырваться?» — писала ему в ответ Руфь. Филипп подумал про себя, что когда-нибудь он придет и все-таки освободит ее, но писать об этом не стал, так как инстинктивно чувствовал, что Руфь мечтает об ином избавлении и что ей надо на собственном опыте проверить, чего же хочет ее сердце.

Филипп отнюдь не был философом, но он придерживался старозаветной точки зрения: какие бы теории ни придумывала себе женщина, она рано или поздно примирится с мыслью о семье и браке. И он в самом деле знал одну такую женщину, — а более благородных натур, чем она, он никогда не встречал, — которая обрекла себя на одиночество и свято верила, что это и есть ее призвание, но растаяла от соприкосновения с теплом семейного очага, как тает снег под лучами солнца.

Ни своим домашним, ни друзьям Руфь ни разу не пожаловалась на усталость и не выразила сомнения в своей способности достигнуть намеченной цели. Но

мать ясно видела, как ей трудно, — неизменная всеслость и напускная бодрость Руфи не могли обмануть материнское сердце миссис Боултон. Мать понимала, что Руфи необходима перемена занятий и обстановки, и, возможно, надеялась, что такая перемена, дающая возможность более глубокого познания жизни, уведет Руфь с избранного ею тяжкого пути.

Поэтому с общего согласия было решено, что осенью Руфь поедет учиться в другой город. Она выбрала известную семинарию в Новой Англии. Филипп говорил ей, что там учатся и юноши и девушки и что программа почти равна университетской. Вот туда-то она и направилась в сентябре, начав второй раз за один и тот же год новую для нее жизнь.

Семинария была главной достопримечательностью Фолкила, городка с населением в две-три тысячи человек. В этом процветающем учебном заведении насчитывалось триста студентов и большой штат преподавателей, среди которых были и женщины. Длинный ряд старых, почтенных зданий семинарии выстроился вдоль тенистой городской площади. Студенты жили и столовались в частных домах, — и, таким образом, если семинария способствовала материальному благополучию города, то город делал все, чтобы студенты чувствовали здесь себя как дома и не лишались благотворного влияния семейного очага. Ведь влияние семейного очага принято считать благотворным.

По совету Филиппа Руфь поселилась в семье, которая — редчайшее исключение как в жизни, так и в литературе — никогда не знала лучших дней. Может быть, стоит упомянуть, что семейство Монтегю должно было прибыть в Америку на «Мейфлауэре», но из-за болезни ребенка оно задержалось в Делт-Хейвне. В Массачусетскую бухту их доставил уже другой корабль, и, таким образом, в отличие от потомков пассажиров «Мейфлауэра», их потомки не удостоились чести принадлежать к самозванной аристократии, ведущей свое происхождение от первых поселенцев. Не обремененные грузом этой мнимой знатности, представители рода Монтегю со дня высадки упорно трудились и ко времени нашего рассказа достигли столь высоких

ступеней благополучия, каких никогда прежде не достигали. На протяжении двух столетий строгая пуританская мораль способствовала выработке их характера, но, сохранив моральную стойкость и чистоту, они сумели отбросить пуританскую узость взглядов и ныне процветали в благодетельном климате современных веяний. Сквайр Оливер Монтегю — адвокат, удалившийся от дел и возвращавшийся к своей профессии лишь в особых случаях, — жил в старомодном новоанглийского стиля особняке, окруженном живой изгородью. Особняком он назывался потому, что стоял вдалеке от всякого жилья, среди широко раскинувшихся полей; от дороги к нему вела тенистая аллея, а из его окон, выходящих на запад, открывался чудесный вид на маленькое озеро, к пологим берегам которого спускались задумчивые рощи. Сам дом был простой, обыкновенный, зато достаточно обширный, чтобы предоставить множеству гостей бесхитростное, но радужное гостеприимство.

Семейство Монтегю состояло из сквайра и его жены, двух старших детей — сына и дочери, живших своими семьями отдельно, сына, учившегося в Кембридже, еще одного сына, посещавшего местную семинарию, и дочери Алисы, которая была примерно на год старше Руфи. Семья жила безбедно, не позволяя себе ничего лишнего и неизменно радуясь всякому скромному развлечению. Это была та золотая середина, которой люди так редко достигают, а достигнув, еще реже довольствуются, не желая большего.

Руфь не видела здесь той роскоши, как у себя дома, но культурные и духовные запросы этой семьи, а также широкий круг их интересов произвели на нее большое впечатление. Каждая комната в доме походила на библиотеку, всюду стояли книжные шкафы и полки, и на всех столах лежали новые книги и свежие номера газет и журналов. На залитых солнцем подоконниках стояли цветы, а на стенах висели со вкусом подобранные гравюры, среди которых яркими цветными пятнами выделялись картины, написанные маслом или акварелью; рояль был всегда открыт и зава-

лен нотами; повсюду виднелись заморские безделушки и фотографии — память о совершенных семье путешествиях. Иногда считают, что отсутствие в доме расставленных по углам и полочкам сувениров — всяких разноцветных раковин, индийских и китайских божков и никому не нужных лакированных шкатулок — свидетельствует об отсутствии должного интереса к жизни других стран и народов, но, быть может, такое мнение ошибочно.

Так или иначе, в этот гостеприимный дом жизнь врывалась широким потоком: здесь всегда так охотно говорили о злободневных новостях, о новых книгах и авторах, о бостонском радикализме и нью-йоркской цивилизованности, о добродетельности конгресса, что мелким сплетням просто не было места. Все тут было так ново для Руфи, что она, казалось, попала в другой мир, где впервые испытала ощущение полной свободы и духовного подъема. И она с небывалым доселе удовольствием погрузилась в занятия; когда же ей нужен был отдых, она всегда находила его в кругу тех, кто собирался в милом ее сердцу доме Монтегю.

«Странно, — писала она Филиппу в одном из своих редких писем, — что вы никогда не рассказывали мне об этих очаровательных людях и только мимоходом упоминали об Алисе; а ведь она благороднейшая натура, такая самоотверженная, и душа всей семьи. Каких только талантов у нее нет, она все умеет! А ее сдержанный юмор, ее своеобразный взгляд на вещи! И притом всегда уравновешенна и часто даже серьезна, — таких умниц нигде, кроме Новой Англии, не найдешь! Мы с нею будем большими друзьями». Филипп же не находил в семье Монтегю ничего примечательного: он знает десятки таких девушек, как Алиса, думал он, но только одну такую, как Руфь.

Девушки сразу же подружились. Для Алисы Руфь была своего рода открытием, порождением совершенно незнакомой ей среды: во многом сущий ребенок, во многом — чересчур взрослая; но нужно признаться, что и Руфь в свою очередь иногда пыталась заглянуть в душу Алисы своими вдумчивыми серыми глазами и мысленно спрашивала: какая у нее цель в жизни, стре-

мится ли она к чему-нибудь или ей достаточно просто жить как живется? Сама Руфь с трудом могла представить себе жизнь без какой-то определенной цели и не сомневалась, что уж она-то преодолееет все и станет врачом, как решила.

— Значит, ты знакома с Филиппом Стерлингом, — сказала однажды Руфь, когда девушки сидели за шитьем. Руфь — да простит ей бог — никогда не занималась рукоделъем, да и за шитье старалась браться как можно реже.

— Да, мы с ним старые друзья. Когда Филипп учился в университете, он часто приезжал в Фолкил. А когда его однажды временно исключили, он жил здесь целый семестр.

— Исключили?

— Ну да, временно: у них там вышли какие-то неприятности. Его здесь все очень любили. А с моим отцом они просто подружились. Отец говорит, что у Филиппа голова набита всякой ерундой, потому он и попадает во всякие истории, но что он на редкость славный малый и со временем из него выйдет толк.

— А тебе не кажется, что он немного ветреный?

— Никогда об этом не думала, — ответила Алиса, подняв глаза на Руфь. — Конечно, как и все студенты, он постоянно влюблялся то в одну девушку, то в другую. Он, бывало, приходил ко мне поверять свои тайны, и настроение у него было очень скверное...

— А почему именно к тебе? — допытывалась Руфь. — Ведь ты моложе его?

— Право, не знаю. Он проводил у нас много времени. Однажды, во время пикника на берегу озера, моя сестра Милли чуть не утонула; он ее спас, рискуя жизнью. Ясно, что нам всем хотелось, чтобы он бывал у нас. А может быть, он думал, что раз он спас одну сестру, то имеет полное право обращаться за помощью к другой. Может быть...

Дело в том, что Алиса располагала всех к доверию, она никогда не выдавала чужих тайн и для всех находила слово участия. Бывают такие люди — все мы их встречали, — к которым человеческие сокровенные мы-

сли, переживания и тревоги текут сами собой, как реки к тихому озеру.

Но поскольку эта книга — не история Фолкила или семейства Монтегю, хотя оба они вполне достойны такой чести, наше повествование не может уделить им слишком много места. Если читателю доведется побывать в Фолкиле, то ему, несомненно, покажут и дом Монтегю, где жила Руфь, и тропинку, по которой она ходила полями в семинарию, и древнюю церквушку с треснувшим колоколом.

Юная квакерша пользовалась всеобщей любовью в небольшом обществе Фолкила, и ни одно сколько-нибудь значительное событие или развлечение не обходилось без ее участия. Если бы даже обстоятельства не заставили жителей Фолкила впоследствии заговорить о Руфи, о ней все равно долго помнили бы: было что-то очень своеобразное в этой с виду бесхитростной и вместе с тем глубокой натуре, в способности Руфи по-детски веселиться, в ее приветливости и общительности, которая нередко сменялась сосредоточенной задумчивостью.

К удивлению Алисы, Руфь погрузилась в скромные светские увеселения Фолкила с увлечением, которое должно было быть чуждым человеку, из самых высоких побуждений посвятившему свою жизнь серьезному делу. Сама Алиса была очень общительна, но здешнее общество казалось ей мало интересным, а ухаживания благовоспитанных молодых людей вовсе не привлекали ее. Руфь, по-видимому, смотрела на вещи иначе, так как сначала она развлекалась просто из любопытства, потом с интересом — и наконец с самозабвением, какого от нее никто не ожидал. Вечеринки, пикники, лодочные гонки, прогулки при луне, походы за орехами в осенние леса, — по мнению Алисы, это был сущий вихрь удовольствий. Явная склонность Руфи к обществу симпатичных молодых людей, болтавших о всяких пустяках, служила Алисе бесконечной темой для шуток.

— Это что — все твои «вздыхатели»? — спрашивала она.

Руфь весело смеялась, потом опять становилась серьезной. И, может быть, думала о том, что, кажется, она сама не знает, чего хочет.

Попробуйте вырастить утку в самом сердце Сахары и потом принесите ее к Нилу: она непременно поплывет.

Когда Руфь уезжала из Филадельфии, никому и в голову не пришло, что она способна увлечься жизнью, столь непохожей на ту, о которой сама как будто мечтала, и при этом чувствовать себя счастливой. Да и кто может предсказать, как будет вести себя женщина при тех или иных обстоятельствах? Романисты потому обычно и терпят неудачи в своих попытках изобразить поведение женщины, что они заставляют ее поступать так, как при подобных обстоятельствах поступала какая-то известная им особа. В этом-то и ошибка: всякая женщина поступает по-своему. Именно потому, что поведение женщины всегда полно неожиданностей, она всегда — интереснейшая героиня романа и в собственных, и в чужих глазах.

Прошла осень, за ней — зима, и нельзя сказать, чтобы Руфь за это время успела отличиться в Фолкил-ской семинарии своими успехами; однако это ее ничуть не тревожило и ничуть не мешало ей наслаждаться сознанием того, что в ней пробудились какие-то новые, неведомые прежде силы.

ДРУЗЬЯ В ФОЛКИЛЕ. ФИЛИП ВЛЮБЛЕН.

ГАРРИ ЖАЖДЕТ ПОКОРЯТЬ СЕРДЦА

Wohl giebt es im Leben kein süßeres Glück,
Als der Liebe Geständniss im Liebchen's Blick;
Wohl giebt es im Leben nicht höher Lust,
Als Freuden der Liebe an liebender Brust.
Dem hat nie das Leben freundlich begegnet,
Den nicht die Weihe der Liebe gesegnet.
Doch der Liebe Glück, so himmlisch, so schön.
Kann nie ohne Glauben an Tugend bestehn.

Korner 1.

O ke aloha ka mea i oi aku ka maikai
mamua o ka umeki poi a me ka ipukaia 2.

Зимой произошло событие, вызвавшее необычайный интерес у всех обитателей дома Монтегю, особенно у обеих молодых девиц и всех их знакомых.

В отеле «Сассакус» остановились двое молодых людей, приехавших с Запада.

¹ Нет большего счастья, чем взором своим
Во взоре любимой прочесть: ты любим;
И радости большей вовек не найти,
Чем радость любви, что теснится в груди.
Любовь — величайшее благо на свете,
Тот счастья не знал, кто его не изведal.

Но счастье любви может там лишь цвести,

Где рядом цветут и честность и честь.—К е р н е р (нем.)

² Любовь манит нас больше, чем жареная рыба или миска
сладкого пб́я (гавайск.).

В Новой Англии принято называть гостиницы именем какого-нибудь давно скончавшегося индейца; дорогой покойник, разумеется, не имел никакого касательства к гостиницам, но его воинственное имя должно внушать чувство почтения робкому путнику, ищущему приюта, и переполнять его сердце благодарностью к доброму, благородному портье, который отпустит его восвояси, не сняв с него скальп.

Приехавшие с Запада джентльмены не были ни студентами Фолкилской семинарии, ни лекторами по физиологии, ни агентами страховой компании. Дальше этих трех догадок фантазия тех, кто прочел в книге записей имена новых постояльцев — Филипп Стерлинг и Генри Брайерли из Миссури, — не простиралась. Сами же приезжие были молодцы хоть куда, об этом спорить не приходилось: их мужественные обветренные лица и непринужденные уверенные манеры произвели впечатление даже на самого портье гостиницы «Сассакус». Мистер Брайерли сразу показался ему человеком весьма состоятельным, ворочающим крупными капиталами. Гарри умел вскользь упомянуть о капиталовложениях на Западе, о сквозных перевозках, фрахтовых операциях и трансконтинентальной линии, идущей к Южной Калифорнии через индейские территории; причем он делал это так, что каждое, даже самое случайное его слово приобретало особый вес.

— Городок у вас довольно приятный, сэр, — сказал Гарри портье, — а такой уютной гостиницы я нигде, кроме Нью-Йорка, не видел. Если вы сможете подобрать нам достаточно удобный двух- или трехкомнатный номер, мы, пожалуй, проживем у вас несколько дней.

Люди, подобные Гарри, везде берут от жизни все лучшее, и наш услужливый мир охотно помогает им в этом. Филипп вполне удовлетворился бы и менее дорогостоящими апартаментами, но широкая натура Гарри не признавала никаких ограничений.

Зимой железнодорожные изыскания и земельные спекуляции в Миссури заглохли, и молодые люди воспользовались затишьем в делах, чтобы съездить в восточные штаты. Филипп хотел выяснить, нет ли у его

друзей-подрядчиков желания уступить ему небольшой участок на ветке Солт-Лик — Пасифик, а Гарри намеревался развернуть перед своим дядюшкой перспективы создания нового города у Пристани Стоуна и добиться правительственных ассигнований на работы по развитию судоходства на Гусиной Протоке и на строительство речного порта. Гарри захватил с собой карту этой могучей реки: тут был и порт с верфями и причалами, у которых теснилось множество пароходов, и густая сеть железных дорог вокруг, и огромные элеваторы на берегу реки, — иначе говоря, все, что могло породить воображение полковника Селлерса и мистера Брайерли вместе взятых. Полковник ничуть не сомневался, что Гарри пользуется на Уолл-стрит и среди конгрессменов достаточным влиянием, чтобы добиться осуществления их замыслов, и, ожидая его возвращения в своем убогом домишке в Хоукае, с беспредельной щедростью кормил изголодавшуюся семью блистательными надеждами.

— Не давайте им слишком много, — говорил полковник своему компаньону. — Достаточно, чтобы у них был хоть небольшой интерес в деле; любому конгрессмену, скажем, хватит земельного участка в пригороде Пристани Стоуна, но с маклерами придется, видимо, поделиться частью самого города.

Однако на Уолл-стрит Гарри не обнаружил предсказанного полковником Селлерсом рвения субсидировать работы на Пристани Стоуна (здесь такие карты были не в диковинку); что же касается ассигнования на развитие судоходства на реке Колумба, то дядюшка Гарри и некоторые маклеры смотрели на это дело более благосклонно и даже готовы были основать для этой цели компанию. Ассигнование, если бы удалось его добиться, — это штука весьма осязаемая! Не все ли равно, на что оно предназначено: важно, чтобы деньги оказались у тебя в руках.

До начала этих немаловажных переговоров Филипп уговорил Гарри прокатиться ненадолго в Фолквил; впрочем, особенно уговаривать его не пришлось, так как ради нового смазливового личика Гарри готов был в любую минуту предать забвению все земли Запада;

надо признаться, он ухаживал за женщинами с такой легкостью, что это ничуть не мешало ему заниматься более серьезными делами. Разумеется, он не понимал, как мог Филипп влюбиться в девушку, которая изучает медицину, но не возражал против поездки в Фолкил, уверенный, что там найдутся девушки, которым стоило бы посвятить недельку-другую.

В доме Монтегю молодых людей приняли с обычным гостеприимством и радушием.

— Рады снова видеть тебя! — прочувствованно воскликнул сквайр. — Добро пожаловать, мистер Брайерли, мы всегда рады друзьям Филиппа.

— Нет на свете такого места, где мне было бы так хорошо, как у вас! Я тут словно у себя дома, — откликнулся Филипп, оглядывая приветливое жилище сквайра и пожимая всем руки.

— Однако нам долго пришлось ждать, чтобы вы приехали и сказали нам об этом, — заметила Алиса с отцовской прямоотой. — Подозреваю, что и нынешним приездом мы обязаны только вашему внезапному интересу к Фолкилской семинарии.

Лицо Филиппа всегда выдавало его чувства; покраснел он и на этот раз. Но прежде чем он успел преодолеть смущение и что-либо ответить, вмешался Гарри:

— Теперь понятно, почему Фил хочет строить на Пристани Стоуна — это наш город в Миссури — семинарию, хотя полковник Селлерс настаивает на университете. У Фила, по-видимому, слабость к семинариям.

— А у твоего Селлерса слабость к университетам. Лучше бы строил начальные школы, — возразил Филипп. — Видите ли, мисс Алиса, полковник Селлерс — большой друг нашего Гарри — вечно пытается построить дом, начиная с крыши.

— Думаю, что на бумаге выстроить университет ничуть не труднее, чем семинарию, зато выглядит он намного солиднее, — глубокомысленно ответил Гарри.

Сквайр засмеялся и сказал, что это совершенно верно. Почтенному джентльмену не понадобилось длинного разговора с полными надежд владельцами будущего города, он сразу понял, что такое Пристань Стоуна.

Пока Филипп подбирал слова, чтобы задать вопрос, казавшийся ему необычайно трудным, дверь неслышно отворилась, и вошла Руфь. Оглядев собравшихся, она с искрящимися глазами и веселой улыбкой подошла к Филиппу и пожала ему руку. Она держалась так непринужденно, так искренне и сердечно, что наш герой Дальнего Запада вдруг почувствовал себя робким и неловким мальчишкой.

На протяжении долгих месяцев мечтал он об этой встрече и сотни раз по-разному рисовал ее себе, но никогда не представлял именно такой. Ему думалось, что они встретятся неожиданно, например когда она будет возвращаться после занятий домой или, ни о чем не подозревая, войдет в комнату, где он уже ждет ее; и тут она обязательно воскликнет: «О Фил!» — и умолкнет и, может быть, покраснеет, а он, сдержанный, хотя и взволнованный встречей, ласково успокоит ее, выразительно возьмет за руку, а она робко поднимет на него глаза и после долгих месяцев разлуки, может быть, позволит ему... Боже! Сколько раз он мечтал об этой минуте, не зная, наступит ли она когда-нибудь! Но случилось то, чего он меньше всего ожидал: смутился он, а не она, да еще отчего — оттого, что его встретили сердечно и задушевно!

— Мы слышали, что вы остановились в «Сассакусе», — заговорила Руфь. — А это, наверное, ваш друг?

— Прошу прощения, — кое-как выговорил наконец Филипп, — да, это мистер Брайерли, о котором я вам писал.

Руфь дружески поздоровалась с Гарри. Филипп и не ждал иного отношения к своему другу, хоть его и задело, что она поздоровалась с ним обоими совершенно одинаково; Гарри же принял это за обычную дань, воздаваемую ему прекрасным полом.

После расспросов, как они доехали и как им жилось на Западе, разговор стал общим; вскоре Филипп обнаружил, что он беседует со сквайром о земельных участках, железных дорогах и других вещах, на которых ему трудно было сосредоточиться, так как до его слуха доносились обрывки оживленного разговора между Руфью и Гарри; он слышал такие слова, как

«Нью-Йорк», «опера», «прием», и понял, что Гарри дал волю своей фантазии и пустился в подробное описание светской жизни.

Гарри знал все, что можно знать о театре, артистических уборных и закулисном мире (так по крайней мере говорил он сам); к тому же он знал довольно много опер и умел увлекательно рассказывать их сюжет, вскользь упоминая, что вот в этом месте вступает сопрано, а в этом бас, и тут же принимался напевать первые такты их арий: та-ра, та-ра, тим-там. Потом он давал понять, что совершенно не удовлетворен тем, как бас исполнял речитатив («там внизу, среди трупов холодных»), и очень мило, с непринужденной легкостью разбирал всю оперу, между тем как не смог бы пропеть до конца ни одной арии даже под страхом смерти, — впрочем, если бы и попытался, то пропел бы непременно фальшиво, так как слуха у него не было. Но он обожает оперу, держит ложу и по временам заглядывает в нее, чтобы прослушать любимую сцену или встретиться со своими светскими друзьями. Если Руфь когда-нибудь приедет в Нью-Йорк, он будет счастлив отдать свою ложу ей и ее друзьям! Разумеется, Руфь была в восторге от его любезности.

Когда она рассказала об этом Филиппу, он лишь сдержанно улыбнулся и выразил надежду, что ей повезет и что, когда она приедет в Нью-Йорк, ложа не окажется уже отданной на этот вечер кому-нибудь другому.

Сквайр уговаривал молодых людей остановиться у него и непременно хотел послать за их вещами в гостиницу; Алиса поддержала отца, но у Филиппа были свои причины отказаться. Однако гости остались ужинать, а вечером Филипп целый час беседовал с Руфью наедине, радуясь, что она, как и прежде, разговаривала с ним без всякого стеснения, рассказывала о своих планах и занятиях в Филадельфии, расспрашивала о его жизни на Западе и надеждах на будущее с неподдельным интересом, совсем как сестра; правда, это было не совсем приятно Филиппу, ему хотелось бы услышать в ее тоне иные нотки. Но в мечтах и планах Руфи Филипп не уловил даже намека на то, что она как-то связывает свое будущее с ним, тогда как сам он не мог

и шагу ступить без мысли о Руфи и все его планы так или иначе касались ее; ничто не удовлетворяло его, если она не была к этому причастна. Богатство, доброе имя имели для него цену лишь в той мере, в какой они что-то значили для Руфи; иногда ему казалось, что, не живи Руфь на земле, он сбежал бы в какой-нибудь забытый богом и людьми уголок и доживал бы там свои дни в полном одиночестве.

— Я надеялся, — говорил Филипп Руфи, — сделать первый шаг на железной дороге и заработать хотя бы столько, чтобы можно было вернуться на Восток и заняться чем-нибудь, что мне больше по вкусу. Жить на Западе мне бы не хотелось. А вам?

— Я как-то не задумывалась об этом, — ничуть не смутясь, ответила Руфь. — Одна девушка, окончившая нашу семинарию, уехала в Чикаго, и у нее там довольно большая практика. Я еще не знаю, куда поеду. Мама будет в ужасе, если я стану разъезжать по Филадельфии в докторской двуколке.

Филипп рассмеялся, представив себе эту картину.

— А теперь, после приезда в Фолкил, вам так же хочется этого, как прежде?

Филипп и не подозревал, что попал не в бровь, а в глаз: Руфь сразу задумалась, сможет ли она лечить тех молодых людей и девушек, с которыми познакомилась в Фолкиле. Однако она не хотела признаваться даже самой себе, что ее взгляды на будущую профессию хоть сколько-нибудь переменились.

— Нет, здесь, в Фолкиле, я не собираюсь практиковать; но должна же я чем-то заняться, когда кончу курс. Почему бы не медициной?

Филиппу хотелось объяснить ей почему; но если сама Руфь этого еще не поняла, то всякие объяснения бесполезны.

Гарри всегда чувствовал себя одинаково уверенно — толковал ли он со сквайром Монтегю о том, как выгодно вкладывать капитал в штате Миссури на реке Колумба, о развитии судоходства, о проекте более короткого железнодорожного пути от Миссисипи до Тихого океана, разработанном им и еще кое-кем в Нью-Йорке; потешал ли миссис Монтегю рассказами о своих

поварских подвигах в лагере; или рисовал перед мисс Алисой забавные контрасты между жизнью в Новой Англии и на границе, откуда он приехал.

В обществе Гарри трудно было соскучиться: когда ему изменяла память, на помощь приходило воображение, и он рассказывал свои истории так, будто и сам в них верил. Впрочем, возможно так оно и было. Алисе он показался очень занятым собеседником, и она с таким серьезным видом внимала его вымыслам, что он увлекся и хватил через край. Даже миллионер не сумел бы более непринужденно намекнуть в разговоре о своей холостяцкой квартире в городе и фамильном особняке на берегу Гудзона.

— Странно, — заметила Алиса, — что вы не остались в Нью-Йорке и предпочли подвергнуть себя всем тяготам жизни на Западе.

— Дух приключений! — ответил Гарри. — Я устаю от Нью-Йорка. Кроме того, мне надо было проследить за ходом кое-каких операций, участником которых я невольно оказался. Только на прошлой неделе в Нью-Йорке настаивали, чтобы я поехал в Аризону, — там наклеывается крупное дело с алмазами. Но я сказал: «Нет, в спекуляциях я не участвую. У меня свои дела в Миссури»; да и пока Филипп там, я его ни за что не оставляю.

Когда друзья возвращались в тот вечер в гостиницу, Филипп, пребывавший отнюдь не в лучшем настроении, не выдержал:

— Какого черта ты сегодня так расхвастался, Гарри?

— Расхвастался? — воскликнул Гарри. — Я просто хотел, чтобы вечер прошел приятнее. А потом, я так или иначе когда-нибудь сделаю все, о чем говорил. Не все ли равно, в каком времени и наклонении я употребил какой-то там глагол? Говорил же мне дядюшка только в прошлую субботу, что я с таким же успехом могу отправляться в Аризону искать алмазы? Уж если производить впечатление, то лучше хорошее, чем плохое.

— Чепуха. Скоро ты дойдешь до того, что сам будешь верить в свои выдумки.

— Вот увидишь! Когда мы с Селлерсом добьемся ассигнования, я покажу тебе и квартиру в городе, и дом на Гудзоне, и ложу в опере.

— Боюсь, что они будут похожи на плантацию полковника Селлерса в Хоукае. Ты когда-нибудь там был?

— Ну, не сердись, Фил! Она просто прелесть, эта малютка. Почему ты раньше не говорил мне о ней?

— Кто это «просто прелесть»? — чуть не зарычал Филипп; такой оборот разговора пришелся ему совсем не по душе.

— Миссис Монтегю конечно, кто же еще?

И Гарри остановился, чтобы закурить, и некоторое время молча попыхивал сигарой.

На этом размолвка кончилась, так как Гарри никогда не помнил зла и полминуты, а Филипп был слишком благоразумен, чтобы продолжать сердиться из-за пустяков; к тому же ведь это он пригласил Гарри в Фолкил.

Молодые люди прожили в городке целую неделю, каждый день бывали в доме Монтегю и принимали участие в обычных для Фолкила зимних развлечениях. Как друзья Руфи и семейства Монтегю, они, естественно, получали приглашения на званые вечера, а Гарри, со своей природной щедростью, дал небольшой ответный ужин без особых затей: просто танцы в гостинице и легкая закуска с прохладительными напитками. Все это стоило немалых денег Филиппу, которому пришлось оплатить счет.

Не прошло и недели, как характер Руфи предстал перед Филиппом в новом свете. Его удивило, что она способна так увлекаться пустыми забавами фолкилского «света». Ему почти не удавалось серьезно поговорить с нею. Около нее вечно порхал какой-нибудь мотылек, а когда Филипп всем своим поведением показывал ей, что ему это не нравится, она беззаботно смеялась и принималась вышучивать его серьезность; она утверждала, что он становится слишком мрачным и необщительным. В сущности, ему приходилось больше разговаривать с Алисой, и он не пытался скрыть от нее свою тревогу. Впрочем, он мог бы и не говорить этого Алисе: она сама видела все, что происходит, и

достаточно хорошо знала свою половину рода человеческого, чтобы понимать, что лишь время может помочь Филиппу.

— Руфь — хорошая девушка, Филипп; она ничуть не изменила своим убеждениям и целям, по разведы не видите, что она только сейчас обнаружила, как приятно повеселиться? Мой вам совет: не показывайте вида, что вас это задевает.

В свой последний вечер в Фолкиле друзья были в гостях у Монтегю, и Филипп надеялся, что на этот раз он увидит Руфь в другом настроении. Но ничуть не бывало: она была веселее прежнего, а в глазах и смехе ее таилось что-то опасно-проказливое.

— Проклятье! — пробормотал Филипп. — Она совсем голову потеряла!

Ему хотелось поссориться с нею, выбсжать из дома с самым трагическим видом и, может быть, даже блуждать по полям где-то далеко-далеко и там подставить свое пылающее чело прохладному звездному дождю, совсем как в романах, — но ничего из этого не вышло. Руфь, как это бывает с женщинами, совершенно не чувствовала себя виноватой и очаровывала Филиппа больше чем когда-либо скромным кокетством и многозначительными недомолвками. Один раз, укоризненно перебив его гневную тираду, она даже сказала ему «ты», и сердце его отчаянно забилося, так как он впервые услышал от нее это милое слово.

Неужели ее и правда привлекала беззаботность и веселая самоуверенность Гарри? Весь вечер они оживленно болтали, и время летело стремительно и незаметно. Руфь пела для Гарри, и не кто иной, как он, переворачивал ей ноты и время от времени, когда считал, что это произведет должное впечатление, сам подпевал басом.

Да, вечер прошел очень весело, и Филипп был от души рад, когда все кончилось, — в том числе и затянувшееся прощание с семейством Монтегю.

— До свиданья, Филипп! Доброй ночи, мистер Брайерли! — донесся до них звонкий голос Руфи, когда они шли по аллее; и Филипп подумал, что Руфь не его имя назвала последним.

ФИЛИПП И ГАРРИ ЗА РАБОТОЙ

Ты видишь ли тот узкий путь,
Бегущий средь пинов и пней?
То — Добродетели Тропа,
Хоть редко спросит кто о ней.

А вон — широкий торный путь,
Что средь лугов цветистых вьется!
То Путь Порока и Греха,
Хоть он Дорогой в Рай зовется.

Томас Раймер.

В Нью-Йорк Филипп и Гарри прибыли в совершенно разном расположении духа. Гарри искрился весельем. Его ожидало письмо от полковника Селлерса, настаивавшего на том, чтобы Гарри поехал в Вашингтон и встретился там с сенатором Дилуорти. Прощение уже у него. Оно подписано всеми мало-мальски значительными людьми Миссури и будет подано буквально со дня на день.

«Я бы поехал сам, — писал полковник, — но я сейчас занят изобретением новой водяной осветительной системы для таких городов, как Сент-Луис; достаточно в любом месте присоединить мою машину к водопроводным трубам, как тотчас начнется разложение воды на составные части; город будет залит потоками света;

и все это не будет стоить ни цента, кроме стоимости самой машины. Осветительная часть у меня почти готова, но я хочу приспособить машину для отопления и приготовления пищи, а также для стиральных и гладильных аппаратов. Это будет великое изобретение, но, пока я его совершенствую, все же не следует упускать из виду и наше ассигнование».

Гарри привез нескольким членам конгресса письма от собственного дядюшки и от мистера Даффа Брауна, которые имели обширные связи в обеих палатах, где их хорошо знали как крупных предпринимателей, не жалеющих сил на благо общества, и притом — на языке того времени — знающих толк в таких добродетелях, как «сложение, деление и молчание».

Сенатор Дилуорти сам огласил прошение в сенате, добавив от себя, что лично знаком с теми, кто подписал его, и что они действительно заинтересованы в развитии своего края; однако он верит, что своекорыстного интереса здесь нет и что все они, насколько ему известно, люди честные и добропорядочные. Ему приятно видеть в списке подписавших прошение имена многих цветных граждан штата Миссури, да и всякий друг человечества, конечно, возрадуется, узнав, что эта столь недавно освобожденная раса вполне сознательно участвует в развитии природных богатств своей родины. Он предлагает, чтобы прошение было передано на рассмотрение соответствующей комиссии.

Представляя своего юного друга некоторым влиятельным депутатам, сенатор Дилуорти рекомендовал его как человека, хорошо знающего все, что касается линии Солт-Лик — Пасифик, и как одного из инженеров, производивших съемку на реке Колумба, после чего он оставлял собеседников, давая Гарри возможность демонстрировать свои карты и планы и объяснять связь между государственным казначейством, городом Наполеоном и принятием законов, способствующих процветанию страны.

Гарри поселился в доме сенатора Дилуорти. Вряд ли можно было найти хоть одно общественно-полезное начинание, к которому сенатор не проявлял бы интереса. Его дом был открыт для всех, кто трудился на

нине борьбы за полное воздержание от алкогольных напитков, и он постоянно посещал собрания Поборников трезвости. В воскресной школе при церкви, где сам он состоял прихожанином, он вел в одном из классов занятия по закону божьему и даже предложил Гарри взять себе класс на время, пока тот живет в Вашингтоне; мистер Вашингтон Хокинс уже вел занятия в той же школе. Однако после того как Гарри спросил, нельзя ли дать ему класс молодых девиц, сенатор больше не вспоминал о своем предложении.

Что касается Филиппа, то он, по правде говоря, отнюдь не был в восторге ни от своих перспектив на Западе, ни от людей, с которыми ему пришлось там столкнуться. Железнодорожные подрядчики не скупчились на заманчивые, но весьма неопределенные обещания. Филипп не сомневался, что в Миссури действительно можно разбогатеть, но для себя лично он не видел более верного способа добывать средства к существованию, чем овладеть той профессией, которую он так легкомысленно выбрал. За лето он далеко продвинулся по пути практического изучения инженерного дела; благодаря своему упорству и старанию он сумел стать в какой-то мере полезным человеком. Подрядчики часто советовались с ним по вопросам профиля той или иной местности, о возможной стоимости пути и характере необходимых работ.

И все же Филипп понимал, что, если он хочет приобрести имя или состояние в качестве инженера, ему еще нужно многому поучиться, — и к его чести надо сказать, что это его не пугало. Пока Гарри в Вашингтоне распинаялся перед членами высшего законодательного органа страны и знакомился с парламентскими кулуарами, Филипп с присущей ему энергией и целеустремленностью день и ночь изучал теорию и практику своего дела и постигал тайны постройки железных дорог. В ту пору он написал для журнала «Плуг, верстак и наковальня» несколько статей по вопросам сопротивления материалов и особенно по мостостроению. Они вызвали такой интерес, что их перепечатали английский технический журнал. Во всяком случае, статьи подняли Филиппа в глазах его друзей-подрядчи-

ков, ибо почти все практики испытывают суеверное благоговение перед печатным словом и хотя слегка презирают чужие таланты, но охотно используют их.

Филипп послал журналы со своими статьями отцу Руфи и еще некоторым людям, чье доброе мнение он высоко ценил, но он не позволил себе почить на лаврах. Напротив, он так усердно продолжал свои занятия, что, когда настало время возвращаться на Запад, он уже чувствовал себя достаточно подготовленным, хотя бы в теории, чтобы стать начальником одного из строительных участков.

ГОРОД ВАШИНГТОН

C a n t e - t e c a. Iapi-Waxte otonwe kin
he sajeyatapi nawahon; otonwe wijice hinca
keyapi se wacanmi.

T o k e t u - k a x t a. Nan, hecetu; taku-
wicawaye wijicapi ota hen tipi¹.

Для выросшего в провинциальной глуши Вашингтона Хокинса столица великой республики была совершенно новым миром. Сент-Луис был больше, но если и появлялись в нем новые жители, то приезжали они только из близлежащих сел и деревень и потому так походили друг на друга, будто были членами одной семьи. В Вашингтон же люди съезжались со всех концов света, и смена лиц, обычаев и мод была здесь поистине нескончаема. Вашингтону Хокинсу никогда не приходилось бывать в сент-луисском «свете», он ничего не знал о жизни состоятельных граждан и ни разу не заглядывал в их дома. Поэтому все, что касалось современных удобств и роскоши, было для него чудесным откровением.

¹ К р и с т и а н. Я слышал о городе, который зовется Сладкоречье; помнится, мне говорили, что в нем собраны не-
сметные сокровища.

Б а й - Э н д з. Да, я могу это подтвердить; у меня там
много богатой родни (на языке индейцев сиу (дакота)).

Город Вашингтон представляет интерес для каждого из нас. И чем чаще мы туда приезжаем, тем все больше нового и интересного открываем в нем для себя. Но, может быть, читатель еще не бывал в Вашингтоне? Так слушайте же. Вы приезжаете туда или вечером — причем так поздно, что до утра вы уже не сможете ничего сделать или увидеть; или утром — так рано, что вы поневоле отправляетесь в отель поспать часок-другой, пока солнце лениво перебирается через океан. Приехать же в какой-нибудь другой, более удобный промежуточный час невозможно, так как ключи от единственной двери, через которую можно попасть в город или уехать из него, находятся в руках железнодорожной компании, а уж она-то всегда сумеет позаботиться о том, чтобы вы не своевольничали. Вы приезжаете в Вашингтон в довольно хорошем настроении, ибо от Балтиморы до столицы всего тридцать восемь миль и вас успели оскорбить всего три раза (при условии, что вы ехали не в спальном вагоне, — там среднее количество оскорблений несколько выше): первый раз в Балтиморе, где вам компостировали билет; второй раз — когда вы хотели войти в вагон «только для дам», не подозревая, что такие вагоны существуют; и третий раз — когда вы спросили у проводника, в котором часу поезд прибудет в Вашингтон.

Вы выходите из вокзала на тротуар, и на вас, щелкая кнутами перед самым вашим носом, набрасывается целая ватага извозчиков. Вы садитесь в сооружение, по непонятным причинам называемое в столице «экипажем», и удивляетесь, почему сей экипаж все еще ездит по городу, а не стоит в музее: у нас сохранилось так мало древностей, и нам не делает чести, что мы так плохо бережем то немногое, чем еще можем похвастаться. Наконец вы приезжаете в отель... но здесь из простого милосердия лучше опустить занавес, ибо вы, конечно, приехали не в тот отель, в какой нужно! Ведь вы новичок в городе, и ваша ошибка вполне понятна. Из ста девятнадцати отелей Вашингтона только один хороший, а все остальные плохие. Но и этот прославленный и популярный отель — худший из всех, когда-либо существовавших в истории.

Итак, вы приехали. Зима. Ночь. Когда поезд остановился, шел снег. Когда вы подъезжали к отелю, снег шел вперемежку с дождем. Когда вы легли спать, дождь шел уже сам по себе. Ночью ударил мороз и подул сильный ветер, который снес с крыш несколько печных труб. Утром, когда вы проснулись, стоял густой туман. Когда же вы в десять часов закончили свой завтрак и вышли погулять, солнце ярко светило, воздух был свеж и ароматен, а грязь и лужи — нескончаемы и непроходимы. Климат Вашингтона отличный, надо только привыкнуть к нему.

Вам, разумеется, хочется осмотреть город; посему вы берете зонтик, шубу и веер и отправляетесь в путь. Скоро вы уже осваиваетесь с расположением наиболее выдающихся достопримечательностей, и они служат вам ориентиром. Прежде всего вы замечаете декоративные архитектурные украшения на фронте широко раскинувшегося белоснежного дворца, верхняя часть которого выступает над кущей деревьев; высокий изящный белый купол со статуей венчает дворец и красиво вырисовывается на фоне голубого неба. Здание это — Капитолий. Досужие языки сообщат вам, что по первоначальным подсчетам оно должно было стоить двенадцать миллионов долларов и что правительству удалось построить его, уложившись всего в двадцать семь миллионов.

Вы останавливаетесь позади Капитолия, чтобы полюбоваться видом — поистине превосходным. Вам сразу становится ясно, что Капитолий стоит на краю плоской возвышенности, доминируя над всей окружающей местностью; его фасад смотрит на превосходную площадку для строительства большого города, — смотрит, но ничего не видит... Причина же заключается в том, что, как только был принят закон о перестройке здания Капитолия, владельцы земельных участков подняли цены до таких нечеловеческих высот, что простые смертные предпочли спуститься пониже и построить город на топком болоте, позади этого храма свободы; и посему величественный фасад здания -- с его массивной колоннадой, изящно раскинувшимися портиками, живописными скульптурными группами и широкими

лестницами, сбегаящими волнами белого мрамора к подножию дворца, — глядит ныне на жалкие пустыри, среди которых кое-где виднеются дешевые пансионны для приезжих.

Итак, вы отмечаете, что вам приходится любоваться видом, стоя не впереди, а позади Капитолия. И, кстати, даже не с воздушных высот купола, так как попасть туда можно, только пройдя сквозь огромную ротонду, и тогда вам неминуемо придется осмотреть исторические фрески и барельефы, — а за какие грехи должны вы переносить такие страдания? Кроме того, вам, может быть, придется пройти через старое здание, — и тут уж вам никак не избежать необходимости лицезреть мистера Линкольна, обращенного в камень некоей молодой скульпторшей всего за десять тысяч долларов; и может статься, что вы примете мраморную декларацию об освобождении, которую он держит в вытянутой руке и глубокомысленно разглядывает, за сложенную пополам салфетку, и, судя по его позе и выражению лица, вы еще, чего доброго, подумаете, что ему не нравится, как она выстирана. А дело вовсе не в этом. Никто не знает, что с ним такое происходит на самом деле, но все смотрят на него и от души сочувствуют ему. Так или иначе, в купол вам не следует подниматься ни при каких обстоятельствах, ибо сделать это и не увидеть фресок — невозможно, — а почему вы обязаны интересоваться произведениями, которые искусство породило в состоянии белой горячки?

Капитолий несомненно величественное и очень красивое здание как внутри, так и снаружи, но осматривать его сейчас нет никакой необходимости. И все же, если вам непременно хочется подняться в купол, поднимайтесь, — что с вами поделаешь! С высоты купола вы бросаете общий взгляд на живописные водные просторы, поблескивающие слева от вас, и видите то парус на воде, то больницу для умалишенных на берегу; вдали, за рекой, на небольшой возвышенности раскинулся приземистый желтый храм; ваш взор, затуманенный набежавшей слезой, с любовью останавливается на нем, ибо вы вспоминаете безвозвратно

минувшее детство и сделанные из помадки и патоки торты-Парфеноны — высшее счастье и блаженство тех дней. Вдали, но уже по эту сторону реки, почти у самой воды, над грязью (или — по общепринятой терминологии — над священной землей) высится памятник Отцу нации. Сооружение это очень похоже на заводскую трубу с обломанной верхушкой. За его верхнюю часть все еще цепляется скелет полусгнивших лесов; по преданию, дух Вашингтона часто спускается посидеть на стропилах и насладиться сей данью уважения к нему, воздвигнутой нацией в знак ее безмерной благодарности. Говорят, памятник будет достроен когда-нибудь, но к тому времени преклонение перед Вашингтоном вознесет его еще выше, и он будет известен уже не как Отец, а как Пра-Прадедущка нации. Памятная «заводская труба» возвышается на фоне мирного сельского пейзажа, пронизанного безмятежным покоем. В бинокль вы сможете разглядеть коровники у самого ее подножья, и довольных овец, щиплющих вместо травы гальку, которой много на этих пустынных пространствах, и утомленных свиней, вкушающих отдохновение под священной сенью трубы.

С большим трудом вы отрываетесь от этого зрелища и смотрите вниз — прямо перед собой. Широкая Пенсильвания-авеню тянется от Капитолия на целую милю, пока наконец не упирается в чугунную решетку, установленную перед серой гранитной громадой с колоннами. Это здание Казначейства — сооружение, которое вызвало бы благоговение и трепет в любой столице. Но зато о магазинах и гостиницах, выстроившихся вдоль этого широкого проспекта, и говорить не стоит, такие они убогие, жалкие и грязные. За Казначейством виднеется большой белый сарай, расположенный на обширном, но весьма неприглядном участке. Здесь живет президент. Сарай и снаружи достаточно уродлив, но это пустяки по сравнению с его внутренним убранством. Единственное, что глаз ваш отметит внутри этого дома, если он и сейчас остался таким, каким был всегда, — это доведенную до математического совершенства безвкусицу и унылое однообразие.

Прямо перед вами и справа от вас открывается вид на весь город. Это длинные кварталы дешевых кирпичных домишек, среди которых кое-где вздымается более или менее величественное архитектурное сооружение — обычно какое-нибудь правительственное учреждение. Если к тому времени, когда вы спуститесь вниз, снег еще не весь растает, вы, гуляя по Вашингтону и осматривая его улицы, будете изумлены явной близорукостью отцов города: ведь стоит только развести грязь чуточку пошире, и улицы сразу превратятся в удобные каналы.

Порасспрашивайте местных жителей, и вы обнаружите, что в Вашингтоне на каждый квадратный акр земли приходится больше гостиниц и пансионов, чем в любом другом городе Соединенных Штатов. Если вы попросите хозяйку одного из этих пансионов приютить вас, она окинет вас суровым взглядом и спросит, не являетесь ли вы членом конгресса. И, возможно, шутки ради вы ответите утвердительно. Тогда она тут же заявит вам, что свободных мест нет. А когда вы покажете ей ее собственное объявление в утренней газете, она, уличенная и пристыженная, будет стоять перед вами и старательно делать вид, что краснеет. Из чистой вежливости вы должны притвориться, что ей это удалось, после чего она покажет вам комнаты и даже позволит выбрать одну из них, но заставит уплатить вперед. Это вам в наказание за то, что вы прикинулись членом конгресса. Если бы вы сразу объявили себя частным лицом, один ваш чемодан мог бы служить достаточным залогом за комнату и стол. А если вы проявите любопытство и спросите, в чем же дело, то, может статься, ваша хозяйка окажется достаточно злой и объяснит вам, что личность и собственность члена конгресса не подлежат аресту или задержанию и что она сама не раз со слезами наблюдала, как народные избранники преспокойно отправлялись из ее дома в свои штаты, увозя в качестве сувениров неоплаченные счета. И если вы проживете в Вашингтоне несколько недель, то, пожалуй, падете так низко, что поверите каждому ее слову.

В Вашингтоне вы, разумеется, ухитряетесь все увидеть и все разузнать. Одним из первых и самых удивительных ваших открытий будет то, что в Вашингтоне чуть ли не каждый встречный и уж наверняка всякий, кто находится на государственной службе, — начиная от самого высокопоставленного чиновника и кончая уборщицей, которая моет полы в министерских коридорах, ночным сторожем и чернокожим боем, следящим за чистотой казенных плевательниц, — обладает Политическим Влиянием. Если вам не удастся склонить к себе слух какого-нибудь сенатора или конгрессмена, начальника бюро или руководителя департамента и уговорить его употребить свое «влияние» в вашу пользу, вы не сможете получить в Вашингтоне даже самую ничтожную должность. Сами по себе все ваши способности, достоинства и знания без необходимого «влияния» окажутся бесполезным бременем. Население Вашингтона состоит почти целиком из государственных служащих и лиц, их обслуживающих. Таких служащих тысячи, они съехались сюда из всех уголков страны и получили местечки благодаря посредничеству (правильнее было бы сказать — приказу) одного из сенаторов или представителей от своего родного штата. Странно было бы вдруг узнать, что какая-нибудь девушка захватила в одной из великих общественных кормушек должность, оплачиваемую суммой в три или четыре доллара в неделю, без поддержки того или иного политического вельможи, а просто потому, что она достойная, способная и честная дочь свободной страны, в которой «все равны, независимо от их звания и положения». Произойди что-нибудь подобное, Вашингтон был бы ошеломлен. Если вы, допустим, член конгресса (не примите это за оскорбление), и один из ваших избирателей, полный невежда, не желающий докучать себе изучением чего бы то ни было и неспособный заработать себе на пропитание, станет приставать к вам и просить о помощи, то решитесь ли вы сказать ему: «Послушайте, друг мой, будь вы годны хоть на что-нибудь, вы еще могли бы поступить на службу в другом месте, но здесь — нет, ни в коем случае»? О нет.

Вы ведете его в министерство и говорите: «Послушайте, дайте-ка этому парню что-нибудь такое, чтоб он не слишком скучал, а заодно и жалованье», — и все в порядке. Вы передали его на попечение родины. Он дитя своей родины, пусть родина и заботится о нем. В Вашингтоне есть что-то доброе, материнское, — это поистине великодушный старый милосердный Национальный Приют для Сирых и Убогих.

Жалованье, выплачиваемое этому огромному людскому муравейнику служащих, считается щедрым, но законным вознаграждением за квалифицированный и полезный труд. Что же касается тех, кто занят в двух палатах конгресса, то они не только получают такое же щедрое жалованье, но упоминаются и в Законе о Дополнительных Вознаграждениях, который так ловко и незаметно проскальзывает ежегодно в суматохе всеобщей наживы, обычно знаменующей последний день работы очередной сессии конгресса, — а это, что ни говори, двадцатипроцентная надбавка к годовому жалованью за... да просто так, за здорово живешь.

Жизнь в столице стала для Вашингтона Хокинса источником непрестанных удовольствий. Сенатор Дилуорти жил на широкую ногу, и комнаты Вашингтона были сплошным очарованием: газовое освещение, холодная и горячая вода, ванна, камины, мягкие ковры, прекрасные картины на стенах, книги о религии, трезвости, благотворительности и финансовых операциях; вышколенные чернокожие слуги, изысканная пища — одним словом, все, чего только может пожелать человек. Что же до писчебумажных и канцелярских принадлежностей — им не было конца, так как поставлялись они казной, да и марок тоже не требовалось, ибо штампа сенатора было достаточно, чтобы в случае надобности переслать по почте хоть целую лошадь.

А общество! Где еще встретил бы он такое блестящее общество? Прославленные генералы и адмиралы, казавшиеся ему на Дальнем Западе призрачными и нереальными, приходили и уходили у него на глазах, сидели рядом с ним за обеденным столом, обращенные в осязаемую плоть; знаменитых государственных деятелей он встречал теперь чуть ли не каждый божий день;

живой конгрессмен — диковинное существо, некогда внушавшее ему благоговейный трепет, — теперь стал для Вашингтона заурядным явлением, настолько заурядным, что он мог спокойно взирать на него, не приходя в состояние экстаза и даже ни чуточки не смущаясь; порой выпадали еще более счастливые минуты, и тогда ему удавалось лицезреть невооруженным глазом даже иностранных послов, а однажды он видел самого президента и — о чудо! — остался жив. Более того, в этом полном чудес мире таились неисчерпаемые возможности — они носились в воздухе, и он, Вашингтон Хокинс, дышал этим воздухом и чувствовал себя в нем как рыба в воде; никакой другой воздух не наполнял его легкие такой приятной свежестью. Наконец-то он обрел рай на земле.

Чем больше он видел своего покровителя, сенатора Дилуорти, тем больше почитал его, и тем яснее выступало перед ним все моральное величие этой натуры. «Пользоваться дружбой и поддержкой такой выдающейся личности, — писал Вашингтон в одном из писем к Луизе, — настоящее счастье для молодого человека, чей жизненный путь был омрачен всякого рода невзгодами и препятствиями».

Проходили недели; Гарри Брайерли флиртовал, танцевал, придавая еще больше блеска блестящим приемам в доме сенатора, и старательно «обрабатывал» конгрессменов в интересах развития судоходства на реке Колумба. Тем временем сенатор Дилуорти так же упорно трудился в интересах того же дела, — впрочем, и в интересах других дел не меньшей государственной важности. Гарри часто посылал Селлерсу ободряющие письма; из них легко было понять, что Гарри — любимчик всего Вашингтона и что он-то уж как-нибудь «протолкнет это дело», что помощь, оказываемая ему «старинной Дилуорти», кое-что значит, — да, да, кое-что, тем более что «в нашем деле не следует пренебрегать и малым», — как выразился Гарри.

Вашингтон время от времени посылал Селлерсу официальные пакеты. Из одного его письма явствовало, что если поначалу никто из членов бюджетной

комиссии палаты представителей не поддерживал ассигнование, то теперь не хватает всего лишь одного голоса до благоприятного большинства. Письмо заканчивалось так:

«Само провидение способствует успеху нашего дела.
За Эбнера Дилуорти, С. С. Ш. —
Вашингтон Хокинс, Л. С.»

В конце той же недели Вашингтон мог сообщить приятную новость (как и всегда — казенным пакетом): недостающий голос обеспечен, законопроект одобрен комиссией. Последующие письма повествовали об опасностях, которым законопроект подвергался в Общей комиссии, и о том, как он все-таки еле-еле «проскочил» после третьего чтения. Затем начали поступать письма, рассказывавшие о борьбе мистера Дилуорти в сенате против упрямого большинства в его собственной комиссии и о том, как один за другим эти джентльмены сдавали позиции, пока наконец сенатор не добился большинства в свою пользу.

После этого наступило затишье. Вашингтон внимательно следил за всеми перипетиями дела; ему это было тем легче, что он числился делопроизводителем как этой комиссии, так и еще одной. В качестве личного секретаря он не получал никакого жалованья, зато два делопроизводительства, добытые его благодетелем, давали ему в общей сложности двенадцать долларов в день, не считая двадцатипроцентного дополнительного вознаграждения, которое он, несомненно, получит большинством голосов на последнем заседании сессии.

Вашингтон препроводил законопроект в Общую комиссию сената, где тот снова боролся за свое право на существование и кое-как преодолел все препятствия. В положенное время Вашингтон стал свидетелем его второго чтения, и наконец наступил день великих испытаний: законопроект пустился в свое последнее плавание. В течение нескольких невыносимо напряженных минут Вашингтон с затаенным дыханием слушал поименное голосование: «За!» «Против!» «Против!» «За!»

Дольше он не мог выдержать. Он убежал с галереи и помчался домой ждать результатов голосования.

По прошествии двух или трех часов сенатор вернулся в лоно своей семьи, ожидавшей его к обеду. Вашингтон вскочил и бросился навстречу, но не успел еще нетерпеливый вопрос сорваться с его уст, как сенатор сказал:

— Теперь мы можем ликовать, сын мой: провидение увенчало наши усилия успехом!

НАЧАЛО РАБОТ В НАПОЛЕОНЕ (ПРИСТАНЬ СТОУНА)

IV Ξ I Ξ IV Ξ IV $\rightarrow$ I¹.

В тот же вечер Вашингтон Хокинс сообщил полковнику Селлерсу о великой радости. Луизе он писал:

«Какое наслаждение слушать, как он изливает душу, преисполненную благодарности богу за новое проявление всеблаготворительности. Когда-нибудь, моя Луиза, ты узнаешь его и будешь преклоняться перед ним так же, как и я».

Гарри тоже написал полковнику:

«Все в порядке, полковник: я протащил наше дело, хотя, что и говорить, это было чертовски трудно. Когда я начинал, у нас не было ни одного сторонника в комиссии палаты представителей, а в сенатской комиссии все были против, кроме самого старика Дила; но когда я снял осаду, большинство было обеспечено. Здесь все говорят, что протащить такое дельце через конгресс *невозможно*, не купив предварительно обе комиссии за наличные, но я, кажется, показал кое-кому, как делать дела, хоть они мне и не верят. Когда я говорю здешним старожилам, что мы провели

¹ Место это — крайне неудобное (*ассирийск.*).

законопроект, не купив ни одного голоса и не связав себя никакими обещаниями, они говорят: «Ну уж это белыми нитками шито». А когда я отвечаю: «Белыми или не белыми, но это факт», — то они говорят: «Бросьте, неужто вы сами верите в это?» И когда я отвечаю, что мне незачем верить, потому что я *точно знаю*, они улыбаются и говорят: «Вы либо сущий младенец, либо настоящий слепец — одно из двух, третьего быть не может». И ведь они в самом деле думают, что мы купили все голоса. Впрочем, пусть себе думают что хотят. Зато мне теперь совершенно ясно, что если знаешь, как подойти к женщинам, и хоть немного умеешь спорить с мужчинами и убеждать их в своей правоте, то можешь смело держать пари против любого денежного туза да еще дать ему несколько очков вперед, что получишь любое ассигнование. Пусть теперь говорят что угодно, но двести тысяч долларов из денег дяди Сэма мы все-таки загребли; и это далеко не все: надо будет — мы к ним прибавим столько, сколько потребуется, и сделает это не кто иной, как я, хоть мне, быть может, и не следует говорить так о себе. Я буду у вас через неделю. Поднимайте всех на ноги, не медля ни минуты ставьте на работу. Когда я приеду, все закипит ключом».

Великая новость вознесла полковника Селлерса на седьмое небо. Он тут же взялся за дело. Он носился с места на место, заключая контракты, нанимая рабочих и прямо-таки упиваясь своей бурной деятельностью. Счастливее его не было человека во всем Миссури.

А Луиза чувствовала себя счастливее всех женщин на земле, так как она вскоре получила от Вашингтона письмо, в котором говорилось:

«Радуйся вместе со мной, ибо наши мученья кончились. Все эти годы мы ждали покорно и терпеливо, и теперь награда наконец близка. Нашелся человек, согласившийся заплатить нашей семье сорок тысяч долларов за теннессийские земли! Это ничтожная сумма по сравнению с тем, что мы получим, если согласимся ждать, но я так мечтаю о том дне, когда смогу назвать тебя моей, что сказал себе: лучше довольствоваться

скромными радостями, чем загубить лучшие свои годы в разлуке и тоске. К тому же я смогу сразу вложить эти деньги в какое-нибудь выгодное дело, и через несколько месяцев они вернутся ко мне в сто — нет, в тысячекратном размере. Здесь полным-полно таких возможностей, и я уверен, что мои близкие охотно разрешат мне пустить в оборот их долю вместе со своей. Не сомневаюсь, что через год у нас будет полмиллиона; я нарочно называю самую маленькую цифру — на всякий случай, — но уж полмиллиона у нас будет наверняка, и тогда твой отец даст согласие и мы наконец сможем обвенчаться. О, какой это будет чудесный день! Расскажи обо всем нашим друзьям — пусть они порадуются вместе с нами».

И она рассказала, но сперва только отцу с матерью; а они посоветовали ей пока молчать. Предусмотрительный отец велел ей также написать Вашингтону и предупредить его, чтобы он не рисковал деньгами, а выждал немного и посоветовался с двумя-тремя опытными людьми. Луиза так и сделала. Она умудрилась никому не проболтаться, хотя по ее танцующей походке и сияющему лицу даже самый ненаблюдательный человек заметил бы, что на нее свалилось неожиданное счастье.

Гарри приехал к полковнику Селлерсу на Пристань Стоуна, и унылое местечко сразу зажило бурной жизнью. Целая армия землекопов дружно взялась за работу, и застывший воздух огласился веселой музыкой труда. Гарри, произведенный в звание главного инженера, все свои силы отдавал работе. Он расхаживал среди своих подчиненных, словно король среди подданных. Сознание власти придавало его облику новое величие. А полковник Селлерс вкладывал в свою роль управляющего крупным общественным предприятием все, на что способен человек, — и даже больше. Эти два великих деятеля принялись за «улучшение» реки с таким видом, будто им поручили переделать земной шар.

Они начали с того, что решили «спрямить» реку чуть выше Пристани Стоуна, в том месте, где она описывала крутую дугу и где, согласно картам и

расчетам, «спрямление» должно не только укоротить реку, но и увеличить дебит воды. Они принялись рыть канал поперек мыса, образованного изгибом реки, и вслед за приказом о начале работ вся округа стала свидетельницей необычайных событий: земля взлетала с лопат в небо, и грязь шлепала под ногами в невиданных здесь ранее масштабах. Среди черепах поднялась такая паника, что через шесть часов на три мили вверх и вниз от Пристани Стоуна их не осталось ни одной. Взвалив малых и престарелых, больных и увечных на спины, черепахи отправились нестройной колонной на поиски более тихих заводей; следом за ними тащились головастики, а лягушки замыкали шествие.

В субботу вечером рабочие напрасно ждали жалованья, так как ассигнование еще не поступило. Гарри объявил, что он попросил компанию поторопиться с высылкой денег и что они скоро придут. Поэтому в понедельник работы возобновились. К этому времени Пристань Стоуна стала предметом живейшего интереса во всем близлежащем районе. Селлерс выбросил на рынок парочку участков — «на пробу» — и неплохо продал их. Он одел семью, купил запас продовольствия и еще остался при деньгах. Тогда он завел небольшой банковский счет и невзначай упомянул о нем в разговоре с друзьями и даже с незнакомыми людьми — по сути, с каждым встречным; но говорил он об этом не как о событии совсем недавнего прошлого, а как о чем-то старом и привычном. Он не мог устоять против соблазна ежедневно покупать всякие, зачастую ненужные, пустяки: ведь так эффектно вместо обычного «запишите на мой счет» вытащить чековую книжку и небрежно заполнить чек. Гарри тоже продал пару участков, дал пару обедов в Хоукае и вообще славно повеселился. Однако оба они стойко держались, выжидая, когда можно будет начать продажу по самым высоким ценам.

К концу месяца дела у них выглядели плачевно. Гарри бомбардировал нью-йоркское правление Компании по развитию судоходства на реке Колумба сперва требованиями, потом приказаниями и наконец моль-

бэми — но безрезультатно: деньги не поступали, и даже письма оставались без ответа. Рабочие начали шуметь. Полковник и Гарри устроили совещание.

— Что делать? — спросил полковник.

— Убей меня бог, если я знаю.

— Компания что-нибудь ответила?

— Ни слова.

— Вы вчера послали телеграмму?

— Да, и позавчера тоже.

— И никакого ответа?

— Никакого, черт их побери!

Затем наступила долгая пауза, и вдруг оба заговорили одновременно.

— Придумал!

— Придумал!

— Что вы придумали? — спросил Гарри.

— Вместо жалованья надо выдать ребятам тридцатидневные векселя на компанию.

— Вот именно — моя мысль, точка в точку! А потом... Что потом?

— Да, да, знаю, — сказал полковник. — Ребята не станут ждать, пока векселя дойдут до Нью-Йорка и будут оплачены. Но разве они не могут учесть их в Хоукае?

— Конечно могут. Это отличный выход. Все знают, что ассигнование утверждено и компания у нас надежная.

Итак, векселя были выданы, и рабочие, поворчав немного, успокоились. В бакалейной и других лавках векселя принимали довольно охотно, даже без чрезмерного учетного процента, и некоторое время работы шли полным ходом. Двое-трое из тех, что купили участки у Пристани Стоуна, поставили каркасные дома и въехали в них. И конечно же в поселок забрел некий дальновидный, но довольно беспечный бродячий издатель, который тут же основал и начал выпускать газету под названием «Еженедельный Телеграф и Литературное Хранилище г. Наполеона»; над заголовком красовался латинский девиз, заимствованный из энциклопедического словаря, а ниже шли двусмысленные истории и стихи; подписная цена на год

всего два доллара, деньги вперед. Лавочники, конечно, сразу же отправили векселя в Нью-Йорк, и больше о них с тех пор не было ни слуху ни духу.

Прошло несколько недель, и векселя Гарри совершенно обесценились — никто не принимал их даже с самым большим учетным процентом. Второй месяц работы завершился бунтом. Селлерс в то время отсутствовал, и Гарри тоже вынужден был поспешно ретироваться, преследуемый по пятам целой толпой. Но он был верхом, и это дало ему некоторые преимущества. Гарри не стал задерживаться в Хоукае и проследовал дальше, избежав встречи с несколькими ожидавшими его там кредиторами. На рассвете следующего дня он был вне опасности и продолжал стремительно удаляться в восточном направлении. По пути он телеграфировал полковнику, чтобы тот поехал и успокоил рабочих: он, Гарри, едет в Нью-Йорк за деньгами, через неделю все будет в порядке, — пусть Селлерс так и скажет рабочим, и пусть они не волнуются и во всем положатся на него.

Когда Селлерс прибыл на Пристань Стоуна, толпа уже почти утихомирилась. Рабочие успели опустошить контору компании, свалили в одну кучу пачки красиво напечатанных акций и остальные бумаги и долго наслаждались зрелищем горящего костра. Все они были явно расположены к полковнику, и все же им пришла в голову мысль о том, что за неимением более удовлетворительной добычи неплохо было бы повесить хотя бы его.

Однако они совершили роковую ошибку, решив сперва послушать, что он скажет в свое оправдание. Не прошло и четверти часа, как язык полковника сделал свое дело, и все они сразу почувствовали себя богачами. Полковник преподнес каждому из них участок в пригородах Пристани Стоуна, не дальше чем в полутора милях от будущего почтамта и вокзала, — и они пообещали возобновить работу, как только Гарри пришлет с Востока деньги. На Пристани Стоуна опять наступила тишь и благодать, но денег у рабочих не было и жить им было не на что. Полковник поделился с ними последними грошами, какие еще оставались на

его счету в банке, — в этом поступке не было ничего удивительного, так как он всегда охотно делился всем, что у него было, с каждым, кто этого желал; именно поэтому его семья влачила столь жалкое существование и по временам даже голодала.

Вскоре рабочие опомнились, но Селлерс к тому времени уже скрылся, и они не переставали горько раскаиваться, что позволили ему умаслить себя красивыми словами, — но жалеть об этом было уже поздно, и тогда они решили, что успеют повесить его в другой раз, когда будет на то воля божья.

МИСТЕР БОУЛТОН ЗАТЕВАЕТ НОВОЕ ДЕЛО

பணம் எமத்த அரிதாய் இருத்திறது ¹.

Со временем слухи о легкомысленном образе жизни и светских развлечениях Руфи дошли до Филадельфии и вызвали немало толков среди ее родственников.

Ханна Шукрафт сказала другой кузине, что, по ее мнению, Руфь «ничуть не умнее других», а кузина Гульда добавила, что больше всего в жизни Руфь любит, чтобы все ею восхищались, потому-то она и не носит простой одежды и не ходит на молитвенные собрания. Вместе с другими новостями до Филадельфии дошла молва об обручении Руфи с молодым богачом из Фолкила и придала особую пикантность язвительным шуточкам относительно стремления Руфи стать врачом.

Маргарет Боултон была слишком умна — слухи не удивили и не встревожили ее. Быть может, они даже не лишены были основания: она слишком хорошо знала женскую душу, чтобы считать их неправдоподобными; но она знала также, как целеустремленна Руфь в достижении задуманного, — подобно ручью,

¹ Денег всегда не хватает (тамильск.).

который журчит и пенится, петляет и кружит, но все же неуклонно стремится к морю, Руфь настойчиво стремилась к одной цели, не отказывая себе в удовольствии отвечать радостным согласием на дружеские приглашения повеселиться и производя подчас впечатление человека, забывшего обо всем и беззаботно греющегося в лучах солнца.

До приезда в Фолкил Руфь даже не подозревала, что когда-нибудь увлечется внешней стороной жизни, что она способна, например, заинтересоваться той, по временам довольно серьезной, забавой, которая зовется «флиртом», и что она будет испытывать хоть какое-нибудь удовольствие от собственного искусства нравиться и покорять — искусства поистине очаровательного, хотя и не требующего особого интеллекта. Раньше она считала своим долгом сдерживать свой жизнерадостный характер, уходить от всего, что мешало серьезным занятиям. Будучи не слишком искушенной в житейских делах, она подвергала свои поступки лишь суду своей совести и все мирские споры улаживала в тиши собственного судейского зала. Вероятно, ее мать понимала это и видела, что Общество Друзей ничем не сможет помешать Руфи становиться все более самостоятельной и уверенной в своих суждениях. Надо признаться, — хоть сама Руфь никогда бы в этом не призналась, — что по возвращении из Фолкила медицинская карьера действительно перестала казаться ей столь необходимой, как прежде; вернувшись в Филадельфию после всех одержанных ею побед, упиваясь ощущением свободы и наслаждаясь веселым обществом новых чутких друзей, она с удовольствием предвкушала борьбу, которую поведет против косности и однообразия жизни ее филадельфийских родных и знакомых, и стремилась привнести в нее хоть частицу живости и блеска, которые так украшали ее жизнь в Фолкиле. Она ожидала, что новые друзья будут навещать ее, что у нее будут собеседники, новые книги и журналы, о которых все так много говорят, — одним словом, что она будет жить полной жизнью.

Некоторое время Руфь все еще витала в той атмосфере, которую привезла с собой. Миссис Боуигон

была очень довольна происшедшей в дочери переменной, ее окрепшим здоровьем, ее интересом к делам семьи. Отец радовался обществу любимой дочери, как ничему другому; ему нравились ее веселые, задорные шутки, ожесточенные споры о только что прочитанной книге или статье. Сам он всю жизнь много читал и благодаря поразительной памяти накопил почти энциклопедический запас знаний. Ничто не могло сравниться для Руфи с удовольствием попытаться поставить отца в тупик, набравшись предварительно разнообразных сведений по какому-нибудь малоизвестному вопросу, но это ей почти никогда не удавалось. Мистер Боултон любил общество, любил, чтобы его дом был полон людей и звенел веселыми голосами молодежи; предложи Руфь какой-нибудь дерзкий план против Общества Друзей, он с удовольствием принял бы его.

Но, как Руфь в очень скором времени убедилась, традиции и заведенный порядок вещей сильнее любой, самой восторженной и бунтарски настроенной девушки. Несмотря на мужественные усилия, оживленную переписку и настойчивое стремление сохранить прежнюю энергию, несмотря на книги и музыку, она видела, что постепенно тиски рутины все крепче сжимают ее; и чем яснее она осознавала всю безнадежность своих попыток, тем сильнее ею вновь овладевала мысль о будущей профессии, которая теперь казалась единственным выходом из положения.

— Если бы ты знала, мама, как жизнь в Фолкиле не похожа на нашу, какие там интересные и веселые люди!

— Дай срок, дитя, — скоро ты лучше узнаешь мир и увидишь, что он почти всюду одинаков. Когда-то и я думала так же, как ты, и меньше всего предполагала, что вступлю в Общество Друзей. Приглянись получше к людям, может быть и ты научишься ценить спокойную жизнь.

— Ты вышла замуж совсем молодой. А я не собираюсь рано замуж, может и вообще никогда не выйду, — проговорила Руфь, с многоопытным видом покачивая головой.

— А знаешь ли ты сама, чего хочешь? В твоём возрасте многие этого не знают. Встретила ли ты в Фолкиле кого-нибудь, с кем тебе хотелось бы остаться навсегда?

— Только не навсегда! — засмеялась Руфь. — Мне кажется, мама, я ни одному человеку не смогу сказать «навсегда», пока у меня не будет профессии и я не стану так же независима, как он. Тогда я отдам ему свою любовь не из необходимости, а как свободный дар.

Новомодная философия Руфи вызвала улыбку у Маргарет Боултон.

— Только полюбив, ты поймешь, Руфь, что любовь не подчиняется ни разуму, ни необходимости. Ты писала, что Филипп Стерлинг приезжал в Фолкил?

— Да, вместе со своим другом Генри Брайерли. Генри очень занятный молодой человек, не такой серьёзный, как Филипп, и к тому же любит пофрантить.

— И этому франту ты отдала предпочтение?

— Я никому не отдавала предпочтения, но с Генри Брайерли всегда весело, а с Филиппом далеко не всегда.

— А ты знаешь, что твой отец переписывается с Филиппом?

Руфь удивленно посмотрела на мать, в глазах ее застыл немой вопрос.

— О нет, не о тебе.

— О чем же? — и если в голосе Руфи и прозвучало легкое разочарование, то сама она, вероятно, этого не заметила.

— О каких-то земельных участках. Этот Биглер опять втянул отца в новую спекуляцию.

— Мерзкий человек! Почему отец пускает его в дом? Снова что-нибудь с железной дорогой?

— Да. Отец дал ему деньги, а в залог получил землю, и что бы ни случилось с его деньгами и акциями, на руках у него оказался большой участок необработанной земли.

— А какое отношение к этому имеет Филипп?

— На участке много строевого леса, — не знаю

только, можно ли его вывезти, — и еще отец говорит, что там должен быть уголь: это каменноугольный район. Он хочет, чтобы Филипп произвел разведывательные работы.

— Еще одно состояние, припасенное для нас, — сказала Руфь. — Отец припас для нас уже столько состояний, что, боюсь, мы их никогда не найдем.

Тем не менее Руфь заинтересовалась новым проектом отца, возможно именно потому, что к нему имел какое-то отношение Филипп. На следующий день к обеду вместе с мистером Боултоном пришел Биглер, который превозносил практическую сметку мистера Боултона и расхваливал его новый великолепный участок; потом он перевел разговор на тему о железной дороге, которая откроет путь к участку с севера.

— Пеннибеккер говорит, что в вашей земле полно угля, он в этом уверен; а если железная дорога свяжет ее с озером Эри, то ей цены не будет.

— Если так, то почему бы вам не взять этот участок себе и не довести дело до конца, мистер Биглер? Я уступлю вам его по три доллара за акр.

— Значит, почти даром, а я не из тех, кто наживается за счет друзей, — ответил Биглер. — Но если вы захотите заложить его и купить акции той дороги, что подходит к участку с севера, я не прочь вступить в долю, конечно ежели Пеннибеккер согласится; но ведь вы знаете Пеннибеккера — он все больше насчет законодательства, земельная собственность его не очень интересует. — И Биглер рассмеялся.

Когда он ушел, Руфь спросила у отца, какое отношение имеет Филипп к его новым планам.

— Пока не могу сказать ничего определенного, — ответил мистер Боултон. — Филипп проявил себя способным инженером, из Нью-Йорка о нем поступают самые хорошие отзывы; но эти жулики хотят только использовать его в своих интересах. Я написал ему и предложил взять на себя разведку и съемку на моей земле. Нужно же знать, что она собой представляет. И если он откопает там что-нибудь стоящее, я

возьму его в долю. Отчего же не помочь хорошему парню стать на ноги.

Всю жизнь Эли Боултон помогал хорошим парням становиться на ноги — и всегда расплачивался своей спиной, если дело шло неудачно. Если бы подвести итог в его бухгалтерских книгах, то оказалось бы, что расход всегда превышает приход; возможно, однако, что в том мире, где действует совсем другая бухгалтерия, весь расход в его книгах превратится в приход. Ведь если смотреть на книгу с обратной стороны, правая сторона всегда оказывается слева.

Филипп послал Руфи юмористический отчет о событиях, приведших к гибели города Наполеон и планов развития судоходства на реке Колумба, о бегстве Гарри и плачевном положении полковника. Гарри так торопился, что не успел даже попрощаться с мисс Лорой Хоккинс, но он, конечно, утешится, как только увидит еще какое-нибудь хорошенькое личико, — последнее замечание было приписано специально для Руфи. А полковник Селлерс сейчас, наверное, уже обдумывает новую, не менее блестящую авантюру.

Что касается железной дороги, то Филипп теперь все понял: дельцам с Уолл-стрит она нужна только для того, чтобы вести биржевые спекуляции, и ему пора с нею распрощаться. Интересно, обрадуется ли Руфь, узнав о его возвращении на Восток? А он возвращается, невзирая на письмо Гарри из Нью-Йорка, советовавшего ему не уезжать, пока он, Гарри, улаживает кое-какие дела, связанные с подрядами, и предупреждавшего, чтобы он не слишком полагался на Селлерса, который склонен гоняться за химерами.

Лето прошло для Руфи без каких-либо происшествий. Она переписывалась с Алисой, обещавшей навещать ее осенью, много читала, искренне старалась проявлять интерес к домашним делам и тем людям, которые бывали у Боултонов; но она стала замечать, что все чаще погружается в свои думы и все больше устает от окружающей ее обстановки. Ей казалось, что скоро все станут похожи на отца и сына из шейкерской общины в Огайо, которые иногда гостили у

Боултонов и как две капли воды походили друг на друга не только одеждой, но и манерой держаться. Сын, еще не достигший совершеннолетия, был более отрешен от мирской суеты и более набожен. Своего отца он называл не иначе, как «брат Плам», и держался с таким сознанием собственного достоинства, что Руфь не раз подмывало воткнуть булавку в сиденье его стула. Отец и сын, как и все члены их секты, носили длинные однобортные сюртуки без воротников, застегивавшиеся спереди на крючки. Поскольку на сюртуках не было пуговиц ни спереди, ни сзади, Руфь предложила украсить их, пришив сзади крючок с петлей в том месте, где у сюртуков обычно пришита пуговица.

Как ни забавна была эта ходячая шейкерская карикатура на квакеров, она страшно угнетала Руфь и еще больше усиливала ощущение давящей духоты.

Ощущение это было совершенно неоправданным. Вряд ли можно было найти дом приятнее, чем дом Боултонов. Выстроенный неподалеку от города, он был одним из тех очаровательных загородных особняков, которые так радуют глаз всякого, кто впервые приезжает в Филадельфию. В этом вполне современном доме было все, что может предоставить его обитателям богатство; стоял он в красиво распланированном парке с чудесными кущами деревьев, тщательно подстриженными лужайками и множеством клумб, усыпанных яркими цветами; при доме были теплицы и оранжереи, где вызревал виноград; фруктовый сад спускался уступами к мелководному ручью, который весело бежал по устилавшей его дно гальке и журчал под сенью деревьев. Вокруг простирались заботливо возделанные поля; там и сям виднелись коттеджи и особняки эпохи революции, все напоминало английский сельский ландшафт, одинаково привлекательный как в убранстве майских цветов, так и в мягких красках позднего октября.

Чтобы чувствовать себя здесь как в раю, недоставало только душевного покоя. Всадник, проезжая мимо по Старой Джермантаунской дороге и увидев на лужайке девушку, качающуюся в гамаке с томиком старинных стихов или новым романом в руках, несомненно

позавидовал бы такой идиллии. Но откуда ему знать, что девушка погружена в чтение клинических отчетов и мечтает лишь о том, как бы оказаться далеко, далеко, совсем в иных местах. Вряд ли Руфь почувствовала бы себя более несчастной оттого, что окружающая ее роскошь вдруг превратилась бы в призрачный сон. Впрочем, возможно, ей и в самом деле все кругом казалось призрачным.

— Мне иногда кажется, — сказала она как-то отцу, — что мы живем в карточном домике.

— А ты хотела бы превратить его в больницу?

— Нет. Скажи мне, отец, — продолжала Руфь, которую не так-то легко было сбить с толку, — ты все еще связан с Биглером и его друзьями? Ведь они являлись сюда только для того, чтобы вовлечь тебя в какую-нибудь аферу.

Мистер Боултон улыбнулся, как улыбаются мужчины, когда разговаривают с женщинами о «серьезных делах».

— Эти люди по-своему полезны, Руфь. Они не дают миру погрузиться в спячку, и многими своими удачными операциями я обязан им. Почему знать, Руфь, — а вдруг земля, при покупке которой я, надо признаться, слишком поддался уговорам Биглера, когда-нибудь принесет богатство тебе и остальным моим детям?

— Ах, отец, вечно ты все видишь в розовом свете. Мне кажется, ты никогда так легко не разрешил бы мне заниматься медициной, если бы это не казалось тебе интересным экспериментом.

— Ну а ты удовлетворена его результатами?

— Если ты хочешь знать, не раздумала ли я, — нет. Только теперь я начинаю понимать, чего могу достичь в медицине и какая это благородная профессия для женщины. Неужели ты предпочитаешь, чтобы я сидела, как птичка на ветке, и ждала, пока кто-нибудь придет и посадит меня в клетку?

Мистер Боултон был очень доволен, что разговор перешел с его дел на другую тему, — ему не хотелось рассказывать своим домашним о поступке, очень для

него характерном, который он совершил как раз в тот день.

У Руфи были все основания чувствовать себя в своем доме, как в карточном домике, хотя никто из ее родных даже не подозревал, какие бедствия грозят им на каждом шагу, как тысячи других американских семей не подозревают о том, что их благополучие и богатство висят на ниточке, которая в любую минуту может оборваться под тяжестью рискованных спекуляций или непредвиденных осложнений.

Мистеру Боултону внезапно потребовалась крупная сумма денег, подлежащая немедленной выплате, а все его капиталы были в этот момент вложены в добрый десяток дел, и он не мог освободить ни одного доллара. Тщетно обращался он к своим друзьям и знакомым в деловом мире: то был период, когда на бирже царила паника и наличных ни у кого не было.

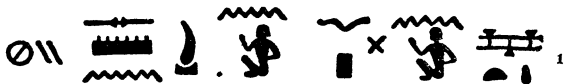
— Сто тысяч! Да что вы, мистер Боултон! — воскликнул Пламли. — Видит бог, если бы вы попросили только десять, и то я не знал бы, где их взять.

И все же именно в этот день к Боултону явился мистер Смолл (из фирмы «Пеннибеккер, Биглер и Смолл») и поведал ему трогательную историю о том, что затеянной им угольной операции грозит полная катастрофа, если он сегодня же не достанет десять тысяч долларов. Всего десять тысяч — и он снова богат. А без них он — нищий. В сейфе мистера Боултона уже хранились долговые обязательства Смолла на крупную сумму, и все они были помечены грифом «сомнительные»; он не раз ему помогал, и результат был всегда один и тот же. Но мистер Смолл прерывающимся от волнения голосом рассказывал о своей семье, о дочери-школьнице, о жене, — она не подозревает о грозящей им беде, — и нарисовал такую картину бедствий и страданий, что мистер Боултон забыл о своих собственных горестях и посвятил остаток дня тому, чтобы наскрести десять тысяч долларов для наглого попрошайки, который ни разу не сдержал своего слова и не выплатил ни одного долга.

О, кредит! Что это за чудо! На кредите зиждется все современное общество. Кто осмелится сказать, что

у нас не наступил золотой век взаимного доверия и неограниченной веры в человеческие обещания? Разве не заслуживает удивления общественный строй, при котором целый народ мгновенно схватывает смысл известного газетного анекдота о некоем прославленном биржевом дельце? Он удачно спекулировал шахтами и земельными участками и как-то воскликнул: «Два года назад у меня не было ни гроша, а сегодня у меня долгов на два миллиона!»

ПОЛКОВНИК СЕЛЛЕРС ПОПАДАЕТ В ТРУДНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ, НО НАХОДИТ ВЫХОД



ὥς οὖν τὰ πραχθέντ' ἔβλεπεν, τυφλὸς γεγῶς,
οὐ μὲν ὑπεπτηζ' οὐδὲν, ἀλλ' εὐκαρδίως
βάτον τιν' ἄλλην ἤλατ' εἰς ἀκανθίνην,
κακ' τοῦθ' ἐγένετ' ἐξαυθις ἐκ τυφλοῦ βλίσπων.

Bishop Butler. In Arundines Cami².

Тяжело было бедняге Селлерсу видеть, как прекратилась работа на дорогой его сердцу стройке, как затихали и наконец совсем замерли крики, шум и суета, которые так радовали его душу. Тяжело было недавнему главному управляющему, самому видному лицу в городе, вернуться к скучной, обыденной жизни. Печально было ему видеть, что имя его исчезло с газет-

¹ Многое готовлю я. Я готовлю дорогу (египетск.).

² Когда свершенное увидел он — ослеп,
И смело, не боясь отныне ничего,
На куст терновый прыгнул, на его шипы,
И тут — слепец недавний — вновь увидел свет. — Епископ Батлер, В тростниках Кема (греческ.).

ных страниц, но еще печальнее — что оно по временам появлялось вновь уже лишенным яркого одеяния похвал и облаченным в словесный наряд из перьев и смолы.

Однако друзья полковника Селлерса волновались за него больше, чем он сам. Ибо он был подобен пробке, которую невозможно долго удержать под водой.

Время от времени ему приходилось утешать и подбадривать жену. Однажды, пытаясь настроить ее на более веселый лад, он сказал:

— Ничего, дорогая, ничего. Скоро все уладится. Мы получим свои двести тысяч долларов, и работа опять закипит. У Гарри, по-видимому, возникли какие-то затруднения, но этого следовало ожидать: большие дела не трогаются с места сразу, как по мановению волшебной палочки. Гарри своего добьется, — и вот тогда ты увидишь! Я жду известий буквально со дня на день.

— Ты уже давно говоришь, что ждешь их со дня на день. Ведь правда?

— Да, да, пожалуй. Не стану спорить. Но чем дольше ждешь, тем ближе долгожданный день, когда... Вот так и все мы: с каждым днем все ближе к... ближе к...

— К могиле?

— Нет, не совсем так; впрочем, ты все равно не поймешь, Полли, — женщины, дорогая моя, не очень разбираются в делах. Но тебе совершенно не о чем беспокоиться, старушка, скоро мы снова войдем в колею, вот увидишь. Да бог с ним, пусть ассигнование задерживается, если ему хочется, — не так уж это важно. Есть вещи поважнее.

— Важнее, чем двести тысяч долларов, Бирайя?

— Станный вопрос, малютка! Что такое двести тысяч долларов? Пустяк, мелочь на карманные расходы, не больше! Погляди-ка лучше на железную дорогу. Ты, наверное, про нее забыла? Весна не за горами, а как только она наступит, за нею следом примчится сюда и железная дорога! А что будет к середине лета? Нет, ты только постарайся представить себе, подумай минутку: неужели тебе все еще не ясно? Да, конечно,

все вы, женщины, живете только настоящим, а мужчина... мужчина — тот живет...

— Будущим? Разве мы и без того не живем будущим слишком много, Бирайя? Мы, правда, как-то ухитряемся питаться картошкой и кукурузой урожая будущего года, но этим не всегда будешь сыт. Не смотри на меня так, Бирайя, не обращай внимания на мои слова. Я вовсе не собираюсь ворчать и дуться: ты же знаешь, я почти никогда не ворчу, — верно ведь, дорогой? Но когда уж очень тяжело становится на душе, невольно начинаешь задумываться и тревожиться. И все-таки ты не обращай внимания, это скоро проходит. Я же знаю: ты делаешь все что можешь; и я не хочу казаться неблагодарной ворчуньей, потому что на самом деле я совсем не такая, — ведь правда, Бирайя?

— Храни тебя бог, крошка, ты самая замечательная женщина на всем белом свете! И я был бы просто свиньей, если бы не работал для тебя, не думал и не лез из кожи вон, чтобы тебе было лучше. И я еще добьюсь своего, родная, не бойся. Железная дорога...

— Ах да, я совсем забыла про железную дорогу, милый! Но когда настроение плохое — обо всем забываешь. Расскажи мне о железной дороге.

— Ну, душенька, разве ты не понимаешь? Наши дела не так уж плохи, не правда ли? Уж я-то не забыл про железную дорогу! Давай пофантазируем немного, прикинем, что нам сулит будущее. Вот этот поднос пусть будет Сент-Луисом. А вот эту вилку (представь, что она — железная дорога) уложим от Сент-Луиса до вот этой картофелины, — она будет Слаучбергом.

Затем, по этому ножу, продолжим железную дорогу до Дудлвилла, — обозначим его перечницей.

Затем мы пойдем по... да, по расческе — к бокалу, Бримстоуну.

Оттуда — по моей трубке — к Балтазару — представим его солонкой.

Оттуда... оттуда, по гусиному перу, к Кэтфишу... Ну-ка, Мария-Антуанетта, передай мне подушечку для булавок, вот так.

Оттуда, прямо по ножницам, к лошадке — Вавилону.

Затем по ложке — к Кровавой Протоке; чернильницу сюда, спасибо.

Оттуда к Хейл-Колумбии. Полли, дай мне, пожалуйста, щипцы и подвинь поближе чашку с блюдцем: здесь у нас и будет Хейл-Колумбия.

Затем... одну минутку, сейчас я открою нож... к Зову-из-Могилы, где мы поставим подсвечник; от Хейл-Колумбии до Зова-из-Могилы совсем недалеко, и все под уклон.

И тут мы пересекаем реку Колумба; дай-ка мне две-три катушки — нитки будут рекой, сахарница будет изображать Хоукай, а крысоловка — Пристань Стоуна, вернее — Наполеон. Теперь ты сама видишь, что Наполеон расположен гораздо удачнее Хоукая. И вот тебе законченная железная дорога вместе с ее продолжением на Аллилу и Коррупционвилл.

Ну, как она тебе нравится? Чудесная дорога, не правда ли? Джефф Томпсон переинженерит любого инженера, когда-либо глядевшего в анероид, или теодолит, или как его там; сам-то он называет эту штуку по-разному — когда ему как удобнее. Но ты скажи, разве не отличнейшая дорога? А что тут будет твориться, когда ее построят! Ты только посмотри, по каким местам она пройдет. В Слаучберге — лук; других таких луковых мест нет на всем свете. А дудлвиллская репа! Ведь она растет там повсюду, — и, бог свидетель, она обогатит всякого, кто сумеет доделать машинку для выжимки из нее оливкового масла, — если, конечно, в репе есть масло, — а надо думать, есть: недаром конгресс ассигновал деньги на опыты, он не стал бы этого делать, не будь у него оснований. Затем Бримстоун и его окрестности. Какой там скот разводят, прямо голова кругом идет! А кукуруза, а все прочее! За Балтазаром идут места, которые пока ничего не дают, — ничего, кроме камня; но там просто нужно провести оросительные каналы. От Кэт-фиша до Вавилона места довольно болотистые, но зато где-нибудь под болотами наверняка скрываются несметные залежи торфа. А дальше идут Кровавая

Протока и Хейл-Колумбия; там можно вырастить столько табака, что хватит на две такие железные дороги. Потом идут саспарельные места. Сплошная саспарель! Вот здесь, где лежит мой перочинный нож, на всем пространстве от Хейл-Колумбии до Зова-из-Могилы, этой травки столько, что ее хватит на лечение всех чахоточных во всех больницах от Галифакса до Палестины. Она растет как сорняк! У меня у самого припасен в укромном уголке неплохой участок, заросший саспарелью: он только и ждет, пока я как следует продумаю идею Универсального Отхаркивающего. А уж я ее додумаю, будь уверена! Когда-нибудь все народы мира будут отхар...

— Но, Бирайя, голубчик...

— Не прерывай меня, Полли, я хочу, чтобы ты следила по карте дальше... Ну, бери свою лошадку, Джеймс-Фитц-Джеймс, раз она тебе так нужна, и беги отсюда. Ага, мыло вполне подойдет: положим его на место Вавилона. Так о чем, бишь, я? Ах да, теперь мы должны двинуться к Пристани Сто... к Наполеону. Теперь мы двинемся к Наполеону. Прекрасная дорога! Взгляни-ка: совершенно прямая линия, — прямая, как путь к могиле. А что будет с Хоукаем? Он сходит на нет, моя дорогая, совсем сходит на нет. Этому городу суждено умереть, как... — в общем, будь я его владельцем, я бы уже заготовил некролог и предупредил плакальщиц. Помяни мое слово, Полли, через три года Хоукай превратится в пустыню, вот увидишь. А теперь посмотри на реку, на этот живительный поток, вьющийся по жаждущей земле! На эту мирную, ласковую водную артерию, освежающую ее истомленное лоно! Железная дорога пересечет реку, пойдет прямо по ней, как на ходулях. На три с половиной мили — семнадцать мостов, а всего от Зова-из-Могилы до Пристани Стоуна — сорок девять мостов, да еще кюветов столько, что можно раскюветить всю вселенную! У меня здесь не хватило ниток, чтобы показать их полностью, но тебе уже, наверное, ясно: это сплошная эстакада протяженностью в семьдесят две мили. Мы с Джеффом Томпсоном уже обо всем договорились: он получает подряды, я их осуществляю, доходы

пополам. Мосты принесут нам горы денег! На всей линии это единственный участок, в котором я лично заинтересован, больше мне ничего не надо. Полагаю, мне и этого хватит.

Итак, мы в Наполеоне. Неплохой город, совсем неплохой, только населения маловато. Но это ничего, со временем народу прибавится. Зато сейчас там тишина и покой, хоть денег это и не сулит, ясное дело. Но ведь человеку, кроме денег, нужен еще и отдых; нельзя же всю жизнь только и делать, что торопиться и суетиться. Отсюда мы едем прямо в Аллилу, — погляди, какой прекрасный подъем до самой Аллилуи; затем в Коррупционвилл — благодатный край для ранней моркови и цветной капусты, а уж для миссионеров лучшего и не сыщешь. Если не считать джунглей Центральной Африки, то другого такого простора для миссионеров нигде на свете нет. А где ты найдешь таких патриотов? Недаром они назвали свой город в честь самого конгресса. Говорю тебе заранее, дорогая, скоро настанут хорошие времена, ты и оглянуться не успеешь. И все железная дорога! Теперь ты видишь ее во всей красе, по крайней мере до того места, куда мне удалось ее довести. А будь у меня побольше бутылок, кусков мыла и еще чего-нибудь в этом роде, чтобы продолжить ее на тысячу четыреста миль, до стыка с линией Солт-Лик — Пасифик, я нарисовал бы тебе еще более величественную картину. Понимаешь теперь? Ставку нужно делать только на железную дорогу! А пока стоит ли беспокоиться об этих двухстах тысячах долларов?! Ничего с ними не случится. Готов держать пари, что следующее же письмо от Гарри сразу...

В эту минуту в комнату вошел старший сын Селлерса и подал ему только что полученное письмо.

— Ты прав, Бирайя, в самом деле — все хорошо. Зря я хандрю, но мне уже начало казаться, что всё на свете против нас. Вскрой же конверт, вскрой скорей, пока все мы здесь, и прочти нам письмо. Я просто сгораю от нетерпения!

Полковник Селлерс без дальнейших промедлений распечатал письмо,

КАК УТВЕРЖДАЮТСЯ АССИГНОВАНИЯ

Hvo der vil kjöbe Pölse af Hunden, maa give ham Flesk igjen¹.

Mit seinem eignen Verstande würde Thrasyllus schwerlich durchgekommen seyn. Aber in solchen Fällen finden seinesgleichen für ihr Geld immer einen Spitzbuben, der ihnen seinen Kopf leiht; und dann ist es so viel als ob sie selbst einen hätten.

Wieland, Die Abderiten².

Неизвестно в каких словах, коротко или пространно выражал Гарри свои мысли в письме к полковнику, но оно содержало отчет о событиях, происшедших за время пребывания Гарри в Нью-Йорке.

Напустив на себя сугубо официальный вид, мистер Брайерли отправился на Уолл-стрит, в дом №**, где, согласно огромной раззолоченной вывеске, помещалась Компания по развитию судоходства на реке Колумба. Он вошел и вручил свою визитную карточку разряжен-

¹ Возьмешь у собаки колбасу — придется отдать взамен целый окорок (*датск.*).

² Своим умом Фрасилий вряд ли добился бы успеха; но подобные удалцы всегда могут за деньги найти негодяя, готового ссудить их головой, а это ничуть не хуже, чем иметь свою голову на плечах. — В и л а н д, Абдеритяне (*немецк.*).

ному швейцару, который попросил его обожждать в приемной. Через минуту швейцар вернулся и спросил, кого он желает видеть.

— Конечно, президента компании.

— У него несколько джентльменов, сэр; он сказал, что скоро освободится.

Мистер Брайерли был немало раздосадован тем, что его визитная карточка, на которой была выгравирована надпись «Главный инженер», не произвела должного впечатления. Однако пришлось подчиниться. Досада его постепенно нарастала — его заставили ждать в приемной целых полчаса, пока наконец джентльмены не вышли из кабинета и Гарри не пригласили войти. В прекрасно обставленной комнате, устланной коврами и увешанной картинами, Гарри увидел представительного сановника, восседавшего в весьма внушительном кресле за широким столом, покрытым зеленым сафьяном.

— Доброе утро, сэр. Садитесь, садитесь.

— Благодарю, сэр, — ответил Гарри, стараясь говорить как можно холоднее и тем самым показать, насколько он оскорблен.

— По вашим отчетам и по отчетам главного управляющего видно, что вы добились больших успехов. Это нас очень радует.

— Вот как? По вашим письмам этого не скажешь, тем более что мы их не получали; не скажешь этого и по тому, как вы приняли наши счета: их просто не оплатили; что же касается ассигнований, то к нам не поступило ни одного доллара.

— Что вы, дорогой мистер Брайерли! Видимо, произошла какая-то ошибка. Мы совсем недавно отослали вам и мистеру Селлерсу письма, — мой секретарь может показать вам копии, — с извещением о десятипроцентном платеже за акции.

— Ах, эти! Эти-то мы получили. Но нам нужны деньги для продолжения начатых работ, наличные деньги, чтобы заплатить рабочим.

— Конечно, конечно, несомненно, но мы зачислили большую часть ваших платежей в кредит. Я уверен, что кредит в письмах упоминается.

— Совершенно верно. Это я помню.

— Ну вот и прекрасно. Теперь мы начинаем понимать друг друга.

— Я этого не нахожу. Жалованье рабочим не выплачено за два месяца, да и...

— Как! Вы не заплатили рабочим?

— Заплатили? А чем прикажете платить, если вы не принимаете наши счета?

— Но, дорогой сэр, в чем же вы можете упрекнуть нас? Я уверен, что мы действовали самым безукоризненным образом. Давайте разберем все по порядку. Если я не ошибаюсь, вы записали на себя сто акций основного капитала по тысяче долларов за акцию.

— Совершенно верно, сэр.

— И мистер Селлерс взял себе столько же.

— Да.

— Прекрасно. Далее. Ни одно предприятие не может работать без денег. Мы решили потребовать выплаты десяти процентов стоимости реализованных акций. У нас с вами была договоренность с самого начала, что, пока вы находитесь у нас на службе, каждый из вас будет получать жалованья шестьсот долларов в месяц. Вас в установленном порядке избрали на ваши должности, и вы согласились занять их. Правильно я говорю?

— Правильно.

— Прекрасно. Итак, вы получили соответствующие указания и приступили к работе. Согласно вашим отчетам, на вышеназванные работы вами затрачено десять тысяч шестьсот сорок долларов. Двухмесячное жалованье вам обоим, как должностным лицам, составляет две тысячи четыреста долларов, или около одной восьмой причитающихся с вас десятипроцентных платежей, в результате чего за вами остается семь восьмых вашего долга, то есть примерно по восемь тысяч долларов с каждого. Но вместо того чтобы просить вас перевести в Нью-Йорк оставшиеся за вами шестнадцать или семнадцать тысяч долларов, правление единогласно постановило разрешить вам по мере надобности платить из этих денег рабочим и подрядчикам, соответственно оформив это в наших бухгал-

терских книгах в виде кредита. И заметьте: никто не сказал ни слова против, так как все были довольны вашими успехами и хотели воздать вам должное, — что они и сделали, причем очень щедро, я бы сказал. Затраты на произведенные вами работы составляют менее десяти тысяч долларов — суший пустяк. Итак, давайте подсчитаем: девять тысяч шестьсот сорок долларов от двадцати тысяч, за вычетом двух тысяч четырехсот долларов жалованья, — итого за вами и мистером Селлерсом остается семь тысяч девятьсот шестьдесят долларов; и я беру на себя ответственность позволить вам пока не выплачивать этот долг, если, конечно, вы не предпочтете выписать чек и сейчас же...

— Черт возьми! Значит, вы хотите сказать, что не компания должна нам две тысячи четыреста долларов, а мы ей семь тысяч девятьсот шестьдесят?

— Разумеется.

— И что, помимо этого, мы должны рабочим и подрядчикам чуть ли не десять тысяч долларов?

— Должны? Господи, неужели вы им все еще не заплатили?

— Конечно нет.

Президент вскочил и принялся расхаживать по комнате, словно его терзала острая физическая боль: он хмурил брови, сжимал лоб ладонями и непрерывно повторял:

— Какой ужас! Какой ужас! Это обязательно получит огласку, и ее никак не избежать, никак!

Затем он бросился в кресло и заговорил:

— Ужасно, дорогой мистер Брайерсон, просто ужасно! Это неминуемо получит огласку. Репутация компании будет запятнана, что весьма и весьма повредит нашему кредиту. Как можно было поступать так опрометчиво! Рабочим и подрядчикам нужно было заплатить, даже если бы мы все остались нищими!

— Ах, нужно было? Тогда какого же дьявола... — кстати, меня зовут вовсе не Брайерсон — ...почему же тогда компания не... и куда к черту девалось ассигнование? Где оно, это ассигнование, позвольте спросить? Ведь я тоже акционер, как-никак!

— Ассигнование? Какие-то жалкие двести тысяч, хотите вы сказать?

— Именно; и я бы не сказал, что двести тысяч такая уж жалкая сумма. Впрочем, строго говоря, не так уж она и велика. Так где же они?

— Мой дорогой сэр, вы меня удивляете. По-видимому, вы редко сталкивались с подобными вещами, иначе вы не стали бы ждать чего-то серьезного от *предварительного* ассигнования! Его единственная цель — подманивать новые, *настоящие* ассигнования, как подсадная утка подманивает дичь.

— Вот как? И все же — существует оно на самом деле или это только миф? Куда оно делось?

— Все объясняется очень просто. Утвердить ассигнование в конгрессе стоит немалых денег. Давайте прикинем: за большинство в бюджетной комиссии палаты представителей надо заплатить сорок тысяч долларов — по десять тысяч на брата; за большинство в сенатской комиссии — столько же: опять сорок тысяч; небольшая добавка одному-двум председателям одной-двух комиссий, скажем, по десять тысяч долларов каждому, то есть двадцать тысяч, — и вот вам ста тысяч долларов как не бывало! Затем идут семь кулуарных деятелей, по три тысячи долларов каждый, — двадцать одна тысяча долларов, одна кулуарная деятельница — десять тысяч; несколько членов палаты представителей или сенаторов с безупречной репутацией (конгрессмены с безупречной репутацией стоят дороже, так как они придают всякому мероприятию нужную окраску) — скажем, десятков на сенат и палату представителей вместе, — это тридцать тысяч долларов; затем десятка два конгрессменов помельче, которые вообще не станут голосовать, если им не заплатят, — по пятьсот долларов каждому, — еще десять тысяч; затем обеды в их честь — скажем, в общей сложности на десять тысяч; подарки и игрушки для жен и детей — на эту статью можно тратить без конца, и жалеть денег тут не приходится, — будем считать, что всего здесь ушло тысяч десять; и, наконец, печатная реклама: всякие там карты, цветные гравюры, рекламные брошюры и проспекты, красочные открытки, а

также объявления в ста пятидесяти газетах по столько-то долларов за строчку; с газетами ладить необходимо, иначе все пропало, поверьте мне. Ах, дорогой сэр, реклама разорит кого угодно. Нам она стоила на сегодняшний день... сейчас я подсчитаю: десять, пятьдесят две, двадцать две, тринадцать, затем: одиннадцать, четырнадцать, тридцать три... — короче говоря, в общей сложности сумма счетов дошла до ста восемнадцати тысяч двухсот пятидесяти четырех долларов сорока двух центов.

— Неужели?

— Да, да, именно так! Реклама — не пустяк, уверяю вас. А потом возьмите пожертвования от имени компании: на пожары в Чикаго и пожары в Бостоне, на сиротские приюты и прочее; название компании должно стоять в самом начале списка, и против него цифра: тысяча долларов. Это сильный козырь, сэр, и одна из лучших форм рекламы; о таких вещах проповедники говорят с кафедры, особенно когда дело касается пожертвования на нужды церкви; да, да, в нашем мире доброхотное даяние — самая что ни на есть выгодная реклама. Пока мы внесли разных пожертвований на общую сумму в шестнадцать тысяч долларов и сколько-то центов.

— Господи!

— Да, да! И, пожалуй, лучшее, что мы сделали в этой области, — нам удалось уговорить одного правительственного чиновника, восседающего в Вашингтоне прямо-таки на гималайских высотах, написать в широко распространенную газету, издаваемую святой церковью, о наших скромных планах развития экономики страны, и теперь наши акции прекрасно расходятся среди набожных бедняков. Для таких целей ничего нет лучше религиозной газеты: они поместят вашу статейку на самом видном месте, среди самого интересного материала, а если ее одобрит парочкой библейских цитат, избитыми прописными истинами о пользе воздержания, восторженными воплями по поводу воскресных школ и слезливыми вздохами по адресу «возлюбленных чад божьих — честных, бедных тружеников» — это действует безошибочно,

дорогой сэр, и ни одна живая душа не догадается, что это реклама. Зато светские газеты напечатают ее прямо посреди прочей рекламы, и тут уж, конечно, ваша карта бита. Нет, сэр, когда речь идет о рекламе, я всегда предпочитаю религиозную газету; и не я один так думаю: прогляните рекламные страницы религиозных газет, и вы увидите, сколько людей разделяет мою точку зрения, особенно те, у кого есть свои финансовые планы всеобщего обогащения. Само собой разумеется, я говорю о крупных столичных газетах, которые умеют и богу послужить и себя не забыть, — вот к ним-то и надо обращаться, сэр, именно к ним; а если религиозная газета не думает о выгоде, нам она для рекламы не годится, да и никому в нашем деле от нее пользы не будет. И еще одну штуку мы ловко придумали: послали группу репортеров на увеселительную прогулку в Наполеон. Ни единого цента им не заплатили, но зато напоили шампанским и накормили до отвала. А пока они еще не успели остыть, им подсунули бумагу, перья и чернила, и они такое написали, что прочтешь — и подумаешь, будто они в раю побывали! А если двум-трем из них совесть не позволила увидеть город Наполеон в очень уж розовом свете, то у них, во всяком случае, после нашего гостеприимства язык не повернулся сказать что-нибудь нам во вред, они и помалкивали. Ну-с, все ли я расходы перечислил? Конечно нет: кое-что забыл. Прежде всего — жалованье служащим: хороших работников грошовым жалованьем не заманишь. На это уходит изрядная сумма! А потом, в наших проспектах мы упоминаем несколько громких имен — в качестве наших пайщиков выступают известные миллионеры, — это тоже важный козырь, тем более что они действительно наши пайщики, но акции-то они получают *бесплатные* и к тому же не облагаемые никакими сборами, так что обходятся они нам недешево. В общем и целом, компания по развитию экономических ресурсов — дорогостоящее удовольствие, вы сами видите, мистер Брайерсон, вы теперь могли в этом убедиться, сэр.

— Но, послушайте. Мне кажется, тут какая-то ошибка насчет того, что голоса в конгрессе стоили нам хоть доллар. Уж об этом-то я кое-что знаю. Я вас выслушал, теперь вы послушайте меня. Всякий может ошибаться, и я вовсе не хочу подвергать сомнению чьи бы то ни было высказывания. Но как вам понравится, если я скажу, что сам находился в Вашингтоне все то время, пока готовился билль об ассигновании? Да еще добавлю, что провернул это дельце именно я. Да, сэр, я, и никто другой. Более того, я не заплатил ни одного доллара за чей бы то ни было голос и даже ни одного не посулил. Есть разные способы делать дела, и полагаю, что мой — ничуть не хуже прочих, хотя кое-кто, может быть, о нем и не подумал, а если подумал, то просто не сумел пустить его в ход. Придется мне, дорогой сэр, выбросить из вашего списка кое-какие статьи расходов, так как конгрессменам компания не заплатила ни единого цента.

На протяжении этой тирады с лица президента не сходила мягкая, даже ласковая улыбка; выслушав все, он сказал:

— Ах, вот как?

— Да, именно так.

— Что ж, в таком случае это несколько меняет дело. Вы, конечно, лично знакомы с депутатами конгресса, иначе вы бы не могли добиться таких успехов.

— Я знаю их всех, сэр. Я знаю их жен и детей, вплоть до грудных младенцев; я позаботился даже о том, чтобы завязать хорошие отношения с их лакеями. Нет ни одного члена конгресса, которого я бы не знал очень хорошо, даже близко.

— Прекрасно. А видели ли вы их подписи? Узнали бы вы их почерк?

— Я знаю их почерк не хуже своего собственного, я вел с ними достаточно широкую переписку. Подписи их я тоже прекрасно знаю и даже инициалы.

Президент открыл сейф и вынул оттуда какие-то письма и бумаги, затем сказал:

— Ну вот, например, взгляните: как, по-вашему, это письмо подлинное? Узнаёте вы эту подпись? А эту?

Можете вы сказать, чье имя скрывается за этими инициалами и не подделаны ли они?

Гарри был ошеломлен. От того, что он прочитал в письмах, у него голова пошла кругом. Но наконец подпись, которую он увидел под одним из писем, привела его в себя: его лицо даже озарилось улыбкой.

— Вас удивляет это имя? — спросил президент. — Вы никогда ни в чем не подозревали этого человека?

— Теперь-то мне понятно, что я должен был сразу заподозрить его, но тогда мне это и в голову не приходило. Ну и дела! Как у вас только хватило духу обратиться к нему?

— А как же иначе, мой друг? Без него мы ничего не предпринимаем. Он, так сказать, наша опора. Ну, какое впечатление производят на вас эти письма?

— Потрясающее! Каким же я был идиотом!

— Зато, надо полагать, вы приятно провели время в Вашингтоне, — сказал президент, собирая письма, — разумеется, так оно и было. Немногие сумели бы протащить билль о бюджетном ассигновании, не купив ни одного...

— Послушайте, господин президент, довольно об этом. Я беру назад все свои слова. Поверьте, теперь я уже не такой дурак, каким был вчера.

— Надеюсь, что так. Я даже уверен, что это так. Но имейте в виду, письма я показал вам под строжайшим секретом. Можете сколько угодно говорить о самих обстоятельствах дела, но не называйте никому *никаких имен*. Надеюсь, на вас можно положиться?

— Ну конечно. Я понимаю, как это важно. Ни одно имя не получит огласки. Но давайте вернемся к началу нашего разговора: похоже, что вы сами этого ассигнования и в глаза не видали?

— Только десять тысяч долларов и ни цента больше. Мы по очереди пытались сдвинуть дело с мертвой точки в Вашингтоне, и если бы мы потребовали за это какого-нибудь вознаграждения, ни один доллар из этих десяти тысяч не дошел бы до Нью-Йорка.

— Представляю, в какой переплет вы бы попали, если бы не провели сбор платежей.

— Еще бы. Вы не подсчитали, на какую сумму нам пришлось раскошелиться в общем итоге?

— Нет, я как-то не подумал об этом.

— Ну, так давайте подсчитаем:

Израсходовано в Вашингтоне, скажем . . .	191 000
Печатная реклама и прочее, примерно . . .	118 000
Благотворительные взносы, скажем . . .	16 000

Итого: 325 000

На покрытие этих расходов мы имели:

Ассигнование	200 000
Десятипроцентный сбор с основного капитала в 1 000 000 долларов .	100 000

Итого: 300 000

В результате на сегодняшний день за нами еще двадцать пять тысяч долларов долга. А ведь жалование служащим все еще идет, и задолженность по газетной и прочей рекламе продолжает накапливаться. Воображаю, как все будет выглядеть еще через месяц.

— А что потом? Полный крах?

— Ни в коем случае. Взыщем повторные платежи.

— Понятно. Но это ужасно.

— Ничуть.

— Как ничуть? Где же выход?

— Как вы не понимаете? Обратимся за новым ассигнованием.

— К черту ассигнования! Они дают меньше того, во что обходятся.

— Со следующим будет иначе. Мы попросим пол-миллиона, получим его и уже через месяц обратимся за целым миллионом.

— Да, но сколько это будет стоить?

Президент улыбнулся и нежно погладил стопку секретных писем.

— Все эти люди будут вновь избраны в конгресс следующего созыва. Нам не придется платить им ни цента. Мало того, для нас они готовы будут лезть из кожи вон — это и им самим может пойти на пользу.

Гарри погрузился в раздумье и через некоторое время сказал:

— Мы посылаем миссионеров в разные страны просвещать темных и невежественных туземцев. Насколько было бы дешевле и проще привозить их всех сюда и давать им возможность вкусить нашей цивилизации у самых ее истоков.

— Совершенно согласен с вами, мистер Беверли. Вам уже пора? Ну что ж, всего хорошего. Будете проходить мимо — заглядывайте ко мне; всегда буду рад осведомить вас о ходе наших дел.

Письмо, которое Гарри отослал в Хоукай, было не слишком пространное, но в нем содержались все убийственные цифры, приведенные в вышеизложенном разговоре. Полковник очутился в весьма затруднительном положении: вместо того чтобы получить тысячу двести долларов жалованья, он оказался соответчиком за долг в девять тысяч шестьсот сорок долларов, не выплаченных рабочим, не говоря уж о долге компании на сумму чуть ли не в четыре тысячи долларов. Сердце Полли едва не разорвалось от огорчения, и «хандра» вновь овладела ею с прежней силой, — ей пришлось выйти из комнаты, чтобы скрыть хлынувшие потоком слезы.

И еще в одном доме поселилась в тот день скорбь, ибо на имя Луизы тоже пришло письмо. В последнюю минуту Вашингтон отказался взять сорок тысяч долларов за теннессийскую землю и потребовал сто пятьдесят тысяч! Сделка не состоялась, и теперь он рвал на себе волосы, проклиная собственную глупость. Но он писал, что человек, предложивший ему эту сумму, возможно, скоро вернется в столицу, и тогда уж он обязательно продаст ему землю, даже если придется уступить ее за десять тысяч долларов. Луиза поплакала — и, по правде говоря, не один раз, а домашние ее были достаточно чуткими, чтобы не расстраивать ее еще больше лишними разговорами.

Отцвела весна, наступило лето, и, по мере того как проходила одна жаркая неделя за другой, настроение полковника постепенно улучшалось, так как строительство железной дороги быстро двигалось вперед. Но по-

том что-то случилось. До сих пор Хоукай ничего не вносил в фонд железнодорожной компании, считая, что крупные деловые операции, совершающиеся в городе, и без того послужат для железной дороги достаточной притягательной силой; но вдруг город переполошился, и не успел полковник Селлерс понять, что произошло, как хоукайцы в панике вырвались вперед и купили такое количество железнодорожных акций, что Наполеон со всеми своими приманками потерял всякий интерес для железной дороги, и вместо того чтобы свернуть на многие мили в сторону и превратить грязные хляби Пристани Стоуна в блестящую столицу, она предпочла двинуться по сравнительно прямому пути в Хоукай.

Над головой полковника грянул гром. После всех его тщательно разработанных планов, после того как он столько времени усердно работал головой и языком, привлекая всеобщее внимание к своему детищу и вербуя повсюду его сторонников, после того как он непрестанно трудился не покладая рук и неустанно бежал, не жалея ног, — после всех его блестящих надежд и громких пророчеств фортуна повернулась к нему спиной, и все его воздушные замки мгновенно рухнули. Торжествующий Хоукай оправился от испуга и возликовал, а Пристань Стоуна впала в ничтожество. Приближалась осень, и немногочисленные жители Пристани Стоуна один за другим стали собирать свои пожитки и разъезжаться кто куда. Никто больше не покупал земельных участков, уличное движение замерло, и местечко снова погрузилось в мертвую спячку; газета «Уикли телеграф» безвременно сошла в могилу, осторожные головастики вернулись из ссылки, лягушки снова затянули свою извечную песню, невозмутимые черепахи, как в доброе старое время, грели спины на берегу или на корягах, благословляя свои мирные дни.

**ФИЛИПП РАЗВЕДЫВАЕТ УГОЛЬНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
В ИЛИОНЕ**

Mihma hatak ash osh ilhkolit yakni
ya hlopullit tvmaha holihta vlhpisā hq
kvshkoa untuklo hq hollissochit holisso
afohkit tahli cha.

Chosh., 18,9¹.

Филипп Стерлинг ехал в Илион. Это была небольшая станция в штате Пенсильвания, неподалеку от участка необработанной земли, который мистер Боултон поручил ему обследовать.

В последний день путешествия, когда поезд после очередной остановки в большом городе только что отошел от перрона, в вагон первого класса робко вошла новая пассажирка и, осмотревшись, нерешительно села на свободное место. Филипп видел в окно, что какой-то джентльмен помогал ей войти в вагон, когда поезд уже трогался. Вскоре появился проводник и, не дожидаясь объяснений, грубо обратился к пассажирке:

— Вам здесь оставаться нельзя. Это место занято. Перейдите в другой вагон.

¹ И люди пошли, прошли по земле, и описали ее, по городам ея, на семь уделов, в книге... — Библия, Книга Иисуса Навина, 18, 9 (*на языке индейцев чоктау*).

— Я и не собиралась занимать это место, — ответила она, вставая. — Я присела только на минутку, пока мне не укажут другое.

— В этом вагоне свободных мест нет. Вагон переполнен. Вам придется уйти.

— Простите, сэр, — умоляюще проговорила женщина, — но я думала...

— Меня не интересует, что вы там думали. Немедленно перейдите в другой вагон.

— Поезд идет так быстро, разрешите мне остаться здесь до следующей остановки.

— Дама может занять мое место! — воскликнул Филипп, вскакивая на ноги. Проводник обернулся к Филиппу, спокойно и не спеша оглядел его с головы до головы, всем своим видом выражая бесконечное презрение; потом, не говоря ни слова, повернулся к нему спиной и снова обратился к пассажирке:

— Некогда мне с вами разговаривать. Переходите сейчас же.

Обескураженная и испуганная его грубостью, женщина направилась к двери, открыла ее и вышла на площадку. Поезд мчался, раскачиваясь из стороны в сторону, расстояние между вагонами было довольно большим, а переход даже не защищен решеткой. Пассажирка ступила на площадку, но в этот момент налетел порыв ветра, поезд качнуло на стыке — она потеряла равновесие, упала и неминуемо очутилась бы под колесами, если бы не Филипп, который успел схватить ее за руку и поднять. Затем он помог ей перейти в другой вагон, нашел свободное место и, выслушав смущенные слова благодарности, вернулся к себе.

Проводник еще не кончил собирать билеты и, увидев Филиппа, пробормотал что-то о носах, которые суются не в свои дела.

Филипп подошел к нему и резко сказал:

— Только скотина, подлая скотина может так обращаться с женщиной!

— Уж не собираетесь ли вы устроить по этому поводу скандал? — осклабился проводник.

Вместо ответа Филипп размахнулся и ударил его по лицу с такой силой, что он перелетел через тол-

стого пассажира, удивленно взиравшего на смельчака, решившегося спорить с проводником, и ударился о противоположную стенку вагона.

Встав на ноги, он тотчас дернул сигнальную веревку, крикнул: «Ну, я вам покажу, черт вас побери!» — распахнул дверь и позвал двух тормозных, а когда скорость поезда уменьшилась, заорал:

— Убирайтесь из поезда!

— И не подумаю. У меня такое же право ехать в нем, как и у вас.

— Сейчас увидим, — ответил проводник, подходя к Филиппу вместе с тормозными. Пассажиры пытались протестовать, некоторые даже возмущались: «Это безобразие», — как всегда бывает в таких случаях, но ни один и пальцем не шевельнул в защиту Филиппа. Железнодорожники схватили его, стащили с сиденья, поволокли по проходу, раздирая на нем одежду, и вытолкнули из вагона, выкинув вслед пальто, зонтик и саквояж. Поезд пошел дальше.

Пыхтя и отдуваясь, побагровевший проводник с победоносным видом прошел по вагону, бормоча: «Щенок! Я ему покажу!» Когда он исчез, пассажиры начали громко выражать свое возмущение и даже поговаривали о том, что хорошо бы составить протест, но дальше разговоров дело не пошло.

На следующее утро в гувервильской газете «Пэтриот энд Клэрион» появилась следующая «корреспонденция»:

ЗА ШИВОРОТ И В БОЛОТО

Наш корреспондент сообщает, что вчера, когда дневной экспресс отходил от Г..., некая дама! (да простит нам бог восклицательный знак) беззастенчиво пыталась пробраться в переполненный вагон-люкс. Проводник Слам — старый

воробей, которого на мякине не проведешь, — вежливо сообщил даме, что свободных мест в вагоне нет, а когда она продолжала настаивать на своем, убедил ее перейти в другой вагон. Но тут какой-то юнец из восточных штатов рас-

Кипятился, словно шанхайский петушок, и осыпал проводника отборной бранью. Мистер Слам с обычной для него обходительностью ответил юному наглецу изящным хуком слева; наш петушок был так поражен, что тотчас начал шарить по карманам в поисках оружия. Тогда мистер Слам деликатно приподнял юнца за шиворот, донес его до двери и опустил у самой подножки на мягкую кочку, чтобы тот поостыл на досуге. Мы еще не получили

известий о том, выбрался наш молодчик из Баскомского болота или нет. Проводник Слам — один из самых вежливых и энергичных служащих на всей дороге, но не вздумайте сыграть с ним какую-нибудь шутку: он этого не допустит, будьте уверены. Как нам стало известно, железнодорожная компания поставила новый паровоз на семичасовой поезд и заново отделала в нем вагон первого класса. Для удобства публики дирекция не жалеет затрат.

Филипп никогда раньше не бывал в Баскомском болоте и, не найдя в нем ничего привлекательного, покинул его без малейшего промедления. Когда последний вагон прошел мимо него, Филипп выкарабкался из грязи и колючего кустарника на полотно. Он был так взбешен, что даже не чувствовал боли от ушибов. Разгоряченный — в буквальном и в переносном смысле этого слова, — он шагал по шпалам и мрачно размышлял о том, что железнодорожная компания наверняка не позволила бы ему шагать по путям, если бы знала, что во время потасовки он потерял проездной билет. Филиппу пришлось пройти около пяти миль, пока он наконец добрался до маленькой станции, где в ожидании поезда у него было достаточно времени для размышлений. Сначала он пылал мстью: он подаст на компанию в суд, он заставит ее заплатить кругленькую сумму... Но тут он вспомнил, что не знает имен свидетелей происшествия, и понял, что поединок с железнодорожной компанией заранее обречен на полную неудачу. Тогда он решил подстеречь проводника

на какой-нибудь станции и задать ему хорошую трепку или же получить трепку самому.

Но когда Филипп поостыл, этот план показался ему недостойным джентльмена. Разве подобает джентльмену расправляться с такими типами, как этот проводник, их собственными средствами? Рассудив так, Филипп задал себе вопрос: а не глупо ли он себя вел с самого начала? Он не жалел о том, что ударил проводника, — пусть помнит. Но в конце концов, разве нет других путей? Вот, пожалуйста: он — Филипп Стерлинг, называющий себя джентльменом, — затевает потасовку с простым кондуктором из-за женщины, которой раньше и в глаза не видал. Чего ради он поставил себя в такое глупое положение? Разве он не выполнил долг джентльмена, предложив ей свое место? Разве он не спас ее от несчастного случая, может быть даже от смерти? А проводнику достаточно было сказать: «Вы по-скотски обоились с дамой, сэр, и я сообщу о вашем поступке куда следует». Другие пассажиры, которые видели все, что произошло, охотно подписали бы вместе с ним жалобу, и он бы наверняка чего-нибудь добился. А теперь что? Филипп оглядел свою порванную одежду и с досадой подумал, что зря так опрометчиво вступил в драку с железнодорожным самодержцем.

На той же маленькой станции Филипп разговорился с человеком, который оказался местным мировым судьей, и рассказал ему о своем приключении. Судья, человек мягкий и отзывчивый, с интересом выслушал Филиппа.

— Чтоб им пусто было! — воскликнул он, когда Филипп закончил свой рассказ.

— Как вы думаете, сэр, можно тут что-нибудь сделать?

— Боюсь, толку не будет. Не сомневаюсь, что каждое ваше слово — сущая правда, по суд ничего вам не даст. Железнодорожная компания всех тут скупил, а заодно и федеральных судей. Подумаешь — одет жонку попортили! Как говорится: «Чем меньше сказано — тем легче все исправить». С компанией вам ни за что не сладить.

Прочитав на следующее утро в газете «Пэтриот энд Клэрион» юмористический отчет о происшествии, Филипп еще яснее увидел, как безнадежна всякая попытка добиться справедливости в борьбе с железной дорогой.

Несмотря на все это, совесть продолжала мучить Филиппа и твердить ему, что он обязан передать дело в суд, даже если наверняка его проиграет. Он считал, что ни он сам, ни кто-либо другой не имеет права прислушиваться к голосу своих чувств, когда у него на глазах попирают законы родины. Он полагал, что в подобных случаях долг каждого гражданина — отложить личные дела и посвятить все свое время и силы тому, чтобы добиться примерного наказания нарушителей закона; он знал, что ни в какой стране невозможно установить порядок, если все ее граждане до единого не будут свято помнить, что они должны сами стоять на страже закона и что судебские чиновники — лишь орудие его выполнения. В конечном счете Филипп вынужден был признать, что он — плохой гражданин, ничуть не лучше остальных, что в нем гнездится свойственное его времени отсутствие чувства долга и безразличие ко всему, что не касается лично его.

Из-за этого приключения Филипп добрался до Илиона только на следующее утро на рассвете; заспанный и угрюмый, он сошел с попутного поезда и огляделся. Илион приютился в тесной горной долине, по которой протекала быстрая река. Весь поселок состоял из дощатой железнодорожной платформы, на которой Филипп стоял в эту минуту, деревянного, наполовину выкрашенного дома с грязной верандой по фасаду (крыши над верандой почему-то не было) и с вывеской на покосившемся шесте; надпись на вывеске гласила: «Гостиница. П. Дузенгеймер»; ниже по течению реки расположились лесопилка, кузница, лавка и несколько некрашенных домов из тесаных бревен.

Когда Филипп подошел к гостинице, ему показалось, что на веранде притаился какой-то дикий зверь. Зверь, однако, не шевелился и при ближайшем рассмотрении оказался всего-навсего набитым соломой чучелом — вместо приветливого швейцара у порога

трактира гостей встречали останки огромного барса, убитого неподалеку от Илиона несколько недель тому назад. Постучав кулаком в дверь и ожидая, когда ему откроют, Филипп с любопытством разглядывал свирепую пасть и мощные изогнутые лапы зверя.

— Потоштит минутка! Я только натену мой штаны! — раздался голос из окна, и скоро хозяин «гостиницы», громко зевая, открыл Филиппу дверь.

— Морген! Я не слышайть сефотня поезт: репята фчера толго не даваль мне спать. Заходить, паша-луйста!

Хозяин провел Филиппа в грязный бар — небольшую комнату, посреди которой в длинном низком ящике с песком была установлена печурка специально для «любителей плевать». Дальний конец комнаты был занят стойкой бара — простым деревянным прилавком; за ним возвышался застекленный шкафчик, за дверцами которого виднелся скромный набор бутылок со звучными надписями на ярлыках; в углу стоял умывальник. На стенах висели яркие, желтые с черным, афиши бродячего цирка, изображающие акробатов, распростершихся в прыжке лошадей, нимфоподобных женщин в райских одеждах, которые ловко балансировали на неоседланных, бешено скачущих конях и одновременно посылали зрителям воздушные поцелуи.

Поскольку Филипп не спросил себе комнаты, ему предложили умыться у грязного умывальника, что потребовало гораздо меньшей ловкости, чем последующее вытирание, ибо болтавшееся над раковиной полотенце выглядело примерно так же, как сам умывальник, и вместе с висевшими рядом расческой и щеткой для волос предназначалось для всех постояльцев. Филипп кое-как завершил свой туалет с помощью носового платка и, отказавшись от гостеприимного приглашения хозяина «пропустить што-нипутъ», вышел в ожидании завтрака на свежий воздух.

Взору его открылся пейзаж суровый и отнюдь не живописный. Прямо перед ним, на высоту примерно восьмисот футов, поднимался горный склон — часть поросшей густым лесом гряды, тянувшейся непрерыв-

ной цепью вдоль реки. Позади гостиницы, по другую сторону шумливого потока, протянулась еще одна такая же приплюснутая, поросшая лесом горная гряда. Поселок стоял здесь, по-видимому, довольно давно: домики его успели прийти в ветхость, да и водокачка, появившаяся сравнительно недавно, вместе с железной дорогой, ничуть не украсила Илион, а скорее подчеркнула его грязный и запущенный вид. Каждый раз, когда поезда останавливались, чтобы набрать воды, П. Дузенгеймер становился в дверях своего малопривлекательного заведения, поджидая гостей, но пассажиры редко пользовались его услугами, зато охотно отпускали по его адресу шутки. Ему, наверное, не меньше тысячи раз пришлось выслушать реплику: «*Plum fuit...*»¹, за которой обычно следовало: «Эй, Эней, а где старик Анхиз?» Сначала он отвечал: «Стесть такой старик не шифет», но, выведенный из терпения бесконечным повторением непонятной ему шутки, перешел на лаконичное: «Итите к шорту!»

Громыхающий, раскатистый звук гонга отвлек Филиппа от созерцания илионских красот; звон и грохот нарастали до тех пор, пока не переполнили гостиницу и не вырвались наружу через парадную дверь, дабы оповестить весь мир о том, что завтрак подан.

Во всю длину узкой и низкой столовой протянулся столь же узкий стол, покрытый скатертью. Судя по виду скатерти, она уже отслужила гостям не меньший срок, чем полотенце в баре. На столе была расставлена обычная посуда: тяжеловесные фаянсовые тарелки с выщербленными краями, облупившиеся и заржавевшие никелированные судки, сахарницы с торчащими из них цинковыми ложками, неаппетитные тарелки с маслом; прямо на скатерти высились горки желтых сухарей. Трактирщик сам подавал кушанья, и Филиппу понравилось, что в столовой он держался иначе, чем в баре. В баре он был просто услужливым хозяином, а в столовой, стоя за спиной у гостей, разговаривал с ними покровительственно, даже повелительно.

¹ «Был Илион...» (лат.)

Он таким резким тоном спросил у Филиппа: «Пиф-интекс или печенка?», что тот растерялся и не смог ничего выбрать. Попробовав зеленую бурду, которую здесь выдавали за кофе, он попросил стакан молока, который и составил его завтрак, если не считать нескольких галет, завезенных в Илион, по-видимому, задолго до изобретения железного коня и успевших выдержать десятилетнюю осаду регулярных войск гостей как греческого, так и всякого другого происхождения.

Участок, который Филипп приехал обследовать, начинался по меньшей мере в пяти милях от Илиона; одним углом он выходил к железной дороге; в основном то были восемь или десять тысяч акров нетронутой холмистой целины, очень похожей на ту, которую Филипп видел у станции.

Прежде всего Филипп подрядил трех лесорубов. С их помощью была срублена хижина и расчищена площадка вокруг нее; после этого Филипп принялся за съемку, нанося свои наблюдения на карту местности, отмечая лесные массивы строевого леса, детали рельефа и некоторые геологические признаки, указывающие на наличие угля.

Илионский трактирщик пытался уговорить его воспользоваться услугами местного рудознатца, который мог пройти по всему участку с палочкой в руках и безошибочно определить, есть ли в нем уголь, и даже точно указать направление пластов. Но Филипп предпочел довериться тем данным, которые мог извлечь из съемки местности и собственных геологических познаний. Целый месяц он усердно изучал участок и делал расчеты; наконец он пришел к выводу, что сквозь гору в миле от железной дороги проходит мощный угольный пласт и что лучше всего заложить горизонтальную штольню как раз на середине склона.

Получив согласие мистера Боултона, Филипп без промедления перенес свой лагерь на гору, успел до первого снега возвести несколько временных построек и, таким образом, подготовился к горным работам, ко-

торые должны были начаться весной. Правда, выхода угля в том месте не было, и жители Илиона уверяли его, что «с таким же успехом он может пытаться извлечь оттуда пласты жевательного табака», но Филипп твердо верил в то, что природа веками действовала по одним и тем же геологическим законам и что именно в этом месте он найдет такие же богатые залежи угля, какие послужили источником процветания компании «Голден Брайер».

СЕНАТОР ДИЛУОРТИ ПРИГЛАШАЕТ ЛОРУ В ВАШИНГТОН

«Gran pensier volgo; e, se tu lui secondi,
Seguiranno gli effetti alle speranze:
Tessi la tela, ch' io ti mostro ordita,
Di cauto vecchio esecutrice ardita».

Tasso ¹.

«Belle donna vostre socors
M'agra mestier, s'a vos plagues».

B. de Ventadour ².

Луиза снова получила добрые вести от своего Вашингтона.

— Сенатор Дилуорти собирается продать теннес-сйскую землю правительству! — поведала она Лоре под секретом.

Рассказала она об этом и родителям, и еще кое-кому из своих близких друзей, но всем им, кроме Лоры, эта новость только испортила настроение. Лора же просияла, правда только на мгновение, но Луиза была

¹ «Я мысль великую взлелеял и с тобою

Надеюсь я теперь ее осуществить.

Я нить пряду, тебе ж ткать паутину надо:

Что Старость начала — пусть завершает Младость». — Т а с с о (итал.).

² «О красавица, прошу я

Милости! Не откажите!» — Б. де Вентадур (провансальск.).

благодарна ей даже за это мимолетное проявление дружеских чувств. Оставшись одна, Лора задумалась.

«Если сенатор действительно взялся за это дело, — рассуждала она, — в любую минуту можно ждать от него приглашения. До смерти хочется съездить в Вашингтон. Надо же мне когда-нибудь выяснить, кто я: пигмей несколько большего размера, чем здешние пигмеи, которые валяются с ног, как только к ним притронутся пальцем, или действительно нечто...»

На мгновение мысли ее отвлеклись, потом она продолжала размышлять:

«Он сказал, что я могла бы внести свой вклад в великое дело помощи ближним и участвовать в святой борьбе против нищеты и невежества, если только он найдет возможным заняться нашей землей. Это мне, положим, ни к чему. Я хочу другого: поехать в Вашингтон и посмотреть, чего я стою. Кроме того, мне нужны деньги, а ведь если верить всему, что говорят, там немало удобных случаев для... (вероятно, она подумала: «для красивой женщины», — но вслух она бы этого не сказала).

И осенью приглашение действительно пришло. Его прислал в официальном пакете ее собственный брат Вашингтон, личный секретарь сенатора. В постскриптуме Вашингтон писал, что он в восторге от приезда «герцогини». Он добавлял, что будет счастлив увидеть ее, — но счастье это безмерно возрастет, если она привезет ему привет от Луизы.

К письму Вашингтона были приложены важные бумаги. Например, чек от сенатора на две тысячи долларов — «на покупку в Нью-Йорке приличной одежды». Эти деньги даются в долг; после продажи земли она должна будет их вернуть. Две тысячи — немалая сумма. Отца Луизы считали богачом, но Лора сомневалась, чтобы Луизе когда-либо случалось покупать себе новой одежды хотя бы на четыреста долларов сразу. В конверте были два прямых железнодорожных билета — на проезд от Хоукая до Вашингтона через Нью-Йорк; билеты были литерные — сенатор Дилуорти получил их прямо от железнодорожных компаний. Сенаторам и членам палаты представителей правитель-

ство давало тысячи долларов на разъезды, но они всегда предпочитали пользоваться литературными билетами, а затем, как это подобает почтенным и принципиальным людям, отказывались получать от государства проездные. Сенатор располагал множеством льгот на железных дорогах и мог легко пожертвовать двумя бесплатными билетами — для Лоры и для того, кто взялся бы ее сопровождать. Вашингтон советовал, чтобы она пригласила поехать вместе с ней кого-нибудь из старых друзей их семьи. «Сенатор бесплатно отослает твоего провожатого домой, — объяснял Вашингтон в письме, — как только столица ему надоест». Лора задумалась. Сначала совет брата ей понравился, но потом взяли верх другие соображения.

«Нет, — решила она наконец, — по некоторым вопросам я расхожусь во взглядах с нашими степенными и добропорядочными друзьями в Хоукае; пока они уважают меня, а я их — пусть все так и остается. Я поеду одна; ничего со мной не случится».

Эти мысли не оставляли ее, когда она, по обыкновению, вышла днем на прогулку. Почти у самых дверей она столкнулась с полковником Селлерсом. Лора рассказала ему о приглашении.

— Вы только подумайте! — воскликнул полковник. — А ведь я тоже почти решил ехать в Вашингтон. Нам, понимаешь ли, необходимо новое ассигнование, и компания настаивает, чтобы я поехал на Восток и провел его в конгрессе. Ведь там наш Гарри, и он, конечно, сделает все, что от него зависит, а Гарри парень что надо — собаку съел в таких делах; одна беда — слишком молод, ему, пожалуй, не под силу справиться одному с такой сложной задачей; и потом, очень уж он много болтает — не знает никакой меры, да и любит пофантазировать к тому же; для делового человека, по моему, ничего не может быть хуже: рано или поздно, он всегда раскрывает свои карты. Нет, для такого дела необходим спокойный, уравновешенный человек, с большим жизненным опытом, — понимаете, человек, который никогда не горячится, видит людей насквозь и умеет вести крупные операции. Я рассчитываю на днях получить жалованье и еще кое-какие деньги от

компании, и если они придут вовремя, я поеду с тобой, Лора, возьму тебя под свое крылышко: тебе не следует ехать одной. Господи! Если бы эти деньги были у меня в кармане! Но ничего, скоро они у меня будут — и много!

Лора рассудила про себя, что, поскольку простодушный добряк полковник все равно поедет, какой смысл ей отказываться от его общества? Поэтому она сказала ему, что с большой благодарностью принимает его предложение. Он скажет ей огромную услугу, если согласится сопровождать ее и взять ее под свое покровительство; конечно, тратиться на дорогу ему не придется, не может же она причинить ему столько хлопот и в придачу заставить его покупать себе билет. Но он и слышать не хотел, чтобы она платила за него: ведь оказать ей услугу доставит ему только удовольствие. Лора непременно хотела сама позаботиться о билетах и в конце концов, когда все остальные доводы не привели ни к чему, заявила, что билеты не стоят ей ни цента; у нее их два, а ей нужен только один, — и если он не возьмет второй билет, она вообще с ним не поедет. Это решило дело, и он взял билет. Лора была рада, что у нее есть чек на покупку одежды, потому что теперь она была совершенно уверена, что сможет уговорить полковника занять у нее немного денег на гостиницу и прочее.

Она написала Вашингтону, чтобы тот ждал их с полковником Селлерсом к концу ноября. И в самом деле, приблизительно в назначенное время наши путешественники благополучно прибыли в столицу.

ФИЛИПП ЛОМАЕТ РУКУ. РУФЬ ПОМОГАЕТ ХИРУРГУ

Deh! ben fôra all' incontro ufficio umano,
E benavresti tu gioja e diletto,
Se la pietosa tua medica mano
Avvicinassi al valoroso petto.

Tasso ¹.

Чтоб поддержать его и сердце исцелить,
Она, добрейшая, не покладала рук:
Лекарства редкие умела находить,
Питье снотворное для облегченья мук —
Все, что могло утишить злой недуг.

Э. Спенсер, Королева фей.

Мистер Генри Брайерли писал полковнику Селлерсу, что страшно занят в Нью-Йорке, но согласен все бросить и поехать в Вашингтон.

Полковник считал Гарри королем кулуарных деятелей, человеком, пожалуй, увлекающимся и любящим пофилософствовать, но зато знающим всех и вся, — проект улучшения судоходства на реке Колумба удалось провести почти исключительно благодаря его по-

¹ Долг человеческий не даст тебе покоя,
Веля тебе лечить его. Иди

И радостно, целящею рукою
Коснись его страдающей груди. — *Т а с с о (итал.)*.

мощи. Сейчас приезд Гарри был необходим в связи с другим проектом, в основе которого лежали глубоко гуманные идеи, — проектом, в котором полковник Селлерс был глубоко заинтересован ради семейства Хокинсов.

«Видите ли, меня-то не очень беспокоит судьба негров, — писал он Гарри, — но если правительство купит землю, это возродит семью Хокинсов: Лора станет богатой наследницей, и я не удивлюсь, если и сам Бирайя Селлерс поправит свои дела. Дилуорти, конечно, смотрит на все со своей колокольни. Он все носитя со всякими филантропическими планами, хочет облагодетельствовать чернокожих. Помните Валаама из Департамента вновь присоединенных территорий, некогда просто достопочтенного Орсона Валаама из Айовы? Ведь какую славу заработал он себе на индейцах! Валаам — великий умиротворитель индейцев и торговец землями. Поскольку Валаам захватил себе индейцев, сенатору Дилуорти, видимо, ничего не остается, как заняться чернокожими. На мой взгляд, у чернокожих нет в Вашингтоне большего радетеля, чем он».

Как ни торопился Гарри в Вашингтон, он все же заехал в Филадельфию и откладывал отъезд со дня на день в ущерб делам в Нью-Йорке и в Вашингтоне. У Боултонов собралось такое общество, что уже от одного этого можно было забыть дела куда важнее тех, что ожидали Гарри. К тому же здесь он встретил Филиппа — он был теперь компаньоном мистера Боултона по разработке угольных залежей; к весенним работам надо было тщательно подготовиться, но Филипп невольно с недели на неделю оттягивал свой отъезд из гостеприимного дома Боултонов. На зимние каникулы приехала Алиса. Руфь посещала лекции в городе всего два раза в неделю, в доме было шумно и многолюдно, что весьма радовало мистера Боултона, любившего шум, веселье и застольные беседы. Боултоны с искренним радушием предложили Гарри перевезти к ним чемоданы, и он не заставил просить себя об этом дважды. Даже мысль о предстоящем свидании в столице с Лорой не мешала ему наслаждаться обществом обеих

девушек: как говорится, лучше синица в руки, чем журавль в небе, а две синицы и подавно.

Филипп чувствовал себя у Боултонов как дома, — порой он даже досадовал на это. Ему было ясно, что, если бы он чувствовал себя здесь немного хуже или, наоборот, немного лучше, никто бы этого даже не заметил. С первого дня его приезда Руфь встретила его с открытой душой и все время держалась совершенно непринужденно. Она не избегала, но и не искала его общества, и это неизменно ровное отношение раздражало его больше всего. Невозможно чего-либо добиться от женщины, которая ничего не скрывает и никогда не смущается в вашем присутствии и которую даже мимолетное проявление сентиментальности скорее всего только заставило бы расхохотаться.

— Что случилось, Фил? — бывало, говорила она. — Что это вы дуетесь сегодня? У вас такой торжественный вид, словно вы сидите на квакерском совете старейшин. Придется позвать Алису, уж она-то растормошит вас; кажется, мое присутствие только портит вам настроение.

— Совсем не ваше присутствие, а наоборот — ваше отсутствие, хоть вы и присутствуете, — начал Филипп скорбным голосом, полагая, что говорит нечто весьма значительное. — Но вам все равно меня не понять.

— Да, признаюсь, я вас не понимаю. Если вам в самом деле настолько не по себе, что вы не замечаете моего присутствия, когда я с вами, это опасное психическое расстройство; я попрошу папу пригласить доктора Джексона. А вам не кажется иногда, что Алиса с вами, когда ее нет?

— Алиса по крайней мере способна на проявление каких-то человеческих чувств. Она интересуется не только заплесневелыми книгами и скелетами. Руфь, — продолжал Филипп, стараясь придать мрачный и саркастический тон своему голосу, — когда я умру, я завещаю вам свой скелет. Он вам, наверное, пригодится.

— Во всяком случае, он может оказаться более веселым собеседником, чем иногда бываете вы, — со сме-

хом ответила Руфь. — Но ни в коем случае не делайте этого, не посоветовавшись с Алисой. А вдруг ей не понравится?

— Не понимаю, почему это имя не сходит у вас с языка. Неужели вы думаете, что я в нее влюблен?

— Господи, конечно нет! Такое мне и в голову не приходило. А разве это действительно так? Смешно даже подумать о том, чтобы Филипп Стерлинг мог влюбиться! Я была уверена, что вы влюблены лишь в илионскую шахту, о которой вы с папой все время говорите.

На этом обычно и заканчивались ухаживания Филиппа. «Что за проклятье, — говорил он самому себе, — почему она никогда не дразнит Гарри или этого молодого Шэпли, который сюда частенько наведывается?»

Алиса относилась к нему совершенно иначе. Уж она-то никогда не насмеялась над ним, и для него было облегчением излить свою душу человеку, который ему сочувствовал. Филипп говорил с ней часами, и темой всех разговоров была Руфь. Бедняга изливал Алисе свои сомнения и тревоги, как будто она была бесстрастным исповедником, восседающим в одной из маленьких деревянных исповедален в соборе на Логансквер. Но разве у исповедника, если он молод и красив, не бывает чувств? Разве что-нибудь меняется от того, что его называют сестрой?

Филипп называл Алису сестричкой и говорил с ней о любви и женитьбе, мысленно связывая это только с Руфью, как будто исключал всякую возможность того, что «сестричку» такие разговоры могут задевать. Говорит ли Руфь о нем когда-нибудь? Нравится ли он Руфи? Нравится ли Руфи кто-нибудь в Фолкиле? Нравится ли ей вообще что-нибудь, кроме ее профессии? И тому подобное, в том же духе.

Алиса была преданной подругой; если она и знала что-нибудь, то ни разу не выдала Руфи. Во всяком случае, она не очень обнадеживала Филиппа. Да и какая женщина на ее месте поступила бы иначе?

— Вот что я скажу вам, Филипп, — заявила она, — если Руфь Боултон когда-нибудь полюбит, она полю-

бит всей душой, с такою страстью, которая сметет все на своем пути и удивит ее самое.

Это замечание не очень-то утешило Филиппа, который думал, что только какой-нибудь поистине героический поступок может вызвать нежное чувство в сердце Руфи, а Филипп боялся, что сам он отнюдь не герой. Он не знал, что в минуту творческого вдохновения женщина может создать себе героя из какого угодно материала.

Гарри вошел в это общество с присущей ему легкостью и весельем. Его добродушие было неиссякаемо, и, хотя он любил рассказывать о собственных похождениях, у него хватало такта приспособляться к вкусам слушателей. Он быстро понял, что Алисе нравится говорить о Филиппе, и принялся расписывать подвиги своего друга на Западе с такими преувеличениями, которые поразили бы самого героя этих событий. Гарри был наделен богатым воображением, и выдумывать небылицы было для него единственным занятием, в котором он не знал неудач. С мистером Боултоном он оставался серьезным деловым человеком, пользовавшимся в Нью-Йорке доверием многих состоятельных людей, которых мистер Боултон лично знал, и связанным с ними железнодорожными спекуляциями и правительственными контрактами. Филипп, знавший Гарри достаточно давно, не мог бы с уверенностью сказать, верит ли тот и сам в то, что он главный участник всех крупных операций, о которых так много говорил.

Гарри постарался также завоевать расположение миссис Боултон; с этой целью он уделял много внимания детям и выказывал самый живейший интерес к вероучению Друзей: оно всегда казалось ему самой умиротворяющей религией; он полагает, что жить по законам совести куда легче, чем соблюдать разные чисто внешние обряды; в Провиденсе живет его любимая тетюшка из квакеров, которую миссис Боултон ему очень напоминает. Он настоял на том, чтобы пойти вместе с миссис Боултон и ее детьми на Собрание Друзей в Первый День (Руфь, Алиса и Филипп, непосвященные миряне, отправились в городскую церковь) и с примерным терпением просидел, не снимая шапки,

весь час молчания. Короче говоря, этот удивительный актер настолько поразил миссис Боултон, что она однажды сказала Филиппу:

— Твой друг Генри Брайерли производит впечатление весьма светского молодого человека. Верит ли он хоть во что-нибудь?

— О да, — ответил Филипп, смеясь, — я не встречал человека, у которого было бы больше объектов веры, чем у него.

Руфь нашла в Гарри человека, близкого ей по духу. По крайней мере он никогда не был угрюмым и с готовностью отзывался на все ее мимолетные настроения. Он мог казаться веселым или серьезным — как угодно. Кажется, никто лучше него не понимал ее стремления самостоятельно пробить себе дорогу в жизни.

— Мой отец получил медицинское образование, — говорил Гарри, — и до того, как он стал биржевиком на Уолл-стрит, у него была небольшая практика. Меня самого всегда тянуло заняться медициной. Помню, в отцовском кабинете в шкафу висел скелет. Я тогда был еще совсем мальчишкой и, бывало, наряжал его в разное тряпье. О, я в свое время достаточно близко познакомился с человеческими костями.

— Так вот где ты научился играть в кости? — заметил Филипп. — Знаете, Руфь, он так мастерски овладел этой игрой, что мог бы зарабатывать ею себе на жизнь.

— Зато Филипп терпеть не может науки и не способен к систематическим занятиям, — возразил Гарри, которому шутка Филиппа явно не понравилась.

И когда Филипп вышел из комнаты, Руфь спросила:

— Почему бы вам не заняться медициной, мистер Брайерли?

Гарри сказал:

— Я и сам подумываю об этом. Если бы не дела в Вашингтоне, я бы начал ходить на лекции нынче же зимой. Но медицина все-таки занятие главным образом женское.

— Почему же? — удивленно спросила Руфь.

— Видите ли, лечение болезни заключается прежде всего в сострадании к больному. А женщина более

чутка, чем мужчина. Вы сами знаете, что все равно никто ничего толком не понимает в болезнях, но женщина чаще бывает догадливее, чем мужчина.

— Вы очень лестного мнения о женщинах.

— Однако доктора себе я хотел бы выбрать сам, — откровенно сказал Гарри. — Некрасивая женщина погубила бы меня: при одном ее виде я бы уже не смог бороться с болезнью. А хорошенькая женщина-врач своей ласковой мягкостью убедит кого угодно перенести любые страдания и не умереть.

— Уж не смеетесь ли вы надо мной, мистер Брайерли?

— Что вы, я говорю вполне серьезно. Помните, этот старикашка — как его там... говорил, что только прекрасное полезно...

Филипп не мог понять, просто ли Руфи нравилось бывать с Гарри, или она питала к нему более серьезное чувство. Во всяком случае, он не допускал и мысли о том, чтобы добиваться расположения Руфи, наговаривая на своего друга: во-первых, Гарри ему нравился; во-вторых, он, возможно, понимал, что таким путем добился бы как раз обратного результата. Ему было совершенно ясно, что Руфи не грозит опасность серьезного увлечения, — в этом у него не оставалось ни малейшего сомнения, как только он начинал размышлять о ее самозабвенном отношении к своей профессии. «Черт возьми, — говорил он самому себе, — ведь это не человек, а воплощенный рассудок». Впрочем, когда она бывала в игривом настроении и лукавый огонек светился в ее глазах, он был почти готов переменить свое мнение. Но в такие минуты она предпочитала общество Гарри. У Филиппа сразу портилось настроение, и он искал утешения в обществе Алисы, у которой никогда не бывало плохого настроения и которая умела развеселить его и заставить забыть всякую «сентиментальную чепуху». С Алисой он чувствовал себя легко и всегда находил темы для разговора; он никак не мог понять, почему с Руфью, перед которой ему хотелось блеснуть больше, чем перед кем бы то ни было на свете, он всегда терялся и молчал.

Гарри же был вполне доволен своим положением. Перелетным птицам легко живется на свете: они не выют себе гнезда и ни о чем не заботятся. Он без стеснения толковал с Филиппом о Руфи.

— Она на редкость славная девушка, — говорил он, — но на кой черт ей нужна медицина?

Однажды в Филармонии давали концерт, и все четверо договорились пойти на него и потом вернуться обратно джермантаунским поездом. Это была затея Филиппа, который купил билеты и предвкушал возможность провести вечер в обществе Руфи: он будет всю дорогу идти рядом с ней, будет сидеть рядом с ней в зале, наслаждаться чувством, которое всегда испытывает мужчина, сопровождающий женщину на концерт или еще куда-либо и оберегающий ее. Он любил музыку, хотя не очень понимал ее; по крайней мере он знал, что ему будет приятно видеть, какое удовольствие она доставляет Руфи.

Возможно, он рассчитывал воспользоваться случаем и поговорить с ней серьезно. Его любовь к Руфи не была тайной для миссис Боултон, и он был почти уверен, что семья Руфи ничего не имеет против него. Миссис Боултон ничем не выдавала своих мыслей, но Филипп все понял из того, как она однажды сказала в ответ на его вопросы: «А ты когда-нибудь говорил с ней откровенно?»

Почему бы ему и в самом деле не поговорить с нею и не покончить с сомнениями? В тот день Руфь вела себя еще более загадочно, и ее настроение совсем не вязалось с представлением о молодой женщине, всерьез посвятившей себя науке.

Неужели она по лицу Филиппа догадалась о его намерении? Вполне возможно, — ибо, когда обе девушки оделись и сошли вниз и молодые люди встретили их в вестибюле, Руфь, смеясь, сказала:

— Высокие идут вместе!

И не успел Филипп глазом моргнуть, как она уже взяла Гарри под руку, и вечер был испорчен. У него хватило вежливости, здравого смысла и дружеского такта, чтобы ничем не показать, как это его задело, поэтому он сказал Гарри:

— Вот видишь, как плохо быть маленьким.

И в течение всего вечера он ничем не показал Алисе, что, будь его воля, он выбрал бы себе в пару не ее. Тем не менее такой оборот дела очень огорчил и раздосадовал его.

В зале собрался цвет городского общества. Начался один из тех томительно скучных, кое-как составленных концертов, которые публика терпит только потому, что считает их модными; исполняются всякие *tours de force*¹ на фортепьяно и отрывки из опер, теряющие всякий смысл без сценического оформления, причем каждый номер отделен от другого бесконечными паузами; потом выступает любимец публики — бас, который поет комические арии и которого считают необычайно забавным, он всегда исполняет что-нибудь из «Севильского цирюльника»; затем поет кокетливый тенор — неизменную «Тихую летнюю ночь»; сопрано поет обычную «Бейся, сердце» — разливается в трелях, выводит рулады и ловит ртом воздух, пока не кончит благородным визгом, вызывающим бурю аплодисментов, под гул которых сопрано, улыбаясь и кланяясь, пятится задом со сцены.

Это был именно такой концерт, и Филипп сидел и думал, что никогда еще не проводил время более бездарно; как вдруг, как раз в тот момент, когда певица дошла до самого трогательного места баллады «Вечером во ржи» (сопрано всегда поет «Вечером во ржи» на бис; Филиппу вспомнилось, как бесподобно, с каким лукавым видом исполняла Черная Леда песенку «Коль целуешь ты подружку»), кто-то крикнул: «Пожар!»

В узком и длинном зале был один-единственный выход. В одно мгновение все оказались на ногах и бросились к двери. Раздались крики мужчин, визг женщин, паника охватила мечущуюся толпу. Каждый, подумай он хоть секунду, понял бы, что выбраться из зала невозможно и что свалка у двери приведет только к человеческим жертвам. Но думать никто не стал. Послышалось лишь несколько голосов: «Садитесь! Садитесь на свои места!» Однако толпа уже хлынула к двери.

¹ Здесь: трудные номера (*франц.*).

В проходах женщин сбивали с ног и бежали по ним дальше; грузные мужчины, совершенно потеряв самообладание, вскакивали на скамьи, стремясь перегнать остальных и первыми добраться до двери.

Филипп, заставивший девушек остаться на своих местах, увидел новую опасность и вскочил на ноги, чтобы предотвратить ее: еще минута, и эти невменяемые бросятся вперед прямо по рядам кресел и затопчут Руфь и Алису. Он вскочил на скамью и что было сил нанес удар первому, кто появился перед ним. Ему удалось повалить одного, который мчался прямо на них, и сдержать на мгновение натиск толпы или, вернее, расколоть ее надвое и направить ее движение по обе стороны от себя. Но это продолжалось всего одно мгновение: задние ряды напирали с огромной силой, и его тут же смяли и опрокинули.

И все же, вероятно, именно эта секунда передышки спасла девушек, потому что в тот момент, когда Филипп упал, оркестр весело грянул «Янки-Дудль». Услышав знакомую мелодию, толпа в удивлении замерла, и все слышали голос дирижера, который возвестил:

— Ложная тревога!

Волнение тут же улеглось, и сразу послышались смех и возгласы: «Я знал, что не случилось ничего страшного!» Или: «Как глупо люди ведут себя в такие минуты».

Однако концерт уже не возобновился. В публике оказалось немало пострадавших и даже тяжелораненых, и среди них — Филипп Стерлинг, лежавший без чувств поперек скамьи; левая рука у него висела, как плеть, а на голове зияла кровоточащая рана.

Когда его вынесли на воздух, он очнулся и сказал, что все это пустяки. Явился хирург, и было решено немедленно везти раненого к Боултонам; всю дорогу хирург поддерживал Филиппа, а тот больше не произнес ни слова. Руку ему вправили, голову перевязали, и доктор сказал, что больной придет в себя к утру, но что пока он очень слаб. Алиса, которая держалась молодцом во время паники в зале, очень встревожилась, увидев бледного и окровавленного Филиппа. Руфь с не-

возмутимым спокойствием помогала хирургу и искусной рукой забинтовала Филиппу голову. И если бы Филипп видел, с какой внутренней напряженностью и порывистой энергией Руфь взялась за дело, он бы многое понял.

Но рассудок его был затуманен, иначе он не пробормотал бы:

— Пусть это делает Алиса, не такая уж она высокая.

Так Руфь впервые применила на практике свои медицинские познания.

Глава I

ЛОРА ПОЛЬЗУЕТСЯ УСПЕХОМ В ВАШИНГТОНЕ

У женщин всякие есть плутни и уловки,
Чтоб из мужчин, из простофилей, вить веревки:
Как пчелы к сахару — так женщины к нам льнут,
Заманят, обольстят, вокруг пальца обведут.

Чосер.

Вашингтон Хокинс был в безмерном восторге от своей красавицы сестры. Она всегда была королевой в родном краю, говорил он, но теперь, одетая так богато, по последней моде, она превзошла самое себя.

— Тебе нельзя верить, Вашингтон, ты слишком пристрастен. Другие, наверно, будут не так снисходительны к твоей сестре.

— Ну уж нет! Вот увидишь! Ни одна женщина в Вашингтоне не сравнится с тобой, Лора. Через неделю-другую ты станешь знаменитостью. Все захотят с тобой познакомиться. Вот подожди, сама увидишь.

В глубине души Лора очень хотела, чтобы его пророчество сбылось; втайне она надеялась, что так оно и будет, — ведь, оказавшись в столице, она осматривала критическим взором каждую встречную женщину — и убеждалась, что всем им далеко до нее.

Недели две Вашингтон изо дня в день повсюду разъезжал с сестрой и знакомил ее с достопримечательностями столицы. Вскоре она уже была здесь как

дома; понемногу она избавлялась от той доли провинциальной застенчивости, что привезла из Хоука, и начала чувствовать себя гораздо свободнее в обществе выдающихся личностей, которых встречала за столом у Дилуорти. С тайным удовольствием подмечала она изумление и восхищение, неизменно появлявшиеся на всех лицах, едва она входила в гостиную в своем вечернем туалете; ей было приятно, что гости сенатора все чаще обращаются к ней; с удивлением она убедилась, что видные государственные деятели и прославленные воины, как правило, не изъясняются возвышенным языком земных богов — напротив, разговоры их почти всегда бесцветны и плоски; и как приятно ей было обнаружить, что сама она говорит остроумно, а подчас и блестяще, — иные ее удачные выражения даже подхватываются в этом избранном обществе и передаются из уст в уста.

Начались заседания конгресса, и чуть не каждый день Вашингтон провожал Лору на особую галерею, предназначенную для дам — жен или родственниц конгрессменов. Тут поле битвы было шире и соперниц много больше, и все же Лора видела, что множество взглядов обращается к ней и то один, то другой из присутствующих указывает на нее соседу; она была не так глупа, чтоб не заметить, что иные ораторы помоложе обращают свои речи не столько к председателю, сколько к ней; и ей польстило, что некий молодой франт — сенатор из Айовы — тотчас вышел на открытое место перед столом председателя и выставил ноги для всеобщего обозрения, едва она появилась на галерее, — а Лора слышала уже не раз, что обычно сей франт предпочитает задирать ноги на стол и любоваться ими самолично, эгоистически забывая о том, что и другие хотят насладиться этим зрелищем.

На Лору посыпались приглашения, и вскоре она прочно вошла в столичное общество. «Сезон» был в разгаре, первый торжественный прием не за горами, — речь идет о приеме, куда приглашают лишь избранных.

К этому времени сенатор Дилуорти окончательно убедился, что он ничуть не ошибся в этой провинциалочке из штата Миссури: без сомнения, ей не будет

равных на том поприще, которое он ей уготовал, — а потому вполне правильно и благоразумно позаботиться о том, чтобы она выступила во всеоружии. Итак, сенатор прибавил к гардеробу Лоры новые, еще более пышные наряды и подкрепил ее чары новыми драгоценностями, — это был заем под предстоящую продажу земли Хоккинсов.

Первый торжественный прием состоялся в особняке одного из членов кабинета министров. К десяти часам, когда явились сенатор и Лора, тут было уже полно народу, а негр в белых перчатках впускал все новых и новых гостей. В комнатах ослепительно сияли газовые рожки и жара была страшная. Хозяин и хозяйка встречали гостей на пороге. Лора была представлена им, и тотчас ее подхватил поток пышно одетых, декольтированных, сверкающих драгоценностями дам и затянутых во фраки мужчин в белых лайковых перчатках; куда бы она ни пошла, всюду ее провожал гул восхищения, глубоко отрадный ей — столь отрадный, что на мраморно-белом лице ее проступил румянец и оно стало еще прекраснее.

— Кто это? — слышала она. — Как хороша! Это новая красавица с Запада! — и прочее в том же духе.

Стоило ей остановиться, и ее тотчас окружали министры, генералы, конгрессмены и всякие видные особы. Их знакомили с Лорой, а затем неизменно следовал весьма оригинальный вопрос:

— Как вам нравится Вашингтон, мисс Хокинс?

И за ним другой вопрос, не менее оригинальный:

— Вы здесь впервые?

Когда обе эти волнующие темы оказывались исчерпаны, разговор обычно входил в более спокойное русло, но то и дело прерывался, ибо Лоре представляли новых знакомых, и те вновь задавали ей вопросы о том, как ей понравилась столица и бывала ли она здесь прежде. Так добрый час, а то и больше, «герцогиня» двигалась в этой давке, точно по седьмому небу, не помня себя от счастья. Теперь конец всем ее сомненьям, теперь она знает — она покорит всех и вся! Вдруг в толпе мелькнуло знакомое лицо —

к Лоре пробирался Гарри Брайерли; взгляд его, если можно так выразиться, громко говорил о том, как он рад этой встрече.

— Какое счастье! Скажите, дорогая мисс Хокинс...

— Тс-с! Я знаю, о чем вы сейчас спросите. Да, мне нравится Вашингтон, очень, очень нравится!

— Но я хотел спросить...

— Да, да, я вам отвечу сию минуту. Я здесь впервые. По-моему, вы и сами это знаете.

И сейчас же людской водоворот унес ее от Гарри Брайерли.

«Что она этим хотела сказать? Ну конечно ей нравится Вашингтон, — я не такой осел, чтоб спрашивать ее об этом. А что она здесь впервые — фу ты пропасть, да ведь она же знает, что мне-то это известно! Уж не думает ли она, что я стал круглым дураком? Забавная девушка, право. А как все вокруг нее увиваются! С этого дня она станет признанной королевой Вашингтона. Прежде чем кончится этот дурацкий вечер, она перезнакомится со всеми важными шишками, сколько их есть в городе. А ведь это только начало. Что ж, я всегда говорил, что она может быть козырем в этой игре... да, да! Она будет кружить головы мужчинам, а я — женщинам. Отличная выйдет пара на здешней политической арене. Я и четверти миллиона не взял бы за то, что я могу сделать вот в эту сессию, — нет, и четверти миллиона не возьму. Однако... это мне уже не нравится! Это ничтожество, секретарь посольства... и она ему улыбается, как будто он... а теперь адмиралу! А теперь она так и сияет перед этим надутым ослом — депутатом от Массачусетса... этакий выскочка, фабрикант лопат и заступов, засаленный пиковый валет!.. Не нравится мне это. И она, видно, даже не вспоминает обо мне... ни разу и не поглядела в мою сторону. Ладно, моя райская птичка, продолжай в том же духе, если тебе угодно. Но только знаю я вас, женщин. Вот я сейчас тоже начну улыбаться направо и налево — поглядим, как тебе это понравится!»

Гарри Брайерли и впрямь начал «улыбаться направо и налево» и пробрался поближе к Лоре, чтобы посмотреть, как это на нее подействует, но хитрость не

удалась: тщетно пытался он привлечь внимание Лоры. Она, видно, совсем его не замечала, а потому он не мог флиртовать весело и непринужденно, разговор его был отрывочен и бессвязен; он почти не смотрел на своих прекрасных собеседниц, досада и ревность одолевали его, и он чувствовал себя ужасно несчастным. Наконец он отказался от своей затеи, прислонился плечом к колонне и, надувшись, следил за каждым шагом Лоры. За ним из толпы гостей в свою очередь следила не одна пара прекрасных глаз, но Гарри этого не замечал. Он был поглощен другим: в глубине души он клял себя — каким же он был самовлюбленным остолопом! Всего час назад он собирался взять эту провинциалочку под свое покровительство, показать ей настоящую жизнь, насладиться ее удивлением и восторгом — и вот она по уши погрузилась в столичные чудеса и освоилась с ними чуть ли не лучше его самого. И снова он злится и негодует:

«Ну вот, теперь она строит глазки старому «брату Валааму», а он... уж наверно он приглашает ее на молитвенное собрание в конгрессе... пусть уж старик Дилуорти сам позаботится о том, чтобы она не упустила этого развлечения... А теперь она кокетничает со Спларджем от штата Нью-Йорк... а теперь — с Беттерсом из Нью-Хэмпшира... а теперь — с вице-президентом!.. Ну, я могу и удалиться. Хватит с меня!»

Но он не ушел. Он добрался было до двери — и тотчас, проклиная свое малодушие, стал проталкиваться обратно, чтобы еще разок взглянуть на Лору.

Около полуночи гостей пригласили ужинать, и толпа двинулась в столовую, где длиннейший стол был накрыт словно для роскошного пиршества, но оказалось, что все эти блюда куда приятнее на вид, чем на вкус. Дамы рядами расселись вдоль стен, собрались тут и там в кружки; чернокожие слуги наполняли бокалы, а мужчины сновали взад и вперед, передавая их представительницам прекрасного пола.

Гарри взял мороженого и, стоя вместе с другими мужчинами у стола, ел и прислушивался к гулу голосов.

Из обрывков разговора он узнал о Лоре немало неожиданного. Оказалось, она из очень хорошей, известной на Западе семьи; прекрасно образованна; очень богата и получит в наследство обширные земли; не то чтобы чересчур набожна, но христианка в самом полном и истинном значении этого слова, ибо посвятила себя прекрасному, благородному делу, а именно — жертвует все свои поместья, чтобы возвысить дух угнетенных и заблудших негров и направить их на путь светлый и праведный. Гарри заметил, что тот, кто выслушал всю эту историю, немедленно повторил ее ближайшему соседу, а этот сразу же передал ее дальше. И так она обошла всех мужчин и перекинулась к дамам. Гарри не мог проследить ее источников и так и не понял, кто первый пустил эту басню.

Одна мысль бесила его: почему он давным-давно не приехал в Вашингтон и не постарался очаровать Лору, пока она не успела оглядеться и была здесь совсем чужой! А он-то вместо этого понапрасну болтался в Филадельфии — и, пожалуй, упустил случай!

Еще только один раз за весь этот вечер Гарри улучил минуту, чтобы опять поговорить с Лорой, — и тут, впервые за много лет, веселая самоуверенность изменила ему, язык утратил всегдашнюю бойкость, и Гарри, к немалому своему удивлению, совсем оробел. Он рад был унести ноги, забраться в укромный уголок, чтобы втайне, без свидетелей, презирать себя и понемногу вновь обрести свой всегдашний петушиный задор.

Лора вернулась домой усталая, но взволнованная и счастливая, и сенатор Дилуорти был очень доволен. На другое утро он называл ее «дочь моя» и дал ей денег «на булавки», как он выразился; Лора послала сто пятьдесят долларов матери и дала немного в долг полковнику Селлерсу. Затем сенатор долго беседовал с Лорой наедине, развернул перед нею некоторые свои планы, касающиеся блага отечества, и веры, и бедных, и трезвенности, и объяснил ей, как она может содействовать ему в осуществлении этих достойных и благородных замыслов.

ЛОРУ ПОСЕЩАЮТ ЗНАТНЫЕ ДАМЫ

— Itancan Ihduhomni eciyapi, Itancan Tohanokihi-eca eciyapi, Itancan Iapiwaxte eciyapi, he hunkakewicaye cin etanhan otonwe kin caxtonpi; nakun Akicita Wicaxta-ceji-skuya, Akicita Anogite, Akicita Taku-kaxta...¹

Ƨe richeste wifmen alle: Ƨat were in londe,
and Ƨere hehere monnen dohtere. . .
Ƨere wes moni pal hende: on faire Ƨā uolke,
Ƨar was mochel honde: of manicunnes londe,
for ech wende to beon: betere Ƨan oƧer.

Layamon ².

Лора быстро поняла, что в Вашингтоне существует три разновидности аристократии. Первая (представителей ее прозвали ископаемыми) состоит из старин-

¹ — Милорд Поворот, милорд Приспособленец, милорд Красноречие, в честь предков которого назван этот город; а также мистер Лестец, мистер Двуликий, мистер Все что угодно... (на языке индейцев сиу (дакота)).

² Со всей страны туда съезжались жены
И дочери вельмож наизнатнейших.
Красой блистали лица и наряды, —
Но зависть там царила, ибо каждой
Хотелось быть нарядней всех и краше. — Л а й а м о н
(староангл.),

ных культурных и благородных семейств; они гордятся тем, что из поколения в поколение, с самого рождения республики, были и остаются ее государственными мужами и полководцами. Нелегко получить доступ в этот избранный круг. Номер два — аристократия средних слоев, о ней речь впереди. Аристократия номер три занимает особое место, о ней мы сейчас скажем несколько слов. Назовем ее аристократией выскочек — ведь так и называет ее широкая публика. Государственная должность, какими бы путями и средствами она ни была получена, дает человеку право войти в круг этой аристократии, а с ним туда забирается и вся его семья, каково бы ни было ее происхождение. Большое богатство дает еще более высокое и почетное место в среде этой аристократии, чем служебное положение. А если это богатство добыто из ряда вон выходящей изобретательностью и самую малость, для пикантности, отдает беззаконием — что ж, тем лучше! Эта аристократия не отличается строгостью нравов и не чужда хвастовства. Ископаемые аристократы презирают аристократию выскочек; выскочки насмеваются над ископаемыми и втайне им завидуют.

Существуют в «хорошем обществе» немаловажные обычаи, в которых необходимо разбираться женщине, оказавшейся на месте Лоры. Вот, например, дама, занимающая сколько-нибудь видное положение, приехала и поселилась в любом нашем городе; все дамы, занимающие не менее высокое положение, первыми наносят ей визит и, чтобы представиться, еще не входя в дом, вручают слуге свои карточки. Они являются иногда поодиночке, иногда вдвоем — и всегда одетые как на бал. Поговорив с хозяйкой ровно две минуты с четвертью, они удаляются. Если хозяйка дома желает продолжать это знакомство, она должна отдать визит не позже чем через две недели. Пропустить этот срок, значит прекратить знакомство. Если же она в течение двух недель отдаст визит, то уже другой стороне предоставляется право решать — поддерживать ли это знакомство, или нет. Если ей угодно его поддерживать, она должна отдать визит в течение года; и тогда, если обе дамы будут навещать друг друга раз в год — в на-

сих больших городах этого достаточно, — отношения установлены прочно. Теперь все идет как по маслу. Ежегодные визиты наносятся и возвращаются размеренно, аккуратно, и все вполне удовлетворены, хотя при этом вовсе не обязательно обеим дамам и в самом деле *видеться* чаще чем раз в несколько лет. Визитные карточки сохраняют между ними близость и поддерживают знакомство.

Вот, например, миссис А. наносит ежегодный визит: не выходя из кареты, она посылает наверх карточку, загнув на ней правый нижний уголок, — это означает, что она «явилась собственной персоной». Миссис Б. велит слуге передать, что она «занята», или «просит извинить», или, если она выскочка и плохо воспитана, то скажет, пожалуй, что ее «нет дома». Прекрасно; миссис А. катит дальше, очень довольная. Если дочь миссис А. выходит замуж или появилось прибавление семейства, миссис Б. приезжает, передает слуге свою карточку, загнув верхний левый уголок, и отправляется дальше по своим делам, — ибо этот загнутый уголок означает поздравление. Если супруг миссис Б. упадет с лестницы и сломает себе шею, миссис А. мимоездом передаст карточку с загнутым верхним правым уголком и удалится: этот уголок означает соболезнование. Очень важно не перепутать уголки, а то, пожалуй, ненароком выразишь соболезнование приятельнице, выходящей замуж, или поздравишь ее с похоронами. Если одна из дам намерена покинуть город, она едет к другой и передает свою карточку, на которой под именем и фамилией выведены буквы: Н. П. В., что означает: «наносит прощальный визит». Но довольно об этикете. Лора была заблаговременно посвящена своим наставником в таинства светской жизни и потому избежала досадных промахов и ошибок.

Первый светский визит, нанесенный Лоре представительницей старой знати, иначе говоря — ископаемых, был образчиком всех последующих визитов от этой ветви столичной аристократии. Ее навестила вдова генерал-майора Фалк-Фалкерсона с дочерью. Они приехали днем, в допотопной карете с вылипавшим

гербом на дверцах; старый седой негр сидел на козлах, рядом с ним негр помоложе — лакей. Оба они были в выцветших коричневых ливреях, уже немало повидавших на своем веку.

Посетительницы вошли в гостиную именно так, как оно и подобало: вдова — с величавостью, достойной елизаветинских времен, дочь — с непринужденной грацией и достоинством, в котором чувствовалось нечто неуловимое, говорившее о сознании собственного превосходства. На обеих были платья из великолепной дорогой ткани, но весьма скромных, неярких цветов и без бросающихся в глаза украшений. Все уселись, и вдова изрекла фразу не слишком необычную, но которая в ее устах обрела внушительность священного писания:

— Погода в последние дни не радует нас, мисс Хокинс.

— Да, вы правы, — сказала Лора. — Климат здесь, видимо, очень неустойчивый.

— У нас всегда такой климат, — сказала дочь; по всему видно было, что она просто отмечает это явление, но снимает с себя всякую за него ответственность. — Правда, мама?

— Совершенно верно, дитя мое. Вы любите зиму, мисс Хокинс? — Она произнесла слово «любите» таким тоном, будто считала, что истинное его значение — «одобряете».

— Лето я больше люблю, — ответила Лора. — Но, я думаю, у каждого времени года есть своя прелесть.

— Совершенно справедливо. Генерал придерживался того же мнения. Он полагал, что зимой должен идти снег, летом вполне законна жара, осенью — заморозки, а весной он не возражал против дождя. Он был нетребователен. И, надо сказать, он всегда восхищался грозой. Помнишь, мплочка? Твой отец всегда восхищался грозой.

— Он просто обожал грозу!

— Наверно, гром напоминал ему о битвах, — сказала Лора.

— Вполне возможно. Он очень уважал природу. Он часто говорил, что океан — это нечто поразительное. Помнишь, дочь моя?

— Да, мама, он это часто говорил. Я прекрасно помню.

— И ураганы. Его очень интересовали ураганы. И животные. Особенно собаки, охотничьи собаки. И еще кометы. Я думаю, у каждого из нас есть свои склонности. Я думаю, поэтому у всех нас разные вкусы. — Лора была того же мнения. — Должно быть, вам трудно и одиноко жить так далеко от дома и от ваших друзей, мисс Хокинс?

— Да, иногда бывает очень грустно, но ведь вокруг столько нового и интересного! Так что, право же, в моей жизни здесь больше света, чем тени.

— Вашингтон не скучен в это время года, — заметила младшая гостья. — Тут есть очень хорошее общество, можно приятно проводить время. Вы любите ездить на воды, мисс Хокинс?

— Мне не случалось бывать в таких местах, но мне всегда очень хотелось пожить на модном курорте.

— Жаль, что Вашингтон неудачно расположен в этом отношении, — сказала вдова. — До Ньюпорта так далеко и утомительно ехать. Но тут уж ничего не поделаешь.

«Лонг-Бранч и Кейп-Мей куда ближе Ньюпорта, — подумала Лора, — очевидно, эти места не в почете; попробуем нащупать почву».

И она сказала:

— А мне казалось, что Лонг-Бранч...

Незачем было «нащупывать» дальше — на лицах обеих посетительниц она прочла ясный и недвусмысленный ответ.

— В Лонг-Бранч никто не ездит, мисс Хокинс, — сказала вдова, — разве только люди без всякого положения в обществе. Да еще президент, — добавила она невозмутимо.

— В Ньюпорте сыро и холодно, и всегда ветер, и ужасно неприятно, — сказала дочь, — но туда ездят только избранные. Когда не имеешь выбора, нельзя быть привередливым в мелочах.

Визит длился уже почти три минуты. Обе гостьи поднялись, исполненные чувства собственного достоинства, осчастливили Лору приглашением навестить их как-нибудь — и удалились. Лора осталась в гостиной, предоставив им самим выбираться из дому; это казалось ей очень негостеприимным, но она следовала полученным наставлениям. Несколько минут она стояла в раздумье.

— Да, на айсберги поглядеть приятно, — сказала она себе, — но как собеседники они мне меньше нравятся.

И однако она слышала кое-что об этих двух гостях и знала, что они совсем не айсберги, когда плавают в своих родных, привычных водах, напротив — они достойны всяческого уважения, их репутация безупречна, они и добры, и благородны, и щедры. Как жаль, думала Лора, что в торжественных случаях они так неузнаваемо, беспросветно скучны.

Первый визит, который нанесли Лоре представительницы противоположной разновидности вашингтонской аристократии, последовал сразу за только что описанным. На сей раз ее навестили distinguished миссис Оливер Хиггинс, distinguished миссис Патрик О'Райли (произносится на французский лад: Орейе), мисс Бриджет Орейе, миссис Питер Гэшли, мисс Гэшли и мисс Эмелин Гэшли.

Три кареты съехались одновременно с разных сторон. Они были новенькие и удивительно блестящие; медные части упряжи, начищенные и отполированные, украшены были замысловатыми монограммами. Бросались в глаза пышные гербы на дверцах и выведенные по-латыни девизы. Кучера и лакеи щеголяли в новеньких с иголочки, ярких ливреях, цилиндры на них напоминали печные трубы с воткнутой сбоку бритвенной кисточкой в черной розетке.

Посетительницы прошептались в гостиную и заполнили ее удушающе сладкими ароматами парфюмерного происхождения. Платья их были всех цветов радуги и сшиты по самой наиновейшей моде и даже более того; все гостьи были увешаны драгоценностями — большей частью бриллиантами. Всякий должен

был понять с первого взгляда, что нарядить этих дам стоило не дешево.

Достопочтенная миссис Оливер Хиггинс была женой представителя от одной отдаленной Территории. Дженгтльмен этот содержал самый большой салун и продавал лучшее виски в самой большой деревне в своем захолустье, а потому, разумеется, был признан первым человеком в тех краях и достойнейшим их представителем. Он пользовался большим влиянием, так как был человеком с общественной жилкой: он был начальник пожарной команды, умел неподражаемо браниться и сквернословить и являлся без приглашения в любой дом. Манишки его всегда были безупречны, сапоги начищены до блеска, и никто не умел с более утонченным изяществом поднять ногу и белоснежным носовым платком смахнуть с башмака случайную пылинку. Его часовая цепочка весила не меньше фунта; золотой перстень стоил сорок пять долларов, булавка в галстук сверкала бриллиантом, и пробор был аккуратнейший до самого затылка. Хиггинса всегда считали самым элегантным мужчиной на всей Территории, и все признавали, что никто не сравнится с ним в умение рассказать неприличный анекдот, — разве лишь сам седовласый губернатор. Достопочтенный Хиггинс не напрасно явился в Вашингтон служить своему отечеству. Ассигнования, которые он выудил у конгресса на содержание индейцев, населяющих Территорию, могли бы сделать всех этих дикарей богачами, если бы только эти деньги когда-нибудь дошли по назначению.

Его супруга, достопочтенная миссис Хиггинс, была особа из тех, что крикливо одеваются и чересчур много говорят, и занимала среди выскочек видное положение. Английским языком она, в общем, владела недурно, хотя и говорила нараспев, как все истинные уроженцы Нью-Йорка.

Нефть — вот сила, внезапно преобразившая скромных деревенских тружеников Гэшли в важных аристократов, украшение города Вашингтона.

Достопочтенный Патрик Орейе был богатый ирландец французского происхождения, родом из Корка. Не то чтобы он приехал из Корка богатым человеком —

совсем напротив. Впервые прибыв с женой в Нью-Йорк, он задержался в Касл-Гардене лишь на несколько минут, чтобы получить и предъявить бумаги, удостоверяющие, что он прожил в Америке два года, — а затем проголосовал за демократический список и отправился по городу в поисках жилья. Он нашел себе дом, потом нанялся в подручные к архитектору и подрядчику; весь день он таскал кирпичи, а по вечерам изучал политику. Бережливый и неутомимый, он в скором времени открыл дрянной кабачок в сомнительном квартале и благодаря этому приобрел политический вес. Мы, американцы, превыше всего заботимся о том, чтобы народ сам выбирал своих представителей и правителей, — мы не позволяем нашим крупным должностным лицам назначать чиновников на должности помельче. Мы предпочитаем сохранить за собой столь великое право. Мы полагаем, что надежней самим избирать себе судей и всех прочих. У нас в городах на окружных конференциях избирают делегатов на съезды по выборам и предписывают им, кого выбрать. Окружными конференциями заправляют трактирщики и их слуги (ибо все прочие терпеть не могут политических хлопот и сидят по домам); делегаты окружных конференций составляют на предвыборном съезде списки неподкупных кандидатов — один съезд выдвигает демократический список, другой — республиканский; а затем в должный час выступает на сцену великая сила во образе покорной толпы и беспрепятственно совершает свой выбор и благословляет небеса за то, что мы живем в свободной стране, где невозможен деспотизм ни в какой форме.

Патрик О'Райли (так тогда писалось его имя) быстро обзавелся друзьями и стал влиятельным человеком, потому что он вечно толкался в полицейском суде, готовый поручиться за своих постоянных клиентов или подтвердить их алиби, если кто-нибудь из них в драке убил кого-нибудь в его, О'Райли, кабаке. А потому он вскоре сделался политическим лидером и был избран на какую-то небольшую должность в муниципалитете. Из своего ничтожного жалованья он быстро отложил сумму, достаточную чтобы открыть первокласс-

ный салун почти в самом центре города; в салуне играли в фараон, и у хозяина хватало денег, чтобы держать банк. Так он завоевал известность и всеобщее уважение. Ему буквально навязали пост олдермена, и это было все равно что подарить ему золотые россыпи. Он завел собственных лошадей и прикрыл питейное заведение.

Понемногу он сделался крупным подрядчиком на работах по благоустройству города, закадычным другом самого Уильяма М. Уида, прикарманившего двадцать миллионов долларов из городских средств, — человека, окруженного столь единодушной завистью, почетом и восхищением, что шериф, явившийся к нему в контору, чтобы арестовать его как уголовного преступника, краснел и извинялся, а один из иллюстрированных журналов изобразил эту сцену и сообщил о происшедшем в таких выражениях, что ясно было: издатель весьма сожалеет об оскорблении, нанесенном столь выдающейся личности, как мистер Уид.

Мистер О'Райли взял на себя поставку кровельных гвоздей для нового здания суда, по три тысячи долларов за бочонок, и двухсот шестнадцати дюжин шестидесятицентовых градусников, по полторы тысячи долларов дюжина; контролер и бухгалтер правления провели счета; мэр, который был не преступником, а попросту невеждой в этих делах, счета подписал. Когда они были оплачены, поклонники мистера О'Райли, не уступая в щедрости друзьям мистера Уида, преподнесли ему булавку с бриллиантом величиной в орех, а засим мистер О'Райли удалился от дел и развлекался тем, что за баснословные суммы скупал дома и земли и записывал их на чужое имя. Через некоторое время в газетах появились разоблачения. Уида и О'Райли называли ворами. Но тут народ поднялся как один человек и повторным голосованием избрал обоих этих джентльменов в законодательное собрание штата Нью-Йорк, полагая, очевидно, что это самое подходящее для них поле деятельности. Газеты подняли вой, судебные инстанции пытались привлечь новоявленных законодателей к ответу за их невинные шалости. Наша восхитительная система суда присяжных дала возмож-

ность обоим преследуемым чиновникам в отставке обеспечить себе присяжных в составе девяти пациентов ближайшего сумасшедшего дома и трех ученых джентльменов, прошедших полный курс наук в тюрьме Синг-Синг, — и вот их репутация полностью восстановлена. К законодательному собранию взывали, чтоб оно изгнало их из своей среды, но оно не вняло призывам. Ведь это было все равно что просить детей отречься от родного отца. То было вполне современное законодательное собрание.

Обретя богатство и известность, мистер О'Райли, который все еще именовался, в качестве бывшего «народного избранника» достопочтенным (ибо титулы никогда не отомрут в Америке, хоть мы и гордимся тем, что, как истинные республиканцы, посмеиваемся над подобными пустяками), отбыл со своим семейством в Европу. Они изъездили ее вдоль и поперек и на все смотрели свысока, — и не удивительно, таким людям от природы свойственно задирать нос; в конце концов они поселились в Париже — ведь Париж это рай для американцев подобного сорта. Они прожили там два года и научились говорить по-английски с иностранным акцентом, — не то чтобы прежде они говорили без акцента, но теперь он стал другим. Наконец они вернулись в Америку и стали сверхмодными людьми. Теперь они называли себя «достопочтенный Патрик Орейе с семейством» — и под этим именем известны по сей день.

Лора попросила посетительниц сесть, и тотчас завязалась легкая, искрящаяся остроумием беседа, исполненная непринужденности, присущей лишь людям, которые всю жизнь вращаются в высшем свете.

— Я собиралась навестить вас раньше, мисс Хокинс, — сказала достопочтенная миссис Орейе, — но была такая ужасная погода! Как вам нравится Вашингтон?

Лоре, конечно, он очень понравился.

Миссис Гэшли. Вы здесь впервые?

Да, она здесь впервые.

Все. Неужели?

Миссис Орейе. Боюсь, вам будет неприятна здешняя погода, мисс Хокинс. Она просто невыносима. Тут всегда такая погода. Я уж говорю мистеру Орейе, что я не могу и не хочу мириться с этим климатом. Если бы еще мы были вынуждены терпеть, я бы терпела, но такой необходимости вовсе нет, и я не вижу в этом смысла. Иногда просто жалко смотреть, как дети тоскуют по Парижу. Бриджет, та сhère, не смотри так печально... Бедная девочка, стоит ей услышать слово «Париж», и она становится такая грустная!

Миссис Гэшли. Ну еще бы, миссис Орейе! В Париже ведь живешь, а здесь только существуешь. Я от Парижа без ума, я предпочла бы перебиваться там на какие-нибудь десять тысяч долларов в год, чем мучиться и тосковать здесь при самых приличных доходах.

Мисс Гэшли. Тогда поедем назад, мама! Я просто ненавижу эту глупую Америку, хоть она и наша милая родина.

Мисс Эмелин Гэшли. Как, ты хочешь уехать и покинуть бедняжку Джонни Петерсона? *(Этот вызываает общий веселый смех.)*

Мисс Гэшли. Как тебе не стыдно, сестра, что ты говоришь!

Мисс Эмелин Гэшли. Ну, не кипятись, пожалуйста. Я просто шучу. Если он и ходит к нам каждый вечер, так это только ради мамы, ясное дело! *(Общий смех.)*

Мисс Гэшли *(премилостившись)*. Эмелин, как ты можешь!

Миссис Гэшли. Перестань дразнить сестру, Эмелин. На что это похоже!

Миссис Орейе. Какие у вас прелестные кораллы, мисс Хокинс! Посмотри, Бриджет, милочка. Я страшно люблю кораллы; такая жалость, что сейчас все их носят, на кого ни погляди. У меня есть очень элегантные кораллы, хотя и не такие элегантные, как ваши, но, конечно, я их теперь уже не надеваю.

Лора. Да, я знаю, что теперь все носят кораллы, но свои я очень люблю, мне подарил их большой друг нашей семьи, некто Мэрфи. Очаровательный человек,

хотя большой чудак. Мы всегда думали, что он ирландец, но потом он разбогател и уехал года на два за границу, а когда вернулся, поглядели бы вы на него! Можно было подумать, что он в жизни не видал картошки! Он спрашивал, что это такое! Но знаете, уж если у человека рот самим господом богом предназначен для того, чтобы поедать картошку, так это сразу видно, даже когда он пьет шампанское, — тут уж никакие поездки за границу не помогут. И все-таки наш знакомый был очень милый, и эта маленькая слабость ничуть его не портила. Все мы немножко притворщики; я думаю, в каждом человеке можно найти что-то поддельное, если как следует присмотреться. Мне так хотелось бы побывать во Франции. Наверно, наше общество очень выигрывает по сравнению с французским, не правда ли, миссис Орейе?

Миссис Орейе. Ну что вы, мисс Хокинс! Французское общество гораздо элегантнее, гораздо!

Лора. Как грустно это слышать. Наше общество, видно, за последнее время изменилось к худшему.

Миссис Орейе. Да, очень! Некоторые живут на такие гроши, что мы прислуге больше платим. Но и среди них есть очень хорошие люди, ничего не могу сказать... вполне порядочные люди.

Лора. Я слышала, старые аристократические семейства держатся несколько высокомерно. Вероятно, вы не часто встречаетесь в обществе с людьми, с которыми были в близких отношениях лет двенадцать — пятнадцать назад?

Миссис Орейе. О нет... почти не встречаемся.

Мистер О'Райли за двенадцать — пятнадцать лет перед этим еще содержал свой первый кабачок и выгораживал его завсегдатаев перед законом, так что его супруге стало весьма не по себе, когда разговор принял такой оборот.

Достопочтенная миссис Хиггинс. А как себя чувствует Франсуа, миссис Орейе? Он поправился?

Миссис Орейе (*признательная за возможность переменить тему*). Да не совсем. На это трудно и надеяться. Он всегда был хрупкий... главное, легкие у

него слабые. Этот ужасный климат очень плохо влияет на них, да еще после Пэрижа, там ведь климат такой мягкий.

Миссис Хиггинс. Да, вы правы. Муж говорит: Перси умрет, если тут останется. Так что я хочу немного поездить, — погляжу, не поможет ли. На прошлой неделе я говорила с одной дамой из Флориды, она мне советовала съездить в Ки-Уэст. Я ей сказала, что Перси не выносит ветра, он страдает легкими, тогда она посоветовала Сент-Огастен. Это ужасная даль — тысяча миль, говорят, даже тысяча двести. Но в подобных случаях, знаете, не станешь считаться с неудобствами.

Миссис Орейе. Ну конечно. Если Франсуа в скором времени не поправится, нам придется переселиться куда-нибудь, может быть даже в Европу. Мы подумывали съездить на воды, но я, право, не знаю. Это такая ответственность, стараешься соблюсти все предосторожности. А Хильдебранд уже снова на ногах, миссис Гэшли?

Миссис Гэшли. Да, но не более того. Это оказалось несварение желудка, знаете, и похоже, что хроническое. Я так боюсь катара. Мы все очень за него беспокоились. Доктор рекомендовал печеные яблоки и несвежее мясо и, мне кажется, это помогло. У него сейчас душа ничего другого не принимает. Мы теперь пригласили доктора Шовела. А кто ваш врач, миссис Хиггинс?

Миссис Хиггинс. Видите ли, у нас долгое время был доктор Спунер, но он слишком часто прописывал рвотное, а это, по-моему, ослабляет, так что мы вместо него пригласили доктора Лезерса. Он нам очень нравится. Такая крупная величина, его и в Европе знают. Он первым делом предложил каждый день выносить Перси на задний двор на свежий воздух совершенно раздетого.

Миссис Орейе и миссис Гэшли. Да что вы! Миссис Хиггинс. Истинная правда. И ему дня на два-три полегчало, верно. Но потом доктор сказал, что это, видно, уж очень сильное средство, и опять велел делать горячие ножные ванны на ночь и холодный

душ по утрам. Только я не думаю, чтоб от этого была настоящая польза в здешнем климате. Боюсь, мы потеряем его, если тут останемся.

Миссис Орейе. Вы, наверно, слышали, какой ужас мы пережили в позапрошлую субботу? Не слышали? Как странно! А, помню — вы все тогда уезжали в Ричмонд. Франсуа упал в холле из оконной ниши, с высоты второго этажа.

Все. Боже милостивый!

Миссис Орейе. Да, представьте. И сломал два ребра.

Все. Какой ужас!

Миссис Орейе. Чистую правду вам говорю. Мы сперва испугались, нет ли каких внутренних повреждений. Дело было уже вечером, в девятом часу. Мы, конечно, растерялись, стали метаться взад и вперед, и все без толку. Потом я кинулась к доктору Спрэгу, он живет рядом, ведь за нашим врачом бежать было некогда, а этот Спрэг, знаете, начальник Медицинского университета... Так вот, притащила я его к нам, и, представьте, только он увидел Франсуа — и говорит: «Поплите за вашим постоянным врачом, сударыня», — даже не сказал, а прямо зарычал, как медведь, повернулся и ушел, так ничего и не сделал.

Все. Какой негодяй!

Миссис Орейе. Да уж что говорить. Я чуть с ума не сошла. Мы разогнали всю прислугу искать нашего врача и телеграфировали маме; она была в Нью-Йорке и примчалась с первым же поездом. А потом приехал наконец доктор и, представьте, сказал, что у Франсуа еще и нога сломана!

Все. О господи!

Миссис Орейе. Да, да, доктор наложил лубки и повязку на ногу и на ребра и дал Франсуа чего-то успокаивающего, потому что он уж очень волновался, и заставил его уснуть. Бедняжка весь дрожал и перепугался до смерти, прямо жалость была смотреть на него. Мы уложили его на мою постель; мистер Орейе лег в комнате для гостей, а я осталась около Франсуа, но не спала, уж поверьте, глаз не сомкнула. Мы с Бриджет дежурили возле него всю ночь, и наш старик

доктор, дай ему бог здоровья, просидел с нами до двух часов. Потом приехала мама, она до того измучилась и переволновалась, что ей самой в пору было лечь в постель и позвать врача; но когда она увидела, что Франсуа вне опасности, она пришла в себя и вечером уже сама могла возле него дежурить. И вот три дня и три ночи мы почти не отходили от его постели, — разве что вздремнешь часок, не больше. А потом доктор сказал, что Франсуа уже ничто не грозит, и мы были так благодарны ему, так благодарны, прямо сказать вам не могу.

Во время этого разговора Лора чувствовала, что ее уважение к гостям возрастает с каждой минутой; и это вполне естественно: любовь и преданность очень украшают человека, который без этих качеств показался бы непривлекательным и даже отталкивающим.

Миссис Гэшли. На вашем месте, я бы, наверно, умерла, миссис Орейе. Когда Хильдебранду стало очень худо от воспаления легких, мы с Эмелин почти все время были с ним одни, и мы ни минуты не спали целых два дня и две ночи. Это было в Ньюпорте, и мы боялись положиться на наемных сиделок. Раз в отеле с ним случился припадок, и он вскочил и выбежал на галерею совершенно раздетый, а дул такой ледяной ветер... Мы перепугались насмерть и кинулись за ним. И когда все эти леди и джентльмены увидели, что у него припадок, женщины все до единой разбежались по своим комнатам, а из мужчин хоть бы кто пальцем шевельнул, чтобы помочь нам, такие негодяи! Ну, и после этого целых десять дней его жизнь была на волоске; и когда он наконец оказался вне опасности, мы с Эмелин тут же слегли, до того мы измучились. Нет уж, не хотела бы я пережить это еще раз... Бедняжка Франсуа! Которую ногу он сломал, миссис Орейе?

Миссис Орейе. Правую заднюю. Попрыгай, Франсуа дорогой, покажи дамам, как ужасно ты до сих пор хромаешь.

Франсуа заупрямился было, но его нежно уговаривали, осторожно спустили на пол, — и он вполне прилично попрыгал на трех ногах, поджимая правую заднюю. Все расчувствовались, даже Лора, — она по-

чувствовала, что ее мутит. Девушка, выросшая в деревне, и подозревать не могла, что крохотная скулящая черная с рыжими подпалинами собачонка в красной вышитой попоне, во все время визита не слезавшая с колен миссис Орейе, — это и есть тот самый Франсуа, чьи страдания пробудили в ней столько сочувствия.

— Бедняжка! — сказала она. — Вы могли его лишиться!

Миссис Орейе. Ох, и не говорите, мисс Хокинс, умоляю вас! Мне от одной этой мысли дурно становится!

Лора. А Хильдебранд и Перси — они... они такие же?

Миссис Гэшли. Нет, в Хилли, как я понимаю, есть шотландская кровь.

Миссис Хиггинс. Перси той же породы, только он на два месяца и десять дней старше, и уши у него подрезаны. Его отец, Мартин Фаркьюэр Таппер, был слабого здоровья и умер молодым, но характер у него был прелестный. А мать Перси страдала болезнью сердца, но была очень кротка и послушна и притом замечательно ловила крыс¹.

Гости так увлеклись обсуждением своих семейных дел, что засиделись гораздо дольше, чем позволяют приличия и обычаи; но теперь они спохватились и поспешили распрощаться.

Лора была вне себя от ярости. Чем больше она думала о своих посетительницах и об их нелепом разговоре, тем сильнее чувствовала себя оскорбленной; и однако она признавалась себе, что если придется выбирать между двумя противоположными разновидностями здешней аристократии, то в конечном счете, из чисто деловых соображений, лучше держаться выскочек. Она приехала сюда, в Вашингтон, только для того,

¹ Сколь диким и возмутительным ни покажется этот разговор всякому разумному человеку, он отнюдь не преувеличение: точно такую беседу слышал один из нас в некоей американской гостинице; в противном случае мы не осмелились бы вставить подобную главу в книгу, посвященную описанию нравов нашего общества. (*Прим. авторов.*)

чтобы достичь определенной цели, достичь во что бы то ни стало, — и эти люди еще могут быть ей полезны; а уж ископаемые никак не одобряют ее планов и замыслов, это ясно. Если дело дойдет до выбора, — а рано или поздно выбирать придется, — она примет решение без большого труда и без особых угрызений совести.

Но самой аристократической из трех вашингтонских каст и притом куда более могущественной, чем две остальные, была аристократия средних слоев. Ее составляли семьи общественных деятелей чуть ли не всех штатов — представителей как исполнительной, так и законодательной власти, людей, чья репутация долгие годы оставалась незапятнанной как в их родных краях, так и в столице. И сами эти люди и их семьи были чужды всего показного; образованные, с утонченным вкусом, они мало интересовались двумя другими слоями столичной знати, — они невозмутимо вращались в своей собственной достаточно широкой сфере, уверенные в своей силе, сознавая, сколь могущественно их влияние. Им не приходилось старательно соблюдать какие-то внешние условности, тревожиться из-за чьего-то соперничества, кому-то завидовать. Они могли позволить себе заниматься своими собственными делами, предоставляя всем прочим следовать их примеру или нет — как угодно. Они были безупречны, и этим все сказано.

У сенатора Дилуорти не бывало столкновений ни с одним из этих лагерей. Он трудился на благо всех трех и со всеми тремя заодно. Он говорил, что все люди братья и на ниве служения народу все вправе рассчитывать на честную, самоотверженную помощь и поддержку со стороны труженика-христианина.

Поразмыслив, Лора решила, что события сами покажут, какой линии поведения ей лучше держаться в отношениях с тремя разновидностями столичной аристократии.

Быть может, читателю показалось, что Лора была несколько резка в своих намеках по адресу миссис Орейе, когда разговор зашел о кораллах, но сама Лора вовсе этого не думала. Ей не свойственна была чрез-

мерная утонченность чувств; да это и понятно, если вспомнить, в какой среде и под чьим влиянием складывался ее характер; она считала, что «дать сдачи» — только справедливо, и всякий имеет право ответить едкой насмешкой на обидный намек. Ей случалось разговаривать с людьми так, что иные дамы были бы просто шокированы, услышав ее; но Лора даже гордилась иными своими меткими ударами. Мы весьма сожалеем, что не можем изобразить ее непогрешимой героиней романа; но мы не можем этого сделать, ибо Лора отнюдь не чужда человеческих слабостей.

Она считала, что светская беседа ей отлично удастся. Давным-давно, когда ей впервые пришлось на ум, что однажды она сможет появиться в вашингтонском высшем свете, она поняла, каким необходимым оружием на этом поле битвы будет умение поддерживать разговор; она поняла также, что ей придется встречаться и беседовать там главным образом с мужчинами, притом, очевидно, с людьми высокообразованными и неглупыми, а потому надо вооружиться чем-то более существенным, чем те блестящие пустяки, из которых состоит обычная светская болтовня; и она тотчас принялась читать — упорно, неутомимо, по строго обдуманному плану, — и с тех пор уже каждую свободную минуту отдавала этому занятию. Таким образом она приобрела изрядный запас поверхностных, но разнообразных познаний и теперь, успешно применяя их, прослыла в Вашингтоне необычайно сведущей и образованной женщиной. Вполне естественно, что при этом ее литературный вкус постепенно развивался, речь становилась все культурнее и изысканнее, хотя надо признать, что изредка прошлое давало себя знать, и в речи Лоры проскальзывали не совсем изящные выражения или едва заметные грамматические неправильности.

ЛОРА В КУЛУАРАХ КОНГРЕССА

Eet Jomfru Haar drager stærkere end
ti Par Oxen¹.

Проведя три месяца в Вашингтоне, Лора лишь в одном отношении осталась той же, какой сюда приехала, а именно — она по-прежнему называлась Лорой Хокинс. Во всем остальном она заметно изменилась.

Она приехала с Запада озабоченная, неуверенная в себе, опасаясь, что ее чарам, и внешним и внутренним, не сравниться с чарами здешних женщин; теперь же она твердо знала, что красота ее признана всеми, что и ума и обаяния у нее побольше, чем у других. Итак, обо всем этом она могла больше не тревожиться. Далее. Когда она приехала в Вашингтон, у нее была привычка к строгой экономии, но не было денег, — теперь она изысканно одевается; покупая что-нибудь, не задумывается над тем, сколько надо заплатить; и денег у нее вдоволь. Она щедро помогает матери и Вашингтону, а также и полковнику Селлерсу, который всякий раз навязывает ей долговую расписку с указанием процентов, — тут он непоколебим: она непременно должна получать проценты! Это стало излюбленным

¹ В одном девичьем волоске больше силы, чем в упряжке из десяти быков (*датск.*).

занятием полковника — просматривать счета и убеждаться, что проценты выросли до кругленькой суммы. Каким надежным, хоть и скромным подспорьем будут они для Лоры, если ее постигнут какие-либо превратности судьбы! По правде говоря, полковник не сомневался, что он-то сумеет защитить Лору от бедности; и если ее расточительность минутами тревожила его, он тотчас отмахивался от неприятных мыслей, говоря себе: «Пусть живет как знает... даже если она потеряет все, она обеспечена: эти проценты принесут ей вполне приличный доход».

Лора была в наилучших отношениях со многими членами конгресса, и кое у кого возникли подозрения на ее счет: поговаривали, что она принадлежит к презренной категории кулуарных политиков; но развзлые языки пощадят хоть одну красивую женщину в таком городе, как Вашингтон? Порядочные люди не склонны были осудить Лору на основании одних только подозрений, и потому злословие не слишком повредило ей. Конечно, она всегда весела, стала знаменитостью, — и даже странно было бы, если бы о ней не сплетничали. Но она постепенно привыкала к известности и научилась сидеть в театре с самым невозмутимым видом, словно ничего не замечая, под перекрестным огнем полусотни направленных на нее лорнетов; она не обнаруживала досады, даже когда ей случалось, проходя по улице, услышать негромкое: «Это она!»

В воздухе носились слухи о широких, но неопределенных планах, которые должны были в конечном счете принести Лоре миллионы; одни подозревали, что существует один план, другие — другой, но точно никто ничего не знал. Все были уверены только в одном: Лора владеет поистине княжескими поместьями, ее земли необъятны и им цены нет, и правительство непременно хочет приобрести их в интересах общества; а Лора соглашается продать землю, но, во всяком случае, не слишком к этому стремится и отнюдь не торопится. Ходили слухи, что сделка давно бы состоялась, если бы не сенатор Дилуорти, который решил, что правительство получит эту землю лишь при одном

условии: чтобы она была использована для блага и просвещения негров. Лоре же, как говорили, все равно, для чего используют ее землю (правда, ходили и противоположные слухи), но имеются еще и другие наследники, для которых желание сенатора — закон. Наконец многие утверждали, что хоть и нетрудно продать правительству землю во имя благополучия негров, прибегнув к обычным методам воздействия при голосовании, но сенатор Дилуорти не желает, чтобы на столь прекрасное благотворительное начинание пала хоть тень продажности, — он твердо решил, что ни один голос не должен быть куплен. Никто не мог добиться от Лоры сколько-нибудь определенных сведений на этот счет, и сплетни питались главным образом догадками. Но благодаря этим сплетням и слухам Лору считали необычайно богатой и ожидали, что в скором будущем богатства ее умножатся. А потому ей очень льстили и не меньше того завидовали. Ее состояние привлекало толпы обожателей. Быть может, сначала они являлись, чтобы преклониться перед ее богатством, но быстро становились горячими поклонниками ее самой. Перед ее чарами не устояли иные из виднейших людей того времени. Лора никого не отвергала, когда за нею начинали ухаживать, но позднее, когда человек был уже по уши влюблен, объявляла ему о своем твердом решении: она никогда не выйдет замуж! Неудачливому влюбленному оставалось только удалиться, ненавидя и кляня всех женщин на свете, а Лора преспокойно прибавляла к своим трофеям еще один скальп, с горечью вспоминая тот черный день, когда полковник Селби втоптал в грязь ее любовь и ее гордость. И скоро молва стала утверждать, что путь ее вымощен разбитыми сердцами.

Бедняга Вашингтон с течением времени обнаружил, что и он, как его необычайно одаренная сестра, являет собою чудо ума. Он никак не мог понять, откуда это пошло (ему и в голову не приходило, что это как-то связано со слухами о громадном состоянии его семьи). Он не мог найти этому каких-либо разумных объяснений, — оставалось примириться с фактом, не

пытаясь разрешить загадку. Он и сам не заметил, как его вовлекли в лучшее столичное общество — и вот за ним ухаживают, им восхищаются и завидуют ему, словно он заморский цирюльник, из тех, что иной раз залетают к нам, присвоив себе громкий титул, и женятся на глупой дочке какого-нибудь богатого дурака. Случалось, на званом обеде или на торжественном приеме Вашингтон оказывался в центре общего внимания и, заметив это, чувствовал себя прескверно. Надо было хоть что-нибудь сказать, и он копался в недрах своего мозга, подрывал заряд, а когда разлетались во все стороны обломки и рассеивался дым, ему-то самому результат казался довольно жалким: глыба-другая пустой породы... и его поражало, что все восхищались так, словно он добыл тонну-другую чистого золота. Каждое его слово приводило слушателей в восторг и вызывало шумные похвалы; ему случалось невольно подслушать, как иные уверяли, что он человек блестящего ума, — это говорили чаще всего девицы на выданье и их мамы. Оказалось, в городе повторяют кое-какие его удачные словечки. Когда Вашингтону приходилось что-нибудь такое услышать, он запоминал это изречение и дома, без свидетелей, пытался разобраться: что же тут хорошего? На первых порах ему казалось, что и попугай может сказать не глупее; но постепенно он стал думать, что, пожалуй, недооценивает себя, — и после этого стал анализировать свои остроты уже не без удовольствия и находил в них блеск, которого, как видно, в былые времена просто не замечал; он старался запомнить острое словечко и не упускал случая щегольнуть им перед новыми слушателями. Вскоре у него накопился изрядный запас таких блестящих изречений, — тогда он стал довольствоваться тем, что повторял их, не изобретая новых, чтобы не повредить своей репутации какой-нибудь неудачной выдумкой.

В гостях, на балах и обедах Вашингтону вечно навязывали на попечение каких-то молодых девиц, и он начал опасаться, что его умышленно преследуют; с тех пор он уже не мог наслаждаться светскими увеселениями: его непрестанно мучил страх перед женскими

кознями и ловушками. Стоило ему уделить какой-нибудь девице хоть каплю внимания, какого требует простая вежливость, и его тотчас объявляли женихом, — это приводило Вашингтона в отчаяние. Иные из таких сообщений попадали в газеты, и ему то и дело приходилось писать Луизе, что все это ложь и что она должна верить в него, не обращать внимания на сплетни и не огорчаться из-за них.

Вашингтон, как и все вокруг, даже не подозревал, что в воздухе носится великое богатство и, по всей видимости, готово свалиться на их семью. Лора не желала ничего ему объяснить. Она сказала только:

— Имей терпенье. Подожди. Сам увидишь.

— Но когда же, Лора?

— Я думаю, ждать не так уж долго.

— А почему ты так думаешь?

— У меня есть основания, и серьезные. Ты только жди, имей терпенье.

— И мы будем так богаты, как говорят?

— А что говорят?

— О, называют громадную сумму. Миллионы!

— Да, это будут большие деньги.

— А сколько, Лора? Неужели правда миллионы?

— Да, пожалуй что и так. Это и правда будут миллионы. Ну, теперь ты доволен?

— Великолепно! Я умею ждать. Я терпеливый, очень даже терпеливый. Один раз я чуть было не продал нашу землю за двадцать тысяч долларов, в другой раз — за тридцать тысяч, потом за семь тысяч, и еще раз — за сорок; но всегда что-то подсказывало мне, что продавать не надо. Какого бы я свалил дурака, если бы продал ее за такие жалкие гроши! Мы ведь на земле разбогатеем, правда, Лора? Неужели ты мне даже этого не можешь сказать?

— Нет, отчего же, могу. На земле, конечно. Но только смотри, никому ни полслова, что ты узнал это от меня. Вообще не упоминай обо мне в связи с этой землей, Вашингтон.

— Ладно, не буду. Миллионы! Вот здорово. Я, пожалуй, присмотрел бы участок и построил дом... хороший участок, чтобы был и сад, и аллеи, и все такое.

Сегодня же и присмотрю. И заодно потолкую с архитектором, пускай принимается за план. Никаких денег не пожалею: пусть это будет самый прекрасный дом на свете...— Вашингтон помолчал, не замечая, что Лора улыбается, потом прибавил:— Как по-твоему, Лора, чем облицевать главный холл — цветными изразцами или просто деревянными панелями по оригинальнее?

Лора от души рассмеялась, — давно уже никто не слышал от нее такого смеха; впервые за много месяцев перед Вашингтоном была прежняя Лора.

— А ты все такой же, Вашингтон, ни капельки не изменился, — сказала она. — Только деньги где-то замаячили, еще первого доллара в глаза не видать, а ты уже заранее начинаешь швырять ими направо и налево!

Она поцеловала брата, пожелала ему доброй ночи и ушла, а он, если можно так выразиться, по уши погрузился в блаженные грезы.

Проводив сестру, Вашингтон поднялся и два часа подряд в лихорадочном волнении шагал из угла в угол, а к тому времени, как он снова сел, он успел жениться на Луизе, построить дом, обзавестись семейством, женить сыновей и выдать замуж дочек, потратить свыше восьмисот тысяч долларов на одни только предметы роскоши — и умереть, оставив состояние в двенадцать миллионов.

КАК ОБЕСПЕЧИВАЮТ БОЛЬШИНСТВО

«Mi-x-in tzakcaamah, x-in tzakcolobch
chirech nu zaki caam, nu zaki colo..
nu chincu, nu galgab, nu zalmet...»

«Rabinal-Achi»¹.

Chascus hom a sas palmas debes se
meteys viradas².

Лора спустилась по лестнице, постучалась в дверь кабинета и, не дожидаясь позволения, вошла. Сенатор Дилуорти был один — он держал перед собою вверх ногами раскрытую библию. Лора улыбнулась и, забыв, что она теперь светская дама, сказала совсем как в Хоукае:

— Это я, а вы думали — кто?

— А, входите, садитесь! — сенатор закрыл и отложил книгу. — Я как раз хотел поговорить с вами. Пора комиссии доложить о проделанной работе.

И сенатор расплылся в улыбке, очень довольный своим чисто парламентским остроумием.

¹ «Я расставила ему сети и поймала его, я захватила и связала его моими сверкающими тенетами, моим белоснежным арканом, моими кандалами чеканного золота, и кольцами, и всеми моими чарами...» — «Р а б и н а л - А ч и» (на языке киче).

² Всяк себе первому друг (старофранц.).

— Комиссия работает весьма успешно. За истекшую неделю имеются немалые достижения. Я думаю, дядюшка, мы с вами вдвоем можем неплохо управлять нынешним правительством.

Сенатор снова просиял. Приятно слышать, когда такая красотка называет тебя дядюшкой!

— Видели вы Хопперсона вчера вечером после открытия конгресса?

— Видела. Он пришел. Он какой-то...

— Что такое? Он принадлежит к числу моих друзей, Лора. Прекрасный человек, превосходный человек. Не знаю, к кому еще в конгрессе я с такой легкостью могу обратиться за помощью в любом богоугодном деле. Что же он сказал?

— Ну, он сперва ходил вокруг да около. Говорил, что рад бы помочь неграм, что обожает негров и всякое такое, — все они так говорят, — но законопроект насчет земель в Теннесси его немного пугает: не имей к этому отношения сенатор Дилуорти, он заподозрил бы, что правительство хотят на этом деле обжулить.

— Вот как? Он так и сказал?

— Да. И сказал, что никак не может голосовать за этот законопроект. Он трус.

— Нет, дитя мое, это не трусость, а осторожность. Он очень осторожный человек. Мы с ним участвовали во многих комиссиях. Ему всегда нужны веские доводы. А вы ему не объяснили, что он ошибается насчет вашего законопроекта?

— Объяснила. Я обо всем подробно говорила. Пришлось сказать ему о некоторых побочных обстоятельствах, о некоторых...

— Вы не упоминали моего имени?

— О нет. Я сказала ему, что вы помешались на неграх и на филантропии, это же чистая правда.

— «Помешался» — пожалуй, слишком сильно сказано, Лора. Но вы же знаете, хоть я и принимаю участие в наследниках этого имения и желаю им всяческого успеха, я бы палец о палец не ударил ради вашего законопроекта, не будь он направлен на благо общества и на благо черной расы.

На лице у Лоры выразилось некоторое сомнение, и сенатор продолжал:

— Поймите меня правильно, Лора. Не отрицаю, все мы заинтересованы в том, чтобы законопроект прошел, и он пройдет. Я ничего от вас не скрываю. Но я хотел бы, чтобы вы помнили: есть принцип, которого я всегда и неизменно придерживаюсь в моей общественной деятельности. Я никогда не действую в чьих-либо личных интересах, если это не оправдано и не облагорожено более широкими соображениями общественного блага. Я не уверен, что христианин имел бы право трудиться для спасения собственной души, если бы труды эти не служили также и спасению его собратий.

Сенатор произнес все это с большим чувством.

— Надеюсь, — прибавил он, — вы разъяснили Хопперсону, что наши побуждения чисты?

— Да, и он как будто все увидел в новом свете. Думаю, он будет голосовать «за».

— Надеюсь; его имя придаст делу нужную окраску и внушительность. Я так и знал, что вам надо лишь разъяснить ему, насколько это справедливое и благородное дело, чтобы заручиться его искренней поддержкой.

— Мне кажется, я его убедила. Да, я уверена, теперь он будет голосовать как надо.

— Вот и хорошо, вот и хорошо, — сказал сенатор, улыбаясь и потирая руки. — Есть еще новости?

— Вероятно, вы найдете здесь кое-какие перемены, — Лора протянула сенатору отпечатанный список имен. — В отмеченных можно не сомневаться.

— Угу... м-м... — сенатор пробежал глазами список. — Это весьма обнадеживает. А почему перед некоторыми именами стоит «У», а перед другими — «ББ»? Что это означает?

— Это условные значки. «У» обозначает — убежденный моими доводами, а «ББ»¹ — это общий знак для тех, у кого есть родственники. Видите, он стоит перед тремя членами почтенной комиссии. Я думаю се-

¹ Блудный братец. Это выражение, изобретенное Лорой, означало не только брата, но и зятя, шурина или деверя. (Прим. авторов.)

годня поговорить с председателем комиссии, мистером Бакстоуном.

— Это очень важно, с ним надо поговорить не откладывая. Бакстоун человек светский, но склонен к благотворительности. Если мы заручимся его поддержкой, то и комиссия выскажется в нашу пользу, а это не шутка — иметь возможность в нужную минуту сослаться на одобрение комиссии.

— Да, я еще говорила с сенатором Бэлунем.

— Он нам поможет, я полагаю? Бэлун уж если согласится, то все сделает. Не могу не любить его, хоть он и шутник и зубоскал. Он иногда прикидывается легкомысленным, но во всем сенате нет лучшего знатока священного писания. Он ничего не возразил?

— Да нет, он сказал... надо ли повторять, что он сказал? — спросила Лора, искоса взглянув на Дилуорти.

— Ну разумеется.

— Он сказал, что законопроект, несомненно, очень хорош. Раз уж сенатор Дилуорти им занимается, значит это дело стоящее.

Сенатор засмеялся, но несколько деланным смехом.

— Бэлун вечно со своими шуточками, — сказал он.

— Я ему все объяснила. Он сказал: «Прекрасно!» Только он хотел бы сам потолковать с вами, — продолжала Лора. — Он красивый старик и очень любезен для своего возраста.

— Дочь моя, — серьезно сказал сенатор, — надеюсь, он не допустил никаких вольностей в обращении с вами?

— Вольностей? — негодуяще переспросила Лора. — Со мной?!

— Ну, ну, детка. Я ничего дурного не хотел сказать, просто в мужской компании Бэлун иногда берет несколько вольный тон. Но, в сущности, он порядочный человек. Срок его полномочий истекает в будущем году, и я боюсь, что мы его потеряем.

— Когда я была у него, он, видимо, готовился к отъезду. Всюду было полно ящиков и коробок, и слуга запихивал туда старое платье и всякий хлам. Я подозреваю, что он сделает надпись: «Государственные до-

кументы» — и отправит их домой под видом депутатской почты. Это большая экономия, правда?

— Да, да... но, деточка, все члены конгресса так делают. Пожалуй, это и в самом деле не вполне честно, разве что кое-какие государственные бумаги упакованы у него вместе с одеждой.

— Чего только не бывает на свете... Ну, до свиданья, дядюшка. Пойду повидаюсь с этим председателем.

И, мурлыча веселую оперную арию, Лора ушла к себе, переодеваться для предстоящего визита. Однако сперва она достала записную книжку и погрузилась в свои заметки; она что-то помечала, вычеркивала, перечеркивала, подсчитывала и при этом разговаривала сама с собой:

— Вольности! Хотела бы я знать, что он обо мне на самом деле думает, этот Дилуорти? Раз... два... восемь... семнадцать... двадцать один... гм... до большинства еще далеко. Да, Дилуорти вытаращил бы глаза, если бы знал, что еще мне наговорил Бэлун. Так... И в руках у Хопперсона, можно считать, двадцать... старый скряга и ханжа. У него зять... пристроим зятя на теплое местечко в негритянском университете... это примерно и есть цена тестю... Три члена комиссии... все с зятьями. Что может быть тут, в Вашингтоне, полезнее зятя... или шурина... И у всех они есть... Ну-ка, посмотрим... шестьдесят один... эти пристроены к месту; двадцать пять... этих уговорила — дело подвигается... В нужный час за нас будет две трети конгресса... Дилуорти наверняка понимает, что я вижу его насквозь. Дядюшка Дилуорти... Дядюшка Бэлун! Очень забавные вещи он рассказывает... когда поблизости нет дам... могу себе представить... гм... гм... Восемьдесят пять... Надо повидать этого председателя. Не пойму... Бакстоун так себя ведет... казалось, что влюблен... я была просто уверена. Обещал прийти... и не пришел... Странно. Очень даже странно... Непременно надо случайно встретить его сегодня.

Лора оделась и вышла на улицу с мыслью, что она, пожалуй, поторопилась: мистер Бакстоун не выходит

из дому так рано; но он живет неподалеку от книжной лавки, так что можно зайти туда и подстеречь его.

Пока Лора занята ожиданием мистера Бакстоуна, уместно заметить, что она посвящена в тонкости столичной жизни ничуть не меньше, чем предполагал сенатор Дилуорти, и куда больше, чем она считала нужным ему признаваться. К этому времени она познакомилась со многими молодыми людьми, заполняющими в парламенте ложу прессы, и постоянно болтала с ними и обменивалась новостями к взаимной выгоде и удовольствию.

В этой ложе вечно болтали, сплетничали, поддразнивали друг друга, смеха ради превозносили что-нибудь до небес, — словом, тут был особый стиль — своеобразнейшая смесь серьезности и зубоскальства. Полковнику Селлерсу ужасно нравились такие разговоры, хотя подчас он и терялся, — этой-то растерянностью, вероятно, больше всего и наслаждались его собеседники-журналисты.

По-видимому, в один прекрасный день они тоже проведали о том, как сенатор Бэлун укладывал свой депутатский багаж в ящики из-под галантерейного товара, и как раз обсуждали эту историю, когда пришел Селлерс. Он пожелал узнать подробности, и Хикс рассказал ему все с самого начала; затем продолжал с полной серьезностью:

— Не правда ли, полковник, раз вы посылаете заказное письмо, значит оно имеет какую-то ценность? И раз вы платите за него пятнадцать центов, правительство должно особо заботиться о нем и возместить вам его полную стоимость, если письмо затеряется, — верно?

— Да, как будто так.

— Ну вот, сенатор Бэлун наклеил пятнадцатипентовые марки на семь огромных ящиков со всяким своим барахлом и отправил старое тряпье, стоптанные сапоги, поношенные панталоны и еще бог знает что — целую тонну — почтой, заказным, как бумаги государственной важности! Хитро придумано и не лишено остроумия! По-моему, наши нынешние государственные деятели гораздо талантливее, чем бывало в старину: у тепереш-

них куда богаче воображение, и они гораздо изобретательнее. Попробуйте-ка, полковник, представьте себе, как бы это Джефферсон, или Вашингтон, или Джон Адамс отправили свой гардероб почтой, да еще так остроумно возложили ответственность за этот груз на правительство, уплатив ровным счетом один доллар и пять центов! Нет, в те времена государственные деятели были несообразительны. То ли дело сенатор Бэлун! Я просто восхищен!

— Да, Бэлун человек способный, спору нет.

— Вот и я так думаю. Его имя упоминают в связи с назначением дипломатического представителя в Китай или, может быть, в Австрию, и я надеюсь, что он получит этот пост. Нам надо посылать за границу таких людей, в которых с наибольшей полнотой воплощен национальный характер. Джон Джей и Бенджамин Франклин в свое время были не плохи, но с тех пор Америка ушла далеко вперед. Бэлун — вот человек, которого мы хорошо знаем и можем рассчитывать, что он будет верен... самому себе.

— Да, и притом у Бэлуна большой опыт общественной деятельности. Он мой старый друг. Когда-то он был губернатором одной нашей Территории и очень успешно справлялся с этим делом.

— Ну еще бы! Заодно он был по должности еще и представителем правительства по делам индейцев. Многие на его месте, получая суммы, ассигнуемые на содержание индейцев, на эти деньги кормили бы и одевали беспомощных дикарей, чью землю некогда отобрали белые в интересах цивилизации, — но Бэлун лучше знал, что нужно индейцам. Он на эти деньги выстроил в резервации государственную лесопилку и стал продавать лес по баснословной цене... Один его родственник выполнял там всю работу бесплатно — то есть он не спрашивал больше того, что стоил лес.

— Но бедняги индейцы... не то чтобы я уж очень о них заботился, а все-таки... что же он для них-то сделал?

— Выдал им горбыль, чтобы они обнесли резервацию изгородью. Губернатор Бэлун был для бедных индейцев все равно что отец родной. Но Бэлун не один, у нас немало благородных государственных мужей, ко-

торые служат отечеству столь же ревностно, как Бэлун. В сенате их полным-полно. Вы не согласны со мною, полковник?

— Право, не знаю. Я очень уважаю наших государственных деятелей, слуг моего отечества. Я встречаюсь с ними каждый день, сэр; и чем больше я их вижу, тем больше их почитаю, и тем больше я благодарен за то, что наше общественное устройство дало нам возможность заручиться их услугами. Не многим странам на свете доступно такое счастье.

— Вы правы, полковник. Разумеется, время от времени можно купить сенатора или члена палаты представителей; но ведь они не знают, что это нехорошо, а потому им ничуть не стыдно. Они кротки и доверчивы и наивны, как дети, — на мой взгляд, эти качества возвышают их куда больше, чем возвысила бы греховная мудрость. Так что я вполне согласен с вами, полковник Селлерс.

— Н-ну, — замялся полковник, — боюсь, что некоторые из них и впрямь покупают свои кресла в конгрессе... Да, боюсь, что так... Но это грешно, так мне сам сенатор Дилуорти сказал... это очень дурно... это постыдно! «Да сохранит меня небо от подобного обвинения», — вот как сказал сенатор Дилуорти! И однако, если вдуматься, нельзя отрицать, сэр, что нам пришлось бы лишиться некоторых наших способнейших деятелей, если бы страна решительно восстала против... против... м-м... взяточничества. Очень грубое слово. Мне неприятно произносить его.

Тут полковник Селлерс вспомнил, что он условился встретиться с австрийским посланником, и удалился, отвесив журналисту свой обличный изысканный поклон.

ПРИКАЗЧИК В КНИЖНОЙ ЛАВКЕ

புத்தகங்கள் ¹.

«Bataïnadon nin-masinaiganan, kakina gaie onijishinon». — «Missawa onijishining kakina o masinaiganan, kawin gwetch o-wabandansinan».

Baraga ².

В урочный час Лора зашла в книжную лавку и стала разглядывать заманчиво выставленные на прилавке книги. Франтоватый приказчик, лет девятнадцати, с аккуратнейшим пробором в прилизанных на удивление волосах, поспешил ей навстречу, поклонился, премило улыбаясь, и любезно начал:

— Разрешите мне... вам угодно какую-нибудь определенную книгу?

— Есть у вас «Англия» Тэна?

— Простите?..

— Записки Тэна об Англии.

Молодой человек почесал себе нос карандашом, вытаскив его из-за уха, которое для того и торчало

¹ Книги (тамилск.).

² «Книги мои многочисленны и все они хороши». — «Хоть книги его и хороши, он не часто в них заглядывает». — Барга (на языке индейцев чиппевеев).

сбоку на его напوماженной голове; с минуту он размышлял.

— А... понимаю! — и расплылся в улыбке. — Не Тэн, а Трэн вы хотите сказать. Джордж Фрэнсис Трэн. Нет, сударыня, у нас...

— Я хочу сказать именно Тэн, с вашего разрешения.

Приказчик снова задумался:

— Тэн... Тэн... Это гимны?

— Нет, это не гимны. Это книга, о которой сейчас много говорят и которая очень широко известна... всем, кроме тех, кто ее продает.

Приказчик покосился на нее: не таится ли насмешка в этой несколько неясной речи? Но ответный кроткий и простодушный взгляд прекрасных глаз прогнал это подозрение. Приказчик отошел посоветоваться с хозяином. Оба они были явно озадачены. Они раздумывали и совещались, и снова совещались и раздумывали... Потом оба подошли к Лоре, и хозяин спросил:

— Это американская книга, сударыня?

— Нет, это американская перепечатка английского перевода.

— А... да, да... теперь я припоминаю. Мы ждем ее со дня на день. Она еще не вышла.

— Вы, очевидно, ошибаетесь, — ведь вы объявляли о ее продаже еще неделю тому назад.

— Разве?.. Не может быть...

— Да, я уверена. И потом, вот же она, эта книга, — лежит на прилавке.

Она купила Тэна, и хозяин убрался восвояси. Тогда Лора спросила «Деспота за завтраком» — и не без досады увидела, как на лице приказчика восхищение ее красотой сменилось выражением холодного достоинства. Поваренных книг они не держат, заявил он, но, если ей угодно, он может заказать. Лора сказала, что нет, не стоит, это не важно. Потом она снова стала разглядывать книги, наслаждаясь самым видом томиков Готорна, Лонгфелло, Теннисона и других своих любимцев, в чьем обществе привыкла коротать досуг. Тем временем приказчик глядел на нее во все глаза и,

несомненно, вновь ощутил приступ восхищения, — или, быть может, он просто оценил ее предполагаемые литературные вкусы по какой-то хитроумной измерительной системе, ведомой одним лишь продавцам книг. И он начал «помогать» ей сделать выбор; но все его усилия оказывались тщетными, — в сущности, он только покупал ей и неприятнейшим образом прерывал ее раздумье. И вот, когда Лора, взяв в руки «Венецианскую жизнь», пробежала глазами то одно, то другое знакомое место, приказчик вдруг схватил книгу в простом, незатейливом переплете и, ловко ступнув ею по прилавку, чтобы стряхнуть пыль, заговорил оживленно:

— Вот прекрасное произведение, мы распродали уже кучу экземпляров. Всем, кто читал, очень нравится. — И он сунул книгу чуть ли не под нос Лоре. — Могу порекомендовать вам: «Судьба пирата, или Последний разбойник морей». На мой взгляд, одна из лучших новинок сезона.

Лора свободной рукой мягко отодвинула новинку и продолжала перелистывать «Венецианскую жизнь».

— Мне это не нужно, — сказала она.

Приказчик некоторое время рыскал по лавке, поглядывая то на одну книгу, то на другую, но, видимо, все они не годились. Однако в конце концов он нашел то, что искал.

— А эту вы читали, сударыня? Я уверен, вам понравится. Она того же автора, что «Бандиты Хэккенсака». Тут и любовные приключения, и тайны, и всякое такое. Героиня задушила собственную мать. Вы только посмотрите название: «Гондериль-вампир, или Пляска смерти». А вот еще: «Сокровищница шутника, или Закадычный друг забавника и балагура». Очень занятная штука, сударыня! Я ее четыре раза перечитал и до сих пор смеюсь, как только погляжу на эту книжку. А уж «Гондериль» — уверяю вас, это замечательно, ничего лучше я в жизни своей не читал. Эти книги наверняка вам понравятся, я ведь сам их читал, они очень интересные.

— Ах, вот что... я не сразу поняла, в чем дело. Вы, наверно, подумали, что я не знаю, какие книги купить. и прошу у вас совета... я иногда бываю такая рассеян-

ная, говорю совсем не то, что думаю. Я, наверно, попросила вас об этом, да?

— Нет, сударыня, но... я...

— Уж наверно я просила, иначе вы бы не предложили мне свои услуги, побоялись бы, что это будет невежливо. Но не беспокойтесь, это все моя вина. Мне не следовало быть такой невнимательной... не надо было просить у вас совета.

— Но вы и не просили, сударыня. Мы всегда помогаем покупателям как можем. Понимаете ли, наш опыт... мы ведь живем среди книг... поэтому, знаете ли, мы можем помочь покупателю сделать выбор.

— Ах, вот как? Это входит в ваши обязанности?

— Да, сударыня, мы всегда помогаем.

— Как это мило с вашей стороны. Некоторые, пожалуй, сочли бы это навязчивостью, но я другого мнения. По-моему, вы очень добры, это просто великодушно с вашей стороны... Некоторые люди делают выводы наспех, не подумав, — вы это замечали?

— О да, — сказал приказчик, не зная, должен ли он чувствовать себя польщенным или, напротив, обиженным. — Конечно, я это часто замечал, сударыня.

— Да, некоторые удивительно спешат с необдуманными выводами. Вот ваши вкусы еще не сложились, и вы с наивным восторгом, вполне естественным в вашем возрасте, наслаждаетесь «вампирами» и сборником младенческих острот и воображаете, что взрослый человек тоже способен ими наслаждаться. Кое-кто счел бы это странным. Но я вовсе не вижу тут ничего странного. Я думаю, что для вас это естественно. Вполне естественно. И очень мило с вашей стороны. Вы, видно, такой человек, что всякая пустяковая книжонка не только поражает вас и доставляет вам огромное удовольствие, но вы еще с радостью делитесь этим удовольствием с другими, — и это, на мой взгляд, прекрасно и благородно, да, прекрасно и очень благородно. Я полагаю, все мы должны делиться нашими удовольствиями с другими людьми и всячески стараться радовать друг друга. Правда?

— О да. Да, конечно. Вы совершенно правы, сударыня.

Но теперь ему было уже явно не по себе, хоть Лора и говорила так приветливо, доверительно, почти ласково.

— Ну еще бы. Многие думают, что для книготорговца — или, скажем, для приказчика в книжной лавке — литература всего лишь товар и они слишком мало понимают в книгах, чтобы помочь человеку (разумеется, взрослому человеку) в выборе пищи для ума... конечно, если не считать того, что они завернут книгу в бумагу, запакуют, перевяжут и все такое... Но я на это смотрю совсем иначе. Я вижу — чем бы вы ни старались мне услужить, вы предлагаете мне свои услуги от чистого сердца, и я крайне признательна... право же, вы мне оказали величайшее благодеяние. И ваш совет мне полезен, вне всякого сомнения, иначе и быть не может. Раз уж вы показываете мне книгу, которую вы прочли — не просмотрели, не перелистали только, а прочли, — и говорите мне, что вы ею наслаждались, что вы можете перечесть ее три-четыре раза, — значит, эту книгу я как раз...

— Благодарю вас!.. Благо...

— ...как раз и не возьму в руки. Ну конечно. Я думаю, на этом свете ни один совет не пропадает напрасну. Раза два мне случалось ездить по железной дороге — и там, знаете, мальчишка-разносчик всегда вот так смерит вас взглядом и, если вы любитель богословия, предложит вам книжку об убийствах, а если вы поклонник поэзии, предложит вам философские труды Таппера, или словарь, или рассказы Артура, или протянет вам сборник жалких острот, или какой-нибудь американский альманах, когда вы как раз терпеть не можете этот вид литературного ожирения сердца... и точь-в-точь так же любой красноречивый и исполненный наилучших намерений джентльмен в любой книжной лавке... Но я так разговорила, как будто у делового человека есть время слушать женскую болтовню. Вы должны меня извинить, я просто не подумала. И разрешите еще раз поблагодарить вас за помощь. Я много читаю и буду часто заходить к вам. И мне не хотелось бы, чтоб вы меня причислили к таким клиентам, которые слишком много говорят и очень мало по-

купают. Будьте добры, не скажете ли вы мне, который час? Ах, двадцать две минуты третьего? Большое вам спасибо. Вот я кстати и переведу свои часы...

Но она, видно, никак не могла их открыть. Она пыталась снова и снова. Наконец приказчик, трепеща от сознания собственной смелости, попросил разрешения помочь ей. Она разрешила. Он открыл крышку и весь просиял, так очаровательно она улыбнулась ему и так любезно поблагодарила. Потом он снова сказал ей верное время и следил за тем, как она медленно переводит стрелки, с такой тревогой, словно опасался каких-то несчастных случайностей или риска для жизни; но наконец стрелки достигли нужного положения — и тогда лицо у приказчика стало такое счастливое, словно он помог человеку свершить дело чрезвычайной важности и рад сознавать, что жил на свете не напрасно. Лора еще раз поблагодарила его. Слова ее прозвучали в его ушах как музыка; но могли ли они сравниться с ее чарующей улыбкой, которая преисполнила его блаженством! Лора кивнула ему на прощанье и вышла. И он уже не чувствовал мучений, какие претерпел в те горькие минуты, когда она пригвождала его к позорному столбу, — нет, теперь он был в сонме покоренных ею — гордый и счастливый раб, и первые рассветные лучи любви проникли в его пробуждающееся сердце.

Уже наступил тот час, когда председатель комиссии конгресса по благотворительным ассигнованиям имел обыкновение выходить из дому, — и Лора пошла на разведку. С порога она окинула взглядом улицу — и, разумеется...

— Я вижу, обо мне судят несправедливо, мисс Хокинс. Некогда я был женат — разве это не свидетельствует в мою пользу?

— О да... то есть нет, это еще не известно. Если вы знали, каким совершенством может быть женщина, тогда вполне понятно, что теперь какая-нибудь посредственность вас не интересует.

— Даже и в таком случае это не относится к вам, мисс Хокинс, — любезно сказал председатель. — Молва причисляет вас к тем женщинам, чье имя — совершенство.

Мистер Бакстоун и сам был восхищен своей удачной речью, и, видимо, Лору она восхитила не меньше. Но он при этом не смутился, Лора же покраснела и потупилась.

— От всей души хотелось бы мне заслужить столь лестный комплимент. Но ведь я женщина и потому рада услышать комплимент, даже и незаслуженный!

— Но это не только комплимент, то есть пустой комплимент, это чистая правда! Все мужчины меня поддержат.

— Очень великодушно, что вы так говорите, — сказала Лора, видимо польщенная. — Я ведь простая деревенская девушка, и для меня большая честь, что обо мне так говорят умные и образованные люди. Вы так добры, я знаю, вы извините меня за то, что я побеспокоила вас сегодня и просила прийти.

— Какое же это беспокойство? Это удовольствие. С тех пор как скончалась моя жена, я остался один на свете, мисс Хокинс, и часто тоскую по женскому обществу, хотя люди и говорят совсем другое.

— Как приятно слышать это от вас! Я уверена, что так и должно быть. Даже я иногда чувствую себя одинокой вдали от старых друзей, хоть меня и окружают новые, которых я тоже успела полюбить, — как же одиноко должно быть вам! Ведь вы понесли такую утрату и не находите благодатного отдыха от бремени государственных забот. Вам надо чаще бывать в обществе — и не только ради окружающих, а и ради себя самого. Я так редко вижу вас на приемах, а когда и вижу, вы не балуете меня своим вниманием.

— Никогда не думал, что это будет вам приятно, иначе я был бы только счастлив доставить себе столь большое удовольствие. Но на этих приемах не часто удается поговорить с вами. Вас всегда окружает столько народу — вы и сами могли это заметить. Вот если бы можно было навещать вас здесь...

— Ну разумеется, я всегда буду от души вам рада, мистер Бакстоун. Мне часто хотелось, чтобы вы пришли и рассказали мне побольше о Каире и пирамидах, — вы ведь мне однажды обещали.

— Неужели вы еще помните об этом, мисс Хокинс? Я думал, женская память так ненадежна...

— О, мужские обещания еще ненадежнее. А потом, если бы я и страдала забывчивостью... разве вы не оставили мне кое-что для памяти?

— Я?

— Подумайте-ка...

— Да, кажется я что-то такое сделал... не припомню, что это было.

— Никогда, никогда больше не говорите, что женская память ненадежна! Вот — узнаете?

— Веточка букса! Побезден, сдаюсь! Но неужели вы хранили ее столько времени?

Лора очаровательно смутилась. Она пыталась скрыть свое смущение, но чем больше старалась, тем явственней оно становилось и тем больше ее красило. Наконец она с досадой отбросила веточку.

— Я забылась, — сказала она. — Это было очень глупо с моей стороны. Прошу вас, забудьте об этой ребяческой выходке.

Мистер Бакстоун поднял веточку и сел рядом с Лорой на диван.

— Пожалуйста, позвольте мне сохранить эту веточку, мисс Хокинс, — сказал он. — Теперь она стала мне особенно дорога.

— Верните ее мне, мистер Бакстоун, и не говорите так. Я уже достаточно наказана за свое безрассудство. Неужели вам нравится доводить меня до отчаяния? Пожалуйста, отдайте.

— Нет, право же я не хочу доводить вас до отчаяния. Но не относитесь к этому так серьезно; вы ничего

дурного не сделали. Вы, наверно, забыли, что у вас осталась эта веточка; вот если бы вы дали ее мне, я бы сохранил ее и не забыл об этом.

— Не говорите так, мистер Бакстоун. Отдайте ветку, прошу вас, и забудьте об этом.

— Было бы невеликодушно отказать вам, раз это вас так волнует, а потому — вот, я ее возвращаю. Но если бы вы отдали мне половину, а другую оставили у себя...

— Чтоб она напоминала вам обо мне, когда вы захотите посмеяться над моей глупостью?

— Боже избави! Просто это будет для меня напоминанием о том, как однажды я доставил вам неприятную минуту, и предостережением — больше никогда этого не делать.

Лора подняла глаза и пытливо посмотрела на Бакстоуна. Она чуть было не разломила веточку, но заколебалась, потом отбросила ее.

— Если бы я была уверена, что вы... — начала она. — Как глупо! Поговорим о чем-нибудь другом. Нет, не настаивайте — пусть будет по-моему.

Тут мистер Бакстоун оттянул свои войска и повел коварное наступление на крепость под прикрытием тщательно обдуманых военных планов и хитростей. Но он имел дело с бдительным и осторожным противником; и на исходе второго часа ему стало ясно, что он добился весьма скромных успехов. Но кое-чего он все же добился, в этом он был уверен.

Лора сидела в одиночестве и рассуждала сама с собой:

«Попался на удочку, бедняга. Я могу играть с ним сколько вздумается и подсесть, когда захочу. Он давным-давно готов был проглотить приманку, я это ясно видела. Он будет голосовать за наш законопроект, тут бояться нечего; больше того, он еще и поработает на нас, прежде чем я от него отстану. Будь у него женский глаз, он бы заметил, что ветка букса выросла на три дюйма, с тех пор как он мне ее преподнес, но мужчины никогда ничего не видят и не подозревают. Покажи я ему целый куст, он все равно подумал бы, что это та самая веточка. Что ж, сегодня я неплохо поработала,

содействие комиссии обеспечено. Но что за отчаянную игру я веду все эти дни — утомительную, подлую, бессердечную игру. Если я проиграю, я теряю все — даже себя. А если и выиграю — стоит ли игра свеч в конце-то концов? Не знаю. Иногда я сомневаюсь. Иногда мне кажется — лучше бы я и не бралась за это. Но все равно, я взялась — и уж не остановлюсь на полпути. Ни за что, пока я жива!»

А мистер Бакстоун по дороге домой размышлял:

«Она хитра и умна и ведет игру довольно осмотрительно, — а все-таки она проиграет. Спешить незачем, я выйду победителем, — всему свое время. Она и правда красавица, а сегодня превзошла самое себя. Пожалуй, в конечном счете мне придется голосовать за их законопроект; не велика важность, правительство это выдержит. Она намерена меня пленить, это ясно. Но со временем она убедится, что думала застать врасплох спящий гарнизон, а нарвалась на засаду».

ЛОРА СНОВА ВСТРЕЧАЕТСЯ С ПОЛКОВНИКОМ СЕЛБИ

И весть неожиданная ее так поразила,
Что пала замертво она, лишившись силы.
Тут брат ее пришел — обнять и приласкать,
Но молвила она: «Нет, счастья мне не знать!»

«Трагедия Барнардкасла».

— Какой он представительный, правда?

— Кто, этот неуклюжий, рядом с мисс Хокинс?

— Ну да. Вот он разговаривает с миссис Скунмейкер. Какая аристократическая небрежность и непринужденность. Ни малейшей искусственности. Посмотрите, какие у него красивые глаза.

— Очень. Вот они идут в нашу сторону. Может быть, он подойдет сюда. Но у него ужасно беспомощный вид, прямо как у новорожденного младенца. Кто это, Бланш?

— Как кто? Вы здесь уже целую неделю, Грейс, и не знаете его? Это гвоздь сезона — Вашингтон Хокинс, ее брат.

— Да неужели?

— Они из очень старинной семьи, по-моему из Кентукки родом. Он, кажется, получил в наследство громадные земли в Теннесси. Их семья все потеряла во время войны — и рабов и все такое. Но у них очень

много земли, шахты, всякие ископаемые. И при этом мистер Хокинс и его сестра поглощены заботами о цветных. Они с сенатором Дилуорти придумали план: хотя бы обратить большую часть своих земель на пользу освобожденных рабов.

— Да что вы говорите? А я думала, что это просто какой-то увалень откуда-нибудь из Пенсильвании. Он и правда не такой, как все. Наверно, всю жизнь сидел у себя на плантации.

Был дневной прием у супруги члена конгресса миссис Скунмейкер, милейшей женщины, простой и приветливой. Ее дом прослыл одним из самых приятных в Вашингтоне. Здесь было меньше показного, чем во многих других домах, а люди охотно бывают там, где что-то напоминает им тишину и покой домашнего очага. Миссис Скунмейкер держалась в столичном обществе столь же просто и безыскусственно, как у себя в Нью-Йорке, и, живя здесь вместе с мужем и детьми, поддерживала настоящий семейный уют. Вот почему, должно быть, люди тонко чувствующие любили бывать у нее.

Вашингтон — это некий микрокосм, здесь можно на пространстве радиусом в одну милю подобрать любое общество по своему вкусу. Для значительной части тех, кто наезжает в Вашингтон или постоянно тут живет, все крикливо-модное, всякая фальшь, подделка и спекуляция так же отвратительны и невыносимы, как и для жителей любого культурного города Новой Англии. Скунмейкер был не то чтобы одним из лидеров в палате представителей, но его очень уважали за выдающиеся способности и за честность. Никому и в голову не пришло бы под благовидным предлогом всучить ему акции Национального фонда помощи руководителям ассоциаций духовного совершенствования.

Такие дневные приемы посещали больше женщины, чем мужчины, и те, кого это интересует, могли бы, изучая костюмы собравшихся здесь дам, разрешить вопрос, для чего же в конечном счете наряжается женщина — чтобы покорять мужчин или чтобы показать себя другим женщинам? Это весьма важный вопрос, он всегда вызывал немало споров, и решение его послу-

жило бы прочной философской основой для суждения о том, что же такое женский характер. Мы склонны занять промежуточную позицию и утверждаем: женщина наряжается для собственного удовольствия и не может не наряжаться — такова ее природа.

— Они идут сюда, — сказала Бланш.

Люди расступались, давая им дорогу, оборачивались и смотрели им вслед. Вашингтону стало казаться, что смотрят и на него, и он то опускал глаза, то вдруг принимался разглядывать потолок, сиюсь сохранить непринужденный вид.

— Доброе утро, мисс Хокинс. Очень рада, Мистер Хокинс — моя подруга, мисс Медлар.

Мистер Хокинс попытался отвесить подобающий случаю поклон и при этом наступил на шлейф супруги сенатора Поплина. Миссис Поплин гневно обернулась, но тотчас просияла, увидев, кто виновник происшествия. Выпутываясь из ее шлейфа, мистер Хокинс, которому надо было еще помнить и о своей шляпе и о том, что надо же раскланяться, когда тебя представляют молодой девице, столкнулся с мисс Бланш, — она премило извинилась, точно это она совершила неловкость. И мистер Хокинс наконец пришел в себя.

— Вам не кажется, что сегодня очень тепло, мистер Хокинс? — сказала Бланш, чтобы нарушить молчание.

— Ужасная жара, — отозвался Вашингтон.

— Тепло не по сезону, — любезно продолжала Бланш. — Но вы, наверно, привыкли к жаре, — прибавила она: она полагала, что во всех бывших рабовладельческих штатах термометр всегда показывает девяносто градусов. — К здешней погоде вы, должно быть, относитесь не очень одобрительно?

— Очень одобрительно, — сказал Вашингтон, оживляясь, — когда не слишком прохладительно.

— Ах, как остроумно! Слышишь, Грейс? Мистер Хокинс относится к погоде одобрительно, когда она не прохладительна.

— Что прохладительно, дорогая? — переспросила Грейс, которая тем временем разговаривала с Лорой.

Итак, беседа завязалась. Вашингтон отважился и сам высказаться:

— Видели вы этих японцев, мисс Ливит?

— Да, какие они странные, правда? Но такие воспитанные и очень живописные. Как по-вашему, мистер Хокинс, цвет кожи имеет значение? У меня с детства предубеждение против цветных.

— Вот как? А у меня нет. Я всегда считал мою старую няньку красавицей.

— Какая у вас, наверно, была интересная жизнь! Пожалуйста, расскажите что-нибудь!

Вашингтон уже готов был приступить к длинному и подробному рассказу, но тут он встретился взглядом с генеральшей Мак-Фингал.

— Были вы сегодня в конгрессе, мистер Хокинс? — спросила та.

Нет, Вашингтон там не был. А что, там что-нибудь из ряда вон выходящее?

— Говорят, все были ужасно взволнованы! Все эта история с «Алабамой», знаете. Генерал Сатлер, от штата Массачусетс, так резко высказался об Англии, и, говорят, он хочет войны.

— Скорее всего он просто хочет выдвинуться, — сказала Лора. — Вы заметили: когда он выступает, у него один глаз смотрит на председателя, а другой — на публику.

— Ну а мой муж говорит, что заводить речь о войне глупо и грешно. Он-то знает, что такое война. Если уж воевать, я надеюсь, мы выступим в защиту кубинских патриотов. Как по-вашему, мистер Хокинс, нужна нам Куба?

— По-моему, просто необходима, — сказал Вашингтон. — И Санто-Доминго тоже. Сенатор Дилуорти говорит, что мы непременно распространим нашу веру по всем островам Атлантического океана. Нам надо округлить свои владения и...

Дальнейшие рассуждения Вашингтона были прерваны Лорой: она увлекла его в другой конец комнаты и напомнила, что им пора домой.

— До чего глупы и утомительны все эти люди, — сказала она. — Едем.

Они направились к хозяйке, чтобы проститься, как вдруг взгляд Лоры упал на человека, с которым в эту

минуту разговаривала миссис Скунмейкер. На мгновение сердце ее замерло. Это был красивый мужчина лет сорока, а может быть и больше. Волосы и бакенбарды его уже начали седеть, и он опирался на трость, как будто слегка прихрамывал. А возможно, ему и не было сорока, просто он был бледен, и его лицо прорезали глубокие морщины.

«Нет. Не может быть, — сказала себе Лора. — Это только сходство». Но тут он обернулся, так что Лора хорошо видела его лицо. Она протянула руку и вцепилась в локоть брата, чтобы не упасть.

Ничего не подозревавший Вашингтон с недоумением оглянулся. Глаза Лоры пылали ненавистью, и она была бледна как смерть, — Вашингтон никогда еще не видел ее такой.

— Что это с тобой, сестренка? Ты белая, как бумага.

— Это он, он. Идем, идем скорей! — И она потащила его прочь.

— Кто он? — спросил Вашингтон уже сидя в карете.

— Никто, ничего... Разве я сказала «он»? У меня от жары голова закружилась. Забудь об этом. Никому ничего не говори, — прибавила она настойчиво, сжимая его руку.

Добравшись наконец до своей комнаты, Лора подошла к зеркалу — в нем отразилось мертвенно-бледное, осунувшееся лицо.

— Боже мой! — воскликнула она. — Я этого не вынесу. Мне надо было тогда его убить, если б только я могла. Негодяй, он еще жив и посмел явиться сюда! Я должна была убить его. Он не имеет права жить. Как я его ненавижу! А ведь я любила его. Господи, как я его любила! И почему он не убил меня? Нет, он сделал больше. Он убил все, что во мне было хорошего. Но он от меня не уйдет. На этот раз ему не уйти! Может быть, он забыл? Но я ему докажу, что когда женщина ненавидит, она не забывает. Закон? Что в нем толку? Закон всегда будет на его стороне, а я останусь отверженная и опозоренная. Весь Вашингтон подобрал бы свои добродетельные юбки и отвернулся бы от меня,

если бы это стало известно... Хотела бы я знать, он тоже меня так ненавидит?

Так она бушевала, переходя от ярости к слезам и от слез к ярости, даже не пытаясь сдержать эту бурю страстей.

Пришла горничная сказать, что обед подан. У Лоры болит голова. Настал час приема у президента. У Лоры отчаянно разболелась голова. Придется сенатору ехать одному.

Эта мучительная ночь походила на другую, которую Лора не забыла. Как живо все это вспомнилось! Тогда ей казалось, что, может быть, она и ошибается. Он еще может вернуться. Быть может, он все-таки любил ее хоть немного. Но теперь она знала: нет, не любил. Теперь она знала: он подлый негодяй, у него нет сердца. За все годы — ни слова, ни весточки! Она надеялась, что он умер. Жива ли еще его жена? Лора ухватилась за мелькнувшую надежду, и мысли ее приняли новый оборот. Быть может, в конце концов... она должна с ним повидаться! Она не в силах жить, не повидавшись с ним. Улыбнется ли он ей, как в те далекие дни, когда она его так любила? Или станет насмехаться, как в час их последней встречи? Когда он такой, она его ненавидит. А если он скажет: «Лора, милая!» — и посмотрит *так*... Нужно увидеть его. Нужно положить конец сомнениям!

Два дня Лора не выходила из своей комнаты то под одним предлогом, то под другим: нервическая головная боль, простуда... В доме сенатора Дилуорти стало тревожно. Посетителям не удавалось повидать Лору, и, уходя, они говорили, что перед этим она была уж слишком весела, — они не говорили «легкомысленна», хотя некоторые, возможно, думали именно это. Женщина, пользующаяся таким вниманием и успехом в обществе, как Лора, не может исчезнуть на два дня, не вызвав разных толков на свой счет, и не всегда лестных.

На третий день она вышла к столу и казалась такою же, как всегда, — быть может, немного бледна, и только. Если и стали глубже какие-то морщинки у глаз, они были искусно скрыты. План действий был готов.

За завтраком Лора спросила, слышал ли кто-нибудь

ночью странный шум? Нет, никто не слышал. Вашингтон, стоило ему закрыть глаза, уже ничего не слышал. Некоторые полагали, что он и с открытыми-то глазами ничего не слышит.

Сенатор Дилуорти сказал, что он вернулся домой поздно. Он задержался после молитвенного собрания конгресса. Может быть, его возвращение и потревожило Лору?

Нет, сказала Лора. Она слышала, как он вернулся. А шум был позже. Может быть, это просто нервы, но ей показалось, что кто-то пытается забраться в дом.

— Весьма вероятно, — сострил мистер Брайерли, — ведь никто из членов конгресса не был занят на вечернем заседании.

Сенатор нахмурился. Ему неприятно слышать такие остроты, предоставьте их газетам. Быть может, поблизости бродят грабители?

Очень возможно, сказала Лора, что во всем виноваты ее расстроенные нервы. Но все-таки ей будет спокойнее, если Вашингтон даст ей один из своих пистолетов. Вашингтон принес револьвер и показал сестре, как его заряжать и как стрелять.

В это утро Лора отправилась с дружеским визитом к миссис Скунмейкер.

— У вас на приемах всегда так мило, — сказала она хозяйке. — Кажется, все приятные люди сходятся к вам.

— Рада слышать это от вас, мисс Хокинс. Я надеюсь, что моим друзьям нравится у меня. Правда, в Вашингтоне такое смешанное общество — всего понемножку!

— Ну, я думаю, у вас бывает не так уж много мятежников? — с улыбкой сказала Лора.

Если миссис Скунмейкер и показалось странным это слово в устах дамы, которая каждый день встречается с «мятежниками» в обществе, она ничем не выдала своего удивления.

— Мы, знаете ли, больше не называем их мятежниками, — только и сказала она. — Пока мы не переехали в Вашингтон, я думала, что мятежники не похожи на всех людей. А оказалось, что мы все очень похожи друг

на друга и что доброта и открытый прав побеждают всякие предрассудки. И потом, знаете, у нас столько общих интересов. Мой муж иногда говорит, что, по его мнению, и южане и северяне совершенно одинаково жаждут дорваться до государственной казны. Вы ведь знаете, мистер Скунмейкер состоит в комиссии по ассигнованиям.

— И он знаком со многими южанами?

— О да. Кое-кто был на днях у меня на приеме. Был даже один полковник — приезжий; такой красивый, седой, — вы его, вероятно, не заметили... ходит с тростью. Очень милый человек. Я сначала удивилась, что он у нас появился. А когда муж вернулся домой и просмотрел визитные карточки, он сказал, что этот полковник хочет получить возмещение за хлопок. Вот он — истинный южанин! Может быть, вы его знаете, только не припомню, как его фамилия. А, вот его карточка — он из Луизианы.

Лора взяла карточку, посмотрела на нее внимательно, запоминая адрес, потом отложила со словами: — Нет, не знаю такого.

В тот же день Лора написала и отправила записку. Записка была выведена круглыми буквами, совсем не похожими на обычный белый почерк Лоры, и адресована в некий дом на одной из улиц Джорджтауна. В записке стояло:

«Дама, проживающая в доме сенатора Дилуорти, хотела бы побеседовать с полковником Джорджем Селби по делу, связанному с возмещением убытков по хлопку. Просьба зайти в среду в 3 часа дня».

Лора знала, что в среду в три часа дня в доме, кроме нее, никого не будет.

ЛОРА СНОВА ВЛЮБЛЕНА В СЕЛБИ

— Belhs amics, tornatz,
Per merce, vós me de cors.

Alphonse II ¹.

Ala khambiatü da zure deseña?
Hitz eman zenereitan,
Ez behin, bai berritan,
Enia zinela.
Ohikua nüzü;
Enüzü khambiatü,
Bihotzian beinin hartü
Eta zü maithatü.

«Mailia, nun zira?» ²

Полковник Селби только что приехал в Вашингтон и снял квартиру в Джорджтауне. Он намеревался получить возмещение за свой хлопок, уничтоженный во

¹ — Вернись, мой друг,
Молю, вернись скорее. — Альфонс II (*провансальск.*).

² Разве ты забыл все клятвы?
Клялся ты не раз, не два,
Быть со мной, пока жива.
Я же не мертва,
Я еще жива!
Все, что между нами было,
В сердце свято я хранила,
Ничего я не забыла. — «Любимая, где твои башмачки?» (*баскск.*)

время войны. Многие приезжали в Вашингтон с той же целью, и некоторым так же трудно было обосновать свои претензии, как и ему. Необходимо было действовать заодно, а потому он ничуть не удивился, получив записку от какой-то дамы, просившей навестить ее в доме сенатора Дилуорти.

В среду в начале четвертого он позвонил у дверей сенаторского жилища. Это был красивый особняк, стоявший на площади, напротив дома президента. «Должно быть, владелец очень богат, — подумал полковник и улыбнулся. — Как знать, быть может, после падения Нового Орлеана он заполучил малую толику моего хлопка в обмен на соль и хинин...» С этой мыслью он взглянул на замечательную статую Героя Нового Орлеана: могучим усилием герой удерживался верхом на вздыбленном бронзовом коне, взмахивая шляпой, точно при звуках воинственной песни «Возвратился он с победой...». «Бог ты мой, — сказал себе полковник, — старик Джексон должен бы слезть и уступить свое место генералу Сатлеру, но того пришлось бы привязать к лошади».

Лора была в гостиной. Она слышала звонок, слышала шаги в прихожей и настойчивый стук трости. Она стояла прислонясь к фортепьяно и прижимая руку к груди, чтобы унять неистово бьющееся сердце. Дверь отворилась, вошел полковник и остановился на свету, напротив окна. Лора оставалась больше в тени; она стояла так несколько секунд, и полковник успел заметить ее горделивую осанку. Потом она шагнула вперед.

— Полковник Селби, не так ли?

Полковник попятился, наткнулся на стул и с ужасом уставился на нее:

— Лора? О боже!

— Да, твоя жена!

— Нет, не может быть... Как вы сюда попали? Я думал, вы...

— Ты думал, я умерла? — перебила Лора, не помня себя от ярости. — Думал, что ты от меня избавился? Никогда вам это не удастся, полковник Селби, никогда, до самой вашей смерти!

Еще ни разу ни один человек не обвинял полковника Селби в трусости. Но перед этой женщиной он струсил. Быть может, он был уже не тот, что прежде. Куда девалось его хладнокровие! Куда девалось то насмешливое, невозмутимое спокойствие, с каким он встретил бы любую женщину, перед которой был виноват, если бы только встреча эта не была для него неожиданной! Сейчас он чувствовал: надо как-то оттянуть, выиграть время. В самом голосе Лоры он чуял опасность. От ее спокойствия мороз подирал по коже. Ее неотступный взгляд прожигал насквозь.

— Ты разбил мою жизнь, — сказала она, — а я была так молода, так наивна и так любила тебя. Ты обманул меня и бросил, насмеялся надо мной и втоптал меня в грязь, опозоренную, отверженную. Лучше бы ты убил меня тогда. Мне не пришлось бы тебя возненавидеть.

— Не говори так, Лора, — начал полковник, собравшись с духом. — Он был все еще бледен, и в голосе его звучала мольба. — Упрекай меня. Я это заслужил. Я был негодяем. Я был чудовищем. Но твоя красота свела меня с ума. Ты права, я был мерзавцем, что так тебя бросил. Но что я мог сделать? Я был женат, и...

— И твоя жена еще жива? — спросила Лора, слегка наклонясь вперед от нетерпения.

Полковник заметил это и едва не сказал «нет», но тут же подумал, что скрывать правду — безумие.

— Да, — сказал он. — Она здесь.

Слабый румянец, проступивший было на щеках Лоры, вновь исчез. Сердце ее замерло, ноги подкашивались. Последняя надежда рухнула. На мгновение комната поплыла у Лоры перед глазами. Селби шагнул к ней; но жгучий гнев вновь поднялся в ее груди, и она жестом остановила его.

— И ты посмел явиться с нею сюда, и говорить мне об этом, и насмехаться надо мной! И ты думаешь, я стерплю это, Джордж? Ты думаешь, я позволю тебе жить с этой женщиной? Думаешь, я сейчас так же бессильна, как в тот день, когда я упала замертво к твоим ногам?

Теперь она была в бешенстве. Буря бушевала в ее душе. С угрожающим видом она шагнула к Селби. «Она

убила бы меня, если б могла, — подумал полковник. — Но как хороша!» Он уже овладел собой. Лора была прелестна, когда он знал ее еще простой деревенской девушкой. Теперь она была ослепительна, она стала совершенством — в полном расцвете красоты, во всем обаянии светской женщины. Где тут было устоять полковнику Селби! Он все заметил и оценил. Быстро подойдя к Лоре, он сжал ее руки в своих.

— Подожди, Лора! Опомнись! Ну а если я еще люблю тебя? А если я проклинаяю свою судьбу? Но что я могу сделать? Война разорила меня. Я потерял почти все, что имел. Теперь мне все равно, я рад бы умереть и покончить с этим.

Услышав его низкий, так памятный ей голос, Лора задрожала. Селби смотрел ей в глаза, как смотрел в те далекие дни, когда ни одна из всех птиц, что пели в рощах, где бродили они вдвоем, ни единым звуком не предостерегла Лору. Он сражался, был ранен. Он понес наказание... Гнев и силы разом оставили ее, и она, рыдая, опустилась на стул.

«О господи, а я-то думала, что ненавижу его!»

Селби опустился перед нею на колени. Он взял ее за руку. Лора не отняла руки. Она смотрела на него жалобно и с нежностью и спросила еле слышно:

— Ты любишь меня хоть немножко?

В ответ посыпались клятвы и уверения. Он целовал ее руки, ее губы. Он божился, обрекая свою лживую душу на вечную погибель.

Она жаждала любви, эта женщина. Разве другая могла бы полюбить Джорджа Селби так сильно, так глубоко? И разве у нее нет прав на него? Разве он не принадлежит ей одной по праву ее всепоглощающей страсти? Его жена — жена ему по закону, и только. Она не настоящая жена ему. Пусть закон на ее стороне — все равно она не вправе стоять между двумя людьми, чьи души слиты в одну. Общество устроено скверно, только его нелепые порядки и привязывают Джорджа к той...

Так думала, так верила Лора, потому что хотела верить. Она пришла к этому вполне самостоятельно, — дерзкая и независимая, она не могла не прийти к этой

мысли. Она, несомненно, слышала подобные теории, очень распространенные в ту пору, — теории о тирании брака и о свободе брака. Она даже слышала лекции, — их читали женщины, — о том, что брак должен оставаться в силе лишь до тех пор, пока любой из сторон не заблагорассудится порвать его, будь то через год, через месяц или день. Прежде Лора не слишком прислушивалась ко всему этому. Но теперь вспыхнувшее желание точно молния озарило для нее всю справедливость этих рассуждений. Да, конечно это правильно! Бог не допустил бы, чтобы они с Джорджем Селби так сильно полюбили друг друга, если бы общество имело право воздвигнуть между ними нерушимую преграду. Джордж принадлежит ей. Разве он сам не признался ей в этом?

Как ни силен был дух благочестия в доме сенатора Дилуорти, даже он не мог внушить Лоре важнейшее для христианки правило, каким-то образом упущенное при ее воспитании. В самом деле, разве не в этом доме слышала она, как женщины, известные всей стране и постоянно бывающие в конгрессе, высказывали чувства, полностью оправдывающие избранную ею линию поведения?

И вот они сидят рядом и разговаривают уже почти спокойно. Лора счастлива — по крайней мере так ей кажется. Но это — лихорадочное счастье, которое удалось урвать под покровом лжи и обмана, и каждый миг ощущаешь, что оно мимолетно, опасно, и отдаешься ему со страхом. Она любит. Она любима. Конечно же это счастье! И ни мрачное прошлое, ни тревожное настоящее, ни неверное будущее — ничто не отнимет у нее этого счастья!

О чем они говорили? О каких пустяках говорят в таких случаях люди, будь им даже семьдесят лет от роду... Лоре довольно было слышать его голос, быть с ним рядом. А ему довольно было сидеть рядом с нею и стараться по возможности ничем не связать себя. При этом ему вполне хватает настоящего, а будущее... Какой-нибудь выход да найдется — сколько уже раз так бывало.

И все же Лора не могла окончательно успокоиться и не думать о завтрашнем дне. Как сумеет Селби избе-

виться от жены? Сколько времени на это уйдет? Нельзя ли ему уехать в какой-нибудь штат, где развестись можно побыстрее? Он не мог сказать точно. Это надо вместе обдумать. Надо все обсудить. И так далее. Не казалось ли это Лоре преступным заговором против другой женщины — такой же, как она сама, против сестры, — быть может, покушением на ее жизнь? Очевидно, нет. Этот человек по справедливости должен принадлежать ей, Лоре, — а тут на пути стоят какие-то препятствия. Вот и все. Кто совершает дурное дело, найдет для него не менее веские основания, чем другой — для дела доброго. Если уж ты нарушил десятую заповедь, все остальные тоже не в счет.

Так надо ли удивляться, что, когда Джордж Селби уходил, Лора из окна почти весело глядела, как он переходит залитую солнцем площадь? «Завтра я увижу его, — сказала она себе. — И послезавтра, и после-послезавтра. Теперь он мой!»

«Черт бы ее побрал, — сказал себе полковник, спускаясь с лестницы. Но тут же мысли его приняли новый оборот: — А впрочем... — прибавил он, — жаль, что моя жена не осталась в Новом Орлеане».

**КАК В ВАШИНГТОНЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ
НОВОСТИ**

Отверзьте уши! Кто из вас закроет
Свой слух от гласа громкого Молвы?
Я, бурю оседлав, промчусь с Востока
До Запада поникшего и всюду
Огласку дам деяниям людей.
Уста мои родят лишь клевету:
Звучит она на всех языках мира,
Всем уши заполняя злобной ложью.

«Король Генрих IV».

Едва ли кого-нибудь удивит, что полковник Бирайя Селлерс к тому времени стал одним из самых известных людей в Вашингтоне. Впервые за всю его жизнь нашлось где развернуться его талантам.

Теперь он оказался в центре грандиозных замыслов и планов, всевозможных спекуляций, политических и светских сплетен. Воздух был насыщен большими и малыми слухами и великими, но довольно смутными надеждами. И всякий спешил осуществить свои личные планы, — спешил так лихорадочно, словно боялся, что уже завтра наступит день Страшного суда. Действуй, пока заседает конгресс, твердил беспокойный дух, ведь в перерыве между сессиями нет места действиям и хитроумным планам.

Полковник Селлерс безмерно наслаждался этой суетой и всеобщим смятением; в атмосфере смутных ожи-

даний он был как рыба в воде. Его собственные планы стали необъятнее, туманней и величественней; в этой благоприятной обстановке полковник даже и самому себе стал казаться каким-то новым, значительным и загадочным. Если он и прежде был исполнен самоуважения, то теперь чуть ли не поклонялся Бирайе Селлерсу, точно какому-то высшему существу. Если бы ему предложили выбрать себе официальный пост из числа самых высоких, ему было бы нелегко сделать выбор. Президент республики? Но и президент, казалось ему, слишком ограничен и связан в своих действиях рамками конституции. Вот если бы Селлерс мог стать далай-ламой Соединенных Штатов — это, пожалуй, ближе всего подошло бы к его идеалу государственной деятельности. И почти в такой же мере он наслаждался бы безответственным всеведением специального корреспондента большой газеты.

Полковник Селлерс был хорошо знаком с президентом и был вхож к нему в такие часы, когда чиновники еще маялись в приемной. Президент любил слушать полковника: его непринужденная словоохотливость действовала освежающе после благопристойной скуки людей, которые только и говорили что о делах, о правительстве и нескончаемо излагали свои взгляды на справедливость и распределение должностей. Полковник Селлерс был столь же страстным любителем сельского хозяйства и лошадей, как и сам Томас Джефферсон. Он мог часами рассказывать о своей великолепной конюшне и о своей плантации в Хоукае, — в его рассказах она выглядела чем-то вроде княжества. Президент непременно должен во время каникул навестить его и полюбоваться на его конный завод.

— У президента кормят недурно, — говаривал он бездельникам, окружавшим его в ресторане Уилларда. — Недурно для человека, живущего на жалованье. Но, господи помилуй, хотел бы я, чтоб он отведал нашего старинного гостеприимства, поглядел, что такое открытый дом, знаете ли. Кто заглянет ко мне, может подумать, будто я и не смотрю, что делается в доме, оставляю все на произвол судьбы. И сильно ошибется. Меня заботит прежде всего качество, сэр. У президента

стол довольно разнообразный, но качество... На овощи тут, конечно, и рассчитывать нечего! А я в этом отношении очень привередлив. Возьмите, к примеру, сельдерей. Во всей Америке есть одно-единственное место, где растет настоящий сельдерей. Но что меня поражает — это вина! Можно подумать, что их изготовили в нью-йоркской таможне. Непременно пошлю президенту кое-что из моего погреба. Я был просто подавлен на днях, когда за обедом турецкий посол оставил свое вино недопитым.

Приехав в Вашингтон, полковник сначала подумывал о том, чтобы получить дипломатический пост в Константинополе: тогда он на месте наблюдал бы за распространением своего глазного эликсира; но так как это изобретение было еще не совсем готово, то константинопольский проект несколько поблек перед лицом других, более широких планов. Притом полковник чувствовал, что принесет отечеству больше пользы, не покидая его пределов. Он принадлежал к числу тех южан, о которых неизменно говорили, что они «искренне примирились с создавшимся положением».

— Я прогорел! — часто говорил он, весело смеясь. — Где уж мне тягаться с правительством! Меня обчистили, доконали, у меня только и осталось, что плантация да мой особняк. Мы вели большую игру и проиграли. И что до меня — я не намерен хныкать. Я стою за то, чтобы поднять наш добрый старый флаг на всех незанятых землях. Вот я и сказал президенту: «Грант, говорю, почему бы нам не занять Санто-Доминго? Аннексируем его, а после узаконим дело. Это в моем духе. Я бы взялся уладить все в конгрессе. Юг будет участвовать в этом. Тебе следует расположить к себе Юг, объединить два долга, выплатить их бумажными долларами и — вперед! Вот мое мнение». Баутвелл правильно понимает цену бумажным деньгам, но ему не хватает смелости. Хотел бы я полгода управлять казначейством. Уж я бы добился изобилия, и дела пошли бы в гору.

Полковник Селлерс имел доступ во все департаменты. Он знал всех членов обеих палат, а главное — всех кулуарных политиков. Поэтому он был в большом почете у репортеров и нередко засиживался в

ложе прессы: доверительно сообщит что-нибудь новенькое о государственных делах, а эти сведения немедленно подхватываются — и телеграф разносит их по всей стране. Но даже и сам полковник потом изумляется, читая их, — они так приукрашены, что он и сам едва может их узнать. И он понимает намек: чтобы угодить газетам, он начинает всячески преувеличивать то, что до сих пор рассказывал попросту.

Зимой 187... года люди то и дело с удивлением спрашивали себя, откуда газеты добывают поразительную информацию, которой они каждое утро изумляют всю страну, разоблачая самые тайные намерения президента и его кабинета, интимные мысли политических лидеров, скрытое значение каждого шага и поступка. Эта информация исходила от полковника Селлерса.

Когда впоследствии его спросили об украденной копии договора об «Алабаме», попавшей на страницы «Нью-Йорк трибюн», он лишь сказал с таинственным видом, что ни ему, ни сенатору Дилуорти ничего об этом не известно. Но те, с кем он время от времени встречался, почти не сомневались, что уж ему-то кое-что известно.

Не следует думать, что полковник, занятый трудами на благо отечества, забывал о собственных делах. Проект развития судоходства на реке Колумба отнимал лишь часть его времени, так что он мог вложить немалые запасы энергии в план использования земель в Теннесси — грандиозное предприятие, вполне соответствующее его способностям; тут полковнику действительно помогал мистер Генри Брайерли, который день и ночь вертелся то в кулуарах конгресса, то в столичных отелях и какими-то загадочными способами сколачивал капитал для этого дела.

— Мы должны создать общественное мнение, — сказал сенатор Дилуорти. — Я действую исключительно в интересах народа — и если стране угодна эта мера, конгресс должен будет подчиниться.

Вероятно, после очередной беседы между полковником Селлерсом и сенатором Дилуорти и появилось в одной нью-йоркской газете следующее специальное сообщение:

«Нам стало известно, что готовится некое филантропическое мероприятие в отношении негров, которое, если удастся его осуществить, произведет переворот во всей промышленности Юга. Предполагается в виде опыта учредить в Теннесси некий институт, который сыграет в этом штате ту же роль, какую Цюрихская промышленная школа сыграла в Швейцарии. Как мы узнали, уже начаты переговоры с наследниками покойного Сайласа Хокинса

(штат Миссури) о том, чтобы арендовать часть их ценнейших землевладений в Восточном Теннесси. Сенатор Дилуорти, как говорят, выступает убежденным сторонником таких условий, которые давали бы правительству возможность полностью контролировать это мероприятие. Частные интересы должны быть подчинены общественному благу. Можно надеяться, что полковника Селлерса, выступающего от лица наследников, удастся склонить к такому взгляду на вещи».

Прочитав эту заметку, Вашингтон Хокинс, несколько встревоженный, отправился к полковнику. Он стоит за аренду, он не хочет поступаться своими правами. Как думает полковник, что им предложит правительство? Два миллиона?

— Может быть, три, а может, и четыре, — сказал полковник. — Эта земля стоит больше, чем весь Английский банк.

— Если они не захотят арендовать землю, пускай дадут два миллиона за половину. Я не собираюсь отдавать свою землю даром, во всяком случае — не всю.

Гарри сказал полковнику, что надо протолкнуть это дело побыстрее — весна не за горами, а тогда он, Гарри, не сможет болтаться в Вашингтоне. Он нужен Филу, Фил затевает что-то грандиозное в Пенсильвании.

— А что там такое? — осведомился полковник, всегда готовый заинтересоваться всяким крупным начинанием.

— Он нашел угольную гору, вот и все. Собирается весной рыть шахту.

— Ему нужны деньги? — спросил полковник тоном человека, склонного тщательно все рассчитать, прежде чем вкладывать в какое-либо предприятие свой капитал.

— Нет, не нужны. Его поддерживает старик Боултон. Деньги у него есть, но, наверно, для начала ему понадобится я — у меня есть опыт по этой части.

— Если я тоже понадобится, передайте, что я приеду, когда конгресс закончит работу. С удовольствием помогу Филиппу на первых порах. Этому юноше не хватает предприимчивости — взять хотя бы дело с рекой Колумба. Фил не понимает, какие ему представляются возможности. Но он славный малый, и вы ему скажите, что на Селлерса он может рассчитывать.

— Кстати, — сказал Гарри, — что это за красавчик увивается за Лорой? Я вижу, он всюду с ней — и в парламенте, и в карете на прогулке, и у Дилуорти он бывает. Не будь он хромым, я бы подумал, что он собирается сбежать с нею.

— Ну, это пустяки. Лора знает, что делает. Он добивается возмещения за хлопок. Бывал в Хоукае во время войны, был тогда полковником, Селби его фамилия. Он женат, семейный человек. Эти Селби очень почтенные люди.

— Ну, если это только деловое знакомство, тогда ладно, — сказал Гарри. — Но только когда женщина смотрит на меня такими глазами, как Лора на этого Селби, я сразу понимаю, в чем дело. И про них уже начинают болтать, уверяю вас.

Ревность, без сомнения, обострила наблюдательность мистера Брайерли. Будь Лора сама царица Савская, совершающая путешествие по Америке, она не могла бы обращаться с ним более высокомерно и снисходительно. И он, задетый, раздосадованный, выполнял ее поручения, передавал ей сплетни и слухи и хвастал своим близким знакомством с очаровательной мисс Хокинс перед своими приятелями-журналистами.

Жизнь Лоры стала теперь бурным потоком интриг и светских развлечений. Она блистала на балах, которые задавало самое легкомысленное общество; подозревали, что она бывает на тех сомнительных ужинах, которые начинаются, когда люди добрые ложатся спать, а кончаются на рассвете. Если сенатор Дилуорти и напоминал ей о необходимости соблюдать приличия, она умела заставить его замолчать. Быть может, у нее была

какая-то власть над ним, а может быть, без нее он никак не мог бы осуществить свои планы и принести благоденствие чернокожим.

Лора виделась с полковником Селби и явно и тайно. Она непременно хотела встречаться с ним, какие предлоги он ни отыскивал, как ни старался ее избегать. Она не находила покоя; страстная любовь, ненависть, ревность охватывали ее, сменяясь, точно приступы лихорадки. Порой она ластилась к Селби, старалась его задобрить, пускала в ход все свои чары, — а потом осыпала его угрозами и упреками. Чем он занимается? Почему ничего не делает, чтобы вернуть себе свободу? Почему не отошлет жену домой? У Лоры скоро будут деньги, много денег. Можно уехать в Европу... куда вздумается. Не все ли ей равно, что о ней скажут?

И он обещал, и лгал, и изобретал все новые предлоги для промедления, — трусливый игрок и прожигатель жизни, он боялся порвать с нею, да и не хотелось ему от нее отказываться.

«Эта женщина не знает страха, — говорил он себе. — И она следит за мной, как ястреб за куропаткой».

Жене своей он сказал, что Лора Хокинс — кулуарная деятельница, которую он вынужден терпеть, чтобы при ее помощи добиться возмещения за хлопок, а тогда он ей заплатит и отделается от нее.

ГАРРИ БЕЗНАДЕЖНО ВЛЮБЛЕН

وَزَادَهُ كَلْفًا فِي الْحَبِّ أَنْ مَنَعَتْ
وَحَبَّ شَبًّا إِلَى الْإِنْسَانِ مَا مَنَعَا

Táj el-Aroos ¹

Egundano учан daya ni baydienetacoric?
Ny amorriac enu mayte, nic hura ecin gayesci.

Bern. d'Echeparre ²

Генри Брайерли постоянно бывал в доме сенатора Дилуорти и стал там настолько своим человеком, что приходил и уходил когда вздумается. Сенатор был довольно гостеприимен, любил принимать у себя, а веселый, шумный, словоохотливый Гарри развлекал его; ведь даже самым благочестивым людям и самым заня-

¹ Ее отказ разжег в нем жар любви:

В чем нам отказано — то нам всего дороже. — Та д ж э л ь
А р о о с (*арабск.*).

² Я несчастней всех на свете,

День и ночь брожу тоскуя.

Хоть она меня не любит,

Бросить деву не могу я. — Б е р н а р д о Д е ч е п а р р е .
(*баскск.*).

тым государственным деятелям надо когда-нибудь и отдохнуть!

Сам Гарри искренне верил, что он чрезвычайно полезен делу создания университета для цветных и что удача всего этого плана в значительной мере зависит от него. Немало послеобеденных часов провел он, беседуя об этом с Дилуорти. Он даже подумывал, не взяться ли ему преподавать в новом университете гражданское машиностроение.

Однако не общество сенатора и не его обеды (о которых этот шалопай говорил, что там многовато застольных молитв и маловато вина) привлекали Генри Брайерли в этот дом. Бедняга околачивался здесь день за днем, дожидаясь, когда ему посчастливится увидеть Лору хоть на пять минут. Ради того, чтобы пообедать за одним столом с нею, он готов был сносить нескончаемую скуку послеобеденной беседы с сенатором, когда Лора куда-нибудь выезжала или же, сославшись на усталость, уходила к себе. Иной раз он сопровождал ее на какой-нибудь званый обед, и уж совсем редко выдавались блаженные вечера, когда она оставалась с ним в гостинной, — и он пел, оживленно болтал, был неистощим на выдумки, изображал и фокусника, и чревовещателя, — словом, развлекал ее, как только мог.

Он был немало озадачен тем, что все его обаяние ничуть не действовало на Лору: до сих пор он еще не встречал женщины, которая не сочла бы его неотразимым. Изредка Лора бывала необычайно добра и мила, даже немножко баловала его, снисходила до того, чтобы испробовать на нем свое умение нравиться и обворожить его еще сильнее. Но все это, как с досадой думал он после, происходило с глазу на глаз, а на людях она была недосыгаема для него и никогда не давала повода заподозрить, что между ними что-то есть. Его не устаивали разрешения всерьез флиртовать с нею при посторонних.

— Почему вы со мной так обращаетесь? — сказал он однажды с упреком.

— Как обращаюсь? — самым нежным тоном спросила Лора, удивленно поднимая брови.

— Вы прекрасно знаете. В обществе вы всегда окружены другими, а меня и не замечаете, как будто мы даже не знакомы.

— Что же мне делать, если люди ко мне внимательны? Не могу же я быть грубой! Но мы с вами такие старые друзья, мистер Брайерли, и я никак не думала, что вы станете ревновать.

— Да, судя по тому, как вы ведете себя со мной, я уж очень старый друг. На том же основании я могу заключить, что полковник Селби очень новый ваш друг.

Лора быстро взглянула на него, словно собираясь резко ответить на эту дерзость, но сказала только:

— А причем тут полковник Селби, нахал вы этакий?

— По-вашему, может быть, и ни при чем. Только вы слишком часто появляетесь в его обществе, об этом говорит весь город.

— А что говорят? — спокойно спросила Лора.

— О, много всего. Но вас, наверно, оскорбляет, что я упомянул об этом?

— Нет, ничуть. Вы мой настоящий друг. Я чувствую, что могу вам довериться. Вы не обманете меня, Гарри? — она посмотрела на него так доверчиво и нежно, что вся его досада и все сомнения мигом растаяли. — Так что же говорят?

— Некоторые говорят, что вы из-за него потеряли голову; другие — что вы им интересуетесь не больше, чем десятком других, но он влюблен без памяти и того и гляди ради вас бросит жену; а некоторые говорят, что нелепо и думать, будто вы связались с женатым человеком, и что вся ваша близость основана на этом деле с возмещением за хлопок, и Селби хочет воспользоваться вашим влиянием на Дилуорти. Но вы же знаете, в Вашингтоне про всех так или иначе сплетничают. Я бы не обращал на это внимания; но, по-моему, лучше бы вам держаться подальше от этого Селби, Лора, — продолжал Гарри, воображая, будто у них с Лорой теперь такая дружба, что она прислушается к его совету.

— А вы верите этой клевете?

— Я не верю никаким попыткам очернить вас, Лора, но от полковника Селби не ждите ничего хоро-

шего. Я знаю, вы бы не показывались с ним рядом, если б знали, какая у него репутация.

— Вы его хорошо знаете? — спросила Лора так небрежно, как только могла.

— Знаю немного. Я был у него в Джорджтауне дня два назад вместе с полковником Селлерсом. Селлерс хотел с ним поговорить о каком-то своем патентованном лекарстве, — он изобрел какой-то глазной эликсир или что-то вроде этого и хочет распространить его в Европе. Селби ведь скоро уезжает за границу.

Лора вздрогнула, несмотря на все свое самообладание.

— А жена? Он берет с собой семью? Видели вы его жену?

— Видел. Маленькая брюнетка, лицо поблекшее... хотя когда-то, наверно, она была хорошенькая. У них трое или четверо детей, один совсем маленький. Они, конечно, едут всей семьей. Она сказала, что будет очень рада вырваться из Вашингтона. Вы знаете, Селби уже заплатили за его хлопок, и, говорят, на днях ему крупно повезло в игре у Мориси.

Лора выслушала все это в каком-то оцепенении; она смотрела на Гарри, но не видела его. «Возможно ли? — думала она. — Этот низкий негодяй после всех своих обещаний уедет с женой и детьми и бросит меня? Возможно ли, что по городу ходят такие слухи обо мне? И неужели... — Лицо ее потемнело. — Неужели этот дурак думает вот так и улизнуть от меня?»

— Вы сердитесь на меня, Лора? — спросил Гарри, нимало не подозревая о том, что за мысли терзают ее.

— Сержусь? — повторила Лора, с трудом возвращаясь к действительности: она совсем забыла о Гарри. — На вас? О нет. Но до чего мир жесток! Люди никогда так не преследуют мужчину, как одинокую женщину. Я очень благодарна вам, Гарри; спасибо, что вы рассказали мне про этого ужасного человека.

Она встала и протянула ему свою прелестную ручку, которую этот глупец крепко сжал и поцеловал. И он наговорил ей немало глупостей, прежде чем она мягко отняла руку и вышла, сказав, что ей пора переодеться к обеду.

И Гарри ушел взволнованный и немножко обнадеженный — самую малость. Счастье блеснуло ему на миг — и исчезло, оставив его в глубоком унынии. Она никогда не полюбит его, и притом она продала душу дьяволу. Не мог же он закрывать глаза на то, что видел сам, и не слышать того, что о ней говорят.

Что случилось с молодым, легкомысленным покорителем женских сердец? Жаль было смотреть, как поникли крылышки у этого беззаботного мотылька. Так, значит, было в нем все-таки что-то хорошее, добрая струнка, которую можно было затронуть? Оказалось, он безумно влюблен в эту женщину. Не наше дело разбираться в его страсти и судить, достойное ли это было чувство. Но оно завладело всем существом Гарри и даже сделало его несчастным. Если он заслуживал наказания — чего вам еще желать? Быть может, эта любовь пробудила в нем героя.

Он ясно видел, по какой дороге идет Лора, хотя и не верил худшему из того, что о ней слышал. Он любил ее слишком пламенно, чтоб хоть на миг этому поверить. И ему казалось, что, если только он заставит Лору понять весь ужас ее положения и всю глубину его преданности, быть может она его полюбит, — и тогда он ее спасет. Вот каким благородным и самоотверженным стало его чувство — совсем не то, что было в Хоугае. Приходило ли ему в голову, что если уж спасать Лору от гибели, так надо бы и самому от нее отказаться? Едва ли. Столь высокая добродетель не часто встречается в жизни, особенно в таких людях, как Гарри, чье великодушие и самоотверженность — скорее плод темперамента, чем привычки или убеждений.

Он написал Лоре письмо — длинное, сумбурное, страстное письмо, в котором излил свою любовь так, как не умел высказать ей в глаза, и предостерегал ее так ясно, как только хватило смелости, от грозивших ей опасностей, от риска погубить себя, которому она подвергалась на каждом шагу.

Лора прочитала все это, быть может слегка вздохнула при мысли о прошедших днях — и бросила письмо в огонь, с презрением подумав: «Все они одинаковы».

Гарри привык подробно писать Филиппу и, верный себе, просто не мог не прихвастнуть, рассказывая о своих делах. Он описывал свои подвиги и успехи в качестве кулуарного деятеля, особенно в связи с организацией нового университета, за каковые он будет недурно вознагражден, вперемежку с этим сыпал анекдотами о столичном обществе, намеками насчет Дилуорти, рассказами о полковнике Селлерсе, который стал весьма популярной личностью, и мудрыми замечаниями о скрытой механике законодательства, действующей во имя общественного блага. Все это очень развлекало выздоравливающего Филиппа.

В этих письмах часто встречалось имя Лоры: сначала о ней упоминалось мельком, как о первой красавице сезона, которая покоряет всех и вся своим умом и наружностью; потом Гарри стал писать о ней серьезнее: казалось, он недоволен тем, что все так восхищаются ею, и слегка уязвлен тем, как она с ним обращается. Никогда еще Гарри не говорил так о женщинах, и, читая эти его письма, Филипп удивился и призадумался. Неужели Гарри влюбился всерьез? Потом пошли рассказы о Лоре, городские толки, сплетни, которые Гарри с возмущением опровергал, — но он явно был не в своей тарелке, а под конец стал писать совсем унылые, мрачные письма. И тогда Филипп спросил напрямик: что это с ним стряслось, уж не влюбился ли он?

Тут Гарри выложил Филиппу все начистоту — и все, что знал об истории с Селби, и то, как с ним, Гарри, обращается Лора, сегодня его обнадеживая, а завтра пренебрегая им, и наконец поделился своими опасениями: она погубит себя, если что-нибудь не излечит ее от этого увлечения. Как жаль, что Филиппа нет в Вашингтоне. Он знает Лору, а она его очень уважает, прислушивается к его словам, считается с его мнением. Быть может, он — человек сторонний, незаинтересованный, которому она доверяет, — мог бы поговорить с нею, раскрыть ей глаза на то, в каком положении она очутилась.

Филиппу все стало ясно. О Лоре он знал мало, если не считать того, что она необыкновенно хороша и, кажется, не слишком строгих правил, — судя по тому, как

она вела себя в Хоукае с ним и с Гарри. Разумеется, он ничего не знал о ее прошлом, не мог ни в чем серьезном ее упрекнуть; и если уж Гарри так отчаянно в нее влюбился, отчего бы ему не постараться завоевать ее? Но если она уже вступила на тот путь, на который, как опасается Гарри, она может вступить, — тогда разве не долг Филиппа прийти на помощь другу и попытаться уберечь его от какого-либо безрассудного шага из-за женщины, быть может совершенно его недостойной? Конечно, Гарри легкомысленный малый и фантазер, однако он заслуживает лучшей участи.

Филипп решил съездить в Вашингтон и своими глазами посмотреть, что и как. У него были на то и другие причины. Он теперь лучше знал дела мистера Боултона и забеспокоился: этой зимой их несколько раз навещал Пеннибеккер, и Филипп подозревал, что он втягивает мистера Боултона в какие-то сомнительные махинации. Теперь Пеннибеккер был в Вашингтоне, и Филипп хотел попытаться разузнать о нем и его планах что-нибудь, что могло бы оказаться полезным мистеру Боултону.

Для человека со сломанной рукой и разбитой головой Филипп недурно провел эту зиму. При таких двух сиделках, как Руфь и Алиса, болезнь казалась ему приятным отдыхом, и каждая минута выздоровления была для него драгоценна и слишком быстро пролетала. Люди, подобные Филиппу, не привыкли терять много времени из-за каких-то царапин, даже ради того, чтобы поухаживать за девушкой, — и он с огорчением чувствовал, что поправляется чересчур быстро.

В первые недели, когда он был всерьез болен и слаб, Руфь неустанно ходила за ним; она без лишних слов взяла на себя все заботы и мягко, но непреклонно противилась попыткам Алисы и остальных разделить с нею бремя этих забот. Что бы она ни делала, она держалась спокойно, решительно и властно; но часто в те первые дни острой боли, открывая глаза, Филипп видел, как она склоняется над ним, и ловил на ее встревоженном лице выражение такой нежности, что его лихорадочно бьющееся сердце начинало колотиться еще сильнее, — и это лицо долго стояло перед ним потом,

когда он вновь закрывал глаза. Иногда он чувствовал на лбу ее ладонь — и не открывал глаза из страха, что Руфь отнимет руку. Он настороженно ждал минуты, когда она войдет к нему, среди всех других шагов в доме он различал ее легкую походку. «Так вот что значит, когда женщина занимается медициной! — думал Филипп. — Ну, тогда мне это по душе».

— Руфь, — сказал он однажды, почти уже оправившись, — я верю в это!

— Во что?

— Да в женщин-врачей.

— Тогда я вызову здешнего доктора, миссис Лонг-стрит.

— О нет. Хватит и одного. Я, наверно, завтра же выздоровею, если только буду знать, что у меня никогда не будет другого врача.

— Врач не разрешает вам так много разговаривать, — сказала Руфь и прижала палец к его губам.

— Но, Руфь, я хочу сказать, что я предпочел бы никогда не выздоравливать, если бы...

— Ну, ну, вам нельзя говорить. Вы опять заговариваетесь. — И Руфь с улыбкой закрыла ему рот рукой, а потом, весело смеясь, выбежала из комнаты.

Но Филипп неумоимо вновь и вновь повторял эти попытки; ему это очень нравилось. Однако стоило ему расчувствоваться, как Руфь обрывала его каким-нибудь тщательно обдуманном внушении, например: «Не думаете ли вы, что ваш врач воспользуется крайней слабостью своего пациента? Если вы хотите сделать какие-либо признания перед смертью, я позову Алису».

По мере того как Филипп поправлялся, Алиса все чаще заменяла Руфь, развлекая его, часами читала ему вслух, когда ему не хотелось разговаривать, — а говорил он почти все время о Руфи. Эта замена не так уж огорчала Филиппа. В обществе Алисы он всегда был весел и доволен. Никто другой не действовал на него так успокоительно. Она была начитаннее Руфи, много знала и многим интересовалась; всегда оживленная, добрая и отзывчивая, она ничуть не утомляла его, по

и не нарушала его душевного покоя. Она действовала на него так же умиротворяюще, как миссис Боултон, когда та порой подсаживалась к его постели со своим рукодельем. Иные люди неизменно распространяют вокруг себя успокоительное, ровное тепло. Они вносят мир в дом, и в самом разношерстном обществе всем и каждому передается от них ощущение безмятежной ясности духа, хотя говорят они мало и, видимо, не сознают своего влияния на окружающих.

Разумеется, Филиппу все равно хотелось, чтобы Руфь была с ним. Но с тех пор как он уже настолько поправился, что мог ходить по всему дому, она вновь углубилась в занятия. Время от времени она опять принималась дразнить его. Она всегда шуткой, точно щитом, заслонялась от его чувства. Филипп нередко называл ее бесчувственной; но он и сам был не очень уверен, понравилось ли бы ему, если бы Руфь была чувствительна; нет, право, даже хорошо, что ей свойственно это изящное здравомыслие. Никогда он не видел девушки серьезнее и в то же время веселее и жизнерадостней.

Быть может, с нею ему было не так спокойно и бестревожно, как с Алисой. Но ведь он любил Руфь. А покой и довольство не в ладах с любовью.

МИСТЕР ТРОЛЛОП ПОПАДАЕТСЯ В ЛОВУШКУ
И СТАНОВИТСЯ СОЮЗНИКОМ

С ат л. Да провалиться мне на месте! Я согласен.

Д ол. Ну что же, сэр, коль так — скорей клянись.

С ат л. В чем должен клясться я?

Д ол. В том, что, друзей оставив,

Для дела общего вы будете трудиться.

Бен Джонсон, Алхимик.

Eku edue mfine, ata eku: midueho
mfine itaha¹.

Военные действия, начатые мистером Бакстоуном, прекратились очень быстро — куда быстрее, чем он предполагал. Он начал с того, что хотел победить Лору, оставаясь непобежденным; но его попытка кончилась тем, чем кончали до него все, кто пытал счастья на этом поле битвы: он усердно старался покорить ее, но скоро убедился, что хоть сам он еще не вполне уверен в победе, зато Лора его явно покорила. К чести Бакстоуна надо сказать, во всяком случае, что он сражался хоть и недолго, но умело. Теперь он оказался в достойной компании — на одной привязи с весьма видными пленниками. Эти несчастные беспомощно и по-

¹ Мышь входит в мышеловку — мышеловка хватает ее; но войди мышь в мышеловку, та бы ее не поймала (эфикск.).

корно следовали за Лорой по пятам, ибо стоило ей захватить пленника — и он навек становился ее рабом. Иные бунтовали, пытаясь сбросить цепи; иные вырывались на свободу и объявляли, что их рабству пришел конец, — но рано или поздно они возвращались к ней, полные раскаяния и обожания. Лора всегда действовала одинаково; как и всех, она то поощряла Бакстоуна, то изводила его; иной раз возносила его на седьмое небо, а потом вновь повергала во прах. Она сделала его главным поборником законопроекта об университете в Буграх, — и поначалу он нехотя принял эту честь, но потом стал ценить ее: ведь благодаря этому он мог услужить Лоре... он даже стал считать, что ему очень повезло, — теперь можно так часто видеться с Лорой!

От Бакстоуна Лора узнала, что злейший враг ее законопроекта — distinguished мистер Троллоп. Бакстоун настаивал, чтобы она даже и не пыталась как-либо повлиять на Троллопа, объясняя, что любой ее шаг в этом направлении несомненно будет использован против нее и не принесет ничего, кроме вреда.

Сперва она сказала, что знает мистера Троллопа, и ей известно, что у него есть ББ. Но мистер Бакстоун сказал, что, хотя и не представляет себе, как понять столь странное выражение, и не стремится разгадать загадку, поскольку это, вероятно, нечто глубоко интимное, он «все же осмеливается утверждать, что нет ничего правильнее в данном конкретном случае и во время данной сессии, как соблюдать величайшую осторожность и держаться подальше от мистера Троллопа; всякое иное поведение может оказаться гибельным».

По-видимому, тут ничего нельзя было поделать. Лора всерьез тревожилась. Как будто все идет на лад — и, однако, ясно, что сильный и решительный враг может в конечном счете разрушить все ее планы. Но вскоре ей пришла на ум новая мысль:

— Не можете ли вы выступить против его знаменитого законопроекта о пенсиях, а потом договориться полюбовно?

— Ну нет, в этом деле мы с ним названные братья — трудимся плечом к плечу и нежно любим друг друга; тут я всячески ему помогаю. Но я всеми силами мешаю

ему провести закон об иммиграции — вот тут я выступаю так же непримиримо и мстительно, как он против нашего университета. У нас с ним половина каждого разговора проникнута ненавистью, а вторая половина исполнена нежнейшей привязанности. Мы отлично понимаем друг друга. Вне стен Капитолия он великолепный работник; ни один человек не мог бы сделать для закона о пенсиях столько, сколько делает он. Я мечтаю, чтобы он выступил по этому вопросу с блестящей речью, которую он хочет произнести, тогда я скажу еще одну — и все будет в порядке.

— Но если он хочет выступить с блестящей речью, почему же он не выступает?

Новые посетители прервали этот разговор, и мистер Бакстоун удалился. Для Лоры не имело ни малейшего значения, что ее вопрос остался без ответа, ведь речь шла о предмете, совсем ей неинтересном; и, однако, человеческой природе свойственно любопытство, — а потому ей хотелось бы знать, в чем тут дело. Случай вскоре представился: она задала тот же вопрос новому лицу — и получила ответ, который ее вполне удовлетворил. Она долго раздумывала в этот вечер, уже лежа в постели, и когда наконец повернулась на бок, чтобы уснуть, у нее готов был новый план. На завтра, на вечер у миссис Главерсон, она сказала Бакстоуну:

— Я хочу, чтобы мистер Троллоп произнес свою замечательную речь, посвященную закону о пенсиях.

— Как! Но ведь вы помните, нас прервали, и я не объяснил вам...

— Не важно, я все знаю. Вы должны заставить его произнести эту речь. Я так хочу.

— О, это легко сказать — заставить его! Но как же я его заставляю?

— Очень просто, я уже все обдумала.

И Лора пустилась в подробные объяснения. Наконец мистер Бакстоун сказал:

— Теперь понимаю. Я уверен, что смогу это устроить. Право, я удивляюсь, как он сам до этого не додумался, — такие случаи бывали, и не раз. Но если я это и улажу, что выиграете вы? Вот чего я не могу постичь.

— Об этом не беспокойтесь. Я выиграю очень много.

— Хотел бы я знать, каким образом? Странная причуда! Вы, кажется, избрали самый дальний и кружной путь... Но вы говорите серьезно, правда?

— Да, конечно.

— Хорошо, я это устрою... Но почему вы не хотите сказать мне, каким образом, по-вашему, это вам поможет?

— Придет время — скажу. Смотрите, сейчас он один. Подите и поговорите с ним, будьте умником!

Через минуту-другую названные братья по закону о пенсиях углубились в серьезный разговор и, казалось, не замечали движущейся вокруг толпы гостей. Они беседовали добрый час, потом мистер Бакстоун вернулся к Лоре.

— Сначала он и слушать не хотел, а потом прямо загорелся. И теперь у нас с ним уговор: я не выдам его секрет, а он, когда начнет громить сторонников законопроекта о нашем университете, не упомянет обо мне. Легко могу поверить, что в этом случае он сдержит слово.

Прошло две недели, и за это время закон об университете приобрел немало друзей. Сенатор Дилуорти начал думать, что пора пожинать плоды. Он устроил тайное совещание с Лорой. Она могла совершенно точно сказать ему, как будет голосовать конгресс. За них большинство; закон пройдет, если только малодушные не испугаются в последнюю минуту и не изменят, — а это легко может случиться.

— Нам бы нужен еще один крепкий, надежный человек, — сказал сенатор. — Вот Троллоп — он бы должен быть на нашей стороне, ведь он друг негров. А он — против, он наш самый яростный противник. Если бы он просто голосовал против, но при этом молчал и не старался повредить нам, я был бы рад и счастлив. Но на это вряд ли можно надеяться.

— Отчего же, я тут недели две назад предложила один довольно выгодный для него план. Пожалуй, он окажется стоворчивым. Сегодня он придет сюда.

— Берегитесь его, дитя мое! Несомненно, он замышляет недоброе. Говорят, он утверждает, будто ему известны какие-то бесчестные приемы, пущенные в ход ради нашего законопроекта, и намерен в последнюю минуту выступить с убийственными разоблачениями. Будьте начеку. Будьте очень, очень осторожны, дорогая. Используйте все свое красноречие. Вы можете убедить человека в чем угодно, если захотите. Постарайтесь убедить его, что, если что-нибудь бесчестное и было сделано, вы уж во всяком случае об этом даже не подозревали и очень огорчены. И как было бы хорошо, если б вы могли рассеять его предубеждение против нашего проекта! Но смотрите не переусердствуйте, дорогая, держитесь так, словно вы во всем этом не слишком заинтересованы.

— Да, хорошо. Я буду ужасно осторожна. Я буду разговаривать с ним нежно, как с родным сыном! Можете на меня положиться.

У входной двери зазвенел колокольчик.

— Вот и он, — сказала Лора.

И сенатор Дилуорти удалился к себе в кабинет.

Лора поднялась навстречу мистеру Троллопу. Это был солидный, тщательно одетый джентльмен весьма почтенного вида, лысый, в стоячем воротничке и со старомодными печатками на часовой цепочке.

— Точность и аккуратность — высокие добродетели, мистер Троллоп, и вы, я вижу, ими обладаете. Вы всегда очень точны и аккуратны при встречах со мною.

— Я всегда выполняю свои обязательства, каковы бы они ни были, мисс Хокинс.

— Мне кажется, в наши дни это достоинство становится большой редкостью. Я хотела поговорить с вами по делу, мистер Троллоп.

— Я так и думал. Чем могу быть полезен?

— Вы знаете мой законопроект — насчет университета в Буграх?

— А, стало быть, это *ваш* проект? Я забыл об этом. Да, этот проект я знаю.

— Так вот, не будете ли вы так добры и не выскажете ли мне свое мнение о нем?

— Что ж, если вам угодно, чтобы я говорил откровенно, — должен сказать: я его не одобряю. Я не видел самого проекта, но, судя по тому, что я слышал, это... это... Ну, словом, это выглядит неважно. Это...

— Говорите все, не смущайтесь.

— Ну вот... по слухам, тут собираются бессовестно обмануть правительство.

— И что дальше? — спокойно сказала Лора.

— Как — что? Я тоже спрашиваю: что дальше?

— Что ж, допустим, тут и в самом деле жульничество, — хотя я могу это опровергнуть, — так разве оно первое?

— Вы меня поражаете! Неужели вы... неужели вы хотели, чтобы я за это голосовал? И вы для этого желали меня видеть?

— Вы очень догадливы. Я хотела и хочу, чтобы вы голосовали за этот проект.

— Голосовать за мошен... за меру, которую все считают в лучшем случае сомнительной? Боюсь, мы с вами не сможем понять друг друга, мисс Хокинс.

— И я этого боюсь — если только вы опять стали принципиальным человеком, мистер Троллоп.

— Неужели вы меня вызвали для того, чтобы оскорблять? Мне пора идти, мисс Хокинс.

— Нет, подождите минуту. Не обижайтесь на такие пустяки. Не будьте таким важным и несговорчивым. Закон о субсидии кораблестроению тоже был мошенничеством, обманом правительства. И вы голосовали за него, мистер Троллоп, хотя вы все время выступали против этого закона, пока однажды вечером не побывали в доме у некоей миссис Мак-Картер и не побеседовали с нею. Она мое доверенное лицо и действовала по моему поручению. А, вот так — присядьте опять, пожалуйста. Вы можете быть очень сговорчивым, если захотите. Итак? Я жду. Вам нечего сказать мне?

— Мисс Хокинс, я голосовал за тот проект потому, что, когда я вник в него...

— Ну конечно. Когда вы вникли в него. Что же, я только и хочу, чтобы теперь вы вникли в *мой* проект. Мистер Троллоп, когда обсуждался тот закон о субси-

дии, вы и не думали продавать свой голос — и совершенно правильно сделали, — вы только согласились принять некоторое количество акций, с условием, что они будут записаны на имя вашего зятя.

— Нет никаких дока... я хочу сказать, что это обвинение ни на чем не основано, мисс Хокинс. — Почтенному джентльмену явно было не по себе.

— Ну, пожалуй, не такое уж оно безосновательное. Я и еще одна особа — назовем ее мисс Икс, настоящее имя не так уж важно — во время того разговора были спрятаны в нише в двух шагах от вас.

Мистер Троллоп невольно вздрогнул, потом сказал с достоинством:

— Мисс Хокинс, неужели вы способны на такой поступок?

— Это было нехорошо, сознаюсь. Это было очень дурно. Почти так же дурно, как продать свой голос за... но нет, я забыла: вы не продали свой голос, вы только приняли пустячный подарок — небольшой знак уважения, для вашего зятя. Ох, давайте будем говорить прямо и откровенно! Я знаю вас, мистер Троллоп. Мы с вами сталкивались в делах уже раза три-четыре. Правда, я никогда не пробовала покушаться на ваши принципы, никогда и не намекала на это. Но всегда, нащупав почву, я обрабатывала вас через подставное лицо. Будем откровенны. Рядитесь в тогу добродетели перед публикой — там это видимое благообразие производит впечатление. Но здесь оно неуместно. Дорогой сэр, через некоторое время состоится расследование в связи с учреждением Фонда помощи руководителям ассоциаций духовного совершенствования, и вы прекрасно знаете, что, когда следствие закончится, от вас наверняка останутся рожки да ножки.

— Если у человека и есть акции этого фонда, еще не так просто доказать, что он мошенник. Меня мало огорчает Фонд духовного совершенствования.

— О, разумеется! Я вовсе и не пытаюсь вас огорчить. Я только хочу доказать, что я неплохо вас знаю. Несколько почтенных джентльменов купили эти акции (не заплатив ни гроша), получали по ним дивиденды

(что за счастливая мысль — получать дивиденды, да еще какие солидные, по акциям, за которые не уплатил!), и за все время ваши имена ни разу не появились в документах! Если уж вы брали акции, вы их брали на чужое имя. Так вот, видите ли, одно из двух: либо вы знали, что целью и смыслом этого неслыханного великодушия было купить вашу дружбу, ваше содействие по части выгодных им законов, либо вы и впрямь этого не знали. Иначе говоря, вы должны были быть либо мошенником, либо... тм... дураком — середины тут нет. А вы далеко не дурак, мистер Троллоп.

— Вы мне льстите, мисс Хокинс. Но, говоря серьезно, разве вы забыли, что некоторые лучшие, безупречнейшие люди в конгрессе тоже оказались тогда обладателями этих акций?

— И сенатор Блэнк тоже?

— Н-нет... не думаю.

— Ну, разумеется. А вы полагаете, с ним хоть раз пытались заговорить на эту тему?

— Пожалуй, нет.

— А если бы, например, вы попробовали заговорить с ним, ссылаясь на то, что некоторые лучшие люди в конгрессе — безупречнейшие, и прочее, и прочее, — что бы из этого вышло?

— Ну а что бы такое вышло?

— Он указал бы вам на дверь! Потому что мистер Блэнк и не мошенник, и не дурак. Есть еще люди в сенате и в конгрессе, которым никто не осмелился бы предложить эти акции со столь странным великодушием. Но они не из тех, кого вы считаете лучшими и безупречнейшими. Нет, повторяю, я знаю вас, мистер Троллоп. Иначе говоря, мистеру Троллопу можно предложить то, чего не осмелишься предложить мистеру Блэнку. Мистер Троллоп, вы дали слово поддержать закон об ассигнованиях в помощь нуждающимся членам конгресса, который будет поставлен на текущей либо на следующей сессии. Вы не отрицаете этого даже публично. Человек, который будет голосовать за этот законопроект, нарушит восьмую заповедь и любым другим способом, сэр. ,

— И, однако, за ваш бесчестный проект, миледи, он голосовать не будет! — воскликнул мистер Троллоп, порывисто вставая.

— Нет, будет. Присядьте, и я вам все объясню. Ну полно, не стоит так себя вести. Это очень нелюбезно. Будьте умником, и вы получите пропавшую страницу вашей замечательной речи. Вот она! — И Лора высоко подняла страницу рукописи.

Мистер Троллоп, стоявший уже у порога, немедленно вернулся. В лице его мелькнула радость — или, может быть, это было какое-то другое чувство, но, во всяком случае, к нему примешивалась немалая доля удивления.

— Недурно! Откуда она у вас? Дайте сюда!

— Нам некуда спешить. Садитесь и побеседуем по-дружески.

Мистер Троллоп колебался.

— Нет, вы меня не проведете, — сказал он наконец. — Я ухожу. Это вовсе не потерянная страница.

Лора оторвала снизу несколько строк и протянула Троллопу.

— Ну, посмотрите. Узнаёте почерк? Вы же знаете, что это она и есть. Так вот, если вам угодно меня выслушать, вы узнаете, что это и есть те самые цифровые данные, в которых заключается суть всех ваших великих усилий, та разящая молния, которая должна была сопровождать первые громы вашего красноречия, — они продолжают на следующей странице. Именно на этом месте вы и загнулись.

И она прочитала страницу вслух.

— Просто поразительно, — сказал мистер Троллоп. — Но мне-то не все ли равно? Что за важность? Речь произнесена — и кончено. Я действительно запнулся на минуту и довольно неловко, потому что я подходил к этим цифрам, рассчитывая на особый эффект. Пауза была приятнее для членов конгресса и для публики, чем для меня. Но сейчас это уже не имеет значения. С тех пор прошла неделя; уже дня четыре, как на мой счет перестали остричь. Вся эта история мне совершенно безразлична, мисс Хокинс.

— Но вы извинились и обещали представить цифры на другой же день. Почему вы не выполнили обещания?

— Дело было не такое уж важное. Та минута, когда эти цифры могли произвести впечатление, миновала.

— Но, как я слышала, сторонники законопроекта о солдатских пенсиях очень хотели бы их услышать. Я думаю, вам следовало бы сообщить им эти данные.

— Мисс Хокинс, глупая оплошность моей переписчицы, очевидно, представляет больше интереса для вас, чем для меня. Я пришлю к вам моего личного секретаря — пусть он обсудит это с вами во всех подробностях.

— Значит, вашу речь переписывал секретарь?

— Разумеется. К чему столько вопросов? Скажите, а как вы достали эту страницу рукописи? Вот единственное, что мне, пожалуй, любопытно.

— Сейчас и до этого дойду. — И затем Лора сказала, словно про себя: — Как видно, человеку приходится доставлять себе массу лишних хлопот: нанимаешь кого-то, чтоб тебе сочинили замечательную речь, потом подыскиваешь еще кого-то, чтоб ее переписали, и тогда только можешь прочесть ее в конгрессе.

— Что означают ваши намеки, мисс Хокинс?

— Ну, уж конечно ничего плохого — ничего плохого для кого бы то ни было. Но я уверена, что слышала, как почтенный мистер Бакстоун обещал вам либо написать эту вашу замечательную речь, либо подыскать для этого какого-нибудь сведущего человека.

— Нелепость, миледи, совершенная нелепость! — И мистер Троллоп сделал не слишком удачную попытку язвительно засмеяться.

— Ну почему же, такие вещи случались и раньше. Я хочу сказать, что мне уже приходилось слышать, как конгрессмены нанимают разных писак и те сочиняют для них речи. Так вот, как я упоминала, мне случилось подслушать некий разговор. Был такой разговор? Или, может быть, не было?

— Чепуха! Конечно, вы могли подслушать какую-нибудь такую нелепость, сказанную в шутку. Но кто же примет всерьез подобную бессмыслицу?

— Ах, это была шутка? Почему же вы-то приняли ее так серьезно? Почему вы попросили написать для вас речь, а потом прочитали ее в конгрессе, не позаботившись даже снять копию?

На сей раз мистер Троллоп не засмеялся. Казалось, он не на шутку встревожен.

— Ладно, — сказал он, — выкладывайте все до конца. Не понимаю, что вы затеяли... но, видно, это вас забавляет, так продолжайте, пожалуйста.

— Ну конечно я буду продолжать. Но я надеюсь позабавить и вас тоже. Ваш личный секретарь никогда не переписывал вашу речь.

— Вот как? Право, вы, кажется, знаете мои дела лучше, чем я сам.

— Я тоже так думаю. Вы не можете назвать мне имя вашего переписчика, мистер Троллоп.

— Это очень печально, разумеется. Но, вероятно, мисс Хокинс может назвать его?

— Да, могу. Не кто другой, как я написала вашу речь, и вы читали ее по моей рукописи. Вот вам!

Мистер Троллоп не вскочил на ноги, не схватился за голову, не покрылся холодным потом и не побледнел как смерть — нет, он только сказал: «Боже праведный!» — и на лице его выразилось величайшее изумление.

Лора протянула ему свою тетрадь для заметок и предложила сравнить почерк здесь и на странице из его речи. Почерк был один и тот же, Троллоп сразу убедился в этом. Он отложил тетрадь и сказал сдержанно:

— Что ж, чудо-трагедия окончилась и, как выяснилось, именно вам я обязан моим недавним красноречием. А дальше что? Для чего нужны эти проказы и что они в конце концов значат? Что вы теперь намерены делать?

— О, ничего, это просто так, шутки ради. Когда я услышала тот разговор, я при первом же удобном случае спросила мистера Бакстоуна, не нужно ли для кого-нибудь из его знакомых сочинить речь, — у меня есть приятельница, и так далее, и тому подобное... А эта приятельница была я сама. Я думала, что могу

оказать вам услугу, а потом когда-нибудь вы оплатите мне тем же. Я не отдавала Бакстоуну речь до самой последней минуты, а когда вы торопились с нею в конгресс, вы, конечно, не знали, что там не хватает страницы, но я знала.

— И теперь вы, вероятно, думаете, что, если я откажусь поддержать ваш законопроект, вы выступите с великим разоблачением?

— Ну, ничего такого я не думала. Я припрятала страницу просто так, для забавы; но раз уж вы об этом заговорили... не знаю, может быть я и сделаю что-нибудь такое, если рассержусь.

— Дорогая мисс Хокинс, если бы вы и объявили во всеуслышание о том, что это вы сочинили для меня речь, вы прекрасно знаете — все сочтут ваши слова просто шуткой; все знают, что вы насмешница и для вас лучшее удовольствие — пригвоздить человека к позорному столбу и всех развлекать его мучениями. Слабовато, мисс Хокинс, для такой даровитой, изобретательной особы, как вы, — придумайте что-нибудь похитрее. Попробуйте!

— Это не так трудно, мистер Троллоп. Я найму человека, пришиллю эту страницу ему на грудь и сделаю надпись: «Пропущенный отрывок из замечательной речи почтенного мистера Троллопа, каковая речь была составлена и написана мисс Лорой Хокинс по тайному сговору за сто долларов, причем деньги так и не были уплачены». А вокруг пришиллю записки — образчики моего почерка, — которые для этого случая достану у моих видных друзей; и тут же будет ваша речь, опубликованная в «Глобе», так что всякий сразу увидит связь между тем пробелом и моим отрывком. И даю вам честное слово, я выставлю эту живую доску объявлений в вестибюле Капитолия, и она будет стоять там целую неделю! Как видите, мистер Троллоп, вы поспешили с выводами: чудо-трагедия еще далеко не окончена. Но, может, теперь она кажется вам занятнее?

При таком обороте дела мистер Троллоп широко раскрыл глаза. Он поднялся и минуту-другую в раз-

думье шагал из угла в угол. Потом остановился и некоторое время внимательно смотрел на Лору.

— Что ж, — сказал он наконец, — пожалуй, с вас станется, вы достаточно безрассудны для такой выходки.

— Тогда не доводите меня до этого, мистер Троллоп. Но хватит. Я пошутила, и вы вполне прилично все перенесли. Не стоит пережевывать остроту, а то она больше не будет смешна. Поговорим лучше о моем законопроекте.

— Охотно, моя тайная переписчица. По сравнению с иными предметами даже и ваш законопроект — приятная тема для беседы.

— Вот и прекрасно! Я так и думала, что сумею вас убедить. Теперь я уверена, что вы будете великодушны и из доброго отношения к бедным неграм проголосуете за этот проект.

— Да, я уже испытываю больше нежных чувств к угнетенным цветным. Так что же, заключим мир? Станем добрыми друзьями и будем уважать маленькие тайны друг друга, при условии, что я проголосую за ваш проект?

— От всей души, мистер Троллоп! Даю вам слово.

— По рукам! Но, может быть, вы дадите мне еще кое-что?

Мгновенье Лора вопросительно смотрела на него, потом поняла:

— А, да! Пожалуйста, возьмите. Мне она больше не нужна, — и уже протянула было Троллопу злополучную страницу, но передумала. — Впрочем, не беспокойтесь, у меня она будет в сохранности, и никто ее не увидит. Вы получите ее, как только проголосуете.

Мистер Троллоп был, видимо, разочарован, но вскоре простился и уже вышел за дверь, как вдруг новая мысль осенила Лору.

«Мне нужен не просто его голос, отданный из-под палки, — сказала она себе. — Он может голосовать «за», но втайне, из мести, действовать против нас. У него нет совести, он на все пойдет. Мне нужно заручиться не только его голосом, но и искренним содействием. А это можно получить только одним способом».

И она вновь позвала его:

— Я очень ценю ваш голос, мистер Троллоп, — сказала она, — но еще больше ценю ваше влияние. Вы могли бы, при желании, разными способами содействовать проведению любого мероприятия. Я хочу просить вас поддержать наш законопроект, а не только голосовать за него.

— На это нужно много времени, мисс Хокинс, а время — деньги, как вам известно.

— Да, это мне известно, тем более — время членов конгресса. Что ж, нам с вами незачем играть в прятки. Мы знаем друг друга, притворяться нет смысла. Давайте говорить откровенно. Потрудитесь для нашего законопроекта, и вы об этом не пожалеете.

— Прошу вас, не будьте чересчур откровенны. Лучше соблюдать кое-какие приличия. Что вы предлагаете?

— Вот что, — и Лора назвала несколько видных членов конгресса. — Так вот, — продолжала она, — пусть эти джентльмены голосуют и действуют в пользу законопроекта — единственно из любви к неграм, а я — из чистейшего великодушия — включу по родственнику каждого из них в попечительский совет. Официально они будут распоряжаться капиталом примерно в миллион долларов, но не будут получать никакого жалованья. Другие государственные мужи, в большем количестве, но с меньшим весом и влиянием, будут голосовать за наш проект и поддерживать его — тоже только из любви к неграм; я же из чистого великодушия позабочусь о том, чтобы их родственники получили должности в университете, а также и жалованье, и притом неплохое. Вы будете голосовать за проект и действовать в его пользу — просто из привязанности к неграм, и я подобающим образом засвидетельствую вам свою признательность. Выбирайте, что вам по вкусу. Нет ли у вас друга, которому вам было бы приятно поднести в подарок платную или бесплатную должность в нашем учебном заведении?

— Видите ли, у меня есть зять...

— Все тот же зять! О, добрый, бескорыстный кормилец семьи! Я уже не раз слышала о нем от моих

людей. Что и говорить, он то и дело появляется на сцене. И он может очень добродетельно обращаться с этими миллионами, притом он весьма способный человек, — но, разумеется, вы предпочли бы, чтобы он поступил на жалованье?

— О нет, — улыбнулся мистер Троллоп, — мы очень, очень скромны в своих желаниях. Денег нам не надо, мы трудимся единственно для блага отечества и не хотим иной награды, кроме блаженного сознания, что мы исполняем свой долг. Сделайте моего зятя одним из бедных тружеников-попечителей, не получающих никакого жалованья, и пусть он всех осчастливит при помощи этих миллионов, а сам голодает! Я же попробую своим влиянием несколько поддержать ваш законопроект.

Вернувшись домой, мистер Троллоп сел и обдумал все происшедшее заново. Вот как примерно выглядели бы его мысли, если бы он высказал их вслух:

«Моя репутация немного тускнеет, и я собирался вернуть ей блеск и чистоту, выступив в решающую минуту с разоблачением этого законопроекта, и снова въехать в конгресс победителем, в ореоле славы. Будь у меня та страница рукописи, я бы так и сделал. В конечном счете я заработал бы на этом больше, чем получит мой зять от участия в попечительском совете, хоть это и лакомый кусок. Но того листа бумаги мне не раздобыть — она ни за что не выпустит его из рук. А ведь это неодолимая преграда на моем пути! Целая гора — не обойдешь! Была минута, когда эта Хокинс чуть не отдала мне листок. Вот если бы! Должно быть, умнейшая женщина! Умнейшая чертовка! Вот что она такое: красивая чертовка, и притом бесстрашная. Придумала же — вывесить страницу из моей речи на живом человеке и поставить его при входе в конгресс! На первый взгляд, просто смехотворная затея, но она бы это сделала! Она на все способна. Я пришел к ней в надежде, что она попытается подкупить меня солидной суммой, которая пригодится при разоблачении. Что ж, мои молитвы услышаны, она и впрямь пыталась меня подкупить, — но в моем положении я дешево отделался, могло кончиться и хуже. Она меня разбила

наголову: шах и мат. Надо изобрести что-нибудь новенькое, чтобы опять пройти в конгресс. Ну ладно, лучше синицу в руки, чем журавля в небе. Поддержим ее законопроект — участие в попечительстве штука совсем неплохая».

Едва Троллоп ушел, Лора побежала к сенатору Дилуорти. Он что-то писал и даже не взглянул на нее. Но не успела она заговорить, как он прервал ее на полуслове.

— Только полчаса! — сказал он с горьким упреком. — Вы слишком быстро сдались, дитя мое. Впрочем, так лучше, так лучше.., я уверен.., Так лучше.. да и безопаснее.

— Сдалась? Это я-то?

Сенатор вскочил вне себя от радости!

— Дитя мое! Неужели вы...

— Я заставила его дать мне слово, что сегодня он обдумает условия соглашения, а завтра утром придет и скажет мне, что он решил.

— Прекрасно. Есть еще надежда, что...

— Чепуха, дядюшка. Я взяла с него слово ни в коем случае не препятствовать закону о землях в Теннесси!

— *Не может быть!* Вы...

— Я взяла с него обещание голосовать за нас!

— НЕВЕРОЯТНО! Совершен..

— Я заставила его поклясться, что он будет работать на нас.

— НЕ... НЕСЛЫХАННО! Просто неслы... Разбейте окно, дитя, я задыхаюсь!

— И все-таки это правда. Теперь мы можем войти в конгресс с барабанным боем и развевающимися знаменами.

— Так... так... так... Я просто потерял голову, совсем потерял голову. Ничего не понимаю... Необыкновенная женщина, в жизни ничего подобного не видел... Это великий день, великий день! Ну, ну... Дайте я благословлю вас, золотая головка. Ах, дитя мое, бедные негры возблагодарят...

— Да оставьте вы бедных негров в покое, дядюшка! Приберегите их для вашей речи в сенате. До свиданья,

спокойной ночи... мы выстроим свои войска и выступим на рассвете!

Оставшись одна, Лора задумалась ненадолго, потом тихонько засмеялась.

«Все работают на меня, — думала она. — Неплохо было придумано, чтоб Бакстоун надоумил Троллопа поручить кому-то написать для него речь. И еще лучше придумано — мне переписать эту речь, когда Бакстоун ее сочинил, и припрятать страничку. Мистер Бакстоун очень меня хвалил, когда Троллоп запнулся в парламенте, — тут он понял, для чего я затеяла эту загадочную историю! Наверно, он наговорит мне еще больше комплиментов, когда узнает, что благодаря этому мы выиграли сражение.

Но какой трус этот Троллоп — поверил, что я могу выставить эту страницу у дверей конгресса и тем выдать себя! Впрочем, не знаю... не знаю. Надо подумать. Допустим, он проголосует против; допустим, законопроект провалится; это будет означать, что я проиграла все безвозвратно, проиграла свою отчаянную, грандиозную игру, и все будут жалеть меня... Невыносимо! А он мог бы спасти меня одним своим голосом. Да, я разоблачила бы его! Что мне за дело до сплетен, которые пойдут обо мне, когда я уеду с Селби в Европу? Пускай тогда болтают сколько хотят о моем прошлом, о моем бесчестье... В такое время будет даже приятно кому-нибудь насолить!»

**ГАЗЕТЫ ПРОТИВ ЗАКОНОПРОЕКТА О
НЕГРИТЯНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ**

«Ikkaké gidiamuttu Wamallitakoanti
likissitu anissia ukunnaria ni rubu kurru
naussa abbanu aboahüddunnua namon-
nua»¹.

На другой же день в конгрессе и в самом деле открылись военные действия. Все шло своим чередом, и вот председательствующий дошел до того пункта повестки дня, который именуется «уведомлением о законопроектах», затем поднялся со своего места distinguished мистер Бакстоун, объявил законопроект «Об основании и утверждении промышленного университета в Буграх» — и сел, не сказав больше ни слова. Деловитые джентльмены в ложе прессы намарали по строчке в своих блокнотах, кинулись к телеграфу, который помещался рядом с репортерской комнатой, — и затем помчались назад, в ложу; и к тому времени, как они снова расселись по местам, весть, переданную ими телеграфистке, уже читали в телеграфных конторах больших и малых городов за сотни миль от Вашинг-

¹ И в то же время на этой дороге поднялась великая суeta и движение. *(На языке индейцев араваков.)*

тона. Она была примечательна своей краткостью и откровенностью:

«Дитя увидело свет. Бакстоун объявил о мощеннической затее с университетом в Буграх. Говорят, конгрессмены учтены поштучно и куплено достаточно голосов, чтобы протолкнуть это дело».

Уже за некоторое время до того корреспонденты иных газет распространялись о якобы сомнительном характере законопроекта и каждый день передавали вашингтонские сплетни на этот счет. И назавтра чуть ли не все крупные газеты страны нападали на проект и щедро осыпали бранью Бакстоуна. Столичные газеты были, как всегда, более почтительны и, тоже как всегда, более мирно настроены. Обычно они, если есть малейшая возможность, поддерживают предлагаемые законопроекты; когда же это совершенно невозможно, они протестуют против чересчур резких высказываний других газет. Они всегда протестуют, когда предстоят неприятности.

Однако вашингтонская ежедневная газета «Любовь к ближнему» горячо одобрила и приветствовала законопроект. Это была газета сенатора Валаама, вернее — «брата Валаама», как его обычно называли, потому что некогда он был священником; и сам он и все, что он делал, еще отдавало святостью и сейчас, когда он занялся журналистикой и политикой. Он был силой в молитвенном собрании конгресса и заправлял всеми начинаниями, направленными на распространение веры и трезвости. Его газета выступила в поддержку нового закона весьма бурно и страстно: это мера благородная, мера справедливая, великодушная, чистейшая и ее необходимо всячески рекомендовать в наш развращенный век; и, наконец, если бы даже характер законопроекта вовсе не был известен, «Любовь к ближнему» все равно, не колеблясь, поддержала бы его, ибо идея проекта принадлежит сенатору Дилуорти, и уже одно это — порука, что здесь предпринят труд достойный и праведный.

Сенатор Дилуорти сгорал от нетерпения: что скажут о законопроекте нью-йоркские газеты? Он даже распорядился, чтобы ему передавали по телеграфу об-

зор их передовых статей: он не мог дожидаться, пока сами газеты приползут в Вашингтон с почтовым поездом, который со дня основания дороги не переехал ни одной коровы, ибо при своей скорости не мог ее нагнать. Впереди паровоза обычно прикрепляют особую решетку — «коровоуловитель», но это пустое хвостовство. Следовало бы прикреплять эту решетку к заднему вагону — тут она, пожалуй, могла бы пригодиться; зато ничего не делается для охраны пассажиров, — и нечего удивляться, что коровы нередко забираются в поезд и разгуливают среди публики.

Сенатор читал телеграммы вслух за завтраком. Лора была безмерно взволнована их тоном и сказала, что подобные комментарии погубят проект.

— Совсем нет, совсем нет, детка, — возразил сенатор. — Это как раз то, что нам нужно. Нам теперь необходимы именно нападки, все остальное уже обеспечено. Пусть нас вдоволь травят газеты — и мы выиграли! Иной раз одни только ожесточенные нападки вывозят проект, моя дорогая; а когда у вас для начала есть солидное большинство, нападки дают двойной эффект. Правда, они отпугивают кое-кого из колеблющихся наших сторонников, зато убежденные становятся упрямы. И потом — от этого быстро меняется общественное мнение. Широкая публика глупа, она чувствительна, она одержима духом противоречия; она принимается оплакивать гнусного убийцу, молится за него, тащит ему в тюрьму цветы и осаждаёт губернатора просьбами о помиловании — и все потому, что газеты потребовали казни преступника. Одним словом, мягкосердечная широкая публика обожает изливать свои чувства, а где же найти лучший повод для излияний, если не в защите всякого, кого преследуют.

— Что ж, дорогой дядюшка, если ваша теория верна, мы можем быть в восторге — передовые статьи так яростно накинулись на наш проект, что большего нельзя и требовать.

— Я не вполне уверен в этом, дочь моя. Мне не очень нравится тон некоторых замечаний. Им не хватает злости, не хватает яду. Вот здесь пишут: «сомнительное мероприятие». Нет, «сомнительное» недоста-

точно сильно. Вот «разбой среди бела дня» — немного лучше. Это уже кое-что. А тут довольствуются тем, что называют наш проект «беззаконием». «Беззаконие» никого не трогает, это пустяк, ребячество. Непосвященные вообразят, что нам хотели сделать комплимент. А, вот, — эту телеграмму я только что прочел, — это звучит как надо: «Подлую, гнусную попытку обокрасть народную казну предпринимают коршуны и стервятники, которыми кишит ныне грязное логово, именуемое конгрессом». Восхитительно! Просто восхитительно! Побольше бы в том же духе! Но такое еще будет, тут опасаться нечего. Они еще не успели войти в раж. Увидите, что будет через недельку.

— Дядюшка, ведь вы с «братом Валаамом» закадычные друзья, — почему вы не добились, чтобы его газета тоже напала на нас?

— В этом нет никакого смысла, дочь моя. Его поддержка не повредит законопроекту. Его передовых никто не читает, кроме него самого. Но я хотел бы, чтобы нью-йоркские газеты выражались немного яснее. Досадно, что им нужно раскачиваться целую неделю. Я ждал от них большего, нам дорог каждый час.

В должный срок, в соответствии со своим предыдущим сообщением, мистер Бакстоун надлежащим образом внес на рассмотрение конгресса свой законопроект, озаглавленный: «Акт об основании и утверждении промышленного университета в Буграх», дал соответствующую справку и сел на свое место.

Председательствующий протрещал без передышки: — Еснетвозрженпроектследуетобычнпрядкмзложным выше!

Завсегдатаи, привычные к парламентской процедуре, уразумели, что это длинное стремительное слово означает: если нет возражений, законопроект надлежит далее рассматривать в порядке, обычном для мер подобного рода, и передать в комиссию по благотворительным ассигнованиям, — и соответственно он туда и передается. Люди посторонние и непривычные просто решили, что председательствующий простужен и положит горло.

Репортеры немедленно сообщили по телеграфу о внесении законопроекта, но добавляли:

«Утверждения, что проект будет принят, преждевременны. Как говорят, многие его сторонники отступятся, когда в печати разразится буря общественного негодования».

И буря разразилась; она бушевала десять дней кряду, становясь все неистовей день от дня. Грандиозное «Надувательство под флагом университета для негров» стало главной темой разговоров по всей Америке. Отдельные лица обличали законопроект, газеты обличали его, на собраниях и митингах обличали его, иллюстрированные издания помещали карикатуры на его сторонников, — казалось, весь народ помешался на ненависти к нему. А тем временем вашингтонские корреспонденты рассылали по всей стране такие телеграммы:

«С у б б о т а. — Депутаты конгресса Джекс и Флюк колеблются; как полагают, они отступятся от гнусного законопроекта».

«П о н е д е л ь н и к. — Джекс и Флюк отступились!»

«Ч е т в е р г. — Таббс и Хаффи вчера вечером бежали с тонущего корабля».

Позднее:

«Три дезертирства. Университетские мошенники встревожены, хотя и не желают в этом признаваться».

Позднее:

«Вожаки становятся упрямы — они клянутся, что протащат свой проект, но теперь почти нет сомнений, что у них уже нет большинства».

А через день или два в телеграммах нехотя и двусмысленно сообщалось:

«Общее настроение, видимо, чуть-чуть меняется в пользу законопроекта, но только чуть-чуть».

И еще позднее:

«Носятся слухи, что достопочтенный мистер Троллоп перешел на сторону пиратов. Это, вероятно, утка. Мистер Троллоп всегда был наиболее деятельным и отважным поборником добродетели, защитником интересов народа от мерзкого законопроекта, и слухи эти, вне всякого сомнения, просто бесстыдная выдумка».

На другой день:

«Вечный предатель, трусливое и раболепное пресмыкающееся, косноязычный Троллоп переметнулся в лагерь врага. Теперь установлено, что *втайне он был сторонником законопроекта еще с того дня, как проект был внесен на рассмотрение конгресса*, и для этого были веские финансовые основания; но сам он заявляет, будто переменил фронт потому, что злобная травля проекта, поднятая в печати, заставила его заново с особой тщательностью изучить все обстоятельства, и доскональное изучение показало ему, что упомянутое мероприятие во всех отношениях заслуживает поддержки (объяснение шито белыми нитками!). Нельзя отрицать, что эта измена губительна. Джекс и Флюк вернулись к незаконной защите проекта, а с ними еще шесть или восемь депутатов помельче, и, как стало известно из достоверных источников, Таббс и Хаффи также готовы повернуть вспять. Опасаются, что мошенническая затея с университетом сейчас стоит на ногах тверже, чем прежде».

Позднее — в полночь:

«Как говорят, комиссия завтра опять внесет законопроект на рассмотрение палаты представителей. Обе стороны собирают силы, и сражение из-за этого закона, очевидно, будет самым жарким за текущую сессию. Весь Вашингтон бурлит».

ФИЛИПП ДОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ОН — ДРУГ ГАРРИ
БРАЙЕРЛИ

Capienda rebus in malis praecepta via est.

Seneca ¹.

Et enim ipsi se impellunt, ubi semel a ratione discessum est: ipsaque sibi imbecillitas indulget, in altumque provehitur imprudenter: nec reperit locum consistendi.

Cicero ²

— Вчуже легко рассуждать, — уныло сказал Гарри, изложив Филиппу свой взгляд на происходящее. — Тебе легко говорить: «Откажись от нее», — ведь ты ее не любишь. А что мне сделать, чтоб от нее отказаться?

Гарри казалось, что тут требуется действовать немедленно. Он не мог понять, что влюбился безнадежно и у него нет и не будет никаких прав на предмет его страсти. Смиренно покориться и отказаться от чего-

¹ В затруднительных обстоятельствах следует действовать очертя голову. — Сенека (лат.).

² Ибо люди становятся рабами своих порывов, как только они расстанутся с разумом; и малодушные уступают своей слабости, неосторожно устремляются в глубокие воды и не находят места, где бросить якорь. — Цицерон (лат.).

либо, что стало ему желанно, — нет, это было не в его характере. А раз уж он вообразил, что отступить от Лоры значит разрушить единственную преграду, которая удерживает ее от гибели — безрассудно было бы ждать, чтобы он от нее отказался.

Гарри всегда жизнерадостно верил в осуществимость своих планов и затей; все, что его касалось, принимало в его собственных глазах размеры грандиозные и представлялось ему в розовом свете. Воображение преобладало у него над рассудком, поэтому казалось, что он вечно все преувеличивает и, рассказывая о себе, далеко не всегда говорит правду. Его знакомые уверяли, что во всем, что бы Гарри ни сказал, они половину относят за счет преувеличений, а вторая половина еще требует проверки.

Вот почему Филипп, выслушав Гарри, не мог понять, насколько Лора поощряла его ухаживания и не напрасно ли он надеется завоевать ее. Филипп никогда прежде не видел друга таким подавленным. От всегдашней похвальбы не осталось и следа, и бывшее легкомыслие лишь изредка сквозило в том, как Гарри комически изображал самого себя, каким он был прежде.

Филиппу нужно было время, чтобы оглядеться, прежде чем решить, как быть дальше. Он мало знал Вашингтон, и ему было не так-то легко согласовать свои чувства и представления с особенностями здешней жизни. После кроткой рассудительности, царившей в доме Боултонов, эта безумная Ярмарка Тщеславия просто ошеломляла. Филиппу казалось, что самый воздух столицы нездоровый, насыщенный лихорадочным возбуждением, тут немудрено сойти с ума. Видимо, здесь каждый считает себя чрезвычайно важной персоной только потому, что живет в городе, где вершится вся политика, у источника всякой протекции, раздачи должностей, продвижения по службе и выгодных возможностей.

Знакомясь, люди здесь говорили: я из такого-то штата (а не просто — из такого-то города или деревни), — чувствовалось, что они и впрямь представляют целый штат! Все женщины рассуждали о политике

столь же непринужденно и бойко, как в других местах они рассуждают о модах и литературе. В конгрессе всегда была какая-нибудь волнующая тема для дебатов или какая-нибудь грандиозная клевета поднималась, точно зловредные испарения Потомака, угрожая осесть неведомо где. Из каждых двух встречных один уж непременно добивался доходного места, а если таковое у него было — другого, получше, или прибавки жалования; у всякого была своя претензия или корысть, всякий чего-то требовал, за что-то дрался. Женщины и те все до единой выступали адвокатами в пользу чьей-нибудь карьеры и пылко отстаивали или отвергали то или иное мероприятие, которое могло коснуться кого-то из их родных, знакомых или друзей.

Любовь, дальнейшее путешествие, даже сама смерть ждали — не выпадет ли для них случай? Всякий день в двух палатах и в различных комиссиях бросают кости — что подскажут они? Если мероприятие пройдет, любовь может позволить себе завершиться браком и мечта о заграничной поездке не останется бесплодной; и, должно быть, лишь вечная, не иссякающая в груди надежда поддерживает жизнь многочисленных стариков просителей, которые годами осаждают двери конгресса; лица у них такие, словно они куда больше нуждаются не в денежном пособии, а в шести футах земли. А иные успевают умереть, не дождавшись успеха, причем обычно как раз их-то требования и есть самые справедливые.

Каждый здесь выступает от имени целого штата и обсуждает всецародные и даже международные дела так же запросто, как дома соседи говорят о плохом урожае или о причудах местного священника; на первых порах это произвело на Филиппа впечатление: пожалуй, думал он, здесь и вправду собрались люди необыкновенные.

Тут был некто, в прошлом редактор небольшой газеты, выходившей в родном городе Филиппа, сотрудник «Педлтонского еженедельника», ежегодно остривший по поводу «первого блина», предложенного на обсуждение; он прислуживался к каждому торговцу у себя в городке и каждому обязывался устраивать

рекламу, кроме одного лишь гробовщика, чье ремесло он неумолимо выпучивал. Оказалось, что в Вашингтоне он — значительное лицо, корреспондент газет и член двух парламентских комиссий, «представитель рабочих» в политике, самоуверенно критикующий всех без исключения жителей и жительниц столицы. Со временем он, несомненно, станет консулом в каком-нибудь иностранном порту, в стране, языка которой он не знает; впрочем, если для этого необходимо незнание языка, он мог бы стать консулом и у себя на родине. Занятно было смотреть, как он запросто разговаривает с великими людьми. И когда Филипп узнал, каким огромным, хотя и скрытым, влиянием пользуется этот маленький невежда, он перестал удивляться странным назначениям и еще более странным законам.

Филипп быстро убедился, что жители Вашингтона мало отличаются от других людей: им присущи та же низость, и то же великодушие, и те же вкусы. И в вашингтонских меблированных комнатах стоит тот же запах, что и в меблированных комнатах в любом конце света.

Полковник Селлерс почти не изменился, как и все прежние знакомые Филиппа, которых он здесь встретил. Казалось, Вашингтон — родная стихия полковника. Его притязания — не больше, чем у любого встречного. Здешнему обществу далеко до хоукайского; и где бы он ни обедал, всюду стол куда хуже, чем у него дома! Самые грандиозные воздушные замки, возникавшие в знойном воздухе столицы, вряд ли могли сравниться с наиболее скромными его фантазиями, случайными созданиями его богатого воображения.

— Дела в стране идут недурно, — сказал полковник Селлерс Филиппу, — но наши общественные деятели чересчур робки. Нам нужны деньги, побольше денег. Я так и сказал Баутвеллу. Болтают, что наш доллар надо обеспечить золотом, — с таким же успехом можно обеспечить его свининой. Ведь золото — не единственный товар на свете. А доллар можно обеспечить чем угодно! Надо как-то помочь Западу. Как мне растить мои посевы? Нам необходимы усовершенствования. Грант высказал верную мысль. Нам нужен канал от

реки Джеймс до Миссисипи. Правительство должно соорудить канал.

Нелегко было отвлечь полковника, раз уж он заговорил на такие высокие темы, но Филипп все же перевел разговор на Лору и ее репутацию в городе.

— Нет, — сказал полковник, — я ничего плохого не замечал. Мы тут хлопотали насчет университета для цветных. Лора на этом разбогатеет, и мы все тоже; и она действовала так энергично, как не всякий мужчина сумеет. Она — настоящий талант и сделает прекрасную партию. За нею ухаживают иностранные министры и всякий такой народ. Понятно, ходят сплетни, — о хорошенькой женщине, да еще если она у всех на виду, всегда будут сплетничать. До меня доходили некрасивые истории, но я их не слушаю. Непохоже, чтобы кто-нибудь из детей Сая Хокинса так поступал, — а Лора все равно что его дочь. Впрочем, я ей советовал быть поосмотрительнее, — прибавил полковник, как будто это его туманное предостережение могло все уладить.

— Знаете вы что-нибудь о полковнике Селби?

— Все знаю. Отличный малый. Но он женат, и я ему сказал по-дружески, чтоб он держался от Лоры подальше. Я полагаю, он поразмыслил над моим советом и послушался.

Однако Филипп быстро дознался до истины. Хотя в определенных кругах за Лорой очень ухаживали и она еще была принята в обществе, о ней передавалось под шумок слишком много нелестного, и в глазах порядочных людей доброе имя ее погибло. О близости ее с Селби говорили открыто, и стоило нескольким мужчинам сойтись в кружок, если Лора проходила мимо, вслед ей подмигивали и отпускали шуточки. Ясно было, что заблуждение Гарри необходимо рассеять и что столь слабое препятствие, как его любовь, не отвратит Лору от ее судьбы. Филипп решил повидаться с нею и узнать правду, которую он подозревал, чтобы показать другу, как безрассудно его увлечение.

После своего последнего разговора с Гарри Лора по-новому поняла, в каком положении она очутилась. Она и прежде замечала признаки перемены в отношении к ней: быть может, мужчины стали чуть менее

почтительны, а женщины старались избегать ее. Последнее она отчасти приписывала зависти: ведь никому не хочется признать, что он сам в чем-то повинен, когда можно объяснить отчуждение старых знакомых более приятным образом. Но теперь, если уж общество обратилось против нее, она бросит ему вызов. Не в ее характере отступать. Она знала, что с ней поступили несправедливо и ничего исправить все равно нельзя.

Предполагаемый отъезд полковника Селби встревожил ее больше всего, — и она спокойно решила, что, если он снова обманул ее, этот обман будет последним. Пусть общество довершит трагедию, если ему угодно: ей безразлично, что будет дальше. При первом же удобном случае она обвинила Селби в намерении бросить ее. Он, не краснея, это отрицал. Он и не помышляет о поездке в Европу! Он только забавляется широкими планами Селлерса. И он поклялся, что, как только Лора добьется успеха своего законопроекта, он бежит с нею куда ей вздумается, хоть на край света.

Лора не совсем поверила ему, ибо видела, что он боится ее, и начала подозревать, что все его уверения — лишь трусливая попытка выиграть время. Но она не показала ему своих сомнений. Она только изо дня в день следила за каждым его шагом и всегда была готова действовать мгновенно.

Когда Филипп пришел и увидел ее — красивую, обаятельную, — ему трудно было поверить, что это о ней ходят слышанные им скандальные сплетни. Она приняла его так же сердечно и непринужденно, как бывало в Хоукае, и сразу же вспомнила, что они были тогда хоть и не друзьями, но все же добрыми знакомыми. И Филиппу показалось просто невозможным сказать ей все то, что он хотел сказать. Такие люди, как Филипп, судят женщин по одной-единственной мерке.

Лора, без сомнения, это понимала; лучшей частью души она почувствовала это. Такой человек мог бы — несколько лет назад, не теперь — сделать ее совсем другой, и жизнь ее сложилась бы совсем иначе, даже после той страшной ошибки. Лора смутно чувствовала это, и теперь ей хотелось остаться с ним в хороших отношениях. Искра правды и чести, еще уцелевшая

в ней, вспыхнула ярче в его присутствии. И она была с ним простой и откровенной, как ни с кем.

— Я пришел от моего друга мистера Брайерли, — сказал Филипп с обычной своей прямоотой. — Вы знаете о его чувстве к вам?

— Быть может.

— Но вы привыкли к всеобщему поклонению и, возможно, не знаете, как искренне и самозабвенно любит вас Гарри.

Филипп не говорил бы так прямо, если бы им не владела безраздельно одна мысль: добиться от Лоры каких-то слов, которые положили бы конец страсти Гарри.

— А разве искренняя любовь — такая редкость, мистер Стерлинг? — не без насмешки спросила Лора, слегка покачивая ногой.

— В Вашингтоне, может быть, и не редкость, — тоже язвительно ответил Филипп. — Простите, что я говорю без обиняков, — продолжал он, — но вот вы знаете о его любви, знаете, как он вам предан, — может ли это хоть что-нибудь изменить в вашей жизни здесь?

— В каком смысле? — быстро спросила Лора.

— Ну, в вашем отношении к другим людям. Я не хочу недомолвок... в отношении к полковнику Селби.

Лицо Лоры залила краска гнева, а может быть, и стыда. Она посмотрела на Филиппа в упор:

— По какому праву, сэр...

— По праву дружбы, — решительно прервал Филипп. — Для вас это, вероятно, пустяки. Для него это — все. Как истый Дон-Кихот, он мечтает, что вы ради него свернете с пути, на который вступили. Вы не можете не знать того, о чем говорит весь город. — Филипп сказал все это твердо и не без горечи.

Долгая минута прошла в молчании. Оба встали: Филипп — словно собираясь уходить, Лора — в сдержанном волнении. Когда она наконец заговорила, голос ее слегка дрожал и она не поднимала глаз.

— Да, я знаю. Я прекрасно понимаю, что вы имеете в виду. Мистер Брайерли для меня ничто... просто ничто. Он — мотылек, палетевший на свечу, вот и все... порхает вокруг женщин и воображает, будто он

настоящая оса. Мне не жалко его, ничуть не жалко. Скажите ему, пускай не ставит себя в глупое положение и держится подальше. Я говорю это ради вас, не ради него. Вы не такой, как он. Для меня достаточно того, что вы этого хотите. Мистер Стерлинг, — тут она взглянула на Филиппа, и на глазах у нее заблестели слезы, так не вязавшиеся с резкостью ее слов, — быть может, вы не жалели бы его, если б знали мое прошлое; и тогда, пожалуй, вы не удивлялись бы тому, что вам случается слышать. Нет, не стоит спрашивать меня, почему все должно быть так, как есть. Нельзя начать жизнь сначала — не дадут, если и захочешь, так уж устроено общество, и я должна жить, как живу. Ничего, сэр, вы не оскорбили меня, но не говорите больше ни слова, это бесполезно.

Филипп ушел с чувством облегчения за Гарри, но глубоко опечаленный тем, что мимолетно открылось ему в горькой и несправедливой судьбе этой женщины. Другу он пересказал из этого разговора то, что считал необходимым: Лора намерена идти своей дорогой, у Гарри нет ни тени надежды: она сказала, что он просто глуп, если воображает, будто он может на что-то надеяться.

А Гарри принял все это очень кротко и решил про себя, что Филипп совсем не понимает женщин.

**ПОЧЕМУ БАКСТОУН ПОДДЕРЖИВАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ
ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ В ТЕННЕССИ**

— Nakila cu ch'y cu yao chike, chi ka
togobah cu y vach, x-e u chax-cut?

— Utz, chi ka ya puvak chyve, x-e
cha-cu ri amag.

«Popol Vuh»¹.

В этот знаменательный день галереи были битком набиты — и не потому, что стоит волноваться по поводу передачи важного законопроекта из комиссии обратно в палату представителей, если далее он должен пойти обычным порядком: это все равно что волноваться из-за подбора присяжных для следствия по делу об убийстве, вместо того чтобы поберечь свои чувства для более значительного события — когда обвиняемого повесят, два года спустя, после соблюдения всех нудных формальностей, установленных законом.

Но, допустим, вы узнаете, что следствие окажется замаскированным судом Линча и присяжные, за час выслушав свидетелей, повесят убийцу тут же на месте. Тогда дело предстанет перед вами в ином свете! Так

¹ — А что вы нам дадите, если мы над вами сжалимся? — сказали они.

— Ну что же, мы дадим вам серебра, — ответили просители. — «Пополь вух». (*На языке киче.*)

вот, прошел слух, что обычные формальности парламентской процедуры, в соответствии с которыми рассмотрение законопроекта и его окончательное утверждение затягивается на многие дни и даже недели, в данном случае будут нарушены и с проектом расправятся в два счета; и то, что вначале было просто исследованием, может обернуться совсем по-другому.

В ходе своей дневной работы конгресс добрался наконец до пункта «Доклады комиссий», и когда усталая публика услышала из уст председательствующего это отрадное известие, все перестали досадовать на нескончаемые отсрочки и воспрянули духом. Председатель комиссии по благотворительным ассигнованиям поднялся и прочитал свой доклад, и тут мальчик-посыльный в синей форме с медными пуговицами вручил ему записку. Записка была от сенатора Дилуорти, который на минуту появился в зале и сейчас же исчез. Она гласила:

Все ждут грандиозного наступления развернутыми силами; несомненно, вы, как и я, полагаете, что именно так и надо действовать; мы сильны, и все готово для решающей битвы. Переход Троллопа на нашу сторону оказал нам неоценимую помощь, и наши силы неуклонно растут. Десять человек из числа наших противников среди дня выехали по неотложным делам из города (но, как говорят, только на один день!) Еще шестеро больны, но, как сказал мне один мой друг, завтра или после завтра вновь примут участие в заседаниях. Стоит попытаться смело перейти в наступление. Требуйте приостановки процедурных правил! Увидите, мы соберем две трети голосов — я в этом ни секунды не сомневаюсь. Истина господня восторжествует.

Дилуорти

Мистер Бакстоун представил один за другим законопроекты по своей комиссии, оставляя тот законопроект на самый конец. Когда проголосовали, отклоняя или утверждая, доклады по всем проектам и осталось только разрешить так или иначе вопрос об этом пункте, мистер Бакстоун попросил у конгресса внимания: ему

хотелось бы сделать несколько замечаний. Комиссия поручила ему доложить о законопроекте в благоприятном смысле; он хотел бы разъяснить существо предлагаемой меры и таким образом обосновать действия комиссии, — тогда враждебность к проекту, которую разжигали газеты, рассеется и он предстанет в своем истинном свете, во всем блеске справедливости и благородства. Обеспечить предлагаемую меру очень просто. Согласно проекту, в Буграх (Восточный Теннесси) учреждается Промышленный университет, куда открыт доступ для всех, без различия пола, цвета кожи и вероисповедания; управление им передается постоянной коллегией попечителей, с полномочиями заполнять открывшиеся в их среде вакансии. Законопроект предусматривает постройку зданий университета, общежитий, лекционных залов, музеев, библиотек, лабораторий, мастерских, домен и заводов. Он предусматривает также покупку в Буграх (Восточный Теннесси) шестидесяти пяти тысяч акров земли (следует подробное описание) для нужд университета. И он ассигнует также долларов на покупку земли, которая будет национальной собственностью, доверенной попечителям для вышеуказанных целей.

Всемерные усилия были предприняты для того, чтобы добиться у Хокинсов — наследников и владельцев земли в Теннесси — отказа от права на Бугры (около семидесяти пяти тысяч акров), сказал мистер Бакстоун. Но мистер Вашингтон Хокинс, один из наследников, воспротивился этому. В сущности, он весьма неохотно соглашается продать хотя бы часть своих владений за какую-бы то ни было цену; и это нежелание вполне понятно, если учесть, что земля Хокинсов неуклонно и очень значительно поднимается в цене.

Ни в чем Юг так не нуждается, как в обученной рабочей силе, продолжал мистер Бакстоун. Без нее он не сможет разрабатывать свои рудники, строить дороги, выгодно и без чрезмерных затрат возделывать свои плодородные земли, возводить фабрики и двинуться по пути дальнейшего развития промышленности. Сейчас Юг располагает почти совершенно необученной рабочей силой. Сделайте этих людей разумными, квалифи-

цированными рабочими — и вы разом увеличите капитал и возможности всего Юга, откроете ему путь к невиданному доселе процветанию. В какие-нибудь пять лет благосостояние Юга так возрастет, что не только возместит государству издержки, но и принесет казне неслыханные богатства.

Такова материальная сторона дела, наименее существенная с точки зрения достопочтенного оратора (тут он привел некоторые данные, подготовленные для него сенатором Дилуорти, затем продолжал) «Господь поручил нам заботу о миллионах негров. Какой отчет мы ему дадим, как мы управляли ими? Мы дали им свободу. Неужели мы оставим их в невежестве? Мы предоставили их самим себе. Неужели мы оставим их трудиться голыми руками? Мы не можем сказать, для чего предназначен провидением этот столь отличный от нас народ, но долг наш ясен. Промышленный университет в Буграх станет всеобъемлющей школой современной науки и практики, достойным созданием великой нации. Он сочетает в себе преимущество Цюрихской школы, Фрейбурга, предприятий в Крезе и Шеффилдского института. Само провидение предназначило и сохранило Бугры в Восточном Теннесси для этой цели. Для чего же еще они существуют? Разве не поразительно, что более тридцати лет, — а за это время сменилось поколение, — лучшая часть этой земли оставалась в руках одной семьи, нетронутая, словно уготованная для какой-то высшей цели.

Могут спросить, зачем правительству приобретать эту землю, когда в его распоряжении миллионы акров, которые оно может отдать университету, — много больше, чем может понадобиться железнодорожным компаниям? Но у правительства нет другого такого участка. Все другие земли не идут ни в какое сравнение с Буграми в смысле пригодности их для предполагаемого Промышленного университета. Бугры словно специально предназначены для того, чтобы стать школой горного дела, техники, обработки металлов, химии, зоологии, ботаники, ремесел, сельского хозяйства, — короче говоря, всех сложных видов промышленности, которые составляют мощь государства. Для создания по-

добной школы нет другого такого места, как Бугры Восточного Теннесси. Горы эти изобилуют всевозможными металлами, железной рудой всех видов, медью, висмутом, в небольших количествах есть золото и серебро, а возможно, и платина, есть олово, алюминий; они покрыты лесами, богатой и редкой растительностью; в лесах водятся енот, опоссум, лиса, олень и множество других представителей животного царства; угля здесь огромные залежи и, вне всякого сомнения, имеется нефть; и это такое место для опытов в области сельского хозяйства, что любой студент, который успешно применит здесь свои силы, с легкостью справится затем со своей задачей в любой части страны».

Нигде больше нет таких возможностей для экспериментов в горном деле, металлургии, технике. Оратор надеется дожить до того дня, когда молодежь Юга будет приходить на рудники университета, в его лаборатории, в мастерские, на фабрики, к доменным печам, чтобы получить практические знания для всех больших промышленных начинаний.

Засим последовали шумные и ожесточенные дебаты, они длились час за часом. Сторонникам законопроекта их лидеры заранее внушили, что отнюдь не следует пытаться прекратить прения: наилучшей стратегией сочли — взять противника измором; решено было проваливать всякое предложение о перерыве, и, стало быть, заседание должно было затянуться хоть до ночи; тогда противники, пожалуй, один за другим сбегут и ослабят ряды своей партии — ведь они непосредственно не заинтересованы в законопроекте.

Солнце зашло, а битва все длилась; зажгли газовые рожки, толпа, заполнявшая галереи, стала редеть, а спорам не было конца; потом, основательно подкрепившись, публика стала возвращаться, своим сытым и довольным видом еще больше раздражая томимых голодом и жаждой конгрессменов, — а перепалка продолжалась с прежним ожесточением. Оппозиция снова и снова умоляла объявить перерыв, но армия защитников университета неизменно проваливала это предложение.

К полуночи зал заседаний палаты являл собою зрелище, которое поразило бы всякого стороннего чело-

века. Просторные галереи все еще были полным-полны, но яркие краски, делавшие их похожими на висячие сады, исчезли вместе с дамами; теперь тут оставались одни мужчины. Корреспондентские места пустовали, если не считать двоих-троих бдительных дозорных от пишущей братии, — вся она в целом ничуть не интересовалась прениями, которые почти сошли на нет: что-то болтали скучнейшие ораторы, да порой вспыхивала ссора из-за регламента; зато в комнате отдыха журналистов было необыкновеннолюдно — представители печати переговаривались, курили и были начеку в ожидании главного извержения парламентского вулкана, которое непременно совершится, когда настанет срок. Сенатор Дилуорти и Филипп находились на дипломатической галерее, Вашингтон — на галерее для публики, полковник Селлерс — неподалеку от него. Полковник весь вечер носился по коридорам, ловил то одного, то другого конгрессмена, каждому что-то усердно внушал и был уверен, что изрядно потрудился и оказал законопроекту неоценимые услуги; но теперь усталость смотрела на него, и он — в кои-то веки! — был тих и молчалив. Внизу несколько сенаторов расположились на диванах, расставленных для гостей, и беседовали с отдыхающими от трудов членами палаты. Унылый оратор что-то говорил; председательствующий клевал носом; там и тут в боковых проходах стояли кучками депутаты и тихонько перешептывались; другие сидели в самых разнообразных позах, одинаково выражающих крайнюю усталость; иные, откинувшись назад, задирали на стол ногу, а то и обе; другие от нечего делать чинили карандаши; иные бесцельно чертили что-то на бумаге; иные зевали и потягивались; многие, наваясь грудью на стол, спали крепким сном и слегка похрапывали. С причудливо разукрашенного потолка потоками лился газовый свет, озаряя эту мирную картину. Ничто не нарушало тишины, если не считать нудной речи очередного оратора. Время от времени какой-нибудь воин оппозиции, не выдержав, сдавался и уходил домой.

Мистер Бакстоун подумал, что, пожалуй, пора «перейти к делу». Он посоветался с Троллопом и еще с

двумя-тремя единомышленниками. В зале заседаний появился Дилуорти, и они подошли к нему. Наскоро сверив записи и заметки, конгрессмены заняли свои места и разослали по всему залу посыльных с записками к друзьям. Друзья тотчас встряхнулись, зевнули — и оказались в боевой готовности. Улучив мгновение, когда очередной оратор кончил свою речь, с оскорбленным видом поднялся мистер Бакстоун и заявил, что противники законопроекта, очевидно, своими разговорами просто старались оттянуть время, в надежде таким недостойным способом утомить его сторонников и тем самым нанести ему поражение. Такое поведение, может быть, и прилично на дискуссии в деревенском клубе, но не подобает государственным мужам, оно неуместно в столь высоком собрании, как палата представителей Соединенных Штатов. Друзья законопроекта не только готовы выслушать точку зрения своих противников, но и от души желают этого. Они приветствуют самый полный, самый свободный обмен мнениями; но оратору кажется, что эту учтивость обратили во зло, поскольку некоторые джентльмены воспользовались ею в эгоистических и недостойных целях. Эта пустая болтовня слишком затянулась. Он предлагает прекратить прения.

Не успел мистер Бакстоун сесть на место, как разразилась буря. С десятков депутатов повскакали с мест:

— Прошу слова!

— Прошу слова!

— Прошу слова!

— К порядку! К порядку! К порядку! К делу! К делу!

Резкий стук председательского молотка перекрыл весь этот шум.

Вопрос о том, прекратить ли прения — эта ненавистная проволочка, — был поставлен и принят. Всякие дебаты, разумеется, немедленно прекратились. Победа № 1.

Затем поставлен был на утверждение доклад комиссии — и «за» было подано еще больше голосов, чем ожидали.

Слово опять взял Бакстоун и предложил в порядке отступления от обычной процедуры немедленно приступить к первому чтению проекта.

Троллоп. Поддерживаю предложение!

Председательствующий. Предложение внесено и...

Крик. Перерыв! Поддерживаю предложение! Перерыв! Перерыв! К порядку! К порядку!

Председательствующий (*неистово стуча молотком*). Внесено и поддержано предложение объявить перерыв. Все, кто за это...

Крик. Голосовать! Голосовать! Поименным голосованием!

Решено было проголосовать поименно, объявлять ли перерыв. Это уже была война всерьез. Возбуждение достигло предела. Галереи разом забурили, репортеры кинулись по местам, отдохавшие конгрессмены толпой хлынули к своим креслам, иные нервные джентльмены повскакали на ноги, посыльные носились взад и вперед, — все ожило, все пришло в движение, взоры всех присутствующих загорелись неподдельным интересом.

«Это решает дело, — подумал мистер Бакстоун, — но пусть битва идет своим чередом».

Началось голосование, и все замерло, слышно было лишь, как выкликают имена и вызванные отвечают один за другим:

— За! — Против! — Против! — За!

Все замерло, ни движения, ни шороха; казалось, все в зале затаило дыхание.

Голосование закончилось, и, пока секретарь подсчитывал итоги, стояла мертвая тишина. На стороне университета оказалось две трети и еще два голоса!

Председательствующий. Действие обычной процедуры приостановлено, предложение принято. Объявляю первое чтение законопроекта.

Охваченные единым порывом галереи разразились бурными рукоплесканиями, и даже некоторые конгрессмены не в силах были сдержать свои чувства. Молоток председателя пришел на выручку, и затем раздался его громкий голос:

— К порядку, джентльмены! К порядку! Если публика еще раз нарушит порядок в палате, пристав очистит галереи!

Потом он поднял глаза — что-то привлекло его внимание. Все взгляды обратились в ту же сторону, и в зале начали хихикать. Председательствующий сказал:

— Пусть пристав объяснит джентльмену, что он своим поведением, которое отнюдь не оправдывается сегодняшней погодой, наносит оскорбление конгрессу.

Виновником всей этой кутерьмы оказался злополучный Селлерс. Он сидел на галерее в первом ряду, руки его и обмякшее от усталости тело чуть ли не перевешивались через барьер, и он спал крепким сном, недосыгаемый для треволнений и гроз. Должно быть, неустойчивая вашингтонская погода повлияла на его сновидения, потому что во время пронесшейся бури аплодисментов он раскрыл свой огромный зонтик и преспокойно продолжал спать. Вашингтон Хокинс видел это, но он сидел слишком далеко и не мог выручить друга, а никто из сидевших поблизости не пожелал испортить такое редкостное развлечение. Только когда взоры всей палаты скрестились на полковнике, сосед растолкал его, — и великий фантазер, точно араб в пустыне, свернул свою палатку.

— Помилуй бог, — сказал он, — я становлюсь таким рассеянным, когда о чем-нибудь задумаюсь! Никогда я не пользуюсь в комнате зонтиком — разве кто-нибудь за мной это замечал? Что, я заснул? Неужели? И вы меня разбудили, сэр? Очень благодарен, да, да, очень вам благодарен! Зонтик мог выпасть у меня из рук и сломаться. Превосходная вещь, сэр, — подарок друга из Гонконга; у нас тут такого шелка не сыщешь, — мне говорили, что это настоящий Янг Хайсон.

К этому времени о происшествии с полковником все забыли, — в палате снова разгорелся бой. Победа была уже не за горами, и сторонники законопроекта с жаром отдавались своему делу. Вскоре они предложили приступить ко второму чтению и добились его, — и после короткой ожесточенной схватки провели предложение палате в целом объявить себя комиссией.

Председательствующий, разумеется, покинул свое место, и был назначен временный председатель.

Теперь спор разгорелся жарче прежнего, ибо уважение к палате, заставляющее соблюдать порядок, когда палата заседает как таковая, значительно уменьшается, когда она заседает в качестве комиссии по отдельному вопросу. Самая ожесточенная борьба поднялась, конечно, вокруг многоточия в тексте законопроекта, где следовало проставить сумму, ассигнуемую на покупку земли.

Бакстоун. Господин председатель, я вношу предложение проставить слова: *три миллиона*.

Хэдли. Господин председатель, я вношу предложение проставить слова: *два с половиной доллара*.

Клоусон. Господин председатель, я предлагаю проставить слова: *двадцать пять центов*, выражающие подлинную стоимость этого бесплодного и заброшенного пустыря.

В соответствии с правилами процедуры на голосование прежде всего была поставлена наименьшая сумма. Ее провалили.

Затем проголосовали следующую по размеру сумму. И тоже провалили.

И наконец — три миллиона. После ожесточенного сражения, занявшего немало времени, это предложение было принято.

Потом, статья за статьей, был прочитан весь законопроект, обсужден, исправлен в каких-то мелочах, — и вот комиссия закончила свою работу и доложила о результатах.

В ту минуту, как палата снова вернулась к своим обязанностям и приняла доклад, мистер Бакстоун внес предложение о третьем чтении законопроекта, и его предложение было принято.

Столь же ожесточенная борьба вновь разгорелась из-за суммы, которую предлагалось уплатить за землю, — теперь все «за» и «против» должны были быть высказаны и занесены в протокол, каждый конгрессмен по очереди должен был проголосовать за три миллиона и, разумеется, за каждый из остальных пунктов, начиная с основной статьи и до самого конца. Но по-преж-

нему сторонники законопроекта держались сомкнутым строем и всякий раз голосовали единодушно. И враги их тоже.

Наступила решающая минута, но результат был так очевиден, что ни один человек даже не пытался предложить перерыв. Враг был повергнут в совершенное смятение. Законопроект почти единодушно поставили на окончательное, поименное голосование. А когда голосование закончилось, торжество оказалось полным: две трети голосов снова были поданы «за», и вето было уже невозможно — палата представителей сделала все что могла!

Мистер Бакстоун решил, что теперь, когда винт завинчен, остается только закрепить его гайкой на веки вечные. Он предложил провести повторное голосование. Предложение, разумеется, было отвергнуто, — и, поскольку это зависело от палаты представителей, великий закон о создании Промышленного университета стал свершившимся фактом.

Перерыв объявлять не пришлось. В ту секунду, как было принято последнее предложение, враги университета поднялись и двинулись к дверям, возмущенно переговариваясь; а за ними толпой двигались его друзья, ликуя и поздравляя друг друга. Галереи сбросили свой груз, и вскоре здание конгресса опустело и затихло.

Выйдя на улицу, полковник Селлерс и Вашингтон Хокинс с удивлением обнаружили, что ночь давно миновала и взошло солнце. И полковник сказал:

— Дай руку, сынок! Наконец-то у тебя все хорошо! Ты — миллионер! По крайней мере — скоро будешь миллионером. Дело верное. О сенате не беспокойся. Предоставь нам с Дилуорти об этом позаботиться. А теперь беги домой и обрадуй Лору. Бог мой, вот это отменная новость, просто первоклассная! Ну, беги. Я дам телеграмму жене: пускай приезжает сюда и поможет мне с постройкой дома. Теперь все хорошо!

Вашингтон был совсем ошеломлен своим счастьем и сбит с толку ослепительно яркими мечтами, которые уже шествовали нескончаемым парадом в его мозгу; он долго бродил сам не зная где и так замешкался в

дороге, что, добравшись наконец до дому, вдруг с досадой сообразил: да ведь Лора, наверно, давно все знает! Сенатор Дилуорти, конечно, уже добрый час как дома и сообщил ей новость. Вашингтон постучался к сестре, но ответа не было.

«Герцогиня» верна себе, — подумал он. — Всегда невозмутима. Ее не выведешь из равновесия — уж во всяком случае, не надолго. Вот, пожалуйста, она преспокойно улеглась спать, как будто она каждый день находит на улице по миллиону долларов!»

И Вашингтон пошел к себе и лег. Но ему не спалось; он поднялся и написал длинное восторженное письмо Луизе, и другое — матери. Оба письма он закончил одними и теми же словами:

«Лора теперь станет королевой Америки, вся нация начнет ей аплодировать, окружит ее почетом и лаской. Ее имя более чем когда-либо будет у всех на устах, за нею будут ухаживать и повторять все ее остроты. И мои тоже, наверно; хотя мои слова, кажется, уже пользуются бóльшим успехом, чем они того заслуживают. Жизнь так хороша, так радостна! Все тучи рассеялись, наша долгая борьба окончена, и все наши беды позади. Теперь уже ничто никогда не сделает нас несчастными. Те, кто нам верен и дорог, теперь будут вознаграждены за то, что так долго и терпеливо ждали. Наконец-то доказано, как мудр был наш отец! И я глубоко раскаиваюсь в том, что бывали времена, когда я терял веру и говорил, будто его бесценный дар целых четверть века был для всех нас не благословением, а проклятием и приносил нам одни лишь разочарования. Но теперь все хорошо — мы покончили с бедностью и тяжким трудом, с усталостью и горестями. Весь мир озарен солнцем!»

ЛОРА УБИВАЕТ ПОЛКОВНИКА СЕЛБИ

Forte è l'aceto di vin dolce¹.

Ne bið swýlc cwénlis þeaw
 idese to efnanne,
 þeáh ðe hió ænlicu sy,
 þætte freoðu-webbe
 feores onsæce,
 æfter lig-tofne,
 leófne mannan.

Beowulf².

Филипп вышел из Капитолия и пошел по Пенсиль-
 вания-авеню вместе с сенатором Дилуорти. Было по-
 гожнее весеннее утро, дышалось легко и весело; ярче
 зеленели живые изгороди, розовели зацветающие пер-
 сиковые деревья, словно нежным румянцем покрылись
 Арлингтонские холмы, и южный ветер дышал теп-

¹ Чем слаще вино, тем кислей выходит из него уксус
 (итал.).

² Негоже, чтоб женщина,
 Покой наш хранящая,
 Тем паче — красавица,
 Долг позабыла свой
 И в приступе гнева
 Замыслила жизнь отнять
 У мужа любимого. — «Песнь о Беовульфе» (англо-
 сакс.).

лом, — во всем ясно чувствовалось ежегодное чудо обновления земли.

Сенатор снял шляпу и, казалось, раскрывал душу навстречу сладостному утру. После духоты шумного зала с его тусклым газовым светом, льющимся из-под стеклянного свода, после лихорадочного возбуждения и борьбы страстей, длившейся всю ночь напролет, этот спокойный мир под открытым небом казался настоящим раем. Сенатора охватил не бурный восторг, но скорее благочестивая радость, подобающая истинному христианину и государственному деятелю, чьи благотворительные замыслы разделило и одобрило само провидение. Великая битва окончена, но закон должен еще предстать перед бдительным оком сената, а воля божья подчас проявляется в двух палатах по-разному. И все же сенатор был спокоен, ибо он знал, что сенату присущ *esprit de corps*¹, которого нет в палате представителей; в силу его каждый сенатор относится со всей любезностью к проектам других сенаторов, и они оказывают друг другу взаимную поддержку, о которой грубые люди сказали бы: «рука руку моет».

— По воле божией в эту ночь палата славно поработала, мистер Стерлинг. Правительство основало учреждение, которое вдвое облегчит разрешение проблемы Юга. И это хорошо для наследников Хокинса, очень хорошо. Лора будет почти миллионершей.

— А вы думаете, мистер Дилуорти, что Хокинсы много получают из этих денег? — наивно спросил Филипп, вспоминая судьбу ассигнований на развитие судходства по реке Колумба.

Сенатор испытующе посмотрел на своего спутника, стараясь понять, нет ли тут намек на личности.

— Без сомнения, без сомнения, — сказал он. — Я принимаю их интересы весьма близко к сердцу. Будут, разумеется, кое-какие расходы, но вдова и сироты получают все, о чем мечтал для них покойный мистер Хокинс.

¹ Корпоративный дух (франц.).

Пели птицы, когда они пересекали площадь перед Белым домом, сверкающую молодой изумрудной травой и нежной зеленью деревьев. Они подошли к дому сенатора Дилуорти и остановились на минуту, любуясь открывшимся видом.

— Вот поистине благодать господня, — благочестиво произнес сенатор.

Войдя в дом, он позвал служанку:

— Подите к мисс Лоре и скажите, что мы ее ждем. Мне следовало еще полчаса назад послать к ней верхового с запиской, — прибавил он, обращаясь к Филиппу. — Она будет восхищена нашей победой. Оставайтесь завтракать, будете свидетелем ее радости.

Вскоре служанка вернулась, лицо ее выражало полнейшее недоумение.

— Мисс Лоры нету, сэр, — доложила она. — Видно, всю ночь дома не была.

Сенатор и Филипп разом вскочили на ноги. В комнате Лоры на всем видны были следы торопливых, беспорядочных сборов, ящики наполовину выдвинуты, разная мелочь раскидана по полу. Постель не тронута, — очевидно, хозяйка не ложилась. Из расспросов выяснилось, что Лора накануне не вышла к обеду, извинившись перед миссис Дилуорти и сославшись на сильную головную боль, и слугам велела не беспокоить ее.

Сенатор был ошеломлен. Филипп тотчас подумал о полковнике Селби. Неужели Лора бежала с ним? Сенатор этого не думал. Нет, не может быть. Генерал Леффенуэл, представитель от Нового Орлеана, вчера вечером к слову упомянул, что Селби с семьей накануне утром выехал в Нью-Йорк и намерен сегодня отплыть в Европу.

У Филиппа явилась еще одна мысль, но он не высказал ее вслух. Он схватил шляпу и, пообещав разузнать все, что можно, побежал к Гарри: они не виделись со вчерашнего дня, с тех пор как Филипп пошел на заседание палаты.

Гарри дома не оказалось. Он ушел с небольшим саквояжем накануне, около шести часов вечера, ска-

зав, что едет в Нью-Йорк, но вернется на другой день. На столе в комнате Гарри Филипп нашел записку:

«Дорогой мистер Брайерли, не можете ли Вы приехать к шестичасовому поезду и проводить меня в Нью-Йорк? Мне нужно съездить туда в связи с нашим проектом, получить голос конгрессмена, который сейчас там. Сенатор Дилуорти поехать не может.

Ваша и пр. Л. Х.»

— Ох, пропади оно все пропадом, — сказал Филипп. — Дурень попался-таки в ловушку. А ведь она обещала мне оставить его в покое.

Он задержался лишь на минуту — коротко написал сенатору Дилуорти о том, что узнал, предупредил, что немедленно выезжает в Нью-Йорк, — и поспешил на вокзал. Ему пришлось целый час дожидаться поезда; наконец-то поезд отошел, но полз, как черепаха.

Филиппа сжигала тревога. Куда они направились? Чего ради понадобилось Лоре взять с собой Гарри? Имеет ли этот их внезапный отъезд какое-либо отношение к Селби? Неужели Гарри окажется таким дураком, что даст втянуть себя в какой-нибудь публичный скандал?

Казалось, поезд никогда не дойдет до Балтиморы. Потом без конца стояли в Гавр-де-Грас. Разогревшимся буксам пришлось дать остыть в Уилмингтоне. Неужели этот поезд никогда не придет в Нью-Йорк? Только мимо Филадельфии он шел чересчур быстро. Филипп стоял на площадке, отыскивая глазами дом Боултонов, — ему казалось, будто он различает знакомую крышу среди деревьев, и он спрашивал себя, что почувствовала бы Руфь, если б знала, как он близко от нее.

А потом был штат Джерси — нескончаемый Джерси, глупый, надоедливый Джерси, где пассажиры вечно спрашивают, на какой это они поезд попали, и где им выходить, и проехали уже Элизабет или не проехали. Оказавшись в Джерси, человек начинает смутно чувствовать, что он попал на несколько поездов сразу и

ни на один в отдельности и что он с минуты на минуту прибудет в Элизабет. Он не имеет ни малейшего представления о том, что такое Элизабет, и неизменно решает, что уж в следующий раз непременно выглянет из окна и посмотрит, на что она похожа, эта самая Элизабет, — но так никогда и не удосуживается поглядеть. А если и поглядит, то, вероятно, обнаружит, что это Принстон или еще что-нибудь в том же роде. Все это порядком надоедает, и нельзя понять, что толку называть станции в штате Джерси разными именами. Время от времени прибываешь в Ньюарк, — Ньюарков тут, видимо, штуки три или четыре; дальше идут болота; потом рекламные объявления, высеченные на бесконечных скалах, расхваливают патентованные лекарства, или готовое платье, или нью-йоркские тонирующие средства от джерсейской лихорадки, — и вот наконец Джерси-сити.

На пароме Филипп купил вечернюю газету у мальчишки, кричавшего: «А вот «Ивнинг Грэм», подробности убийства!» — и торопливо пробежал глазами следующее:

ПОТРАСАЮЩЕЕ УБИЙСТВО!!!

ТРАГЕДИЯ В ВЫСШЕМ СВЕТЕ!!!

КРАСИВАЯ ЖЕНЩИНА ЗАСТРЕЛИЛА ИЗВЕСТНОГО

ВETERАНА АРМИИ ЮЖАН В ОТЕЛЕ «ЮЖНЫЙ»!!!

ПРИЧИНА — РЕВНОСТЬ!!!

«Сегодня утром совершилось еще одно скандальное убийство, о каких почти ежедневно сообщают газеты, — прямой результат социалистических доктрин и агитации за права женщин, которая превращает каждую женщину в мстительницу за причиненное ей зло, а все общество — в заповедник, где она охотится за своими жертвами.

Около девяти часов некая леди с заранее обдуманном намерением застрелила че-

ловека в общей гостиной отеля «Южный», а затем, отбросив револьвер, без сопротивления позволила себя арестовать, причем хладнокровно заявила: «Он сам виноват». Наши корреспонденты, немедленно посланные на место трагедии, выяснили следующие подробности.

Вчера днем в отель прибыл из Вашингтона полковник Джордж Селби с семейством; он взял билеты на пароход «Скотия» и намеревался се-

годня в полдень отплыть в Англию. Полковник был красивый мужчина лет сорока, человек богатый и с положением, постоянно проживавший в Новом Орлеане. Он отличился в армии южан и получил ранение в ногу, от которого так и не оправился и вынужден был при ходьбе опираться на трость.

Сегодня утром, около девяти часов, хорошо одетая женщина в сопровождении мужчины явилась в контору отеля и спросила, нельзя ли видеть полковника Селби. Полковник в это время завтракал. Посетительница попросила портье передать полковнику, что его просят выйти в гостиную. По словам портье, спутник этой леди спросил ее: «А его-то вы зачем хотите видеть?» И она ответила: «Он уезжает в Европу, мне надо с ним попрощаться».

Полковнику Селби передали, что его ждут; посетительницы провели в гостиную, где в это время находились еще трое или четверо постояльцев. Пять минут спустя в гостиной раздались один за другим два выстрела, и туда сбежался народ.

Полковник Селби лежал на полу, истекая кровью, но был еще жив. Двое только что вошедших мужчин задержали стрелявшую; она не сопротивлялась и была немедленно передана в руки прибывшего в отель полицейского. Показания всех, кто находился в гостиной во время происшествия, в главных чертах совпадают. Взгляды свидетелей как раз обращены были на дверь, когда, опираясь на трость, вошел мужчина — пол-

ковник Селби, — и они обратили внимание на то, что он остановился, словно охваченный изумлением и испугом, и отступил на шаг. В эту минуту леди в капоре подошла к нему и сказала: «Джордж, ты поедешь со мной?» — или что-то в этом роде. Он поднял руку, как бы защищаясь, и попятился к двери со словами: «Боже мой! Я не могу, не стреляй!» Но тотчас же раздались два выстрела, и он упал. Леди, казалось, была вне себя от бешенства или от волнения и вся дрожала, когда свидетели схватили ее за руки; и она сказала им: «Он сам виноват».

Полковника Селби немедленно перенесли в его комнату и послали за известным хирургом доктором Пшиком. Оказалось, что одна пуля попала в грудь, другая в живот. Был вызван еще один врач, но раны оказались смертельными, и час спустя полковник Селби скончался в тяжких мучениях; однако он до самого конца оставался в полном сознании и успел дать показания под присягой. Суть их заключается в том, что его убийца — мисс Лора Хокине, с которой он встречался в Вашингтоне на деловой почве, как с кулуарной деятельницей. Она преследовала его своими ухаживаниями и домогательствами и пыталась заставить бросить жену и уехать с ней в Европу. Когда он отказался и начал избегать ее, она стала ему угрожать. За день до его отъезда из Вашингтона она объявила, что, если он попытается уехать без нее, ему не остаться в живых.

Очевидно, тут имело место убийство с заранее обдуман-ным намерением, и именно с этой целью стрелявшая последовала за полковником Селби из Вашингтона в Нью-Йорк.

Нам стало известно, что убийца — женщина необычайной, ослепительной красоты, всего двадцати шести или двадцати семи лет от роду — приходится племянницей сенатору Дилуорти, в доме которого она провела минувшую зиму. Она родом с Юга, из богатой семьи и слывет богатой наследницей. Однако, по слухам, она, как и некоторые другие прославленные красавицы в Вашингтоне, имеет какое-то отношение к закулисной политике. Если не ошибаемся, мы слышали ее имя в связи с продажей земель в Теннесси университету, создаваемому в Буграх, закон

о котором вчера вечером был принят палатой представителей.

Убийцу сопровождал мистер Гарри Брайерли, нью-йоркский франт, временно проживавший в Вашингтоне. Какое отношение он имеет к Лоре Хокинс и ко всей этой трагедии, пока неизвестно, но он также взят под стражу и будет задержан, по крайней мере в качестве свидетеля.

P. S. Один из свидетелей, находившихся в гостиной в момент убийства, заявил, что, выстрелив дважды в полковника Селби, Лора Хокинс хотела затем выстрелить в себя, но Брайерли подскочил и вырвал у нее оружие — и это он бросил пистолет на пол.

Дальнейшие подробности и полное жизнеописание всех замешанных в происшествии читайте в следующем выпуске нашей газеты».

Филипп тотчас кинулся в отель «Южный», где все еще царило величайшее волнение и из уст в уста передавались тысячи самых разных и фантастических версий случившегося. Очевидцы, снова и снова повторяя рассказ о виденном, превратили его в весьма драматическую сцену и приукрасили ее всем, что только могло сделать ее пострашнее. А те, кто совсем ничего не видел, пустились сочинять. Жена полковника сошла с ума, говорили они. Дети вбежали в гостиную и, падая на пол, перепачкались в отцовской крови. По словам портье, он в первую же минуту по глазам посетительницы понял, что она замышляет убийство. У кого-то, кто встретился с нею на лестнице, пошел мороз по коже. Некоторые полагали, что Брайерли — соучастник преступления: это он подговорил женщину убить его соперника. Иные говорили, что убийца держалась уж слишком спокойно и безразлично, — должно быть, она не в своем уме.

Филипп узнал, что и Гарри и Лору отвезли в городскую тюрьму, и отправился туда; но его к ним не пустили. Так как он не был газетным репортером, ему не разрешили в этот вечер увидеться с кем-нибудь из них, но караульный офицер стал расспрашивать его и подозрительно осведомился, кто он такой. Возможно, утром ему и разрешат поговорить с Брайерли.

Последние выпуски вечерних газет сообщали о результатах следствия. Случай был достаточно ясен для присяжных, и, однако, им пришлось долго заседать, выслушивая препирательства врачей. Доктор Пшик утверждал, что убитый скончался от последствий ранения в грудную клетку. Доктор Дуб столь же решительно утверждал, что причиной смерти явилось ранение в область живота. Доктор Пляс высказал мнение, что смерть последовала от совокупности обеих ран, а также, возможно, и от других причин. Он расспросил официанта о том, завтракал ли полковник Селби, что именно он ел и был ли у него аппетит.

В конце концов следствие вернулось к тому бесспорному факту, что полковник Селби мертв, что (как признают врачи) любая из полученных им ран могла оказаться причиной смерти, — и вынесено было заключение, что он умер от огнестрельных ран, причиненных выстрелами из револьвера, находившегося в руках Лоры Хокинс.

Утренние газеты так и пестрели крупными заголовками и изобиловали подробностями убийства. Отчеты вечерних газет оказались всего лишь первыми каплями этого оглушительного ливня. События излагались в самых драматических тонах, заполняя столбец за столбцом. Тут были очерки биографического и исторического порядка. Были длиннейшие отчеты специальных корреспондентов из Вашингтона, подробно описывалась жизнь и деятельность Лоры в столице и перечислялись имена всех мужчин, с которыми, по слухам, она была близка; описаны были особняк сенатора Дилуорти, и семья сенатора, и комната Лоры в его доме, и как выглядит сам сенатор, и что он сказал. Много писали о красоте Лоры, о ее талантах, о ее блестящем положении в обществе, и о ее сомнительном

положении в обществе. Было также напечатано интервью с полковником Селлерсом и другое — с Вашингтоном Хокинсом, братом убийцы. Одна газета поместила длинную корреспонденцию из Хоука о том, в какое волнение повергнута эта мирная деревушка и как там приняли ужасную весть.

Были опрошены все причастные к случившемуся. Печатались отчеты о беседах с портье отеля, с посыльным, с официантом, со всеми свидетелями, с полисменом, с хозяином отеля (который подчеркнул, что в его отеле никогда еще не случалось ничего подобного, хотя у него постоянно останавливаются сливки южной аристократии) и с вдовой полковника — миссис Селби. Были тут и чертежи и рисунки, показывающие, как произошло убийство, и вид отеля и улицы, и портреты действующих лиц.

Имелись три подробнейших и совершенно не схожих между собою показания врачей относительно ран, полученных полковником Селби, составленные в столь ученых выражениях, что никто не мог их понять. Печатались ответы Гарри и Лоры на бесчисленные вопросы корреспондентов; имелось также заявление Филиппа, ради чего репортер поднял его ночью с постели, хотя Филипп просто догадаться не мог, каким образом репортер его отыскал.

Если некоторым газетам не хватало материала, чтобы написать о случившемся достаточно длинно, они восполняли пробел энциклопедически основательной и разносторонней информацией о других случаях убийства, в том числе при помощи огнестрельного оружия.

Заявление Лоры было далеко не полным, в сущности отрывочным, — на девять весьма ценных замечаний репортера приходилось одно замечание Лоры, да и то бессвязное, как многозначительно отмечал сам репортер. Но, по-видимому, Лора объявила, что она жена Селби или была когда-то его женой, что он бросил ее и изменил ей, и она хотела поехать за ним в Европу.

— Что побудило вас застрелить его, мисс Хокинс? — спросил репортер.

— Разве я застрелила его? — просто сказала Лора. — Разве говорят, что я его застрелила?

И больше она не произнесла ни слова.

Из этого убийства сделали сенсацию. Весь город только о нем и говорил. Каждое новое сообщение тщательно изучалось, о взаимоотношениях действующих лиц велись оживленные споры, и выдвинутые газетами десятки различных теорий о мотивах преступления обсуждались на все лады.

За ночь неуловимая сила электричества разнесла по проводам весть во все концы континента и за океан, — и во всех городах и селах страны, от берегов Атлантики до Аляски, и вдоль всего Тихоокеанского побережья, и даже в Лондоне, в Париже и Берлине миллионы и миллионы людей в это утро повторяли имя Лоры Хокинс; а его обладательница — когда-то кроткая девочка, вчера еще прекрасная королева вашингтонских гостиных — сидела, дрожа от холода, на железной койке в сырой и темной камере Гробницы.

ЛОРА В ГРОБНИЦЕ

— Mana qo c'u x-opon-vi ri v'oyeualal, ri v'achihilal! ahcarroc cah, ahcarroc uleu! la quitzih varal in camel, in zachel varal chuxmut cah, chuxmut uleu!

«Rabina!-Achi»¹.

Прежде всего Филипп постарался извлечь Гарри из Гробницы. В первый же день он добился разрешения увидеться с другом в присутствии тюремщика и убедился, что наш герой изрядно пал духом.

— Никогда не думал, что попаду в такое место, — пожаловался Гарри. — Это неподходящее место для порядочного человека, тут понятия не имеют о том, как надо обращаться с джентльменом. Ну что это за пища! — И он показал Филиппу тюремный обед, к которому так и не притронулся. — Говорят, я задержан в качестве свидетеля, а я провел ночь среди головорезов и жуликов. Хорош я буду свидетель, если проживу месяц в такой компании.

— Нет, ты мне скажи, что за нелегкая понесла тебя в Нью-Йорк с Лорой? — спросил Филипп. — Чего ради ты с нею поехал?

¹ — Отвагой и силой я ничего не достиг! Увы, услышьте меня, земля и небо! Неужели я должен умереть, должен умереть здесь, между небом и землей! — «Рабинал-Ачи» (На языке киче.)

— Как чего ради? Это она хотела, чтобы я поехал. Я ничего не знал про этого проклятого Селби. Она сказала, что у нее там дела, связанные с законом об университете. Я понятия не имел, зачем она меня тащит в этот чертов отель. Она, наверно, знала, что все южане там останавливаются, и рассчитывала найти там своего Селби. Ох, до чего я жалею, что не послушал тебя! Теперь меня газеты так пропечатают, как будто я сам убил человека. Она сущий дьявол, эта Лора. Видел бы ты, как она была мила со мной. Экий я осел!

— Ну, я не намерен злословить о бедняге, когда она сидит в тюрьме. Но прежде всего надо тебя отсюда вытащить. Во-первых, я привез с собой ее записку к тебе, а кроме того, говорил с твоим дядей и объяснил ему начистоту, как было дело. Он скоро будет здесь.

Дядя приехал, прибыли и друзья Гарри, и весь день так наседали на высшее начальство, что Гарри выпустили, обязав по первому требованию явиться в качестве свидетеля. Едва тюрьма скрылась за углом, как Гарри, верный себе, мгновенно воспрянул духом и настоял на том, чтобы угостить Филиппа и всех приятелей поистине королевским ужином у Дельмонико, — выходка, быть может, простительная, если подумать, какое он испытывал облегчение, — и проделал он все это с обычной своей неугомонной щедростью. Гарри заказал ужин, и, пожалуй, излишне говорить о том, что по счету уплатил Филипп.

Ни тому, ни другому не хотелось и пытаться посетить в этот день Лору, и она не видела ни души, если не считать репортеров, пока ее не навестили брат и полковник Селлерс, примчавшиеся из Вашингтона.

Они нашли Лору в камере, в верхнем ярусе женского отделения. Камеры здесь были несколько просторнее, чем в мужском отделении, — примерно восемь на десять футов, может быть немного длиннее. И поли стены — все каменное, потолок сводчатый. Узкое, точно щель, оконце в своде пропускало свет, и только через него проникал в камеру свежий воздух; когда оно было открыто, сюда без помехи попадал и дождь. Тепло

шло только из коридора, когда дверь туда приоткрывали, в самой же камере стоял пронизывающий холод, а в это время года было еще и сыро. Выбеленная и опрятная, она все же была пропитана особым тюремным запахом; всю обстановку составляла узкая железная койка с соломенным тюфяком, покрытая не слишком чистыми одеялами.

Когда надзирательница ввела полковника Селлера в камеру, он не совладал с собой — слезы потекли по его щекам, и голос дрожал так, что полковник едва мог говорить. Вашингтон не в силах был вымолвить ни слова; он глядел то на сестру, то на несчастных арестанток, проходивших по коридору, и взгляд его выражал безмерное отвращение. Одна Лора оставалась спокойной и сдержанной, хотя ее, пожалуй, и тронуло горе обоих друзей.

— Ты здесь удобно устроилась, Лора? — выговорил наконец полковник.

— Как видите, — ответила она. — Не могу сказать, чтоб уж очень удобно.

— Ты зябнешь?

— Тут очень холодно. Каменный пол прямо как лед. Когда ступишь на него, пробирает до костей. Приходится сидеть на постели.

— Бедняжка! Бедняжка! А кормят сносно?

— Я не голодна. Мне ничего не хочется. А *это* я есть не могу.

— О господи! — сказал полковник. — Какой ужас! Но не падай духом, дорогая, не падай духом! — И голос его оборвался.

— Нет, мы не покинем тебя, — продолжал он потом. — Мы все для тебя сделаем. Я знаю, ты не хотела его убить. Это, конечно, был приступ безумия, знаешь, или что-то в этом роде. Ты прежде ничего такого не делала.

Лора слабо улыбнулась:

— Да, правда, что-то в этом роде. Налетело, как вихрь. Он был негодяй, вы ведь ничего не знаете.

— Я предпочел бы сам его убить — на дуэли, по всем правилам. Жаль, что не убил. Но ты не горюй. Мы тебя вызволим — достанем лучшего защитника;

Нью-Йоркские адвокаты все могут, я читал о таких случаях. А теперь надо устроить тебя поудобнее. Мы привезли кое-что из твоего платья. Что еще тебе нужно?

Лора сказала, что ей хотелось бы получить простыни для постели, коврик, чтобы можно было не становиться на каменный пол, и пусть ей присылают приличную еду; и хорошо бы несколько книг, бумагу и чернила, если здесь позволяют писать. Полковник и Вашингтон обещали доставить все что нужно и затем горестно простились, — судя по всему, куда больше опечаленные положением преступницы, чем она сама.

Уходя, полковник пообещал надзирательнице, что, если она немного позаботится о Лоре, она на этом ничего не потеряет; а стражу, выпускавшему их, сказал покровительственно:

— У вас солидное заведение, оно делает Нью-Йорку честь. У меня тут друг... мы с вами еще увидимся, сэр.

На другой день в газетах появились еще кое-какие сведения из жизни Лоры, расцвеченные и раздутые репортерским красноречием. Некоторые из них бросали злобный свет на прошлое полковника Селби и рисовали Лору прекрасной мстительницей за поруганную честь; другие же изображали Лору навязчивой любовницей и кровожадным зверем. Нанятые для Лоры адвокаты, едва успев повидаться со своей подзащитной, положили конец ее встречам с репортерами, но это не помешало, а скорее способствовало появлению то здесь, то там новых газетных заметок, рассчитанных на то, чтобы вызвать сочувствие к бедной девушке.

Не обошлось без «морали», которую выводили из случившегося крупнейшие газеты; каждая толковала это событие на свой лад, и Филипп сохранил три или четыре вырезки, которые ему особенно понравились. Позднее он часто читал их вслух своим друзьям и просил угадать, из какой газеты сделана каждая вырезка. Одна статья, отличавшаяся простотой стиля, начиналась так:

«История никогда не повторяется, но калейдоскопически пестрые картины жи-

вописного настоящего порою как бы состоят из осколков древних преданий. Вашины-

тон — не Коринф, и Лаис, прекрасная дочь Тимандры, быть может, и не была предшественницей восхитительной Лоры из плебейского рода Хокинсов; но ораторы и государственные мужи, покупавшие благосклонность одной, были, должно быть, столь же неподкупны, как наши республиканские деятели, которых ныне наставляют, как любить и как голосовать, нежные уста деятельницы вашингтонских кулуаров; и, возможно, совре-

менная Лаис никогда не покинула бы столицу, найдись там хоть один американский Ксенократ, который устоял бы перед ее чарами. Но тут сходство кончается. Лаис, бежавшая с юным Гипостратом, была убита женщинами, что завидовали ее очарованию, Лора, бежавшая в свою Фессалию с юным Брайерли, убивает другого своего любовника и мстит за все обиды, нанесенные представительницам ее пола».

В другой газете редактор начал свою статью не с таких лирических красот, но с не меньшей силой. Закончил же он так:

«До прекрасной, неотразимой и демонической Лоры Хокинс и до беспутного полковника разбитой армии, пожавшего лишь то, что он посеял, нам нет дела. Но когда поднимается занавес над этой ужас-

ной трагедией, мы мельком заглядываем в жизнь нашей столицы при нынешнем правлении — и зрелище это не может не вызвать у нас глубокой тревоги за судьбы нашей республики».

Третья газета рассуждала на ту же тему в ином тоне. В статье говорилось:

«Наши неоднократные предсказания сбылись. Мы не раз указывали на то, сколь широко распространились в высших кругах американского общества пагубные идеи, — и вот еще одно наглядное тому подтверждение. Самое имя нашей столицы стало звучать укором. Быть может, мы хотя бы отчасти помогаем предотвратить окончательную ее по-

гибель, решительно обличая Великие Мошенничества; наперекор всему, мы и впредь будем утверждать, что пора восстановить в правах попираемые законы, охраняющие человеческую жизнь, чтобы человек по крайней мере среди бела дня мог ходить по улицам или переступать порог общественных зданий, не рискуя получить пулю в лоб».

Четвертая газета начинала так:

«Исчерпывающая полнота, с которой мы сегодня утром сообщаем нашим читателям

все подробности убийства полковника Селби Лорой Хокинс, является чудом современной

журналистики. Все дальнейшие расследования едва ли смогут дополнить нарисованную нами картину. Это — старая, как мир, история. Красивая женщина хладнокровно застрелила своего неверного

любовника; и, несомненно, со временем мы узнаем, что если она и не совсем безумна, то, во всяком случае, действовала в состоянии так называемого «временного помешательства».

Можно без преувеличения сказать, что первые газетные вести о разыгравшейся трагедии вызвали едва ли не всеобщую ярость и озлобление против заключенной в Гробнице преступницы, и сообщения о ее красоте лишь разжигали негодование. Выходило так, что на свою красоту и на свой пол она и рассчитывала, бросая вызов закону, — и все горячо надеялись, что закон покарает ее.

Но у Лоры были и друзья, и в их числе люди весьма влиятельные. Она знала слишком много тайн и, быть может, от нее зависело слишком много репутаций. Кто возьмется судить о мотивах людских поступков? В самом деле, почему бы нам и не пожалеть женщину, чья блестящая карьера так внезапно оборвалась несчастьем и преступлением? Тем, кто так хорошо знал Лору в Вашингтоне, могло показаться невероятным, что столь обворожительная женщина замышляла убийство, и, возможно, они охотно прислушивались к чувствительным разговорам о временном помрачении ума — следствии несчастной любви.

Сенатор Дилуорти, разумеется, был сильно потрясен, но исполнен снисхождения к грешнице.

— Все мы в некий час предстанем перед богом и будем нуждаться в милосердии, — сказал он. — Лора, живя в моем доме, была примерной девушкой — приветливой, ласковой, правдивой; быть может, она чересчур любила веселье и не слишком часто ходила в церковь, но она была женщиной строгих правил. Возможно, в ее жизни имели место события, о которых мне ничего не известно, но она не дошла бы до такой крайности, если бы оставалась в здравом уме.

К чести сенатора надо сказать, что он искренне хотел помочь Лоре и ее родным в час этого тяжелого испытания. Лора и сама была не без средств, ибо в Ва-

шингтоне деятель кулуаров зачастую более удачлив, нежели проситель, и она вполне могла окружить себя роскошью, чтобы смягчить суровость тюремной жизни. Деньги помогли и родным перебраться поближе к ней, и кто-нибудь из них каждый день ее навещал. Нежные заботы матери, ее детски откровенное горе и непоколебимая вера в невиновность дочери трогали даже нью-йоркских тюремщиков, привычных к самым душераздирающим сценам.

Миссис Хокинс кинулась к дочери, как только получила деньги на дорогу. У нее не было для Лоры ни слова упрека — лишь нежность и жалость. Она ничего не могла поделать со страшной реальностью: Лора убила человека; но ей было довольно того, что при первой же встрече Лора сказала: «Я сама не знала, что делаю, мама». Она сняла квартирку по соседству с Гробницей и посвятила всю себя заботам о Лоре, словно та и вправду была ей родной дочерью. Если бы ей только позволили, она не выходила бы из тюрьмы ни днем ни ночью. Она была уже стара и слаба здоровьем, но испытание, казалось, придало ей новые силы.

Трогательный рассказ о том, как старушка опекает Лору, о ее душевной простоте и набожности тоже вскоре попал в газеты и, вероятно, вызвал еще больше сочувствия у публики, уже начинавшей понимать, как трагична судьба этой погибшей женщины. У нее, несомненно, были сторонники, полагавшие, что если на одной чаше весов находится ее преступление, то на другую следует положить все зло, которое ей причинили, и до нее разными путями доходили знаки этого сочувствия. К ней приходили посетители, ей присылали в подарок цветы и фрукты, и от этого немного веселее становилось в ее суровой и мрачной камере.

Лора не пожелала видеть ни Филиппа, ни Гарри. Филипп вздохнул с облегчением; он думал, что ей уж конечно будет совестно встретиться с ним после того, как она нарушила данное ему обещание; Гарри же, все еще не совсем равнодушный к чарам Лоры, был расстроен этим отказом и считал его бессердечным. У него, разумеется, больше не может быть ничего об-

щего с подобной женщиной, сказал он Филиппу, но он должен увидаться с нею.

Филипп, желая удержать приятеля от какого-нибудь нового легкомысленного шага, уговорил его ехать вместе в Филадельфию: ему так нужна помощь Гарри на шахте в Илионе!

Делу Лоры был дан законный ход. Ей предъявили обвинение в убийстве с заранее обдуманном намерением, и она должна была оставаться под арестом до летней судебной сессии. Двух известнейших нью-йоркских адвокатов пригласили ее защищать, и подготовке к защите эта исполненная решимости женщина отдавала теперь все свое время, причем мужество ее возрастало по мере того, как она советовалась со своими адвокатами и разбиралась в методах уголовного судопроизводства в штате Нью-Йорк.

Однако ее очень угнетали вести из Вашингтона. Конгресс был распущен на каникулы, и ее законопроект не успел пройти в сенате. Теперь нужно ждать следующей сессии.

МИСТЕР БИГЛЕР СПАСЕН,
А МИСТЕР БОУЛТОН ЗАЛЕЗАЕТ В ДОЛГИ

Что мы ни делаем — нам всё не впрок
Как будто черт мешать нам дал зарок.
Трудись мы даже больше во сто крат,
Дохода нет — лишь множество затрат.

Чосер.

He moonihoawa ka aie.

Hawaiian Proverb 1.

Плохая выдалась зима для фирмы «Пеннибеккер, Биглер и Смолл». Обычно эти знаменитые подрядчики-строители выручали во время сессии законодательного собрания в Гаррисберге больше денег, чем приносила им вся их летняя работа, а вот эта зима оказалась бесплодной. Биглер не мог понять, почему так случилось.

— Понимаете ли, мистер Боултон, — сказал он однажды при Филиппе, — у нас прямо почва уходит из-под ног. Видно, на политику больше нечего надеяться. Мы-то рассчитывали в этом году поживиться при переизбрании Саймона. Но вот его опять выбрали, и я еще не видал человека, который бы от этого хоть что-нибудь выгадал.

¹ Долги — ядовитая змея. — Гавайская пословица.

— То есть он избран, хотя никому ничего не платил, — так, что ли? — спросил Филипп.

— Ни гроша, насколько я знаю, ни гроша ломаного, — с досадой повторил мистер Биглер. — Надуть весь штат — вот как я это называю. И как это проделано, хоть убейте — не пойму. Не упомяну, когда еще в Гаррисберге было так туго с деньгами.

— Неужели выборы обошлись без всяких комбинаций? Ни подряда на строительство железной дороги, ни плана новых рудников?

— Может, что и было, да я ничего про это не знаю, — сказал Биглер, с отвращением мотнув головой. — Люди прямо говорят, что эти выборы обошлись без денег. Неслыханное дело!

— А может быть, — предположил Филипп, — тут все основано на том, что страховые общества называют «вкладом» или «обеспечением»? Тогда через некоторое время полис выдают на руки без дальнейших взносов.

— Так, по-вашему, — с улыбкой сказал мистер Боултон, — щедрый и дальновидный политик может получить место в конгрессе, даже не думая, что за это следует платить?

— Что ни говорите, — прервал Биглер, — а хитро проделано, черт их дери! Никак я этого не предвидел: я-то думал, у нас в руках верный барыш, а остались мы ни при чем. Я бы добился реформы в этом деле, джентльмены, вот что я вам скажу. Если уж какое-то паршивое законодательное собрание штата будет само раздавать кресла в сенате Соединенных Штатов, так тут сам черт ногу сломит.

Это прозвучало невесело, но не таков был мистер Биглер, чтобы его обескуражила одна-единственная неудача, и, столкнувшись с одним-единственным случаем видимой честности, он не утратил веры в человека. Он уже снова выплыл — или выплывет, — если только мистер Боултон поможет ему сняться с мели и продержаться в течение трех месяцев.

— Нам подвернулся один выгодный подряд, — объяснял он Боултону, — прямо скажем, крупно повезло. Можно заключить контракт на укладку патентованных дебсоновских мостовых в городе Мобил. Вот поглядите.

И мистер Биглер привел кое-какие цифры: контракт — столько-то, стоимость работы и материалов — столько-то, прибыль — столько-то. Через три месяца город должен будет уплатить компании триста семьдесят пять тысяч долларов, из них двести тысяч — чистая прибыль. Все это дело принесет компании самое малое миллион, а то и больше. В расчетах не может быть никакой ошибки: вот он, контракт. Мистер Боултон ведь и сам знает, сколько стоят материалы и во что станет работа.

Мистер Боултон прекрасно знал по горькому опыту, что в расчетах всегда оказывается ошибка, когда их составляют Биглер или Смолл, и знал, что ему следует выставить подрядчика за дверь. Однако он продолжал слушать болтовню Биглера.

Они хотят занять только пятьдесят тысяч, чтоб было с чем начать, а дальше уж город сам даст им средства. Мистер Боултон сказал, что у него нет таких денег. Но Биглер может занять от его имени! Мистер Боултон возразил, что он не вправе подвергать свою семью такому риску. Но ведь контракт можно переписать на его имя — обеспечение вполне достаточное, он разбогатеет, даже если подряд будет передан кому-то другому. Притом Биглеру в последнее время так не везло, он просто не знает, к кому обратиться за помощью, как прокормить семью. Только дайте ему еще раз попытать счастья — и он наверняка станет на ноги. Он умоляет об этом.

И мистер Боултон уступил. В подобных случаях он не умел отказывать. Если уж он по дружбе помог однажды человеку и тот его обманул, тем самым обманщик словно на веки вечные получал на мистера Боултона какие-то права. Однако у мистера Боултона не хватило духу сказать о своем поступке жене, ибо он знал, что если есть на свете человек более ненавистный его домашним, чем Смолл, то это — Биглер.

— Филипп сказал мне, — заметила в тот вечер миссис Боултон, — что у нас сегодня опять был этот Биглер. Надеюсь, у тебя больше не будет с ним никаких дел?

— Биглеру очень не повезло, — с запинкой ответил мистер Боултон.

— Ему всегда не везет, и ты всегда из-за него попадаешь в беду. Но на этот раз ты не стал его слушать?

— Видишь ли, матушка, его семья сейчас в большой нужде, и я разрешил ему воспользоваться моим именем... но я получил надежное обеспечение. В самом худшем случае будет некоторая неловкость.

Лицо у миссис Боултон стало серьезным и озабоченным, но она и не думала ни жаловаться, ни попрекать мужа; она знала, что означают слова «некоторая неловкость», но знала также, что тут ничего не поделаешь. Если бы мистер Боултон шел на базар, чтобы купить на последний и единственный доллар пропитание для своей семьи, первый встречный нищий без труда выпросил бы у него этот доллар. Миссис Боултон только спросила (и вопрос этот показывал, что она не более бережлива, чем ее муж, когда думает о тех, кто дорог ее сердцу):

— Но достаточно ли ты отложил денег, чтобы Филипп мог открыть свою шахту?

— Да, я отложил как раз столько, сколько должна стоить закладка шахты и сколько мы можем позволить себе потерять, если угля там не окажется. Филипп сам за всем проследит, ведь он равноправный партнер в предприятии, в соответствии с вложенным капиталом. Он совершенно уверен в успехе. И не ради себя, а ради Филиппа я надеюсь, что его не ждет разочарование.

Филипп не мог не чувствовать, что в доме Боултонов все к нему относятся, как к родному, — все, кроме Руфи. Когда, оправившись после несчастного случая, он вернулся домой, мать старательно делала вид, что очень ревнует его к мисс Боултон, о которой, как и о Руфи, она без конца расспрашивала. За этой притворной ревностью она, без сомнения, старалась скрыть неподдельную боль и тоску, которую испытывает всякая мать, когда ее сын уходит в большой мир и сближается с новыми людьми. А для миссис Стерлинг, вдовы, жившей на скромный доход в

глухой массачусетской деревушке, Филадельфия была городом, полным блеска и роскоши. Все его жители, казалось ей, благоденствуют и процветают, и на каждом шагу им открываются самые ослепительные горизонты. Кое у кого из ее соседей были в Филадельфии родные, и почему-то им казалось, что иметь родственников в Филадельфии — залог респектабельности. Миссис Стерлинг радовалась, что Филипп живет и работает среди таких состоятельных людей, и была уверена, что никакая удача не будет для него чрезмерной и незаслуженной.

— Итак, сэр, — сказала Руфь, когда Филипп приехал из Нью-Йорка, — вы были участником настоящей трагедии. Я видела ваше имя в газетах. Что же, ваши западные друзья все такие, как эта женщина?

— Мое участие в трагедии, — не без досады ответил Филипп, — заключалось только в том, что я пытался помешать Гарри впутаться в скверную историю, — и мне это не удалось. Он залез в ловушку, которую она ему расставила, и был за это наказан. Я хочу увезти его в Илион, посмотрю — сумеет ли он сосредоточиться на каком-то одном деле и бросить глупости.

— Она и правда такая красивая, как пишут в газетах?

— Не знаю, красота у нее своеобразная... она не похожа...

— Не похожа на Алису?

— Понимаете ли, она ослепительна; ее называли красивейшей женщиной в столице, — такая вызывающая, насмешливая, остроумная. Руфь, вы верите, что женщина может стать дьяволом?

— С мужчинами это бывает, так почему бы и женщине не обернуться дьяволом? Но я таких еще не видала.

— Так вот, Лора Хокинс очень близка к этому. Но страшно подумать о ее судьбе.

— Как, неужели вы думаете, что женщину могут повесить? Неужели дойдет до такого варварства?

— Я думал не об этом... сомневаюсь, чтобы присяжные нью-йоркского суда признали женщину ви-

повной в преднамеренном убийстве. Но подумайте, что за жизнь ее ждет, если ее оправдают.

— Да, ужасно, — задумчиво сказала Руфь. — Но хуже всего то, что вы, мужчины, не желаете, чтобы женщины чему-нибудь учились и честным трудом зарабатывали свой хлеб. Мы получаем такое воспитание, как будто нас всегда будут баловать и опекать и с нами не может случиться никакого несчастья. Вот и вы все, наверное, хотели бы, чтобы я сидела дома сложа руки и отказалась от своей профессии.

— О нет, — серьезно сказал Филипп. — Я уважаю вашу решимость. Но, Руфь, неужели вам кажется, что вы будете счастливее или сделаете больше добра, занимаясь медициной, чем если бы у вас был свой дом?

— А что мне помешает иметь свой дом?

— Да, пожалуй, ничто не помешает, только вас-то там никогда не будет: если у вас окажется хоть какая-то практика, вы день и ночь будете в бегах, — а тогда что же это за дом для вашего мужа?

— А что за дом для жены, если муж вечно разъезжает где-то в своей докторской двуколке?

— Ну, знаете, это несправедливо. Домашний очаг создает женщина.

У них нередко возникали такие споры. И Филипп неизменно старался придать им личный характер. Он совсем уже собрался уехать на лето в Илион и мечтал перед отъездом услышать от Руфи хоть слово: ему так хотелось верить, что, может быть, когда-нибудь она полюбит его, — разумеется, когда он будет этого достоин, ведь сейчас он может предложить ей только жалкое, почти нищенское существование.

— Я работал бы с гораздо большим жаром, — сказал он утром в день отъезда, — если б знал, что я вам не совсем безразличен, Руфь.

Она опустила глаза; слабый румянец окрасил ее щеки, она не знала, что сказать. А Филипп подумал, что ей незачем было опускать глаза, ведь она настолько меньше его ростом...

— Илион настоящее захолустье, — продолжал он, как будто географическая справка была тут вполне уместна, — и у меня будет вдоволь времени подумать

об ответственности, которую я на себя беру... — кажется, он просто не знал, как закончить эту фразу.

Но Руфь подняла глаза, и в них светилось что-то такое, отчего сердце Филиппа забилося быстрее. Она взяла его за руку и сказала серьезно и ласково:

— Никогда не надо отчаиваться, Филипп. — И добавила уже другим тоном: — Вы ведь знаете, что летом я сдам экзамены и получу диплом, и если что-нибудь случится... в шахтах ведь бывают взрывы... вы можете послать за мною. Всего хорошего!

Закладка угольной шахты в Илионе начата была весьма энергично, но пока мало что предвещало успех. Филипп повел штольню в глубь горы, веря, что там должен пролегать угольный пласт. Ему казалось, что он знает, насколько глубока должна быть штольня, но никто не мог сказать этого точно. Некоторые шахтеры говорили, что, вероятно, придется прорыть гору насквозь — получится туннель, и его можно будет использовать для железной дороги. Так или иначе, в шахтерском лагере жизнь кипела ключом. Тут вырос целый поселок из дощатых и бревенчатых хижин, была здесь и кузница, и небольшая механическая мастерская, и походная лавка, снабжавшая рабочих всем необходимым. Филипп и Гарри поставили себе просторную палатку и наслаждались вольной жизнью.

Совсем не трудно выкопать яму в земле, если у вас достаточно денег, чтобы заплатить землекопам; но всякого, кто принимается за это, неизменно поражает — как много требуется денег, чтобы вырыть даже небольшую яму. Земля всегда неохотно отдает богатства, скрытые в ее недрах, пока не получит за них нечто равноценное, и если с нее спрашивают уголь, она, пожалуй, потребует золота взамен.

Это был труд, волновавший всех, кто в нем участвовал. Штольня все глубже вгрызалась в скалу, и каждый день обещал стать золотым днем удачи: быть может, именно этот взрыв и обнаружит желанное сокровище!

Работы продолжались неделю за неделей, под конец не только днем, но и ночью. Партии рабочих сменяли друг друга, и штольня с каждым часом, дюйм за

дюймо́м, фут за футом, забиралась все глубже в гору. Филипп был во власти неотступной тревоги и надежды. Каждый раз, как наступал день уплаты жалованья рабочим, он видел: деньги тают, а то, что шахтеры называют «приметами», все еще очень неопределенно.

Жизнь, которую они вели, была очень по душе Гарри, чью беззаботную веру в успех ничто не могло поколебать. Он без конца какими-то ему одному понятными способами высчитывал вероятное направление пласта. Он вертелся среди рабочих с видом самого занятого человека на свете. Приезжая в Илион, он называл себя производителем работ и долгими часами сидел на веранде гостиницы в обществе хозяина-голландца, покуривая трубку и изумляя всех, кому не лень было слушать, рассказами о своей деятельности на постройке железной дороги в штате Миссури. Он советовал хозяину расширить гостиницу и прикупить несколько земельных участков в округе, — ведь цена на них, конечно, поднимется, как только найдут уголь. Он учил голландца смешивать в летнюю жару самые разнообразные напитки для освежения, и счет его в гостинице все возрастал, а мистер Дузенгеймер созерцал этот счет с великим удовольствием. Где бы ни появлялся Гарри Брайерли, повсюду он оказывался весьма полезным человеком, повсюду вносил бодрость и веселье.

Лето было в разгаре. Филипп постоянно сообщал мистеру Боултону, что работа идет полным ходом, — но и только; и не слишком весело было ему посылать в Филадельфию такие вести в ответ на вопросы, которые, как ему казалось, становились все тревожнее. Его и самого терзал страх, что все деньги выйдут прежде, чем найден будет уголь.

В это время Гарри вызвали в Нью-Йорк на процесс Лоры Хокинс. Возможно, что понадобится и присутствие Филиппа, писал ее защитник, но есть надежда, что суд будет отложен. Они все еще не получили важных свидетельских показаний, и он надеется, что судья не заставит их явиться на процесс неподготов-

ленными. Есть много причин для отсрочки — причип, о которых, конечно, не упоминается, но как будто и нью-йоркский судья иной раз в состоянии их понять, потому он и обещает отложить дело по просьбе адвокатов, хотя просьба эта совершенно неосновательна с точки зрения широкой публики.

Гарри поехал, но скоро вернулся. Процесс отложили. С каждой неделей, которую нам удастся выиграть, сказал ученый юрист Брэhem, наши шансы на успех возрастают. Народный гнев недолговечен.

ФИЛИПП ЕДВА НЕ НАШЕЛ УГОЛЬ

Солнце заблестало, но не надолго: блеснуло и скрылось.

«Mofèrè ipa eiye nā». — «Aki ije ofere li obbè»¹.

— Нашли!

Эта ошеломляющая весть раздалась среди глубокой ночи у входа в палатку, где крепким сном спал Филипп, — и сон мигом слетел с него.

— Что?! Где? Когда? Уголь? Покажите! Хороши? — сыпал он вопросами, наскоро одеваясь. — Гарри, проснись, друг! Прибывает транспорт с углем. Нашли, а? Ну-ка поглядим!

Десятник опустил свой фонарь на землю и подал Филиппу черный камень. Ошибки быть не могло: это был твердый блестящий антрацит, поверхность свежего излома сверкала при огне, точно полированная сталь. В глазах Филиппа он затмил своим великолепием все алмазы мира.

Гарри пришел в восторг, но Филипп от природы был человек осторожный, — и он спросил:

— А вы уверены в этом, Робертс?

— То есть в чем? Что это уголь?

¹ «Я чуть не убил птицу». — «Из чуть жаркого не сделаешь» (йорубск.).

— Нет, что это главный пласт.

— Да, пожалуй. Похоже, что это он и есть.

— Вы с самого начала так думали?

— Нет, этого не скажу. С самого начала не думали. Много примет было, но не все — пет, не все. Вот мы и решили еще разведать малость.

— И что же?

— Слой был довольно толстый, по виду вроде бы и пласт... по виду даже наверняка пласт. Вот мы и пошли по нему. Чем дальше, тем он лучше выглядит.

— Когда вы на него наткнулись?

— Часов в десять.

— Значит, вы шли по нему часа четыре?

— Да, часа четыре с лишком.

— Боюсь, что вы не много могли пройти за четыре часа, верно?

— Это да. Больше отбивали да дробили породу.

— Что ж, похоже, что это и впрямь пласт, а все-таки примет не хватает...

— Конечно, лучше бы они были, мистер Стерлинг, но мне случалось встречать на своем веку хорошие, богатые месторождения и без этих примет.

— Что ж, и это хорошо.

— Да знаете, есть богатые, солидные шахты — Юнион, Алабама, Блэк Могаук — и все они на первых порах выглядели в точности как эта.

— Ну что ж, как будто становится легче на душе. Думаю, мы его и в самом деле нашли. А про Блэк Могаук, помнится, и я слышал.

— Смело вам могу сказать, я-то верю, что мы нашли уголь. И рабочие тоже верят, а они народ опытный.

— Ну-ка, Гарри, пойдем посмотрим, спокойнее будет, — сказал Филипп.

Час спустя они возвратились довольные и счастливые.

В эту ночь им больше не спалось. Они закурили трубки, положили на стол образчик угля — и он стал средоточием всех их мыслей и разговоров.

— Разумеется, — сказал Гарри, — сюда надо будет провести железнодорожную ветку, а в гору — фуникулер.

— Ну, теперь на это нетрудно будет достать денег. Мы могли бы хоть завтра выручить кругленькую сумму. На такой уголь, да в какой-нибудь миле от железной дороги, охотники всегда найдутся. Интересно, предпочтет Боултон продать шахту или захочет сам разрабатывать?

— Наверно, разрабатывать, — сказал Гарри. — Должно быть, вся эта гора — сплошной уголь, надо было только до него добраться.

— А может быть, это и не такой уж мощный пласт, — усомнился Филипп.

— А может, очень даже мощный. Сорок футов толщиной, пари держу! Я ведь тебе говорил. Я с первого взгляда понял, что тут дело стоящее.

Потом Филипп решил написать друзьям и сообщить, что наконец-то им всем повезло. Мистеру Боултону он написал короткое деловое письмо, стараясь сохранять самый спокойный тон. Они нашли уголь превосходного качества, но не могут еще сказать с полной уверенностью, каковы размеры пласта. Разведка продолжается. Написал он и Руфи, но хотя письмо его дышало жаром, то не был жар пылающего антрацита. Филиппу не приходилось искусственно подогревать свое перо и раздувать пламень сердца, когда он принимался писать Руфи. Но надо признать, что никогда еще слова не лились так свободно, и он не отрывался от писания добрый час, дав полную волю разыгравшемуся воображению. Читая это письмо, Руфь заподозрила, что автор слегка помешался. И только дойдя до постскриптума, она поняла, откуда такая восторженность. Приписка гласила: «Мы нашли уголь».

Новость эта оказалась как нельзя более кстати. Никогда еще мистеру Боултону не приходилось так туго. У него было с десятков прожектов, любой из них мог принести ему богатство, но все они чахли на полпути и в каждый требовалось вложить еще самую малость, чтобы не пропали те деньги, которые он в них уже вложил. Вся его недвижимость до последнего клочка была заложена и перезаложена, даже тот глухой пустырь, на котором вел свои розыски Филипп и

который не имел никакой рыночной ценности, если не считать обременявшего его долга.

В этот день мистер Боултон вернулся домой рано, угнетенный и подавленный, как никогда.

— Боюсь, что нам придется продать дом, — сказал он жене. — Для меня-то это не так тяжело, но я думаю о тебе и о детях...

— Это еще не худшая из бед, — бодро ответила миссис Боултон. — Лишь бы ты избавился от долгов и от тревог, которые тебя совсем измучили, а жить мы можем где угодно. Ты же знаешь, что счастливее всего мы были в гораздо более скромном жилище.

— Дело в том, Маргарет, что на меня свалились неприятности с Биглером и Смоллом — и как раз теперь, когда это для меня последняя капля. Они опять прогорели. Я должен был знать заранее, что так кончится: эти жулики — или дураки, уж не знаю, — ухитрились запутать меня на сумму втрое большую против того, что я обязался уплатить в первый раз. Обеспечение у меня на руках, но что толку? У меня нет денег, а без денег я ничего не могу сделать с контрактом.

Руфь выслушала эту невеселую новость без большого удивления: она давно чувствовала, что они живут на вулкане и огненная лава может хлынуть в любую минуту. Руфь унаследовала отцовский деятельный ум и бесстрашную предприимчивость, но не отличалась сангвиническим темпераментом отца, мешавшим ему предвидеть препятствия на пути или возможность неудачи. Еще девочкой она мало верила в бесчисленные отцовские затеи, которые вот-вот разрешат все его затруднения и сделают его Крезом. А становясь старше, она все больше удивлялась тому, что дела семьи как будто процветают, и не понимала, как при всех этих блестящих начинаниях они не остались нищими. Все-таки она была только женщина и не знала, как часто в деловом мире процветание — лишь мыльный пузырь, возникший из кредита и спекуляций: одна затея помогает удержаться другой, ничуть не лучшей, и все вместе непременно превратятся в совершенный хаос, в ничто, едва лишь хлопотливый ум, их породивший, потеряет способность хитрить и изобретать или

какая-нибудь несчастная случайность вызовет внезапную панику.

— Может быть, я еще стану опорой семьи, — сказала Руфь почти весело. — Но когда мы снимем в городе домик, позволишь ли ты мне, отец, вывесить на двери табличку: «Доктор Руфь Боултон»? Ты ведь знаешь, что миссис Лонгстрит прекрасно зарабатывает.

— А кто заплатит за табличку, Руфь? — спросил мистер Боултон.

Служанка принесла из конторы вечернюю почту. Мистер Боултон нехотя взял письма и не вдруг решился их распечатать. Он хорошо знал, что они ему несут: новые затруднения, новые настойчивые требования денег.

— А, вот письмо от Филиппа. Бедняга! Для меня его разочарования так же горьки, как моя собственная неудача. В молодости это нелегко дается.

Он вскрыл письмо. Лицо его просветлело, и он вздохнул с таким облегчением, что миссис Боултон и Руфь разом удивленно вскрикнули.

— Читайте! — сказал он им. — Филипп нашел уголь!

Весь мир мгновенно преобразился. Для этого довольно было трех коротких слов. Всем бедам конец. Филипп нашел уголь! Это означало избавление. Это означало богатство. Тяжести на сердце как не бывало, и все семейство, точно по мановению волшебного жезла, воспрянуло духом. Деньги, милые деньги! Прекрасный демон, ты воистину творишь чудеса! Руфь почувствовала, что теперь, когда Филипп нашел уголь, она уже не столь значительное лицо в доме, и, быть может, это ее не слишком огорчило.

На другое утро мистер Боултон встал, помолодев лет на десять. Он отправился в город и показал письмо на бирже. К подобным новостям его приятели всегда прислушивались весьма охотно. В них заново проснулся интерес к нему. Если известие подтвердится, Боултон опять станет на ноги. Он без труда добудет столько денег, сколько ему понадобится. Казалось, деньги стали вдвое доступнее, чем накануне. Мистер Боултон очень приятно провел день у себя в конторе

и вернулся домой, обдумывая кое-какие новые планы и готовясь привести в исполнение кое-какие идеи, за которые он уже давно бы взялся, будь у него деньги.

Филипп провел этот день в не меньшем волнении. С рассветом его письма были отправлены на почту, в Илионе стало известно, что уголь найден, и рано поутру уже сошлась толпа нетерпеливых зрителей, жаждущих убедиться в этом собственными глазами.

«Разведка» продолжалась неделю с лишком, днем и ночью, причем в первые четыре-пять дней «приметы» становились все более многообещающими, и телеграммы и письма постоянно извещали мистера Боултона о ходе событий. Но потом все переменялось, и с ужасающей быстротой надежды стали гаснуть. Под конец не осталось никаких сомнений в том, что великая находка представляет собою не пласт, а всего лишь жалкий одиночный пропласток.

Филипп совсем приуныл, больше всего угнетало его собственное легкомыслие: зачем он написал в Филадельфию, еще ничего толком не узнав и не проверив! А теперь приходится бить отбой. «Оказывается, это лишь пропласток, — писал он, — но все равно — это добрый знак».

Увы! Одни только добрые знаки никак не устраивали мистера Боултона, он не мог больше ждать. Быть может, будущее и сулит золотые горы, но настоящее мрачно и беспросветно. Вряд ли есть такая жертва, которая спасет его от разорения. И все-таки жертву принести необходимо, и притом немедленно, если уж он надеется спасти хоть какие-то крохи своего состояния.

Надо отказаться от милого и уютного загородного дома. Это всего скорее даст наличные деньги. Дом этот он строил с такой любовью, так заботливо и щедро обставлял комнаты с мыслью об удобстве и вкусах каждого члена семьи, с таким увлечением разбивал парк, чтобы порадовать жену, — ведь сельская жизнь, редкостные деревья и цветы, уход за садом, за газонами и оранжереями — ее страсть... Он надеялся, что, когда его не станет, его дети будут счастливо жить в этом доме еще долгие, долгие годы. И вот со всем этим надо расстаться.

Жена и дочь мистера Боултона перенесли эту жертву много легче, чем он сам. Они даже заявили — таково женское лицемерие, — что после стольких лет деревенской жизни просто счастливы переехать в город (в августе-то месяце!), — это, мол, в тысячу раз удобнее во всех отношениях; миссис Боултон уверяла, что избавиться от забот о таком большом хозяйстве для нее истинное облегчение, а Руфь напомнила отцу, что ей все равно в скором времени пришлось бы переехать в город.

Мистеру Боултону полегчало — так становится легче кораблю с пробойной в трюме, когда выбросят за борт самый ценный груз, — однако течь остановить не удалось. В сущности, столь благоразумный шаг не поддержал, а подорвал его кредит. Это окончательно убедило всех, что дела его плохи: ему было бы легче заручиться хоть какой-то поддержкой, если бы он не урезал себя, а пустился в новые спекуляции.

Филипп был в отчаянии и сильно преувеличивал свою долю вины в постигшем Боултонов несчастье.

«Ты не должен так огорчаться! — писал ему мистер Боултон. — Ты не ускоришь беду и не задержал ее, но ты ведь знаешь, что со временем сможешь нам помочь. Все равно беды было не миновать, если б ты и не начал рыть свою шахту. Это лишь капля в море. Продолжай работать. Я еще надеюсь, что не одно, так другое выручит меня. Как бы то ни было, не вздумай бросать шахту, пока есть хоть малейшие признаки угля».

Увы, ничто не приходило на выручку. Напротив, пришли новые невзгоды. Когда выяснились размеры подстроенного Биглером мошенничества, мистер Боултон потерял всякую надежду выпутаться, — как честному человеку ему оставалось только одно: отказаться от всего своего имущества в пользу кредиторов.

Наступила осень, а Филипп все еще работал — с меньшим пылом, но все еще с надеждой на успех. Опять и опять его подбадривали добрые знаки — и снова и снова постигало разочарование. Скоро у него уже не будет возможности продолжать... а все, кроме

него самого, считают, что он и так уже слишком долго копается в земле без всякого толку.

Когда пришло известие о банкротстве мистера Боултона, работы, разумеется, прекратились. Рабочим дан был расчет, инструменты убраны, бодрый стук кирки и скрип тачки умолкли, и вокруг шахты воцарилось угрюмое запустение, свойственное всякому прогоревшему предприятию.

Филипп сидел среди этих развалин и готов был желать, чтобы они стали ему могилой. Как далека от него теперь Руфь, — а ведь теперь, наверно, она как никогда нуждается в нем! Как все переменилось там, в Филадельфии, в этом мирке, который до сих пор был для него воплощением счастья и благополучия!

Он все еще верит, что здесь, в горе, есть уголь. И воображение рисует ему картину: он живет отшельником в лачуге подле штольни, с киркой и тачкой, одиноко роется в земле день за днем, год за годом, и вот он уже старый, седой, и вся округа знает его — старика с горы. Быть может, однажды — этот день непременно придет! — он наткнется на угольный пласт. Но что из того? Кто останется тогда в живых, чтобы порадоваться его находке? Да и порадует ли он сам? Нет, человеку нужно богатство, пока он молод и мир не потерял для него своей прелести. Почему бы небесам не опрокинуть обычный порядок вещей? Пусть бы побольше людей начинало жизнь в богатстве и постепенно его растрачивало, и умирали бы они бедняками, когда деньги им все равно больше не нужны...

Гарри уехал. Ясно было, что его услуги на шахте больше не нужны. Он получил от дяди какие-то письма, которые не стал читать Филиппу, — дядя настаивал, чтобы он поехал в Сан-Франциско наблюдать за работами в порту, которые велись по заказу правительства.

Филиппу пришлось подыскивать себе занятие. Подобно Адаму, он мог выбирать, весь мир открывался перед ним. Прежде чем пуститься в путь, он побывал в Филадельфии; горькое это было свидание, но и в горечи таилась сладость. Никогда еще Боултоны не бывали с ним так нежны; казалось, все они принимают к сердцу

его неудачу ближе, чем собственное несчастье. И было в поведении Руфи — в том, чего она не таила и в том, чего не договаривала, — нечто такое, что сделало бы героем и человека куда более заурядного, чем Филипп Стерлинг.

Вместе с прочим имуществом обанкротившегося мистера Боултона пошла с молотка и илионская земля, и Филипп купил ее за сущие гроши, потому что никто, кроме него, не желал взять на себя хотя бы обязательства по закладной. Он ушел с распродажи хозяином этого участка и до возвращения домой в ноябре мог на досуге подсчитать, насколько беднее он стал, сделавшись землевладельцем.

ТУНИК. ФИЛИПП ВИДИТ ВЫХОД

þá eymdir stríða á sorgfullt sinn,
og svipur mótgánga um vanga ríða,
og bakivendir þér veröldin,
og vellyst brosir að þínum gvíða;
þeink allt er knöttótt, og hverfast lætr,
sa hló í dag er á morgun grætr;
Alt jafnar sig!

Sigurd Peterson 1.

Не властен историк, пусть даже с наилучшими намерениями, распоряжаться по-своему ходом событий или заставлять героев своего повествования поступать мудро и добиваться успеха. Нетрудно видеть, как можно было бы все устроить лучше, чем получилось на самом деле: изменить немножко тут, самую малость там — и вся история предстала бы перед нами совсем иной, чем она есть.

Если бы Филипп избрал себе какую-нибудь обычную профессию или даже ремесло, он был бы теперь процве-

¹ Когда тревога стучит в груди,
И бороздят твои щеки слезы,
И ни просвета нет впереди,
И слышишь только одни угрозы —
Поверь: вся жизнь — круговорот,
Все будет завтра наоборот, —
Время все уладит. — Сигурд Петерсон (исландск.).

тающим редактором, или добросовестным слесарем, или честным адвокатом, давно уже взял бы ссуду в банке, построил бы домик и теперь обставлял бы его для Руффи и для себя. Вместо этого он всего лишь инженер-любитель, живет у матери, злится и брюзжит на свою несчастливую судьбу, на людское бессердечие и бесчестность и думает только об одном: как бы ему добыть уголь из илионской горы.

Если бы сенатор Дилуорти не посетил некогда Хоукай, семейство Хоккинс и полковник Селлерс не ходили бы теперь на задних лапках перед конгрессом Соединенных Штатов, пытаясь соблазнить это безупречное учреждение на одно из тех весьма выгодных его членам финансовых мероприятий, которые так трудно потом объяснить избирателям; и Лора не сидела бы в Гробнице, ожидая суда за убийство и всячески стараясь при помощи искусного адвоката замутить чистый родник уголовного судопроизводства в штате Нью-Йорк.

Если бы Генри Брайерли взлетел на воздух при взрыве первого же парохода, на котором он плыл по Миссисипи, — а это очень легко могло случиться, — у него и у полковника Селлерса не возникло бы никаких идей насчет судоходства по Гусиной Протоке, а также и насчет земель Восточного Теннесси, — и теперь, вместо того чтобы уехать по весьма важным делам на побережье Тихого океана, он не застрял бы в Нью-Йорке только для того, чтобы выступить свидетелем по делу об убийстве, совершенном единственной женщиной, которую он сумел полюбить хотя бы вполнину того, как любил самого себя.

Если бы мистер Боултон сказал Биглеру одно короткое слово «нет!», Алиса Монтегю могла бы провести эту зиму в Филадельфии, и Филипп тоже гостил бы там (дожидаясь весны, когда можно будет возобновить работы в шахте); и Руфь не служила бы ассистенткой в Филадельфийской больнице и не надрывалась бы, работая сверх сил изо дня в день, чтобы хоть немного облегчить бремя, которое легло на плечи ее злополучного семейства.

Все это очень прискорбно. Добросовестный историк, дойдя до этого места, обрисовав такую степень не-

счастья и страха перед будущим, имел бы право закончить свой рассказ словами: «После этого — хоть потоп!» Единственным утешением послужила бы ему мысль, что он не в ответе ни за своих героев, ни за ход событий.

А самое досадное — что совсем небольшая сумма денег, разумно употребленная, облегчила бы тяготы и тревоги почти всех этих людей; но, видно, так уж устроен мир, что деньги труднее всего достать как раз тогда, когда они человеку всего нужнее.

Малая доля того, что мистер Боултон по своему мягкосердечию отдал в недостойные руки, теперь вернула бы его семье известное благополучие и избавила бы Руфь от чрезмерного труда, для которого ей не хватало здоровья и сил; немного денег, и полковник Селлерс чувствовал бы себя князем; еще немного — и Вашингтон Хокинс не опасался бы за Лору: чем бы ни кончился судебный процесс, а уж он бы ее в конечном счете непременно вызволил! А будь немного денег у Филиппа, он отомкнул бы каменные врата илионской горы — и оттуда хлынули бы сверкающим потоком сказочные богатства. Но этой скале надо было ударить золотым жезлом. Если бы только закон об университете в Буграх был принят, как изменились бы судьбы почти всех героев нашей истории! Даже Филипп и тот ощутил бы его благодатное действие: ведь кое-что досталось бы и на долю Гарри, и на долю полковника Селлерса, — а разве оба они, люди предусмотрительные, не изъявили желания вложить капитал в илионскую шахту, как только счастье им улыбнется?

Филипп не устоял перед соблазном и съездил в Фолкил. Он не бывал у Монтегю с тех пор, как встретил у них Руфь, и ему хотелось посоветоваться со сквайром Монтегю о том, какое себе подыскать занятие. Он твердо решил не тратить больше времени, уповая на милость провидения, а взяться за любую работу, хотя бы даже, за неимением лучшего, учительствовать в Фолкилской семинарии или собирать съедобные ракушки на Хингэмском берегу. Быть может, зарабатывая свой хлеб в качестве учителя семинарии, он

сможет одновременно изучать право в адвокатской конторе сквайра Монтегю.

Нужно признать: не только сам Филипп виноват, что он оказался в таком положении. В Америке немало таких молодых людей, его сверстников, с такими же возможностями и способностями, с тем же образованием, которые, в сущности, учились зря и не используют своих знаний, а живут как придется, в надежде неведомо каким образом, по милости неведомо какого счастливого случая вдруг выбраться на золотую дорогу, ведущую к богатству. Филипп не был лентяем, бездельником; у него хватало и энергии и решимости самому пробивать себе дорогу. Но он родился в такое время, когда всех молодых людей охватил, точно лихорадка, дух спекуляции, и они надеялись преуспеть в этом мире, перескочив иной раз обычные ступени истарившегося порядка. В соблазнительных и ободряющих примерах недостатка не было. Повсюду вокруг Филиппа были люди — вчерашние бедняки, ныне богачи, — внезапно достигшие завидного благоденствия путями и средствами самыми необычными и непредвиденными. Случись война, такой человек сделает карьеру, а пожалуй, и прославится. Он мог бы стать «железнодорожным королем», или политическим заправилкой, или спекулянтom земельными участками, или одной из тех загадочных личностей, что пользуются бесплатным проездом на всех железных дорогах и паромных линиях, снова и снова пересекают Атлантический океан, носят день и ночь бог весть по каким спешным делам и зарабатывают огромные деньги. А может быть, думал иногда Филипп, насмешливо улыбаясь, он кончит тем, что заделается страховым агентом и будет уговаривать людей страховать свою жизнь ради его выгоды.

Едва ли Филипп думал о том, насколько приятнее стало в Фолкиле оттого, что там теперь была Алиса. Он так давно знал ее, так к ней привык, что она как бы выросла в его жизнь; разумеется, приятно будет ее повидать, но не более того. Последнее время он вспоминал о ней, только вспоминая о Руфи, — и вообще, вероятно, он думал об Алисе лишь по одной причине:

ему казалось, что она сочувствует его любви и всегда готова слушать, когда он говорит о Руфи. Если его порой и удивляло, что сама Алиса ни в кого не влюблена и никогда не говорит о будущем, о замужестве, то это была лишь случайная, мимолетная мысль: казалось, любовь совсем не так уж необходима в жизни существа столь спокойного, уравновешенного, со столь богатым внутренним миром.

Каковы бы ни были мысли самой Алисы, они остались неизвестны Филиппу, так же как и летописцам этой правдивой истории; если девушка казалась не тем, чем была на самом деле, и несла бремя более тяжкое, нежели все остальные, потому что должна была нести его в одиночестве, — она только делала то же, что делают тысячи женщин, с героическим самоотвержением, какое и не снилось нетерпеливым, вечно недовольным мужчинам. Разве эти большие бородатые младенцы не заполнили всю литературу своими воплями, своими горестями и жалобами? И всегда у них жестокой, бессердечной, непостоянной и безжалостной оказывается прекрасная половина рода человеческого.

— Так, значит, вы будете жить в Фолкиле и служить в окружном суде — и думаете найти в этом удовлетворение? — спросила Алиса, когда Филипп изложил ей свою новую программу действий.

— Пожалуй, не навсегда, — сказал Филипп. — Может быть, потом я смогу получить практику в Бостоне или поеду в Чикаго.

— А может быть, вас выберут в конгресс.

Филипп посмотрел Алисе в лицо — всерьез ли она говорит, не дразнит ли его? Но она была совершенно серьезна. Алиса принадлежала к числу тех провинциальных патриотов, которые верят, что в конгресс все еще выбирают именно тех, кто этого заслуживает.

— Нет, — сказал Филипп, — едва ли теперь человек может пройти в конгресс, не прибегнув к таким средствам и уловкам, которые сделали бы его недостойным звания конгрессмена; конечно, бывают и исключения; но знаете ли вы, что, будь я юристом, я не мог бы заняться политикой, не повредив своему положению? Люди наверняка усомнились бы в моем бескорыстии и

в чистоте моих намерений. Да что говорить, ведь если какой-нибудь член конгресса голосует честно и бескорыстно и отказывается, пользуясь своим положением, запустить руку в государственную казну, так об этом кричат по всей стране как о чуде!

— Но, мне кажется, это благородное честолюбие — стремиться войти в конгресс и постараться исправить его, если он так уж плох, — стояла на своем Алиса. — Я не верю, что у нас царит такая развращенность, как в английском парламенте, если только в романах есть хоть капля правды; но даже и он как будто стал лучше.

— Право, не знаю, с чего можно начать исправлять наш конгресс. Мне не раз случалось видеть, как умный, энергичный и честный человек выступает против безграмотного мошенника и терпит поражение. По-моему, если бы народ хотел, чтобы в конгрессе заседали достойные люди, таких бы и выбирали. Наверно, — с улыбкой прибавил Филипп, — для этого в голосовании должны участвовать женщины.

— Что ж, я охотно голосовала бы, если бы понадобилось. Ведь пошла бы я на войну и делала бы все, что только в моих силах, если бы иначе нельзя было спасти родину! — сказала Алиса с таким жаром, что Филипп удивился, хоть и думал, будто хорошо ее знает. — Будь я мужчиной...

Филипп громко рассмеялся:

— Вот и Руфь всегда говорит: «Будь я мужчиной...» Неужели все девушки хотят изменить своей половине рода человеческого?

— Нет, — возразила Алиса, — мы только хотим изменить другую половину рода человеческого. Мы хотим, чтоб изменилось большинство молодых людей, а то их совсем не заботят вещи, о которых им следовало бы заботиться.

— Ну, — смиренно сказал Филипп, — кое что меня все же заботит — например, вы и Руфь. Может быть, мне не следует о вас заботиться? Может быть, я должен думать только о конгрессе и обо всяких высоких материях?

— Не дурите, Филипп. Вчера я получила от Руфи письмо,

— Можно мне почитать?

— Нет, конечно. Но я боюсь, что она слишком много работает да еще очень тревожится за отца, и это плохо на ней отражается.

— Как по-вашему, Алиса, — спросил Филипп, движимый одним из тех эгоистических помыслов, которые нередко уживаются с самой неподдельной любовью, — Руфь и правда охотнее станет врачом, чем... чем выйдет замуж?

— Вы просто слепы, Филипп! — воскликнула Алиса, встала и шагнула к двери; она говорила поспешно, словно против воли: — Ради вас Руфь не задумываясь даст отрубить себе правую руку.

Филипп не заметил, что щеки Алисы залила краска и голос дрожит: он думал только о чудесных словах, которые услышал от нее. И бедная девушка, верная своей привязанности и к нему и к Руфи, убежала в свою комнату, заперлась там, бросилась на кровать и зарыдала так, словно сердце ее разрывалось. А потом начала молиться, чтобы отец небесный дал ей силы. А немного погодя успокоилась, встала, открыла ящик стола и достала из потайного уголка пожелтевший от времени листок бумаги. К нему был приколот засушенный листок — четверолистник клевера, тоже выцветший и пожелтевший. Алиса долго смотрела на этот наивный сувенир. Под листком было написано старательным почерком школьницы: «Филипп, июнь 186... г.»

Сквайр Монтегю от души одобрил предложение Филиппа. Лучше было бы ему пачать изучать право сразу же по окончании колледжа, но и сейчас не поздно, а кроме того, теперь он уже немного знает жизнь и людей.

— Но что же, — спросил сквайр, — вы, значит, хотите бросить свою землю в Пенсильвании? — Этот кусок земли казался ему, юристу-фермеру, жителю Новой Англии, огромным богатством. — Там ведь прекрасный лес, и железная дорога совсем рядом?

— Сейчас я никак не могу использовать эту землю. Придется ждать лучших дней.

— А какие у вас основания предполагать, что там есть уголь?

— Мнение самого знающего геолога, с каким я имел возможность посоветоваться, и мои собственные наблюдения над этим краем; и потом, мы ведь уже нашли небольшие пласты. Я уверен, уголь там есть. Когда-нибудь я его найду, это я знаю твердо. Только бы мне сохранить эту землю до тех пор, пока у меня будет достаточно денег, чтобы сделать еще одну попытку.

Филипп достал из кармана карту района с залежами угля и стал показывать: вот илионская гора, вот здесь он начал рыть штольню.

— Разве не похоже, что тут есть уголь?

— Да, похоже на то, — согласился сквайр, очень заинтересованный. Нередко мирный сельский житель больше увлекается таким рискованным предприятием, чем делец, по опыту знающий, что слишком многое зависит от случая. Просто поразительно, сколько священников Новой Англии в пору нефтяной лихорадки рискнули вложить свои сбережения в нефть. Говорят, маклеры с Уолл-стрит заключают массу мелких сделок по поручению провинциального духовенства, движимого, без сомнения, похвальным желанием облагородить нью-йоркскую биржу.

— Мне кажется, риск не так уж велик, — подумав, сказал сквайр. — Один лес стоит больше, чем закладная; а если там есть еще и залежи угля, так это целое состояние. Хотите весной сделать еще попытку, Фил?

Хочет ли он! Если бы получить хоть небольшую поддержку, он сам возьмется за кирку и тачку и будет питаться одним черствым хлебом. Только дайте ему еще раз попробовать!

Вот как случилось, что осторожный старый сквайр Монтегю был вовлечен в рискованную затею нашего молодого героя, и покой его безмятежной старости нарушили тревоги и надежды на неслыханную удачу.

— Разумеется, я этого хочу только ради мальчика, — говорил он. Старику не чужды были человеческие слабости: рано или поздно он должен был, как и всякий другой, «попытать счастья».

Должно быть, женщины от природы лишены предприимчивости, потому-то они и не увлекаются, как мужчины, биржевыми спекуляциями и поисками цен-

ных ископаемых. Только безнравственная женщина способна втянуться в какую бы то ни было азартную игру. И Алиса и Руфь не слишком радовались тому, что Филипп вновь принимается за поиски угля.

Но Филипп ликовал. Он писал Руфи такие письма, как будто богатство уже у него в руках, а давящая тяжесть, нависшая над домом Боултонов, уже погребена в недрах угольной шахты. К весне он приехал в Филадельфию с вполне созревшим планом нового наступления. Ничто не могло устоять перед его восторженной верой в успех.

— Филипп приехал! Филипп приехал! — кричали дети, словно в дом опять вошла большая радость. И эти слова, как припев, звучали в сердце Руфи, когда она отправлялась в утомительный больничный обход. А мистер Боултон, глядя на энергичное лицо Филиппа и слушая его веселый, бодрый голос, впервые за долгие месяцы почувствовал, что мужество возвращается к нему.

Руфь теперь окончательно отвоевала себе свободу действий, и не Филиппу было вступать с нею в спор, ведь ее решимость и трудолюбие уже принесли плоды, а он еще неизвестно когда добьется удачи. Руфь была, как никогда, уверена в своей правоте и в том, что она может сама о себе позаботиться. И, пожалуй, за работой она не слишком прислушивалась к тайному голосу, что негромко пел внутри, радуя девичье сердце: «Филипп приехал...»

— Хорошо сделали, что приехали, — сказала она Филиппу. — Я рада за папу. Вы ведь знаете, как папа на вас надеется. Папа думает, что женщине долго не выдержать, — прибавила она с той особенной улыбкой, которая всегда несколько озадачивала Филиппа.

— А вы не устаете иногда от этого постоянного напряжения? — спросил Филипп.

— Устаю? Ну, я думаю, все устают. Но это чудесно — быть врачом. А вы хотели бы, чтобы я тоже надеялась не только на себя, Филипп?

— Д-да, пожалуй... — сказал Филипп, нащупывая почву: можно ли высказать то, что у него на душе?

— Ну а вот сейчас на что я должна надеяться? —

спросила Руфь не без язвительности, как показалось Филиппу.

— Конечно, на... — он не договорил, вдруг подумав, что при настоящем положении дел он слишком ненадежная опора для кого бы то ни было и что эта девушка уж во всяком случае столь же независимый и самостоятельный человек, как и он.

— Я не то хотел сказать, — начал он снова. — Но я люблю вас, вот и все. Неужели я для вас ничто? — Филипп глядел почти с вызовом, как будто его слова должны были смести все хитроумные условности, бог весть почему обязательные между мужчиной и женщиной.

Быть может, Руфь поняла это. Быть может, она поняла, что не следует заходить слишком далеко в своей теории о равенстве сил, которое должно предшествовать союзу двух сердец. Быть может, порою она чувствовала себя слабой, и в конце концов — ей очень не хватало ласкового сочувствия и нежной заботы Филиппа. Что бы ни было тому причиной — загадка, старая, как мир! — она просто посмотрела на Филиппа и тихо сказала:

— Вы для меня — все!

Филипп порывисто сжал ее руки в своих и заглянул ей в глаза, а Руфь упивалась лучившейся в его взгляде нежностью, которой так жаждет женское сердце.

— Филипп! Иди сюда! — громко позвал маленький Эли, распахивая дверь настежь.

И Руфь убежала к себе, и опять ее сердце пело — на этот раз громко, словно готовое разорваться от счастья: «Филипп приехал!»

Вечером Филипп получил телеграмму от Гарри: «Суд начинается завтра».

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА В КОНГРЕССЕ. СЕЛЛЕРС
СПРАВЕДЛИВО ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ ОСКОРБЛЕННЫМ**

Mpethie ou sagar lou nga thia gawan-
tou kone Yoboul goube.

Wolof Proverb¹.

«Mitsoda eb volna a' te szolgád, hogy
illyen nagy dolgot tselekednek?»

Királyok, II K. 8, 13².

Декабрь 18.. года снова застал Вашингтона Хокинса и полковника Селлерса в Капитолии, на страже законопроекта об университете в Буграх. Вашингтон был в унынии, полковник — полон надежд. Вашингтона больше всего угнетала тревога за сестру.

— Скоро начнется судебное разбирательство, — говорил он, — а стало быть, понадобится много денег, чтобы его направлять. Закон об университете на сей раз наверняка будет принят, и денег он принесет больше чем достаточно, но вдруг они придут слишком

¹ Если идешь на бал к воробьям, захвати для них зерен. — Волофская пословица.

² «Ну и ловок же твой слуга, ежели мог совершить такой подвиг!» — «Короли», II, кн. 8, 13 (*венгерск.*).

поздно? Конгресс только еще приступает к работе, и надо опасаться проволочек.

— Не знаю, — отвечал на это полковник, — может быть, ты отчасти и прав. Давай-ка прикинем, как пойдет предварительная процедура. Мне кажется, конгресс всегда старается действовать как можно правильнее со своей точки зрения. Большого и требовать нельзя. Первый подготовительный шаг, с которого всегда начинаются заседания конгресса, — это, так сказать, самоочищение. Потянут к ответу десятка два конгрессмена, а может быть, и сорок, и пятьдесят, потому что они прошлой зимой поддерживали какой-нибудь закон за взятку.

— Неужели таких считают десятками? — удивился Вашингтон.

— А что же? У нас свободная страна, всякий может выставить свою кандидатуру в конгресс и всякий может за него голосовать, — где же тут ждать от всех ангельской чистоты, это противно человеческой природе. Уж непременно в конгресс пройдут шестьдесят, или восемьдесят, или полтора-два человека таких, которые ни капельки не похожи на переодетых ангелов, как выражается этот молодой журналист Хикс. Но это еще неплохо, даже очень неплохо. Если таков средний уровень — по-моему, нам не на что жаловаться. Даже в наше время, хотя народ и ворчит, и газеты выходят из себя, в конгрессе есть еще очень приличное меньшинство, состоящее из честных и порядочных людей.

— Помилуйте, полковник, но ведь если порядочные люди остаются в меньшинстве, они ничего хорошего не сделают!

— Очень даже сделают.

— Да как же?

— Есть много способов, много разных способов.

— Какие все-таки?

— Ну... не знаю... на такой вопрос сразу не ответишь. Не на всякий вопрос можно отвечать не подумавши. Но приличное меньшинство безусловно может сделать много хорошего. Я в этом убежден.

— Что ж, ладно. Допустим. Продолжайте насчет предварительной процедуры.

— Я к тому и веду. Во-первых, как я уже говорил, потянут к ответу кучу конгрессменов, которые продавали свои голоса. На это уйдет месяц, не меньше.

— Да, в прошлом году так оно и было. И это пустая трата времени, вот что я вам скажу, а ведь народ платит этим людям, чтобы они работали, а не тратили время зря. И это очень некстати, когда ждешь, чтобы утвердили твой законопроект.

— Очистить источник волеизъявления народного — это значит тратить время зря? Очень странно, в первый раз слышу! Но если бы и так, все равно в этом повинно меньшинство, потому что большинство не интересуется чистотой нравов. Вот тут-то меньшинство и начинает мешать, — но опять-таки нельзя сказать, что оно не право. Ну-с, когда покончат с делами о подкупе, возьмутся за тех конгрессменов, которые за деньги добыли свои места в конгрессе. Это отнимет еще месяц.

— Прекрасно, продолжайте. Две трети сессии мне уже ясны.

— Потом они будут тянуть друг друга к ответу за всякие мелкие погрешности — к примеру, за продажу мест в Уэст-Пойнтском военном училище и прочее в том же роде, — пустячки, мелкие затеи ради карманных денег, и, пожалуй, о них лучше бы промолчать. Но ведь у нас конгресс не успокоится, пока не очистится до полной безупречности, — и это весьма похвально.

— А долго тянется эта очистка от мелких грешков?

— Да обычно недели две.

— Стало быть, в каждую сессию конгресс два с половиной месяца из трех проводит в карантине и палец о палец не ударит? Отрадно слышать! Нет, полковник, бедной Лоре не будет никакой пользы от нашего законопроекта. Ее засудят раньше, чем конгресс хотя бы наполовину очистится от скверны. И потом, не кажется ли вам, что, когда всех нечистых депутатов изгонят, очень уж мало останется чистых, некому будет принимать решения?

— Да я вовсе не говорил, что из конгресса кого-нибудь выгонят.

— А разве никого не выгонят?

— Не обязательно. В прошлом году разве выгнали? Никогда не выгоняют. Это было бы неправильно.

— Тогда зачем же тратить всю сессию на дурацкое кривляние с притягиванием к ответу?

— Так принято. Таков обычай. Этого требует вся страна.

— Тогда, значит, вся страна валяет дурака.

— Совсем нет! Народ-то искренне думает, что кого-нибудь и вправду выгонят.

— Ну а если никого не выгонят, что тогда думает вся страна?

— Все это так долго тянется, что под конец стране надоедает до смерти, и люди рады хоть какой-нибудь перемене. Но такое расследование не проходит даром. Оно оказывает прекрасное моральное воздействие.

— На кого?

— Ну... не знаю. На границу, надо полагать. На нас всегда обращены взоры других стран. В мире нет другой такой страны, сэр, где так укоренилась бы привычка преследовать продажность и взяточничество, как у нас. Нет на свете другой страны, где народные избранники так усиленно требовали бы друг от друга ответа, как наши, и занимались бы этим столько времени без передышки. Я полагаю, Вашингтон, в этом есть величие — служить образцом для всего цивилизованного мира.

— Вы хотите сказать, не образцом, а примером?

— Да это одно и то же, в точности то же самое. Всем ясно, что у нас в Америке если уж человек позволит себя подкупить, так ему потом солоно придется.

— Черт возьми, полковник, вы же минуту назад сказали, что мы никогда никого не наказываем за всякие подлые делишки!

— Боже правый! Но мы призываем их к ответу, так? Разве это не показывает, что мы стремимся во всем разобраться и требуем, чтобы каждый давал отчет в своих поступках? Говорят тебе, это производит большое впечатление.

— А, плевать на впечатление! Что они, наконец, делают там, в конгрессе? И как они это делают? Вы

прекрасно меня понимаете, и все это сплошной вздор. Растолкуйте мне, как они действуют?

— Действуют правильно, как надо, и никакой это не вздор, Вашингтон, совсем не вздор. Назначают комиссию по расследованию, и эта комиссия в течение трех недель выслушивает показания, и все свидетели одной стороны под присягой показывают, что обвиняемый продал свой голос за деньги, или за акции, или еще за что-нибудь. Потом встает обвиняемый и заявляет, что, может быть, он это и сделал, но в то время у него в руках перебивало много денег, и он не помнит, чтобы он получал именно эту сумму, во всяком случае не припоминает этого с достаточной ясностью. Так что, понятно, преступление остается недоказанным, — и так и говорится в приговоре. Обвиняемого не осуждают и не оправдывают. Просто говорят: «Обвинение не доказано». Репутация обвиняемого оказывается несколько подмоченной, в глазах народа конгресс очистился, все довольны, и никто особенно не пострадал. Наша парламентская система не сразу достигла совершенства, зато теперь в целом мире нет ей равных.

— И эти дурацкие нескончаемые расследования никогда ни к чему не приводят. Да, вы правы. Я думал, может быть вы смотрите на вещи не так, как все. По-вашему, наш конгресс мог бы осудить за что-нибудь дьявола, если бы дьявол был конгрессменом?

— Милый мальчик, не надо, чтоб из-за этих при-скорбных проволочек у тебя возникло предубеждение против конгресса. Не нужно таких резких слов, ты выражаешься совсем как газеты. Конгресс подвергал своих членов ужасным карам, ты же знаешь. Когда судили мистера Фэйрокса и целая туча свидетелей доказала, что он виноват в... ну, ты и сам знаешь, в чем, и его собственные признания подтвердили, что он таков и есть, — как тогда поступил конгресс? То-то!

— Ну, как же они там поступили?

— Ты сам знаешь, Вашингтон. Довольно ясно намекнули, что Фэйрокс чуть ли не пятнает честь конгресса, потом подождали, поразмыслили, — а дней через десять взяли и швырнули Фэйроксу в лицо резолю-

дию, в которой так прямо и говорилось, что конгресс не одобряет его поведения! Теперь ты сам видишь!

— Да, ужасно, что и говорить... Если бы удалось доказать, что он вор, поджигатель, развратник, детоубийца и осквернитель могил, его, пожалуй, лишили бы депутатских прав на целых два дня.

— Ну конечно, Вашингтон! Конгресс мстителен, сэр, конгресс грозен и суров. Когда уж он пробудится, он пойдет на все, чтобы отстоять свою честь.

— О господи, что это за мука — ждать! Опять мы проговорили целое утро и, по обыкновению, ни к чему не пришли. Все одно и то же: до принятия нашего законопроекта еще далеко, а суд над Лорой уже на носу. Просто хоть ложись да помирай.

— Умереть и бросить «герцогиню» на произвол судьбы? Нет, это никуда не годится! Полно, не надо так говорить. Все кончится хорошо, вот увидишь.

— Никогда этого не будет, полковник, ничего у нас не выйдет. У меня такое предчувствие. С каждым днем меня все больше одолевает отчаяние, с каждым днем уходят силы. Надеяться не на что, вся жизнь — одно мученье. Я так несчастен!

Полковник заставил его подняться и, взяв под руку, начал ходить с ним по комнате. Добрый старый фантазер хотел бы утешить Вашингтона, но не знал, как и подступиться. Он начинал и так и эдак, но все это были напрасные попытки: им не хватало убедительности, внутреннего жара; все ободряющие слова оставались пустыми словами — он не мог вложить в них душу. Он уже не мог, как бывало в Хоукае, неизменно гореть оживлением и надеждой. Порою губы его начинали дрожать и голос срывался.

— Не падай духом, мой мальчик, — сказал он, — не падай духом. Все еще переменится, мы дождемся попутного ветра. Уж я-то знаю!

Будущее представилось ему в столь розовом свете, что он всплакнул; потом так громоподобно высморкался, что только чудом уцелел его носовой платок, и сказал весело, почти уже прежним своим тоном:

— Господи помилуй, какой все это вздор! Ночь не длится вечно, за нею непременно настанет утро. Нет

розы без шипов, как сказал поэт, — эти слова всегда придают мне бодрости, хотя я никогда не видел в них смысла. Однако все их повторяют и все ими утешаются. Хоть бы уж придумали что-нибудь новенькое. Ну полно, выше голову! Мы и не такие виды видали. Никто не посмеет сказать, что Бирайя Селлерс... Войдите!

Посыльный принес телеграмму. Полковник схватил ее и торопливо пробежал глазами.

— Я же говорил! Никогда не падай духом! Процесс отложен до февраля, и мы еще успеем спасти нашу девочку. Бог ты мой, что за адвокаты в Нью-Йорке! Дай им только денег на расходы и какое-то подобие предложения, и они ухитрятся получить отсрочку для всего на свете, кроме разве золотого века. Ну, теперь опять за дело, сынок! Процесс наверняка затянется до середины марта; конгресс заканчивает свою работу четвертого марта. Дня за три до конца сессии они покончат с предварительной процедурой и возьмутся за дела государственные. Тогда наш проект будет принят за сорок восемь часов, и мы телеграфом переведем миллион долларов присяжным — то бишь, адвокатам, — и присяжные вынесут заключение, что тут имело место «непреднамеренное убийство на почве временного помешательства» или что-нибудь в этом роде, что-нибудь в этом роде. Теперь наверняка все будет хорошо. Слушай, что с тобой? Чего ты пригорюнился? Будь мужчиной!

— Ох, полковник, я так привык к несчастьям, к неудачам и разочарованиям, ко всяким бедам, что добрые вести меня прямо убивают. Все было так безнадежно плохо, что я просто не в силах перенести добрую весть. Это чересчур хорошо, чтоб быть правдой. Разве вы не видите, что сделали со мной невзгоды? Волосы мои седеют, и я столько ночей не спал. Хоть бы уж все это кончилось и мы могли отдохнуть! Хоть бы уж лечь и забыть обо всем! И пусть бы это был просто сон, который прошел, и не вернется, и не потревожит нас больше. Я смертельно устал!

— Бедный мальчик, не надо так говорить. Выше голову! Нас ждут лучшие дни. Не отчаивайся. Лора опять будет с тобой, и Луиза, и матушка, и целое море денег... а потом ты можешь уехать хоть на край света,

если пожелаешь, и забыть об этом окаянном городе. И, ей-богу, я поеду с тобой! Поеду, честное слово! Выше голову! А я побегу, — надо сообщить друзьям добрые вести.

Он крепко пожал Вашингтону руку и хотел уже идти, но тот в порыве признательности и восхищения удержал его.

— Вы прекраснейший, благороднейший человек, полковник Селлерс! Другого такого я не встречал! Если бы весь народ знал вас, как знаю я, вы бы не оставались в неизвестности, вы заседали бы в конгрессе!

Радость на лице полковника угасла, он опустил руку на плечо Вашингтона и молвил сурово:

— Я всегда был другом вашей семьи. Вашингтон, и, кажется, всегда старался в меру своего разумения поступать с тобой прямо и честно, как мужчина с мужчиной. И мне кажется, никогда в моем поведении не было ничего такого, что дало бы тебе право так меня оскорбить.

Он повернулся и медленно вышел, оставив пристыженного Вашингтона в совершенном смятении. Не сразу Вашингтон собрался с мыслями. «Да ведь, честное слово, — подумал он наконец, — я хотел только сказать ему приятное! Право же, ни за что на свете не хотел бы я его обидеть!»

МОРАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ В ПОДДЕРЖКУ ЗАКОНА
ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ

Aucune chose au monde est plus noble et plus belle.
Que la sainte ferveur d'un véritable zèle.

Le Tartuffe, a 1. sc. 6¹.

В беседе время быстро протекло:
Старик умел занять своих гостей,
И речь его блистала, как стекло.

«Королева фей».

Il prit un air bénin et tendre,
D'un *Laudate Deum* leur prêta le bon jour,
Puis convia le monde au fraternel amour!

Roman du Renard (Prologue)².

Тоскливо тянулась неделя за неделей. В конгрессе еще продолжалась «предварительная процедура»; вся жизнь Селлерса и Вашингтона стала унылой неизвестностью, и томительное ожидание, возможно, разбило бы их сердца, если бы не освежающее разнообразие, ко-

¹ Нет страсти прекрасней своей чистотой,
Чем истинной веры пыл святой. — «Тартюф», акт I,
сц. 6 (*франц.*).

² Прочтя *Laudate Deum*, хитрый Лис
Умильно пожелал всем доброго здоровья:
«Живите все, как я, — с надеждой и любовью» — «Роман
о Лисе», Пролог (*франц.*).

торое вносила изредка в их существование поездка в Нью-Йорк на свидание с Лорой. Стоять на часах в Вашингтоне или где бы то ни было еще — довольно скучное занятие в мирное время, а два друга только тем и занимались, что стояли на часах; от них требовалось одно: всегда быть под рукой и наготове, если возникнет какая-либо срочная надобность. Делать больше нечего, все хлопоты закончены, это всего лишь вторая зимняя сессия конгресса, и во время нее с законопроектом может произойти только одно: он будет принят. Разумеется, палата должна проделать всю работу заново, но ведь конгрессмены остались те же, и уж они позаботятся о том, чтобы дело было сделано. О сенате можно не беспокоиться — в этой инстанции сенатор Дилуорти сумеет рассеять все сомнения. В сущности, ни для кого в столице не секрет, что две трети сенаторов только и ждут минуты, когда им представят на рассмотрение законопроект об университете в Буграх и можно будет за него проголосовать.

Этой зимой Вашингтон Хокинс уже не принимал участия в развлечениях столичного «сезона». Он утратил интерес к подобным удовольствиям; теперь его угнетали заботы. Сенатор Дилуорти сказал ему, что ожидающему кары приличествует смирение и лишь на одном пути страждущее сердце может обрести совершенный мир и покой. Слова эти нашли отклик в душе Вашингтона, и это отразилось на его лице.

С той минуты молодого Хокинса можно было видеть в обществе сенатора Дилуорти чаще, чем в обществе полковника Селлерса. Председательствуя на собраниях поборников трезвости, сей государственный муж усаживал Вашингтона в первом ряду, отведенном для важных священнослужителей, которые придавали вес собранию и прибавляли пышности президиуму. Среди лысых почтенных персон молодой человек был особенно замечен. Выступая на этих собраниях, сенатор нередко заговаривал о том, сколь приятно видеть, что один из самых богатых и блестящих любимцев высшего света отказался от суеты и легкомысленных развлечений и с великим благородством и самоотвержением отдает свои таланты и богатства ради спасения злополучных

собратий своих от позора и нищеты в земной жизни и от вечного раскаяния в жизни будущей, — все это производило большое впечатление на слушателей. На молитвенных собраниях сенатор всегда проводил Вашингтона под руку по приделу и усаживал его на видное место; ораторствуя с кафедры, он упоминал о нем в тех лицемерных выражениях, которые употреблял, быть может, бессознательно и принимал, вероятно, за истинную веру, — и еще разными способами старался привлечь к Вашингтону общее внимание. Он водил его на благотворительные вечера в пользу негров, индейцев и всяких язычников, населяющих дальние страны. То и дело он ставил Вашингтона в пример ученикам воскресных школ и призывал идти по его стопам. Во всех этих случаях сенатор мельком упоминал о бесчисленных благотворительных начинаниях, кои его пылкий юный друг намерен осуществить, как только будет принят закон об университете в Буграх, ибо закон этот даст ему достаточно средств, чтобы облегчить жизнь несчастных собратий среди всех народов во всех краях земли. Так мало-помалу Вашингтон вновь оказался во внушительной роли льва, — но теперь это был лев, который бродил по мирным полям веры и трезвенности и уже больше не забирался в сверкающее царство высшего света. Таким образом, могучее нравственное воздействие должно было склонить людей в пользу законопроекта; влиятельнейшие сторонники стекались под его знамя; энергичнейшие враги его признавали, что бороться долее бесполезно, — они молчаливо покорились, хотя день битвы еще и не наступил.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДИЛУОРТИ
В МИРНОЙ ОБИТЕЛИ

К заветной цели вечно устремлен,
Любые средства в ход пускает он —
Уловки всякие, и лесть, и звон металла.
Он знал, что иначе он будет обречен, —
А так его спасенье ожидало:
Не страшен овод тем, в ком он оставил жало!

«Королева фей».

Selon divers besoins, il est une science
D'étendre les liens de notre conscience,
Et de rectifier le mal de l'action
Avec la pureté de notre intention.

Le Tartuffe, а. 4, sc. 5¹.

Сессия конгресса подходила к концу. Сенатор Дилуорти решил съездить на Запад, пожать руки избирателям — пусть поглядят на своего избранника. Законодательное собрание штата, которое должно вновь избрать его в сенат Соединенных Штатов, уже собралось на очередную сессию. Мистер Дилуорти не сомневался, что будет вновь избран, но, как человек осторожный и

¹ В нужде приходится, и это вам не в новость,
Со многим примирять встревоженную совесть
И возмещать все зло свершенных дел лихих
Хотя бы чистотой намерений своих. — «Т а р т ю ф», акт 4,
сц. 5 (*франц.*).

предусмотрительный, полагал, что если поездка даст случай убедить еще нескольких членов законодательного собрания штата отдать ему свои голоса, то она стоит труда. Закон об университете наверняка пройдет, за него опасаться нечего, в бдительном присутствии сенатора более нет надобности. А вот в законодательном собрании штата есть человек, с которым требуется бдительность — человек, по мнению сенатора Дилуорти, ограниченный, неуживчивый, вечно всем недовольный, упорно сопротивляющийся всяким реформам, прогрессу — и ему, Дилуорти! Сенатор опасался, что человек этот подкуплен и за деньги пойдет войной на него, а в его лице — на благополучие Соединенных Штатов и их политическую чистоту.

— Если бы этот Нобл хотел принести в жертву только меня одного, — сказал мистер Дилуорти в своей краткой речи на обеде, данном в его честь несколькими почитателями, — я охотно принес бы мою политическую карьеру на алтарь процветания моего дорогого штата, я был бы рад и счастлив отказаться от нее. Но, прикрываясь мною, как плащом, чтобы скрыть свои тайные намерения, он через меня хочет нанести удар в самое сердце моего любимого штата, — и тогда во мне пробуждается лев и я говорю: «Вот я стою, покинутый и одинокий, но я не отступлю и не дрогну, трижды вооруженный моей священной верой! И тот, кто приблизится, злоумышляя против прекрасной обители, уповающей на меня, ее защитника, пройдет, только переступив через мой труп!»

Далее он сказал, что, будь этот Нобл просто человеком честным, но заблуждающимся, он, Дилуорти, мог бы это снести; но если этот Нобл преуспеев в своих злодейских замыслах нечистыми путями, при помощи подкупа, это опорочит весь штат, нанесет неизмеримый ущерб нравственности населения, — и вот этого он, Дилуорти, уже не потерпит; общественную нравственность должно оберегать от скверны. Он сам вызовет на бой этого Нобла, будет спорить с ним, убеждать его, взывать к его порядочности.

Прибыв на место, Дилуорти убедился, что его друзья ничуть не пали духом, твердо стоят за него и

исполнены отваги. Нобл тоже действует энергично, но обстоятельства против него, и он почти не приобрел сторонников. При первом же удобном случае мистер Дилуорти послал за Ноблом, в полночь встретился с ним и стал убеждать его исправиться; он умолял его приходить еще и еще, и тот приходил. Наконец однажды, в три часа пополудни, Дилуорти отпустил его и, проводив, сказал себе: «Ну, теперь у меня гора с плеч! Да, гора с плеч!»

И сенатор решил, что пришло время позаботиться о душе народа. Он появлялся в церкви, играл главенствующую роль на молитвенных собраниях, всячески поощрял общества трезвости; осыпал своим присутствием кружки, в которых дамы благотворительности ради занимались шитьем, и даже изредка сам брался за иголку и делал стежок-другой на коленкоровой рубашке, предназначавшейся для какого-нибудь непросвещенного язычника Южных морей, — и этим приводил в восхищение дам, в чьих глазах одеяние, удостоенное сенаторского прикосновения, становилось чуть ли не святыней. Сенатор трудился на уроках закона божьего, и ничто — ни болезнь, ни непогода, ни усталость — не могло помешать ему явиться в воскресную школу. Он даже проделал утомительное путешествие — долгих тридцать миль в тряском дилижансе, — с готовностью выполняя просьбу жалкой деревушки Кэтлвил: дать возможность ученикам воскресной школы поглядеть на него.

Все население Кэтлвила собралось на почтовой станции встречать его; горели два костра, на кузнечной наковальне выбивали торжественную дробь: ведь сенатор Соединенных Штатов — едва ли не божество в глазах этих людей, за всю свою жизнь не выдавших никого могущественнее окружного судьи. Сенатор Соединенных Штатов внушал им благоговейный страх, точно таинственный великан из сказки.

На другой день, за добрых полчаса до начала занятий в воскресной школе, перед деревенской церковью было уже полно народу: все скотоводы и фермеры, сколько их было на пять миль в окружности, сошлись сюда со своими чадами и домочадцами, горя нетерпе-

нием взглянуть на великого человека: ведь он побывал в столице, своими глазами видел президента Соединенных Штатов и даже разговаривал с ним! Он видел памятник Джорджу Вашингтону и, может быть, даже потрогал его руками!

Когда сенатор прибыл в церковь, она была битком набита, в окнах торчали головы, в приделах теснился народ, на паперти и уж конечно во дворе стояла толпа. Он пробирался к кафедре об руку со священником, в сопровождении местных должностных лиц, окруженных в эту минуту всеобщей завистью, — и все вытягивали шеи и пялили глаза, стараясь получше разглядеть его. Люди постарше, указывая на него, говорили друг другу: «Вот, вот это он и есть, с таким высоким, благородным лбом!» Мальчишки подталкивали друг друга локтями: «Эй, Джонни, вон он! Гляди, вон тот, плеши-вый!»

Сенатор занял свое место на кафедре, священник уселся по правую его руку, директор воскресной школы — по левую. Люди власть имущие торжественно восседали в ряд пониже алтаря. Дети — ученики воскресной школы — занимали десять передних скамей; они были в своем лучшем и самом неудобном платье, тщательно причесаны и до того чисто умыты, что всем им было не по себе. Такое трепетное почтение внушал им одним своим присутствием настоящий, живой сенатор, что за целых три минуты не было пущено ни единого снаряда из жеваной бумаги. Потом они понемногу стали приходить в себя, и вскоре чары рассеялись и школьники начали повторять заданное и дергать друг друга за волосы.

Наскоро проведены были обычные занятия; потом поднялся священник и нагнал скуку на всех присутствующих речью, какие всегда произносятся в воскресных школах; потом настал черед директора; а там и местные заправилы не упустили случая сказать свое слово. Все они в высшей степени лестно отзывались о «нашем друге сенаторе», говорили о том, сколь он велик и знаменит и как много сделал для отечества, для укрепления веры и трезвенности, и призывали мальчиков быть послушными и прилежными и стараться в

будущем походить на него. Всеми этими проволочками ораторы завоевали неугасимую ненависть слушателей. Но вот речи кончились, и ожила надежда; воодушевление готово было излиться.

Сенатор Дилуорти поднялся и целую минуту молча, лучезарно улыбался собранию. Потом одарил снисходительной улыбкой детей и начал:

— Мои маленькие друзья! (Ибо я надеюсь, что все эти юные создания, в чьих взорах светится живой ум, — мои друзья и позволят мне стать их другом.) Мои маленькие друзья! Я много путешествовал, я побывал во многих городах, в каждом уголке нашего великого, благородного отечества, и по милости господней мне дано видеть много таких собраний, как это. Но с гордостью, с истинной гордостью говорю вам: нигде я не видел столько ума, столько благочестия и добронравия, как вижу в эту минуту вот на этих прелестных юных личиках. Я сидел сейчас и спрашивал себя: где я нахожусь? Быть может, в каком-либо далеком царстве, и предо мною маленькие принцы и принцессы? Нет! Быть может, я нахожусь в каком-нибудь многолюдном большом городе моего отечества, куда привезли лучших, избранных детей нашей страны как бы на выставку, для присуждения наград и премий? Нет! Быть может, я попал в неведомую часть света, где все дети — настоящее чудо, о каком мы и не слыхали? Нет! Так где же я? Да, где же я? Я нахожусь в простом, отдаленном, скромном селении моего милого родного штата, и предо мною — дети тех благородных и добродетельных людей, которые сделали меня тем, что я есть! Душу мою охватывает изумление при этой мысли! И я смиренно благодарю того, для кого все мы — лишь черви во прахе, за то, что ему угодно было призвать меня служить таким людям! На земле нет для меня поста выше и великолепнее. Пусть королям и императорам остаются их мишурные короны — мне они не нужны: мое сердце здесь!

И вновь я подумал: не в театре ли я? Нет! Быть может, это концерт или пышная опера? Нет! Быть может, здесь какой-либо иной суетный, блестящий и красивый храм пагубных для души развлечений и веселья? Нет!

Так что же это? Какой ответ даст мне мой разум? Я спрашиваю вас, мои маленькие друзья: что отвечает мне мой разум? Он отвечает: это храм господень! О, подумайте только! Я не в силах сдержать слезы, я преисполнен благодарности. О, какое прекрасное зрелище — эти ряды сияющих юных лиц, эти дети, собравшиеся здесь, чтобы учиться тому, как следует жить, чтобы учиться быть добрыми, полезными, благочестивыми, быть великими и славными мужчинами и женщинами, быть опорой и оплотом нашего государства, светочами среди мужей совета и у домашнего очага; быть знаменосцами и воинами святого креста в суровых битвах земной жизни и блаженными душами в райских кущах в жизни будущей.

Дети, чтите своих родителей и будьте благодарны им за то, что они дарят вам драгоценное право посещать воскресную школу.

А теперь, мои милые маленькие друзья, сядьте прямо и чинно — вот так! — и слушайте меня внимательно. Я расскажу вам об одном бедном маленьком ученике воскресной школы, которого я знал когда-то. Он жил на Дальнем Западе, и родители его были бедняки. Они не могли дать ему дорогостоящего образования, но, будучи людьми разумными и добрыми, они послали его учиться в воскресную школу. Он любил воскресную школу. Я надеюсь, что и вы любите свою воскресную школу — да, я вижу это по вашим лицам! И это весьма похвально.

Так вот, этот бедный мальчик всегда сидел на своем месте еще прежде, чем прозвонит звонок, и уроки у него всегда были выучены, потому что учителя хотели, чтобы он учился, а он очень любил своих учителей. Всегда любите своих учителей, дети мои, ибо они любят вас сильнее, чем вы сейчас можете понять. Этот мальчик не слушал плохих мальчиков, которые звали его по воскресеньям играть с ними. Был один такой нехороший мальчик, который всегда уговаривал его поиграть, но он не соглашался.

Так вот, тот бедный мальчик стал взрослым, и ему пришлось уехать далеко от родного дома и от друзей и самому зарабатывать свой хлеб. Множество искушений

подстерегало его, и порою он готов был поддаться соблазну, но всякий раз вспоминал какой-нибудь из драгоценных уроков, усвоенных когда-то в воскресной школе, и это спасало его. Время шло, и его выбрали в законодательное собрание штата. Тогда он стал делать все, что только мог, для воскресных школ. Он добивался благоприятных для них законов, он открывал воскресные школы где только мог.

А потом народ избрал его губернатором, — и он сказал, что всем этим он обязан своей воскресной школе.

Через некоторое время народ избрал его в конгресс Соединенных Штатов, и он стал очень знаменитым. Теперь искушения осаждали его на каждом шагу. Люди уговаривали его пить вино, танцевать, ходить в театры, пытались даже подкупить его, чтобы он голосовал, как им хочется, — но нет: память о воскресной школе спасала его от всякого зла. Он помнил участь того нехорошего мальчика, который всегда уговаривал его по воскресеньям играть, а потом вырос пьяницей, и его повесили. Он помнил об этом и был рад, что никогда не поддавался соблазну и не играл в воскресенье.

— Итак, что же в конце концов, по-вашему, случилось? Представьте, народ избрал его на высокий, видный пост, на большой и важный пост. Что это был за пост, как по-вашему? Как вы скажете, дети? То был пост сенатора Соединенных Штатов! Бедный маленький мальчик, который любил свою воскресную школу, стал сенатором. **ОН СТОИТ СЕЙЧАС ПЕРЕД ВАМИ!** И всем этим он обязан воскресной школе.

Бесценные дети, любите своих родителей, любите своих учителей, любите свою воскресную школу, будьте благочестивыми, будьте послушными, честными, прилежными — и тогда вы преуспеете в жизни и все станут уважать и почитать вас. Превыше всего, дети мои, будьте честны! Превыше всего — будьте чисты душою, как снег. Помолимся!

Когда сенатор Дилуорти отбыл из Кэтлвила, три десятка тамошних мальчишек усиленно принялись строить планы жизни, целью которой было — попасть в сенат Соединенных Штатов.

Когда он прибыл в столицу штата, в полночь к нему явился мистер Нобл, и они совещались три часа подряд, а перед уходом Нобл сказал:

— Я работал не жалея сил и наконец убедил их. У шестерых не хватает духу круто повернуть и перейти на вашу сторону уже завтра, при первой баллотировке; они сначала будут, приличия ради, голосовать против, а уж во втором туре все единодушно проголосуют за вас, — это я уладил. Завтра к ужину вы уже будете вновь избраны. Так что ложитесь и спите спокойно.

А когда Нобл ушел, сенатор сказал себе:

«Что ж, ради того чтобы добиться такого положения вещей, стоило съездить на Запад».

СУД НАД ЛОРОЙ. УМНЫЕ ПРИСЯЖНЫЕ
И ОБРАЗЦОВЫЙ СУДЬЯ

भेदस्तमसो ऽष्टाविधो मोहस्य च दशाविधो महामोहः
तामिस्रो ऽष्टादशधा तथा भवत्यन्धतामिस्रः

Sāṅkhya Kārikā, XLVIII¹.

Ny byd ynat nep yr dysc; yr adysco
dyn byth ny byd ynat ony byd doethineb
yny callon; yr doethet uyth uo dyn ny byd
ynat ony byd dysc gyt ar doethineb.

Cyvreithian Cymru².

Дело штата Нью-Йорк против Лоры Хокинс было наконец назначено к слушанию на 15 февраля — менее чем через год после убийства Джорджа Селби.

¹ Есть восемь граней неизвестности и столько же граней заблуждения; у крайнего заблуждения — десять граней, у мрака их восемнадцать, и столько же — у совершенной тьмы. — «Санкхья Карика», XLVIII (санскрит.).

² Никто не может стать судьей посредством ученья; человек может учиться весь свой век, но он не станет судьей, если нет в его сердце мудрости; и однако, как бы ни был мудр человек, он не станет судьей, если к мудрости его не прибавится ученость. — К и в р е й т и а н К и м р у (староваллийск.).

Если бы публика и успела забыть Лору и ее преступление, газеты, за несколько дней до процесса начавшие кричать о нем, напомнили бы все подробности убийства. Но публика не забыла. Убийца — женщина, да еще молодая и красивая, занимавшая видное положение в Вашингтоне и убившая человека с таким поразительным хладнокровием, — все обстоятельства как нарочно подобрались, чтобы случай этот запомнился прочно, хотя за это время еще чуть ли не триста шестьдесят пять убийств одно за другим нарушали однообразие и скуку столичной жизни.

К тому же время от времени газеты сообщали читателям что-нибудь новенькое о прекрасной пленнице, томящейся в заключении, — о бедной жертве медлительности правосудия; проходил месяц за месяцем, и, вполне естественно, ужас содеянного отчасти изгладился из памяти, а в героине стали находить даже что-то трогательное. Возможно, защитники на это и рассчитывали. Возможно, по их-то совету Лора и стала интересоваться злосчастными преступницами, своими товарками по заточению, и, не жалея денег, помогала нуждающимся. Газеты незамедлительно сообщили об этом читателям, — такие сообщения показывали Лору в выгодном свете и вызывали к ней симпатии.

Зал суда был переполнен задолго до появления судей, адвокатов и обвиняемой. Для иных людей нет большего наслаждения, чем любоваться медленной пыткой, которой терзается подсудимый, если ему грозит смертный приговор, — со столь изысканным удовольствием сравнится только зрелище смертной казни. Где еще во всем блеске проявляется человеческая изобретательность, ум и энергия, как не на крупном уголовном процессе, в выступлениях искусных юристов? Где еще можно любоваться подобной изворотливостью и проницательностью, подобной ловкостью и красноречием?

В суде над убийцей есть все, что нужно, чтобы пощекотать нервы пресыщенной публике. Возможность роковой развязки придает особую значительность каждому слову и каждому взгляду. Стараясь ничего не упустить, зрители пожирают глазами каменные лица присяжных, воинственного прокурора и преисполнен-

ного энергии защитника, бесстрастного судью, снедаемого тревогой подсудимого. Жадно ловят они каждое слово в ожесточенных спорах юристов о толковании закона, тщательно взвешенные решения судьи, жадно следят за поединком между юристами и свидетелями. Сочувствие толпы непрестанно колеблется, следуя всем оттенкам благоприятных или неблагоприятных свидетельских показаний; затаив дыхание выслушивает она напутствие судьи присяжным. Она быстро проникается враждебностью или, напротив, симпатией к обвиняемому и столь же быстро отдает предпочтение прокурору или защитнику. Ее приводит в восторг смысленный свидетель, неожиданным ответом опрокидывающий все хитросплетения неугодного ей юриста. Нигде так не радуются шутке, даже самой убогой, нигде не награждают острюга столь бурным одобрением, как на процессе об убийстве.

По ту сторону барьера молодые адвокаты и привилегированные завсегдатаи уже заполнили все места, свободны только стулья, отведенные за столом для тех, кто причастен к делу. По другую сторону, в зале, яблоку негде упасть — люди сидят на подоконниках, стоят в проходах. Дышать уже нечем. Такая духота бывает только в суде: воздух точно отравлен всеми мыслимыми на земле преступлениями, которые год за годом входили сюда в образе неисчислимых преступников и преступниц.

Возникает некоторое оживление, когда появляется прокурор с двумя помощниками, проходит к столу и раскладывает перед собою бумаги. Чуть погода снова оживление — входит защита: мистер Брэхем и его помощники мистер Квигль и мистер О'Киф.

Всем, кто присутствует в зале суда, известен мистер Брэхем, прославленный адвокат по уголовным делам, и, проходя к своему месту и раскланиваясь с приятелями-юристами, он сознает, что на него направлены все взгляды. Он высок, худощав, у него широкие плечи и большая голова, вьющиеся каштановые волосы падают сзади на воротник; у мистера Брэхема привычка встряхивать ими, — принято думать, что так встряхивает гривой лев. Мистер Брэхем чисто выбрит, у него круп-

ный рот и небольшие темные, слишком близко посаженные глаза. На нем безупречный коричневый сюртук с нераспустившейся розой в петлице и светлые панталоны. На груди сверкает бриллиант, а когда он садится на свое место и снимает перчатки, все видят на левой, очень белой руке массивный перстень с печатью. Усевшись, мистер Брэхем неторопливо обводит взглядом зал, говорит что-то одному из своих помощников, достает из кармана ножик с рукояткой из слоновой кости и, медленно покачиваясь на стуле, начинает подрезать ногти.

Еще через минуту из двери в глубине выходит судья О'Шонесси и опускается в кресло; это джентльмен в черном, со слегка вьющимися рыжеватыми волосами, с лицом круглым, красным и довольно благодушным; он скорее смекалист, нежели умен, и вид у него весьма самодовольный. Карьера судьи О'Шонесси ничем не примечательна. Высокий род его ведет начало от ирландских королей, и он первым вступил на престол, ибо королевство и престол их — город Нью-Йорк. Так низко пал сей род, что будущий властитель начал свою карьеру просто-напросто уличным мальчишкой в этом городе; но он, как всякий ирландец, был смышлен, притом честолобив, быстро овладел искусством чистильщика сапог и продавца газет, а там и рассыльного в адвокатской конторе; нахватался кое-каких знаний, достаточных для службы в полицейском суде, добился звания адвоката, — и вот он уже молодой, но подающий надежды политический деятель, он входит в законодательное собрание штата; и, наконец, его избирают одним из вершителей правосудия, каковому он сейчас и оказывает честь, занимая председательское место в суде. В нашей демократической стране он вынужден скрывать свое королевское достоинство под внешностью простолюдина. Судья О'Шонесси никогда не занимал доходного места и не получал большого жалованья, но он благоразумно откладывал деньги, ибо всегда был убежден, что только независимый судья может быть беспристрастным, — и принадлежащие ему дома и земли оцениваются в триста, а то и четыреста тысяч долларов. Не при его ли содействии построено и обставлено само здание суда? И разве не знает его честь, что вот эта са-

мая плевательница, которой он пользуется, обошлась городу Нью-Йорку ровнехонько в тысячу долларов?

Едва судья опустилсЯ в свое кресло, началось заседание; с резким ирландским акцентом было объявлено о слушании очередного дела и шерифу велено было ввести обвиняемую. В зале наступила глубокая тишина, когда вошла Лора, опираясь на руку конвоира, который провел ее к месту рядом с защитником. За нею следовали мать и брат, им было указано сесть поблизости.

Лора была очень бледна, но от этого огромные глаза блестели еще ярче и выразительное лицо казалось трогательно печальным. На ней было простое черное платье, чрезвычайно изящное, без всяких украшений. Тонкая кружевная шаль, наполовину закрывая лицо, не столько скрывала, сколько оттеняла ее красоту. И в светскую гостиную нельзя было войти с большим самообладанием, в церковь — с более гордым смирением. В лице и манерах Лоры никто не заметил бы ни смущения, ни вызова; и, сядя на свое место — оно было на виду, и за малейшим ее движением могла неотступно следить добрая половина всех присутствующих, — она так и не подняла глаз. Ропот восхищения пронесся по залу. Карандаши репортеров забегали по бумаге. Мистер Брэхем, словно в знак одобрения, снова обвел взглядом зал. Когда Лора наконец чуть подняла ресницы, она увидела неподалеку Филиппа и Гарри, но ничем не показала, что узнаёт их.

Затем секретарь приступил к чтению обвинительного акта, составленного по всей форме. Согласно этому акту она, Лора Хокинс, обвинялась в убийстве Джорджа Селби с заранее обдуманном намерением, посредством выстрела из пистолета, револьвера обыкновенного, револьвера шестизарядного, дробовика, винтовки, карабина, штуцера, скорострельного ружья, из пушки или иного огнестрельного оружия; в убийстве посредством пращи, кистеня, ножа столового, ножа охотничьего, ножа перочинного, скалки, серпа, кинжала, шпильки, молотка, отвертки, гвоздя и всех иных возможных орудий и видов оружия в отеле «Южный», а также во всех иных отелях и в любом ином месте тринадцатого марта и в любой иной день после рождества Христова.

Лора выслушала все это стоя, и когда наконец секретарь дочитал до конца, на вопрос судьи: признает ли она себя виновной? — ответила негромко, но отчетливо: «Не признаю». Потом она села, и суд приступил к отбору присяжных.

Первым был вызван Майкл Лениген, владелец пивной.

— Составили ли вы себе мнение о настоящем деле, высказывали ли его вслух и знакомы ли с кем-либо из лиц, причастных к делу? — спросили его.

— Нет, — ответил мистер Лениген.

— Признаете ли смертную казнь?

— Признаю, сэр, чего же тут не признавать.

— Читали ли вы что-нибудь об этом деле?

— А как же, ваша честь, газеты я читаю.

Мистер Брэhem заявил отвод, и присяжному было предложено на сей раз считать себя свободным.

Патрик Кофлин.

— Чем вы занимаетесь?

— М-м... да ничем определенным.

— Не имеете определенных занятий, вот как? Ну а в основном чем занимаетесь? Чем зарабатываете на жизнь?

— Держу терьеров, сэр.

— Терьеры, вот как? Незаконный промысел? Крыс травите?

— Приезжают джентльмены немножко поразвлечься. Я-то никогда с ними в эти дела не ввязываюсь, сэр.

— А, понимаю... вы, должно быть, представляете собою комиссию по развлечениям при нашем муниципалитете. Слышали вы что-нибудь о сегодняшнем деле?

— До сегодняшнего утра ничего не слыхал, сэр.

— Читать умеете?

— Только крупные буквы, ваша честь.

Кофлина уже хотели привести к присяге, как вдруг мистер Брэhem задал еще один вопрос:

— А ваш отец умел читать?

— Старик был дока по этой части, сэр.

Брэhem почтительно указал, что Патрик Кофлин не пригоден для данного процесса. Судья с этим не согла-

спился. Защитник настаивал. В конце концов дан был отвод без указания причины.

Итэн Добб, ломовой извозчик.

— Читать умеете?

— Умею, да только нет у меня такой привычки.

— Слышали что-нибудь об этом деле?

— Может, и слышал... а может, то было про другое.

Никакого мнения не имею.

Прокурор. Э-э-э! Одну минуточку! Почему вы говорите, что не имеете по этому делу никакого мнения? Вас кто-нибудь научил?

— Н-нет, сэр.

— Поосторожнее, поосторожнее. С чего же это вам вздумалось сказать такую вещь?

— Так ведь про это всегда спрашивали, когда я бывал присяжным.

— Ну, ладно. Допускают ли ваши нравственные принципы смертную казнь?

— Мои... чего?

— Вы не станете возражать против того, чтобы признать человека виновным в убийстве на основании улики?

— Может, и стану возражать, сэр, ежели человек, по-моему, не виноват.

Прокурор решил, что на этом его можно поймать:

— Так, может быть, это чувство делает вас противником смертной казни?

Присяжный заявил, что никаких чувств у него нет и что ни с кем из лиц, причастных к делу, он не знаком. Его признали годным и привели к присяге.

Деннис Лефлин, чернорабочий. Не составил себе и не высказывал никакого мнения по делу. Никогда о нем не слышал. Полагает, что тех, кто этого заслуживает, надо вешать. В случае надобности может и читать.

Мистер Брэзем заявил отвод. Присяжный явно слишком кровожаден. Дан отвод без указания причины.

Ларри О'Тул, подрядчик. Крикливо одетый образец довольно распространенной разновидности «франта-высочки»; глаза проныры и хорошо подвешенный язык. Газетные сообщения о данном деле он читал, но они не произвели на него впечатления. Свои выводы сделает на

основании улики и свидетельских показаний. Не видит, почему бы ему не исполнить обязанности присяжного с совершенным беспристрастием.

Прокурор задает вопрос:

— Как объяснить, что сообщения газет не произвели на вас впечатления?

— Отродясь не верил газетам, ни единому слову!

(Смех в зале. Судья и мистер Брэhem одобрительно улыбаются.) О'Тула приводят к присяге, мистер Брэhem шепчет О'Кифу: «Это он и есть!»

Эйвери Хикс, мелочной торговец. Слышал ли он что-нибудь об этом деле? Вместо ответа он качает головой.

— Читать умеете?

— Нет.

— Смертную казнь не отвергаете?

— Нет.

Его уже готовы привести к присяге, но тут прокурор, обернувшись к нему, небрежно спрашивает:

— Понятно ли вам значение присяги?

— Там, — отвечает Хикс, указывая на дверь.

— Я спрашиваю, понятно ли вам, что такое присяга?

— Пять центов, — объясняет Хикс.

— Вы что, смеетесь надо мной? — гремит прокурор. — Уж вы не полоумный ли?

— Свежей выпечки. Я глухой. Я ничего не слышу, что вы тут говорите.

Хикса отпускают восвояси. «А неплохой был бы присяжный, — шепчет Брэhem. — Он поглядывал на обвиняемую сочувственно. Вот что для нас очень важно».

Так они трудились — и за весь день отобрали только двух присяжных. Зато этими двумя мистер Брэhem остался доволен. Всем незнакомым он давал отвод. Кому, как не этому знаменитому адвокату, было знать, что главное сражение дается именно во время отбора присяжных. Все последующее — опрос свидетелей, красноречие сторон, расточаемое перед присяжными, — все это нужно только для внешнего эффекта. По крайней мере такова теория мистера Брэхема. Впрочем, непостижимая штука — натура человеческая: иной раз уж так старательно отбираешь присяжных, а они в по-

следнюю минуту ни с того ни с сего заколеблются и подведут тебя.

Прошло четыре утомительных дня, прежде чем закончен был отбор присяжных, зато в полном своем составе эти двенадцать человек делали честь защите. Насколько известно было мистеру Брэхему, только двое из них были грамотны, причем один — старшина присяжных, приятель мистера Брэхема — тот самый франт-подрядчик. У всех двенадцати были низкие лбы и тупые физиономии; в двух-трех лицах сквозила животная хитрость, остальные были откровенно глупы. В целом они представляли собою хваленое наследие прошлого, гордо именуемое обычно «оплотом наших свобод».

Первым выступил от имени штата Нью-Йорк окружной прокурор Мак-Флинн. Он говорил с едва заметным шотландским акцентом, оставшимся еще с младенческих лет. Он ограничился кратким изложением обстоятельств дела. Обвинение докажет, что Лора Хокинс, сидящая на скамье подсудимых, этот дьявол во образе красивой женщины, тогда-то и там-то выстрелом из револьвера убила Джорджа Селби, южанина родом. Что убийство было хладнокровное, неспровоцированное, с заранее обдуманном намерением; что обвиняемая давно его замышляла и давно угрожала своей жертве; что с этой целью она последовала за покойным Селби из Вашингтона в Нью-Йорк. Все это будет подтверждено показаниями безупречных свидетелей. Прокурор прибавил, что долг присяжных, хотя, быть может, и тяжкий, ясен и прост. Все они добрые граждане, люди женатые и, вероятно, имеют детей. Им известно, сколь небезопасной стала жизнь в столице. Что, если завтра и их жены останутся вдовами, а дети — сиротами, как та осиротевшая семья в упомянутом отеле? Что, если какая-нибудь кровожадная ревнивая фурия и их семью лишит главы и кормильца?

Прокурор сел, и секретарь суда выкрикнул:

— Генри Брайерли!

Глава XXIV
УЧЕНЫЙ АДВОКАТ

«Dyden i Midten», — sagde Fanden, han
sød imellem to Procutorer¹.

Eur breûtaer brâz eo! Ha klevet hoc'h
eûz-hu hé vreût?²

Генри Брайерли занял свидетельское место. Выслушав требование прокурора — рассказать присяжным все, что ему известно об убийстве Джорджа Селби, он стал описывать события и факты, уже знакомые читателю.

Он сопровождал мисс Хокинс в Нью-Йорк по ее желанию, полагая, что она едет в связи с законопроектом, как раз назначенным к рассмотрению в конгрессе, чтобы просить находившихся тогда в отъезде конгрессменов вернуться вовремя. Ее записка к нему была уже здесь оглашена. Когда они встретились на вокзале в Вашингтоне, ему показалось, что мисс Хокинс чем-то очень взволнована. Она задала несколько вопросов проводнику, потом сказала: «Ему не ускользнуть». — «Кому?» — спросил свидетель, и она ответила: «Нп-

¹ «Добродетель находится посередине», — сказал дьявол, сидя между двумя юристами (*датск.*).

² Это великий адвокат! Слыхали вы его речи в суде? (*бретонск.*).

кому». Вечером он больше с пею не виделся. Ехали они в спальном вагоне. Наутро она пожаловалась, что провела бессонную ночь и у нее болит голова. Когда они переправлялись на пароме, она спросила, не видно ли пароходов, готовящихся к отплытию; он показал ей то место в гавани, откуда отходят суда в Европу. Утром они выпили в ресторане по чашке кофе. Она сказала, что хочет поскорее попасть в отель «Южный», где остановился один из отсутствующих конгрессменов, мистер Саймонс, так как боится не застать его. Она вполне владела собою, хотя и была несколько возбуждена; он не заметил в ее поведении ничего странного и необычного. Выпустив две пули в полковника Селби, она хотела затем выстрелить себе в грудь, но он, свидетель, вырвал у нее из рук пистолет. В Вашингтоне она часто встречалась с полковником Селби и, по-видимому, была очень увлечена им.

К допросу свидетеля приступает защита.

— Мистер... э-э... Брайерли! (Брэхем в совершенстве владеет хитроумным приемом юристов, которые сначала бесконечно тянут обращение «мистер», будто никак не могут припомнить фамилию свидетеля, а когда он, обиженный и раздосадованный, уже готов выйти из себя, вдруг выпаливают эту фамилию неожиданно громко и быстро, сбивая его с толку.) Мистер... э-э... Брайерли! Род ваших занятий?

— Я инженер-строитель, сэр.

— Ах, строитель (взгляд в сторону присяжных). Что же, вы с мисс Хокинс что-нибудь строили? (Улыбки на скамье присяжных.)

— Нет, сэр, — ответил Гарри краснея.

— Как долго вы были знакомы с обвиняемой?

— Два года, сэр. Я познакомился с нею в Хоукае, штат Миссури.

— М-м... мистер... э-э... Брайерли! Были вы любовником мисс Хокинс?

Протест прокурора.

— Я полагал, ваша честь, что я вправе установить, какие именно отношения существовали между этим столь неохотно дающим показания свидетелем и обвиняемой.

Протест отклонен.

— Видите ли, сэр, — нерешительно говорит Гарри, — мы были друзьями.

Защитник язвительно:

— Вы и ведете себя как друг! (Присяжные начинают ненавидеть этого с иголки одетого юнца.) Мистер... э-э... Брайерли! Мисс Хокинс отвергла ваши ухаживания?

Гарри покраснел, замялся и жалобно посмотрел на судью.

— Вы должны отвечать, сэр, — сказал его честь.

— Она... она... была неблагосклонна ко мне.

— Вот оно что. Я так и думал. Брайерли! Осмелитесь ли вы утверждать перед лицом присяжных, что вы не были заинтересованы в устранении вашего соперника полковника Селби? — громовым голосом спросил мистер Брэhem.

— Конечно не был, сэр, ничего подобного! — запротестовал свидетель.

— Больше вопросов не имею, ваша честь, — сурово заключил мистер Брэhem.

— Еще одну минуту, — вмешался прокурор. — До того как обвиняемая стреляла в Селби, было ли у вас хоть малейшее подозрение о ее намерениях?

— Ни малейшего! — горячо ответил Гарри.

— Ну, разумеется, — сказал мистер Брэhem, кивая присяжным.

Затем обвинение вызвало других свидетелей убийства, портье в отеле «Южный», врачей, осматривавших раненого. Факт убийства был установлен неопровержимо. Ничего нового не обнаружилось, только портье, отвечая на вопрос мистера Брэhema, заявил, что, когда обвиняемая осведомилась о полковнике Селби, она была в явном волнении и глаза ее дико сверкали.

Затем были оглашены предсмертные показания полковника Селби. В них говорилось об угрозах Лоры, но имелось к ним весьма существенное добавление, о котором не упомянули в свое время газеты. Видимо, уже после того как показания были переданы властям, врачи впервые сказали полковнику, что раны его смертельны. Это его, видимо, потрясло и, терзаемый страхом и ка-

кой-то тайной заботой, он объявил, что хочет дополнить свои показания. С большим трудом, с долгими паузами после каждого слова он прибавил следующее: «Я... ска- зал... не все. Я должен... сказать... запишите это... я... перед нею... виноват. Много лет... назад... я... не могу... понимаете... О господи... я заслужил...» Это было все. Он впал в беспамятство и скончался, не приходя в со- звание.

Проводник вашингтонского поезда показал, что об- виняемая спросила его, уехал ли вечерним поездом некий джентльмен с семьей; по ее описанию он позд- нее узнал полковника Селби с семейством.

Далее приведена была к присяге Сьюзен Каллум, негритянка, горничная в доме Дилуорти. Да, она знала полковника Селби. Он частенько приходил и оставался в гостиной наедине с мисс Хокинс. Приходил он и на- гануне того дня, как его застрелили. Свидетельница впустила его. Он был вроде как выпивши. Она слы- шала громкие голоса в гостиной — «они там вроде как ругались». Она испугалась, как бы не вышло беды. По- бежала ко второй двери, ведущей в гостиную, и стала подслушивать у замочной скважины. Услыхала муж- ской голос, он вроде как упрасивал: «Но я не могу, бог свидетель, не могу!» А потом мисс Лора сказала: «Ну, выбирай. Если ты меня бросишь, ты знаешь, чего тебе ждать». Тут он выскочил на улицу.

— А я вхожу в гостиную и говорю: «Вы звонили, мисси?» А она стоит лютая, как тигр, глаза так и горят. Я и ушла поскорей.

Такова была суть показаний Сьюзен, и самый суро- вый перекрестный допрос не заставил ее от них от- ступить. На вопрос мистера Брэхема, не показалось ли ей, что обвиняемая не в своем уме, Сьюзен отве- тила: «Да что вы, сэр, она совсем рехнулась!»

Привели к присяге Вашингтона Хокинса. Предъ- явили присяжным пистолет, опознанный полицей- ским как орудие убийства. Вашингтон признал, что пистолет принадлежит ему. Лора однажды утром попросила у него оружие, потому что в ту ночь ей показалось, будто в дом хотят забраться воры. Свиде- тель признал, что до того о покушениях воров на дом

сенатора Дилуорти ничего не слышал. Не случилось ли непосредственно перед тем чего-либо необычного? Нет, он ничего такого не помнит. Сопровождал ли он накануне, или за день до того сестру на прием у миссис Скунмейкер? Да. Что там произошло? Мало-помалу у него вытянули признание, что Лора на приеме вела себя как-то странно, сказалась больной, и он увез ее. Под дальнейшим нажимом прокурора свидетель признал также, что Лора видела на приеме полковника Селби, она сама сказала об этом брату. Тут Вашингтон прибавил, что Селби был отъявленный негодяй.

— Ну, хватит, хватит! Этого довольно! — не без досады прервал его прокурор.

Защита временно отказалась допрашивать мистера Хокинса. Состав преступления был определен. Не осталось ни малейших сомнений в том, что здесь имело место убийство и что обвиняемая последовала за покойным в Нью-Йорк с преступными намерениями. На основании этих свидетельских показаний присяжные должны были вынести обвинительный приговор, они могли сделать это, даже не удаляясь на совещание. Таково было положение дела два дня спустя после того, как был закончен отбор присяжных. Прошла уже неделя с начала процесса, и работа суда была прервана на воскресенье. Публика, читавшая газетные отчеты о показаниях свидетелей, не сомневалась, что преступнице не сносить головы. Толпа зевак, заполнявшая зал суда, прониклась живейшим сочувствием к Лоре.

Пришел черед защиты, и мистер Брэхем начал свою речь. Он был очень сдержан и говорил так тихо, что его не слышали бы, если б в зале суда не воцарилась глубокая, ничем больше не нарушаемая тишина. Впрочем, мистер Брэхем очень отчетливо выговаривал слова, и его национальность сказывалась, пожалуй, только в звучности и богатстве интонаций.

Он начал с того, что его повергает в трепет взятая им на себя ответственность; и он, вероятно, совсем отчаялся бы, не будь перед ним столь счастливого состава присяжных. Но эти двенадцать человек, всё люди

редкого ума и незаурядной проницательности, несомненно разберутся во всех хитросплетениях и натяжках, допущенных обвинением; эти люди, в коих столь сильно чувство чести, не потерпят безжалостного преследования гонимой женщины; у них есть сердце, они поймут, что она стала жертвой бессовестного обмана и тяжкого оскорбления. Он далек от мысли набросить какую-либо тень на мотивы, движущие одаренными, красноречивыми и изобретательными юристами, выступающими здесь от имени штата Нью-Йорк; они действуют как официальные лица; их дело — обвинять и осуждать. А наше дело, джентльмены, позаботиться о том, чтобы восторжествовала справедливость.

— Мой долг, джентльмены, развернуть перед вами одну из самых волнующих драм в истории человеческого несчастья. Я покажу вам жизнь, которая стала игрушкой рока и обстоятельств, в которой на смену яркому солнцу внезапно налетает буря, сиянье доверчивой невинности в мгновение ока сменяется тьмой свирепого злодейства; жизнь эту посетили и любовь, и измена, и горькое страдание, и всегда над нею нависала грозная тень БЕЗУМИЯ — как наследственного, так и вызванного душевными терзаниями; и кончается она — если ваш приговор должен положить ей конец — неожиданной и страшной развязкой — из тех, коих не постигает разум человеческий и коих тайна ведома одному лишь богу.

Я попрошу вас, джентльмены, покинуть этот зал и стражей закона, последовать за мною прочь от мест, где разыгрывается эта трагедия, и перенестись в далекие и, хотелось бы мне сказать, более счастливые времена. Я должен рассказать вам об очаровательной малютке, о девочке с пышными кудрями и смеющимся взором, — она путешествует с родителями, по-видимому людьми благородными и состоятельными, на пароходе, идущем по Миссисипи. И вот — взрыв, ужасная катастрофа, накладывающая печать на потрясенный рассудок каждого, кто остался в живых. Сотни изувеченных трупов погружаются в небытие. А потом на полузатонувшем остове корабля, в числе немногих уцелевших, охваченных паникой, среди ужасов, от

которых может помутиться и более зрелый разум, находят прелестную маленькую девочку. Родители ее исчезли. Поиски тщетны, даже останки их найти не удастся. Ошеломленное, перепуганное дитя — кто знает, какой отпечаток оставил этот жестокий удар в ее неокрепшем сознании? — цепляется за первую же добрую душу, проявившую к ней участие. То была миссис Хокинс, вот эта великодушная леди, и поныне оставшаяся ей нежным и заботливым другом. Лору принимают в семью Хокинс. Быть может, со временем она забывает, что она в этом доме не родная. Она сирота. Нет, джентльмены, не стану вводить вас в заблуждение: она не сирота! Хуже того! Наступает новый мучительный день: она узнает, что отец ее жив. Но кто он? Где он? Увы, я не могу сказать вам. В этой горестной истории он то появляется на миг, то вновь исчезает — вечный странник, безумец! Если он и разыскивает свою дочь — это бесцельные поиски безумца, который скитается, лишенный рассудка, взывая: «Где ты, дитя мое?» Лора пытается отыскать отца. Тщетно! Кажется, вот-вот она найдет его, но опять и опять он исчезает, скрывается, пропадает бесследно.

И все это лишь пролог трагедии. Прошу вас выслушать ее терпеливо. (Мистер Брэhem достал из кармана носовой платок, медленно развернул, потом нервно скомкал и бросил на стол.) Лора росла в скромном доме на юге; она росла красавицей. Семья Хокинс не могла на нее нарадоваться, ею гордились все окружающие, то был прелестнейший цветок солнечного юга. Она могла быть счастлива — и она была счастлива. Но в этот рай земной явился погубитель. Он сорвал нежнейший, еще не распустившийся цветок и, насладившись его ароматом, втоптал в грязь. Этим дьяволом во образе человеческом был покойный Джордж Селби, изысканный красавец, полковник Южной армии. Он обманул девушку, разыграв комедию брака; через несколько месяцев он бесчеловечно бросил ее, вышвырнул, как презренную тварь, — и при этом у него была в Новом Орлеане законная жена! Лора была уничтожена. Больше месяца, как подтвер-

дят вам показания ее приемной матери и брата, провела она в бреду, между жизнью и смертью. Вернулась ли к ней ясность сознания? Я докажу вам, что впоследствии, вновь обретя телесное здоровье, духовно она уже не оправилась. Вы сами сможете судить, прояснился ли после этого удара ее помраченный разум.

Прошли годы. И вот она в Вашингтоне, судя по всему, счастливая любимица самого блестящего общества. Семья ее неслыханно разбогатела по прихоти судьбы, что так часто случается у нас в Америке: принадлежавший им где-то в глуши земельный участок неожиданно оказался кладезем полезных ископаемых. Лору Хокинс увлекло грандиозное благотворительное начинание — предполагается при помощи этих огромных богатств облегчить участь бедняков. Но увы, и теперь ее преследует безжалостный рок. На сцене вновь появляется негодяй Селби, словно нарочно для того, чтобы окончательно ее погубить. Судя по всему, он насмеялся над ее прошлым падением, угрожал оставить ее, если она не уступит вновь его бесчестной страсти. Неужели вас удивляет, джентльмены, что эта безжалостно преследуемая женщина от страха теряет рассудок? Старые горести и обиды терзают ее, и, наконец, она уже не в состоянии отвечать за свои поступки. Я отвожу взор, ибо тягостно видеть даже и справедливое отмщение, ниспосланное небесами. (Мистер Брэхем умолк, словно не в силах совладать со своим волнением. Миссис Хокинс и Вашингтон заливались слезами; плакали и многие в публике. У присяжных лица были испуганные.)

При таком положении вещей, джентльмены, довольно было искры — не скажу подсказки, не скажу намека со стороны этого легкомысленного Брайерли, этого отвергнутого соперника, — чтобы произошел взрыв. Я никого ни в чем не обвиняю, но если эта женщина была в здравом уме, когда она кинулась из Вашингтона в Нью-Йорк в обществе Брайерли, то что же тогда безумие?!

Садясь на место, мистер Брэхем чувствовал, что присяжные завоеваны. В зале раздался гром аплодисментов, но шериф незамедлительно восстановил ти-

шину. Лора обратила на своего защитника благодарный взгляд. Все женщины, сколько их было в зале, заметили слезы у нее на глазах и тоже прослезились. Потом они в свою очередь посмотрели на мистера Брэхема и подумали: как он хорош!

Теперь пришла очередь миссис Хокинс давать показания. Она смутилась под перекрестным огнем множества направленных на нее взглядов, но ее доброе открытое лицо тотчас расположило всех в пользу Лоры.

— Миссис Хокинс, — сказал Брэхем, — не будете ли вы так любезны рассказать нам, при каких обстоятельствах вы нашли Лору?

— Протестую! — заявил, поднимаясь со своего места, Мак-Флинн. — Это не имеет никакого отношения к делу, ваша честь! Я удивлен, несмотря даже на весьма оригинальную речь моего ученого собрата.

— Как вы предполагаете связать это с делом, мистер Брэхем? — спросил судья.

— С дозволения суда, — внушительно произнес, вставая, мистер Брэхем. — Вы, ваша честь, разрешили обвинению предъявлять самые поразительные свидетельства для установления мотивов убийства, и я не протестовал ни единым словом. Так неужели же нам воспрепятствуют доказать, что приписываемые нам мотивы исключаются по причине душевного состояния моей подзащитной? С вашего разрешения, ваша честь, я предполагаю показать основу и происхождение душевного расстройства, проследить его при помощи других свидетельств и доказать, что состояние рассудка моей подзащитной в момент убийства исключает ее ответственность за свои поступки.

— Обвинение вынуждено настаивать на своих возражениях, — заявил прокурор. — Ваша честь, конечно, понимает, что тут намерены обременить внимание суда массой не относящихся к делу свидетельских показаний с явной целью воздействовать на присяжных.

— Быть может, — заметил судья, — суду следует выслушать свидетелей и затем исключить эти показания из протокола, если они окажутся не относящимися к делу.

— Угодно вашей чести выслушать мои доводы?

— Разумеется.

И после этого битых два дня его честь выслушивал или делал вид, что слушает доводы сторон, причем юристы ссылались на самые противоречивые судебные решения, вполне способные устроить как обвинение, так и защиту, читали их вслух том за томом, целыми библиотеками, так что под конец уже ни одна душа не могла бы сказать, каков же в действительности закон. Разумеется, толковалось на все лады понятие не-вменяемости и то отвергалась, то утверждалась законность применения его в данном случае. Казалось, все дело сводится к тому, будут ли допущены или отклонены именно эти показания. То было своеобразное состязание юристов, испытание сил: чья возьмет? И в конце концов судья решил выслушать свидетельницу, как обычно решают в подобных случаях судьи, потратив вдоволь времени на так называемые прения сторон.

Миссис Хокинс разрешили продолжать.

ДАЛЬНЕЙШИЙ ХОД СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА

— Voyre, mais (demandoit Trinquamelle), mon amy, comment procédez-vous en action criminelle, la partie coupable prise *flagrante crimine*?

— Comme vous aultres, Messieurs (respondit Bridoye) ¹.

«Hag eunn drâ-bennâg hoc'h eûz-hu da lavaroud évid hé wennidigez?» ²

Неторопливо и обстоятельно, как будто важна была каждая подробность их семейной истории, миссис Хокинс рассказала о том, как взорвался пароход, как они нашли и взяли к себе Лору. Сайлас, то есть мистер Хокинс, и она сама всегда любили Лору, как родную дочь.

Потом она в самых трогательных выражениях рассказала о мнимом браке Лоры, о том, как она была покинута, о ее тяжелой болезни. С той поры Лору не узнать, она стала совсем другая.

Начался перекрестный допрос. Когда Лору впервые нашли на затонувшем пароходе, спросил прокурор, заметила ли свидетельница, что рассудок девочки

¹ — Да, мой друг, — сказал Тринкамель, — но как вы ведете уголовные дела, если преступник схвачен с поличным?

— Так же, как и вы, — ответил судья Бридуа (*старофранц.*).

² «Что вы можете сказать в ее оправдание?» (*бретонск.*)

помрачен? Нет, этого она сказать не может. А после выздоровления Лоры замечала ли свидетельница какие-либо признаки умопомешательства? Свидетельница призналась, что в то время она об этом не задумывалась.

— Но после этого она стала совсем другая? — задал вопрос защитник.

— О да, сэр.

Вашингтон Хокинс подтвердил показания матери относительно связи Лоры с полковником Селби. Он был в Хардинге в то время, когда Лора жила там с полковником. Когда Селби бросил ее, она чуть не умерла, больше месяца она не могла прийти в себя. Вашингтон прибавил, что он отродясь не встречал другого такого мерзавца, как этот Селби. (Тут прокурор остановил его.) Заметил ли он перемену в Лоре после той болезни? О да. Довольно было малейшего намека, который напомнил бы ей о Селби, — и она мрачнела, как туча... у нее делалось такое лицо, точно она готова его убить.

— Вы хотите сказать, — вмешался Брэхем, — что в глазах ее появлялся неестественный, безумный блеск?

— Ну да, конечно, — в смущении подтвердил Вашингтон.

Прокурор запротестовал, но присяжные уже выслушали все это, и Брэхема ничуть не заботило, что показания Вашингтона затем были признаны не относящимися к делу.

Далее вызван был свидетель Бирайя Селлерс. Полковник прошествовал к свидетельскому месту с величественным, но благосклонным видом. Он принес присягу, громко чмокнул, целуя библию, что должно было выражать его величайшее почтение к этой книге, потом поклонился судье — с достоинством, присяжным — дружески, и, обернувшись к адвокатам, застыл в позе снисходительного внимания.

— Мистер Селлерс, я полагаю? — начал Брэхем.

— Бирайя Селлерс, штат Миссури, — последовал вежливый ответ, подтверждавший, что адвокат не ошибся.

— Мистер Селлерс, как друг семейства Хокинс — знаете ли вы лиц, причастных к этому делу?

— Знаю их всех с молодых ногтей, сэр. Не кто иной, как я, сэр, склонил Сайласа Хокинса, судью Хокинса, переехать в Миссури и составить себе состояние. Это по моему совету, сэр, и в качестве моего компаньона он предпринял...

— Да, да, хорошо. Мистер Селлерс, были ли вы знакомы с майором Лэклендом?

— Я прекрасно знал его, сэр; знал и глубоко уважал, сэр. Он был одним из замечательнейших людей нашей страны, сэр, членом конгресса. Нередко он по неделям гостил в моем поместье, сэр. Он, бывало, говаривал мне: «Полковник Селлерс, если вы займетесь политикой, если вы станете моим коллегой, мы с вами докажем Кэлхуну и Уэбстеру, что мозг Америки вовсе не находится восточнее Аллеганских гор». Но я отвечал...

— Да, да, хорошо. Как я понимаю, полковник, майора Лэкленда уже нет в живых?

По лицу полковника скользнула еле уловимая улыбка удовлетворения оттого, что его чин так быстро признали.

— Бог мой, конечно нет. Он давным-давно умер, сэр, умер как жалкий глупец, в убожестве и разорении. Его подозревали в том, что он продал свой голос в конгрессе, и очень возможно, что так оно и было; позор убил его, сэр, он стал отверженным, на него пало презрение избирателей, да он и сам себя презирал. И я полагаю, сэр...

Судья. Попрошу вас, полковник, не отвлекаться и только отвечать на вопросы.

— Слушаю, ваша честь. Это было двадцать лет тому назад, — доверительно пояснил полковник. — Разумеется, мне не следовало теперь упоминать о таких мелочах. Если память мне не изменяет, сэр...

Тут свидетелю была передана связка писем.

— Знаком ли вам этот почерк?

— Как мой собственный, сэр. Это рука майора Лэкленда. Я видел эти письма еще в то время, как судья Хокинс получал их. (Воспоминания полковника

были не совсем точны: мистер Хокинс никогда не беседовал с ним подробно на эту тему). Показывая их мне, он всегда говорил: «Полковник Селлерс, только с вашим умом можно разрешить подобную загадку». Господи, да я как сейчас все помню! Лора была тогда совсем крошкой. Мы с судьей обдумывали тогда покупку Бугров и...

— Одну минуту, полковник. Ваша честь, мы приобщим эти письма к вещественным доказательствам.

Письма эти представляли собою часть переписки майора Лэкленда с Сайласом Хоккинсом; не вся переписка сохранилась, не хватало каких-то важных писем, на которые имелись только ссылки. Как уже известно читателю, в этой переписке речь шла об отце Лоры. Лэкленд напал на след человека, который разыскивал девочку, потерявшуюся во время катастрофы на Миссисипи за много лет перед тем. Человек этот был хром, но чрезвычайно подвижен, судя по тому, с какой быстротой он переносился с места на место. Майор Лэкленд, по-видимому, напал на его след, мог описать его наружность и даже узнал его имя. Но как раз то письмо, в котором содержались эти важнейшие данные, затерялось. Однажды стало известно, что этот человек остановился в одном отеле в Вашингтоне, — но он выехал оттуда накануне прибытия майора, оставив в номере пустой чемодан. Он столь внезапно появлялся и столь таинственно исчезал, что приходилось только недоумевать.

Продолжая свои показания, полковник Селлерс заявил, что видел это утерянное письмо, но не может теперь припомнить имя незнакомца. Лэкленд, Хокинс и сам он, полковник Селлерс, продолжали разыскивать предполагаемого отца Лоры, но в течение нескольких лет, вплоть до смерти Хокинса, ничего ей об этом не говорили, опасаясь пробудить в ее душе напрасные надежды.

Тут прокурор поднялся и заявил:

— Ваша честь, я вынужден решительно протестовать против того, чтобы свидетель вдавался в такие не относящиеся к делу подробности.

Мистер Брэшем. Осмелюсь заметить, ваша честь, что нас не должны подобным образом прерывать. Мы не пытались помешать обвинению, и ему предоставлена была полная свобода. Сейчас перед нами свидетель, знавший мою подзащитную с детских лет и способный дать показания первостепенной важности, от которых зависит самая ее жизнь. Это, несомненно, человек известный, и сведениями, которые он может сообщить нам по этому делу, нельзя пренебречь, не усилив уже создавшегося впечатления, что обвинение относится к моей подзащитной с пристрастием.

Перепадка продолжалась, и чем дальше, тем ожесточеннее. Полковник, видя, что и юристы и судья о нем забыли, решил воспользоваться случаем. С благодушной улыбкой он повернулся к присяжным и сперва попросту заговорил с ними, по с каждой минутой в нем росло сознание собственной значительности, и, сам не заметив, как это случилось, он произнес целую речь:

— Вы видите, джентльмены, в каком положении она оказалась. Бедное дитя, уж конечно сердце ее разрывается при виде того, что натворила она в своем умопомрачении. Как нам удалось установить, ее отец хромал на левую ногу, и на лбу у него с левой стороны был глубокий шрам. И вот с того дня, как она узнала, что у нее, кроме Сая Хокинса, был другой отец, она не могла спокойно видеть хромых: завидит, бывало, хромого незнакомца, и сразу ее всю затрясет, и она чуть не падает без чувств. А через минуту она уже готова бежать за этим человеком. Однажды ей повстречался человек с парализованной ногой, и она обрадовалась до полусмерти, но оказалось, что это не левая нога, а правая, и тогда она с горя слегла. Потом она как-то увидела человека со шрамом на лбу и готова была кинуться ему на шею, но тут он шагнул — и оказалось, что он даже и не думает хромать. Опять и опять, господа присяжные, бедная страждущая сиротка со слезами благодарности бросалась на колени перед каким-нибудь изувеченным, покрытым шрамами ветераном, но всегда ее неизменно постигало разочарование, еще глубже становилось ее отчаяние: если он

хромает на ту ногу, на какую надо, так шрам не с той стороны, если шрам там, где надо, так хромота не на ту ногу. И никак не находился такой человек, у которого бы все приметы совпадали. Господа присяжные, у вас есть сердце, вы способны чувствовать, вы способны от души пожалеть это бедное, страждущее дитя. Дайте мне время, джентльмены, дайте мне возможность, позвольте мне продолжать, и я расскажу вам о тысячах и тысячах безвестных калек, которых выискивала бедная девочка, я расскажу вам, как она гналась за ними из города в город, из штата в штат, с континента на континент, но, настигнув их, всякий раз убеждалась, что это не ее отец, — я расскажу вам об этом, и я знаю, ваши сердца...

К этому времени полковник так разошелся, что голос его заглушил голоса спорящих юристов; прокурор и защитник вдруг умолкли, обернулись к непрошеному оратору и несколько минут вместе с судьей смотрели на него в таком изумлении, что не могли вымолвить ни слова. Пока длилась тишина, комизм положения дошел до публики — в зале раздался взрыв хохота, и судье и адвокатам стоило немалого труда не присоединиться к нему.

Шериф. Порядок в зале суда!

Судья. Попрошу свидетеля ограничиться ответами на задаваемые ему вопросы.

Полковник обернулся к судье и вежливо произнес: — Разумеется, ваша честь, разумеется. Я недостаточно знаком с порядками нью-йоркского суда, но на Западе, сэр, на Западе...

Судья. Да, да, хорошо, достаточно!

— Видите ли, ваша честь, мне не задавали вопросов, вот я и решил воспользоваться передышкой и объяснить присяжным весьма существенные...

Судья. Я сказал, достаточно, сэр! Продолжайте, мистер Брэхем.

— Полковник Селлерс, есть ли у вас основания полагать, что этот человек, отец обвиняемой, все еще жив?

— Все основания, сэр, все основания.

— Какие именно?

— Я никогда не слыхал, чтобы он умер, сэр. Никогда не получал таких сведений. В сущности, сэр, как я сказал однажды губернатору...

— Будьте добры сообщить присяжным, как действовало все эти годы на мисс Хоккинс сознание, что где-то скитается человек, находящийся, очевидно, не в своем уме, и этот человек, как полагают, ее отец?

Вопрос опротестован. Протест принят.

Прокурор. Ваш род занятий, майор Селлерс?

Полковник Селлерс обвел окружающих надменным взглядом, как бы мысленно прикидывая, какой именно род занятий более всего подходит человеку со столь разнообразными интересами и склонностями, потом произнес с достоинством:

— Я — джентльмен, сэр. Мой отец всегда говорил, сэр...

— Капитан Селлерс, видели вы когда-либо этого человека, предполагаемого отца обвиняемой?

— Нет, сэр. Но однажды старик сенатор Томпсон сказал мне: «С моей точки зрения, полковник Селлерс...»

— А встречали вы хоть одного человека, который видел бы его своими глазами?

— Нет, сэр. Одно время стало известно, что...

— Больше вопросов не имею.

Следующий день защита посвятила допросу врачей — специалистов по душевным болезням, и они подтвердили, что события, о которых говорили свидетели, могли послужить достаточной причиной для умственного расстройства у обвиняемой. В подтверждение эксперты ссылались на многочисленные примеры. Науке известны случаи кратковременного помешательства, когда субъект, во всех других отношениях разумный, на короткий срок лишается рассудка и совершенно не отвечает за свои поступки. Причины такой кратковременной одержимости сплошь и рядом можно обнаружить в прошлом пациента. (Как выяснилось впоследствии, главный из врачей-экспертов, приглашенных защитой, за свое участие в экспертизе получил тысячу долларов).

Вслед за этим обвинение потратило день на опрос

экспертов, опровергавших наличие умопомешательства. Причины, выдвинутые свидетелями защиты, действительно могут вызвать помешательство, но отнюдь не доказано, что оно имело место в данном случае или что как раз в момент совершения убийства обвиняемая не была в здравом уме.

Процесс длился уже две недели. Еще четыре дня понадобилось обвинению и защите, чтобы «подвести итоги». Эти споры юристов были исполнены значения в глазах их друзей и знакомых и очень подняли их авторитет среди собратьев по профессии; но для нас они не столь интересны. Мистер Брэхем в заключительной речи превзошел самого себя; речь эту и поныне вспоминают как крупнейшее событие в истории уголовного судопроизводства в штате Нью-Йорк.

Мистер Брэхем вновь яркими красками нарисовал перед присяжными детство Лоры; подробно описал трагедию ее юности — мнимый брак и последующую измену Селби. Полковник Селби, джентльмены, сказал он, принадлежал к так называемому «высшему обществу». «Высшее общество» пользуется привилегией выискивать себе жертвы среди дочерей и сынов народа. Семейство Хокинс, хотя и связанное кровными узами с виднейшей аристократией Юга, находилось в то время в крайне стесненных обстоятельствах. Потом Брэхем стал толковать о происхождении Лоры. Быть может, ее истерзанный душевными муками отец в краткие периоды просветления все еще пытается найти потерянную дочь. Неужели настанет день, когда он услышит, что она умерла смертью преступницы? Общество ополчилось на нее, сама судьба ополчилась на нее — и однажды, в помрачении ума, она возмутилась и бросила вызов судьбе и обществу. Брэхем подробно остановился на предсмертных показаниях полковника Селби, признавшего, что он тяжко виноват перед Лорой. Он живо изобразил этого негодяя, которого в конце концов покарала десница божия. Неужели это справедливое возмездие, орудием которого стала оскорбленная, обманутая женщина, чей разум помрачила нанесенная ей жесточайшая обида, — неужели

присяжные назовут это возмездие подлым, обдуманном убийством?!

— Довольно и того, джентльмены, что передо мной страшное зрелище — жизнь прекраснейшей, несравненной женщины, загубленная бессердечным негодяем, и я не в силах видеть в конце этой жизни чудовищную тень виселицы. Джентльмены, все мы люди, все мы грешили, все мы нуждаемся в милосердии. Но не милосердия прошу я у вас, призванных хранить и общество и заблудших бедняков, которые и сами порой являются его незаслуженно обиженными жертвами. Нет, я прошу лишь справедливости, которая так нужна будет и вам и мне в последний грозный час, когда смерть предстанет перед нами в облике менее ужасном, если мы сможем сказать себе, что ни разу ни одной живой душе не причинили зла. Джентльмены, жизнь этой некогда прелестной и счастливой девушки, а ныне убитой горем женщины в ваших руках.

Присяжные явно были тронуты. В зале многие плакали. Если бы подсчитать голоса и присяжных и публики именно в эту минуту, приговор гласил бы: «Отпустите ее с миром, она довольно страдала».

Но затем произнес свою заключительную речь прокурор. Спокойно, без злобы и без волнения он вновь напомнил обо всем, что показали свидетели. И по мере того как перед слушателями представляли один за другим бесстрастные и неопровержимые факты, всемирно овладел страх. Да, тут имело место убийство, и притом предумышленное, от этого никуда не уйти. Не в пользу Лоры говорили и показания, рисовавшие ее как деятельницу кулуаров, — а такие показания прокурору удалось получить от нескольких свидетелей. Показания свидетелей защиты, утверждал он, не имеют никакого отношения к делу, с их помощью только пытались вызвать сочувствие к обвиняемой, но они отнюдь не делают более правдоподобным нелепое предположение о невменяемости. Потом прокурор сказал еще, что в Нью-Йорке теперь каждый вынужден опасаться за свою жизнь, а женщины-убийцы все чаще остаются безнаказанными. Мистер Мак-Флинн не взывал к чувствам слушателей, он обращался единственно к их

здравому смыслу, — и речь его прозвучала весьма убедительно.

Судья в своем напутствии присяжным вновь с замечательным беспристрастием напомнил обо всех фактах, установленных свидетельскими показаниями. В заключение он сказал, что присяжные должны либо вынести оправдательный приговор, либо установить убийство с заранее обдуманном намерением.

— Если вы придете к выводу, — сказал он, — что обвиняемая убила человека умышленно, находясь в здравом уме, соответственным должен быть и ваш приговор. Если вы найдете, что она была невменяема, что она, как здесь объясняли, стала жертвой умопомешательства, будь то наследственное помешательство или временное, — вынося приговор, вы должны принять это во внимание.

Когда судья закончил свою речь, взгляды зрителей с жадным нетерпением обратились на присяжных. Но ничего нельзя было прочесть на этих непроницаемых лицах. Публика в зале суда была, в общем, на стороне Лоры, но кто знает, разделяют ли это сочувствие присяжные? Публика за стенами суда, по обыкновению, надеялась на обвинительный приговор: пускай другим неповадно будет! Газеты выражали надежду, что у присяжных хватит мужества исполнить свой долг. А вот когда Лору приговорят к смертной казни, тогда настроение этой публики сразу переменится, и она станет осыпаться оскорблениями губернатора, если он откажется помиловать осужденную.

Присяжные удалились на совещание. Брэhem сохранял спокойствие и уверенность, но друзья Лоры совсем пали духом. Вашингтону и полковнику Селлерсу нужно было безотлагательно вернуться в столицу, и они уехали, мучимые невысказанными опасениями: скорее всего приговор будет неблагоприятный; в лучшем случае голоса присяжных разделятся. Нужны деньги и деньги... Теперь, как никогда, необходимо, чтобы закон об университете был принят.

Суд ждал, но присяжные не возвращались. Брэhem сказал, что это небывалый случай. Тогда судья объявил перерыв на два часа. Но когда перерыв кончился,

стало известно, что присяжные все еще не пришли к соглашению.

Оказалось, у них возник вопрос, по которому им требуется разъяснение, а именно: они желают знать, состоит ли полковник Селлерс в родстве с Хокинсами. Заседание суда было прервано до утра следующего дня.

Брэхем, немало раздосадованный, заметил своему помощнику О'Тулу, что их, видимо, ввели в заблуждение: тот присяжный со сломанным носом, как видно, грамотный!

В ОЖИДАНИИ ТЕЛЕГРАММ

«Wegotogwen ga-ijiwebadogwēn; goni-
ma ta-matchi-inakamigad»¹.

Настал знаменательный день — он либо принесет Хокинсам богатство, которого хватит им до скончания века, либо оставит их нищими. И Вашингтон и полковник Селлерс поднялись рано, — ночью обоим не спалось. Сессия подходила к концу; конгресс принимал один закон за другим с такими судорожными усилиями, словно всякий раз готов был испустить дух. Сегодня состоится третье чтение закона об университете в Буграх, а завтра Вашингтон Хокинс станет миллионером и полковник Селлерс забудет горькую нужду. Но сегодня же, в крайнем случае завтра, присяжные вынесут приговор по делу Лоры — в глубине души Вашингтон боялся, что они признают ее виновной, — и тогда вновь начнутся тревожнения и заботы, и долгие, томительные месяцы придется обхаживать судей перед новым процессом. А кроме того, сегодня же Дилуорти должен быть вновь избран в сенат. Голова Вашингтона пылала: слишком многое поставлено на карту, чтобы можно было оставаться спокойным и рас-

¹ «Не знаю, что могло случиться; быть может, мы получим дурные вести». (На языке индейцев чиппевеев.)

судительным! Он приходил в восторг, думая о миллионах, но тут же он холодел от страха при мысли о Лоре. Зато Селлерс заранее торжествовал победу.

— Все идет как надо, — повторял он, — все будет превосходно. Скоро на нас посыплются телеграммы, сынок, и ты сам увидишь, что я прав. Пусть присяжные решают, как им заблагорассудится, не все ли равно? Завтра же мы пошлем в Нью-Йорк миллион долларов и напустим адвокатов на судей; будь покоен, они будут ходить от одного к другому, увещевать, и упрашивать, и умолять, и лить слезы. Они всегда так действуют — и всегда выигрывают дело. И на этот раз тоже выиграют. Они добьются применения *habeas corpus*, и приостановки судопроизводства, и замены неугодных им судей, и нового слушания дела, и отказа от обвинения — и наша взяла! Для нью-йоркского адвоката это не хитрость, это в порядке вещей. Самая обыкновенная бюрократическая процедура. В области правосудия, видишь ли, все основано на бюрократии и на проволóчках. Для тебя-то это китайская грамота, но для человека искушенного все это просто-напросто... погоди, как-нибудь при случае я тебе растолкую. Теперь все пойдет как по маслу. Вот увидишь, Вашингтон, вот увидишь, все будет хорошо! И потом, дай-ка сообразить... Сегодня Дилуорти выберут в сенат, а послезавтра вечером он уже будет в Нью-Йорке и тоже поддержит нас. Ты уже столько времени живешь в столице, пора тебе знать, что, когда у сенатора кончается срок полномочий, люди его и не замечают; а как его выберут на новый срок, так всякий спешит поклониться пониже: «Поздравляю, сенатор, да благословит вас бог, сэр, я счастлив снова видеть вас в Вашингтоне!» Так вот, понимаешь ли, совершенно естественно, что в последнее время его влияние было не так уж велико; но теперь его опять выберут на шесть лет — и послезавтра его слово, даже самый пустячный намек, будет на вес золота. Господи помилуй, да стоит ему захотеть — и, когда он вернется, он один в два счета провернет все эти штуки для Лоры — и *habeas corpus*, и замену судей, и все что угодно.

— А ведь верно, — оживился Вашингтон, — я об этом не подумал. Вновь избранный сенатор — это сила, что и говорить.

— Ну, конечно сила. Такова уж природа человеческая. Взять хотя бы меня. Когда мы только что приехали в Вашингтон, меня называли и мистер Селлерс, и майор Селлерс, и капитан Селлерс, — и ни один человек почему-то не мог запомнить, кто же я такой на самом деле; а как только наш законопроект прошел в конгрессе, так я сразу стал полковник Селлерс, — и теперь, будь спокоен, никто не ошибется. И всяк старается мне угодить. И что я ни скажу — это замечательно, сэр, прямо замечательно! Как видно, я уже теперь не говорю ни одного неостроумного слова. Только и слышно: «Приходите к нам обедать, полковник!», «Почему вы нас никогда не навестите, полковник?» Полковник сказал то, полковник сказал это. «А знаете, такой-то сделал то-то, — это чистая правда, мой муж слышал это от самого полковника Селлерса!» Понимаешь, в чем тут штука? Но вот сенат прервал работу, и наш грандиозный законопроект повис в воздухе, — и черт меня дери, если я не оказался просто-напросто «старинной Селлерсом». А на прошлой неделе палата приняла его в третьем чтении, — и теперь я опять полковник; и если бы мне пришлось съесть все обеды, на которые меня приглашают, я, пожалуй, через две недели лопнул бы.

— Любопытно, кем-то вы станете завтра, полковник, когда президент подпишет наш закон?

— Генералом, сэр! Генералом, вне всякого сомнения. Да, сэр, завтра только и будет слышно: «Разрешите вас поздравить, генерал! Вы совершили подвиг, генерал, вы совершили подвиг во имя бедных негров!», «Джентльмены, позвольте представить вам моего друга, генерала Селлерса, друга и благодетеля бедных негров». Да провалиться мне на этом месте, если в газетах не станут писать: «Вчера вечером в наш город прибыл генерал Селлерс с сопровождающими его лицами и остановился на Пятой авеню! Космополитен-клуб устроил прием и банкет в честь генерала Селлерса!» Вот увидишь, начнут цитировать высказы-

вания генерала Селлерса по разным вопросам. И уж поверь, мнение генерала Селлерса насчет того, следует ли возбудить новый процесс и применить habeas corpus по делу несчастной мисс Хокинс, тоже будет кое-что значить в высоких сферах.

— А я хочу первым пожать вашу честную руку и приветствовать вас соответственно вашему новому чину и званию, — и я хочу сделать это теперь же, генерал! — воскликнул Вашингтон, стискивая руку Селлерса и глядя на него с восторженной нежностью.

Полковник был тронут и в то же время доволен и горд — это ясно выразилось на его лице.

Вскоре после утреннего завтрака начали приходить телеграммы. Первая, подписанная Брэхемом, гласила:

«БЕЗ СОМНЕНИЯ, ПРИГОВОР БУДЕТ ВЫНЕСЕН СЕГОДНЯ. КАКОВ БЫ ОН НИ БЫЛ, ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ТОМ, ЧТОБЫ МЫ В СЛУЧАЕ НАДОВНОСТИ МОГЛИ НЕМЕДЛЕННО ПРЕДПРИНЯТЬ ЛЮБЫЕ ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ».

— Вот это деловой разговор, — сказал Селлерс. — Замечательный малый этот Брэхем! Единственный человек в Нью-Йорке, который меня сразу понял; он мне это потом сам сказал.

Следующая телеграмма была от Дилуорти:

«ПРИВЛЕК НА СВОЮ СТОРОНУ НЕ ТОЛЬКО НЕПРЕКЛОННОГО, НО ЧЕРЕЗ ЕГО ПОСРЕДСТВО ЕЩЕ ЧЕЛОВЕК ДЕСЯТЬ ИЗ ОППОЗИЦИИ. БУДУ ВНОВЬ ИЗБРАН СЕГОДНЯ ПОДАВЛЯЮЩИМ БОЛЬШИНСТВОМ».

— Превосходно! — сказал полковник. — У этого человека необычайный организаторский талант. Он хотел, чтобы я поехал с ним туда и помог все это устроить, но я сказал: «Нет, Дилуорти, я в любую минуту могу понадобиться здесь и Лоре и нашему законопроекту. Но вы и сами настоящий гений по организаторской части, — сказал я, и не ошибся. — Действуйте смелей, — сказал я, — вы отлично управитесь». И он управился. Но меня тут не за что хвалить, если я и подбавил ему храбрости, так это только помогло ему выиграть сражение, но сражался-то он, а не я. Он завоевал на свою сторону Нобла, — я считаю, что

это блестящий дипломатический ход, сэр, просто блестящий!

Вскоре пришло новое известие из Нью-Йорка:

«ПРИСЯЖНЫЕ ВСЕ ЕЩЕ СОВЕЩАЮТСЯ. ЛОРА СПОКОЙНА И ТВЕРДА, КАК СТАТУЯ. СЛУХИ, БУДТО ПРИСЯЖНЫЕ ПРИЗНАЛИ ЕЕ ВИНОВНОЙ, ЛОЖНЫ И ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫ».

Вашингтон побелел, у него перехватило дыхание.

— Преждевременны! — выговорил он наконец. — Выходит, все они ждут обвинительного приговора!

Он и сам ждал того же, но у него не хватало мужества высказать это вслух. Он готовился к худшему, но, сколько он ни готовился, довольно было намек на то, что Лору могут осудить, — и он весь помертвел.

Друзья начинали терять терпение; телеграммы ползли, как черепахи; впрочем, такая тревога снедала обоих, что даже и молния небесная показалась бы им медлительной. Они шагали из угла в угол, изредка перекидывались бессвязными словами и прислушивались, не звонят ли у двери. Телеграмма следовала за телеграммой. Все еще ничего нового. Наконец пришло еще одно известие, всего две строчки:

«ПОСЛЕ КРАТКОГО ПЕРЕРЫВА ЗАСЕДАНИЕ СУДА ВОЗОБНОВИЛОСЬ. ПРИСЯЖНЫЕ ГОТОВЫ ОГЛАСИТЬ ПРИГОВОР».

Господи, скорей бы уж конец! — вырвалось у Вашингтона. — Эта неизвестность хуже смерти!

Потом пришла еще телеграмма:

«ОПЯТЬ ЗАМИНКА. ПРИСЯЖНЫЕ ПРОСЯТ НЕБОЛЬШОЙ ОТСРОЧКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ».

— Мученье, что и говорить, — произнес полковник; и, помедлив, прибавил: — Что-то Дилуорти молчит, уже два часа от него ни словечка. Хоть бы от него получить телеграмму — все-таки лучше, чем ничего.

Они ждали еще двадцать минут, и каждая казалась часом.

— Пойдемте! — сказал Вашингтон. — Я не в силах ждать, пока посыльный приплетется сюда. Пойдем в ложу прессы, мы встретим его по дороге.

Проходя по улице, они увидели, что перед редакцией газеты, на доске объявлений, только что вывесили крупно отпечатанный бюллетень и перед ним уже собирается жадная до новостей толпа. Вашингтон и полковник поспешили туда и прочли:

«Неслыханная сенсация! Потрясающие вести из Мирной Обители! Во время выборов сенатора Соединенных Штатов, когда члены законодательного собрания готовы были приступить к голосованию, поднялся мистер Нобл и, выйдя вперед, положил на стол председателя пакет. «Здесь, — сказал он, — семь тысяч долларов в банковых билетах, их вручил мне вчера в полночь у себя в спальне сенатор Дилуорти, с тем чтобы я отдал ему свой голос. Я прошу председателя пересчитать деньги и употребить их на оплату издержек по судебному преследованию этого гнусного негодяя за подкуп».

Все присутствующие лишились дара речи, пораженные изумлением и ужасом. Нобл сказал далее, что у пятидесяти человек, из числа собравшихся здесь, в кармане лежат деньги, полученные от Дилуорти в уплату за их голоса. Затем, при небывалом общем волнении, проведено было голосование, сенатором избран Дж. У. Смит, Дилуорти не получил ни одного голоса! **НОБЛ НАМЕРЕН СДЕЛАТЬ НОВЫЕ РАЗОБЛАЧЕНИЯ, УБИЙСТВЕННЫЕ ДЛЯ ДИЛУОРТИ И НЕКОТОРЫХ ВЫДВИНУТЫХ ИМ ЗАКОНОПРОЕКТОВ, ОБСУЖДАЮЩИХСЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В КОНГРЕССЕ».**

— Боже праведный! — воскликнул полковник.

— В сенат! — сказал Вашингтон. — Летим!

И они полетели. Но их далеко опередили мальчишки-газетчики с только что оттиснутыми экстренными выпусками, посвященными этой потрясающей новости.

Любопытное зрелище ожидало их в Капитолии: у каждого сенатора в руках был экстренный выпуск газеты, и все читали его с таким видом, как будто он сообщал о конце света. Никто не обращал ни малейшего внимания на оратора.

Секретарь как раз начинал громким голосом читать следующий пункт повестки дня:

— Законопроект-номер-четыре-тысячи-двести-тридцать-один. Об-основании-и-утверждении-промышленного-университета-в-Буграх! Принят-сенатом-в-первом-и-втором-чтении! Рассмотрен-комиссией-включен-в-по-

рядок-дня-юридически-оформлен-и-представлен-к-треть-ему-и-последнему-чтению!

Председатель. Объявляю третье чтение законопроекта!

У обоих друзей затряслись поджилки. Сенаторы побросали газеты, и каждый шепнул словечко на ухо соседу. Застучал председательский молоток, водворяя тишину, и началось поименное голосование. Вашингтон бледнел и слабел с каждой минутой, словно кровь по капле вытекала из его жил, и когда выкрикнуто было имя последнего по списку сенатора и прозвучал его ответ, Вашингтон весь поник, и голова его свесилась на грудь. Бой дан, долгая борьба кончена. И вот он — нищий. Законопроект не получил ни единого голоса!

Полковник Селлерс и сам был как громом поражен, у него чуть не отнялись руки и ноги. Но кто мог бы размышлять о собственных бедах, видя сраженного горем Вашингтона! Полковник помог ему встать и чуть не на руках дотащил до кареты. Всю дорогу Вашингтон стонал и плакал, припав к плечу друга. Полковник изо всех сил, насколько это было возможно в столь тяжкий час, старался подбодрить его, но тщетно. Вашингтон всецело предался отчаянию.

— Все кончено, — твердил он, — кончено навсегда. Теперь нам придется просить милостыню. Никогда нам не оправиться от этого удара. Это была наша последняя надежда, и вот все рухнуло. Лору повесят! Господи боже мой, ее повесят! Бедная девочка, теперь ее не спасти... Ох, лучше бы меня казнили вместо нее!

Когда они приехали домой, Вашингтон упал в кресло, закрыл лицо руками и горько разрыдался. Полковник не знал, как быть и что делать. Тут в дверь постучали, и горничная подала ему телеграмму, доставленную в их отсутствие.

Полковник вскрыл телеграмму и громовым голосом прочел:

«ПРИСЯЖНЫЕ ОПРАВДАЛИ. ЛОРА СВОБОДНА!»

ПРИГОВОР. ЛОРА ОПРАВДАНА

分 不 白 皂¹.Papel y tinta y poco justicia².

В то утро, когда ожидался приговор, зал суда был набит битком, как и во все дни процесса, той же толпой, что все время с таким напряженным интересом следила за ходом дела.

Бывает в каждом судебном процессе волнующая минута — ею больше всего наслаждается завсегдатай-любитель и ни за что на свете ее не пропустит. Это — мгновение, когда старшина присяжных уже поднялся, чтобы объявить приговор, но ни одно слово еще не слетело с его уст, которыми вещает сама судьба.

Суд был в полном сборе и ждал. Присяжные на сей раз попались несговорчивые. Даже и сегодня утром они, эти разумные присяжные, задали судье новый вопрос.

¹ Черного от белого не отличишь; иными словами: кто прав, кто виноват, не разберешь (*китайск.*).

² Бумага, чернила — и ни на грош справедливости (*испанск.*).

Вопрос был такой: уверены ли доктора, что покойный не страдал никаким недугом, который вскоре свел бы его в могилу, если бы его и не застрелили? Видно, был среди присяжных такой, который желал доказать, что не зря он тут заседает, и старался найти более или менее подходящее решение, какое всегда выносят присяжные в уголовных процессах, — не на основе свидетельских показаний, а путем каких-то своих умозаключений, загадочных и непонятных.

Во время этой новой проволочки публика вела себя на редкость терпеливо, развлекаясь малейшим движением судьи, юристов и подсудимой. Мистер Брэхем наравне с Лорой был предметом главного внимания зрителей. Помощники шерифа бились об заклад, ставя десять против одного, что присяжные не придут к единоголосному решению.

Было уже далеко за полдень, когда объявили, что присяжные возвращаются в зал суда. Репортеры кинулись по местам и обратились в слух; судья, прокурор и защита также были на своих местах; зрители заволновались и нетерпеливо вытягивали шеи, чтобы лучше видеть. Присяжные вошли и остановились. Все стихло.

Судья. Джентльмены, пришли ли вы к единоголосному решению?

Старшина присяжных. Да.

Судья. Каков же ваш приговор?

Старшина. НЕ ВИНОВА.

В зале разразилась буря, и тщетно судья пытался смирить ее; гремели восторженные крики, проходила минута за минутой, но порядок все не восстанавливался. Толпа хлынула за барьер и окружила Лору; а она была спокойнее всех и поддерживала под руку свою старую мать, едва не лишившуюся чувств от счастья.

И тут разыгралась трогательная и прекрасная сцена, какой не нарисовать и самому дерзновенному воображению писателя, — волнующая сцена, делающая честь нашему веку, когда человечество пало так низко. В глазах всех женщин, присутствовавших в зале, героем дня был Брэхем: он спас жизнь обвиняемой, и

притом он такой красивый мужчина! Женщины больше не могли совладать со своими чувствами, которые так долго приходилось сдерживать. В порыве благодарности они кинулись к адвокату. Снова и снова они целовали его — молодые и далеко уже не молодые, замужние дамы, пылкие девицы и вдовушки; они воспользовались случаем с трогательнейшей самоотверженностью; по выражению одной из вечерних газет, они «утопили его в поцелуях». Как сладко это было! И как сладостно будет через много-много лет вспоминать: «Я целовала Брэхема!» А сам мистер Брэхем принимал эту атаку любящих сердец, как истинный рыцарь, — храбро сносил поцелуи дурнушек и от души платил хорошеньким той же монетой.

Эта прелестная сценка и поныне известна в Нью-Йорке как «лобызание Брэхема».

Когда буря поздравлений несколько утихла и порядок был восстановлен, судья О'Шонесси сказал, что теперь его долг позаботиться о надлежащем устройстве оправданной. Приговор присяжных не оставляет сомнений в том, что женщина эта не в своем уме и помешательство ее опасно для окружающих, а потому она не может быть оставлена на свободе.

— Ввиду этого, — сказал судья, — руководствуясь предписаниями закона и велениями здравого смысла, я передаю Лору Хокинс на попечение директора Государственной лечебницы для душевнобольных преступников, где она будет содержаться до тех пор, пока Главная инспекция по делам душевнобольных не распорядится выписать ее. Шериф, поручаю вам немедленно приступить к исполнению этого приказа.

Лора была сражена. Она-то надеялась, что сейчас выйдет отсюда и вновь станет свободна как ветер, — и вдруг этот внезапный страшный удар! Миссис Хокинс дрожала, как в лихорадке. Лора безумна! И ее запрут вместе с сумасшедшими! Миссис Хокинс это и в голову не приходило. Брэхем сказал, что он тотчас заявит протест на основании *habeas corpus*.

Но судья считал себя обязанным исполнить свой долг, и закон есть закон. Ошеломленная нежданной бедой, не понимая, откуда она на них свалилась, мис-

сис Хокинс беспомощно смотрела, как конвойный уводит Лору.

Не успела Лора опомниться, как ее препроводили на вокзал, а оттуда в лечебницу для помешанных преступников. И лишь оказавшись в этой огромной и мрачной обители безумия, Лора поняла весь ужас случившегося; лишь когда ее встретил добрый доктор и она прочитала сострадание в его взгляде и, едва попытавшись объяснить ему, что она вовсе не безумна, поняла по его лицу, что он все равно ей не поверит; лишь когда она прошла через отделение, куда ее назначили, и увидела лица ужасных созданий, одновременно и преступных и безумных, — страшные лица, которые ей отныне суждено видеть каждый день, и когда ее заперли в крохотной пустой камере с голыми стенами, которая отныне станет ей домом, — лишь тогда силы оставили ее. Едва ушла обыскавшая ее надзирательница и Лора осталась одна, она упала на кровать и хотела было собраться с мыслями, но они проносились в мозгу беспорядочным вихрем. Ей вспомнилась речь Брэхема, вспомнились свидетели, утверждавшие, что она помешана. Неужели это правда? И уж во всяком случае, если она останется здесь, среди этих чудовищ, она и впрямь сойдет с ума. Нет, лучше умереть, чем медленно терять рассудок здесь, в заточении...

Да простит нас читатель. То, что мы сейчас описали, очень далеко от истины. Но это непременно случилось бы в романе. Будь наша книга плодом вымысла, а не добросовестным описанием действительных событий, мы не осмелились бы поступить с Лорой по-иному. Этого требовало бы истинное искусство и простейшее уважение к законам драмы. Романисту, который предоставил бы безумной убийце разгуливать на свободе, не уйти от всеобщего осуждения. И притом безопасность общества, достоинство уголовного суда, то, что мы называем нашей современной цивилизацией, — все требовало бы, чтобы с Лорой поступили именно так, как это описано нами выше. Иностранцам, читающим эту печальную повесть, останется непонятна всякая иная развязка.

Но это не вымысел, а глубоко правдивая история. Не существует такого закона и таких обычаев, на которые сослался бы почтенный судья в романе; а если бы они и существовали, его честь судья О'Шонесси вряд ли вспомнил бы о них. Не существует лечебницы для душевнобольных преступников, и нет государственной комиссии по делам помешанных. А что на самом деле произошло в зале суда, когда буря восторгов поутихла, о том проницательный читатель сейчас узнает.

В сопровождении матери и друзей, слыша со всех сторон поздравления и приветственные клики, Лора вышла из здания суда, села в карету и покатила. Как радуется солнечный свет, как веселит душу свобода! И эти крики толпы, летящие вдогонку, разве не знак общего одобрения и любви? Разве она не героиня дня?

Лора приехала к себе в отель исполненная торжества и презрения к обществу, над которым она одержала победу, пользуясь его же оружием.

Миссис Хокинс не разделяла этих чувств: слишком долго терзалась она сознанием позора и мучительной тревогой.

— Слава богу, Лора, все это позади, — сказала она. — Наконец-то мы уедем из этого постылого Нью-Йорка. Едем скорее домой!

— Мама, — возразила Лора, и голос ее не лишен был нежности, — я не могу поехать с тобой. Не плачь, не надо. Я не могу вернуться к прежней жизни.

Миссис Хокинс залилась слезами. Это было для нее, пожалуй, самым жестоким ударом, ибо она хоть и смутно, но все же понимала, что может получиться, если Лору предоставить самой себе.

— Нет, мама. Ты была для меня всем на свете, ты знаешь, как я тебя люблю. Но я не могу вернуться домой.

Посыльный принес телеграмму. Лора вскрыла ее и прочла:

«ЗАКОНОПРОЕКТ ПРОВАЛИЛСЯ. ДИЛУОРТИ ПАЛ.

Подпись: *Вашингтон*».

Буквы поплыли у Лоры перед глазами. Но уже в следующее мгновение глаза ее метнули пламя. Она протянула телеграмму матери и сказала с горечью:

— Весь мир против меня. Что ж, пусть так! А я — против него!

— Это жестокое разочарование для тебя и для Вашингтона, — сказала миссис Хокинс; для нее самой теперь не так уж много значило еще одно лишнее горе. — Но мы должны перенести его со смирением.

— Со смирением! — презрительно повторила Лора. — Я всю жизнь смирялась, а судьба всегда была мне врагом.

В дверь постучали, и горничная доложила, что какой-то джентльмен желает видеть мисс Хокинс. Она подала Лоре карточку, на которой стояло: «Дж. Адольф Гриллер».

— Не знаю такого, — сказала Лора. — Вероятно, он приехал из Вашингтона. Проводите его сюда.

Вошел Гриллер. Он был небольшого роста, одет кое-как; нос, подбородок и особенно кадык торчали острыми углами, голос звучал доверительно; глядя на этого человека, можно было подумать, что у него рыба кровь: гладко прилизанные волосы, вялая рука, не отвечающая на пожатие, во всех повадках приниженность, робость, чуть не раболепие. Он был воплощенная фальшь, ибо, хотя в его внешности все как бы старалось уверить вас, что перед вами жалкое ничтожество, неумное и беспомощное, на самом деле у Гриллера хватало соображения, чтобы обдумать в подробностях самое грандиозное предприятие, и энергии, чтобы его осуществить. Такая шла о нем слава, и он ее вполне заслужил.

— Я пришел к вам по делу, мисс Хокинс, — мягко начал он. — Вам передали мою карточку?

Лора наклонила голову.

С той же мягкой вкрадчивостью мистер Гриллер промурлыкал:

— Тогда позвольте перейти к делу. Я человек деловой. Я устроитель публичных лекций, мисс Хокинс, и как только я узнал, что вас оправдали, мне пришлось

в голову, что чем раньше мы с вами побеседуем, тем выгоднее для обеих сторон.

— Я не понимаю вас, сэр, — холодно сказала Лора.

— Вот как? Видите ли, мисс Хокинс, вам очень повезло. Если вы вступите на это поприще под покровительством опытного наставника, успех вам обеспечен.

— Но я никогда не читала лекций, сэр, мне не о чем читать, и я понятия не имею, как это делается.

— О, не важно, это не имеет значения. Для того чтобы читать публичные лекции, совершенно не обязательно уметь. А уж когда имя женщины прогремело по всей Америке и когда она при этом еще и красива — поверьте, у нее найдутся толпы слушателей.

— Но о чем я стану им говорить? — спросила Лора, поневоле чувствуя, что это становится и любопытно и забавно.

— О чем? О женщинах... да, я думаю, что-нибудь такое о женском вопросе... семейная жизнь, судьба женщины, что-нибудь в этом роде. Назовите вашу лекцию «Откровенные признания женщины» — вот недурное название. Лучше и желать нечего. Я готов предложить вам гонорар, мисс Хокинс, щедрый гонорар — двенадцать тысяч долларов за тридцать лекций.

Лора задумалась. Почему бы и нет, спрашивала она себя. Это занятие, деньги. Должна же она что-то делать.

— Я подумаю и скоро дам вам ответ. Впрочем, мало вероятно, чтобы я... во всяком случае, не будем больше говорить об этом сейчас.

— Помните, мисс Хокинс, чем раньше мы возьмемся за дело, тем лучше. Публика непостоянна, завтра ее любопытство привлечет кто-нибудь другой. Всего вам наилучшего.

С окончанием процесса над Лорой Гарри Брайерли оказался на свободе и мог наконец отправиться на побережье Тихого океана, где его ждали важные дела, о которых было уже столько разговоров. Какие именно дела — на этот счет он даже в беседах с Филиппом ограничивался туманными намеками.

— Секрет, мой друг, — говорил он. — Просто мы тут обмозговали одну штучку. Могу только сказать тебе, что это пограндиознее миссурийского плана, и притом дело верное. Я за одну только свою долю и полмиллиона не взял бы. И тебе это тоже кое-что даст, Фил. Я тебе потом напишу.

Несколько месяцев спустя он действительно написал Филиппу. Перспективы блестящие, но надо еще подождать. А пока не может ли Фил дать ему займы сотню долларов, месяца, скажем, на три?

Филипп сразу после суда поспешил вернуться в Филадельфию, а едва началась весна, кинулся в Илион и на деньги, полученные от сквайра Монтегю, нанял рабочих. Его одолевали заботы и тревоги. Прежде всего, Руфь работает в больнице сверх сил, — и он должен из кожи вон вылезть, лишь бы она больше так не мучилась и не надрывалась. Угнетали его все возраставшие долги. Вдобавок ему казалось, что он единственный виновник разоренья Боултонов, он навлекает беды и несчастья на всех, кто ему близок! И он работал день за днем, неделю за неделей, мучимый лихорадочным нетерпением.

Молить небеса, чтобы они послали ему удачу? Но это будет грех и нечестие, думал Филипп. Позволено ли просить бога благословить труд, который, в сущности, и не труд, а только авантюра? И однако каждый день, взывая к небу, сей не слишком последовательный и во многом грешный христианин горячо молился за Руфь, и за все семейство Боултонов, и за всех, кого он любил и кто верил в него. Да не станет он причиною их несчастья, да не останется горьким неудачником!

С тех пор как этот молодой человек покинул родной дом и пустился в большой мир, он совершил кое-какие поступки, которые предпочел бы сохранить в тайне от матери и о которых не решился бы рассказать Руфь. В известном возрасте безусые юнцы нередко боятся, как бы их не назвали молокососами, а приятели Филиппа подчас бывали не таковы, каких выбрали бы для него авторы этой правдивой повести или каких, став постарше, он сам сумел бы для себя выбрать. К примеру, кажется совершенно испости-

жимым, почему судьба его так тесно связана с судьбой его однокашника Генри Брайерли.

Однако надо отдать справедливость Филиппу: в какое общество он ни попадал, он не стыдился твердо следовать правилам, внушенным ему матерью, и ни насмешки, ни удивленные взгляды не могли отвлечь его от привычек, усвоенных с младенческих лет. Даже легкомысленный Гарри относился к этому с уважением, и, может быть, это было одной из причин, почему и Гарри и все, кто знал Филиппа, верили ему без оглядки. И, однако, мы вынуждены признать, что Филипп не производил на людей впечатления очень уж серьезного молодого человека и никто не считал, что он не способен поддаться искушению. Кому нужен идеальный герой, тот пусть ищет его где-нибудь в другом месте.

Расставанье Лоры с матерью было мучительно для обеих. Так два друга расстаются на бескрайней равнине — одному предстоит путь на закат, а другому на восход, и оба понимают, что отныне с каждым шагом они будут все дальше и дальше друг от друга.

СЕНАТ, РЕВНОСТНО ОБЕРЕГАЮЩИЙ СВОЮ ЧЕСТЬ,
ОСУЖДАЕТ КОРРУПЦИЮ

Ebok imana ebok ofut idibi¹.

Ὁ καρκίνος ὧδ' ἐφα
Χαλὰ τὸν ὄφιν λαβών
Εὐθὺν χρῆ τον ἐταῖρον, ἔμμεν,
Καὶ μὴ σκολιὰ φρονεῖν².

Mishittonaeog noowaog
ayeuhkone neen,
Nashpe nuskesukqunnonut
ho, ho, nunnaumunun³.

Когда бомба, брошенная мистером Ноблом, разорвалась в стане сенатора Дилуорти, сей государствен-

¹ Обезьяне не нравится, когда другая обезьяна наедается досыта (*эффикск.*).

² Рак схватил ужа клешнею
И давай ругать беднягу:
Дескать, ты ползешь не прямо,
Вкривь и вкось ты путь свой держишь (*греч.*).

³ На меня они все вместе
Громогласно ополчились:
«Да мы видели все сами,
Мы отныне очевидцы». (*На языке массачусетских индейцев.*)

ный муж на мгновение растерялся. Но только на мгновение. В следующую минуту он уже вновь был спокоен, полон решимости и энергии. В сердце нашей страны и на самых отдаленных ее окраинах все только и говорили, что о потрясающих разоблачениях мистера Нобла, и все были взбешены. Причем, имейте в виду, этот случай вызвал всеобщую ярость вовсе не потому, что подкуп в нашей общественной жизни явление неслыханное, — а только потому, что обнаружен *еще один случай* подкупа. Вероятно, нашему доброму и достойному народу никогда не приходило на ум, что до тех пор, пока добрые и достойные люди будут преспокойно сидеть по домам, предоставляя подлинный источник нашей политической силы — первичные собрания избирателей — в распоряжение трактирщиков, любителей собак и безграмотных выскочек, они могут и впредь ждать еще и еще подобных случаев, десятков, сотен случаев — и никогда их не постигнет разочарование! Впрочем, быть может, по их мнению, оттого, что они сидят по домам и ворчат, зло в один прекрасный день искоренится само собой?

Да, волнение было всеобщим, но сенатор Дилуорти оставался спокоен — то есть спокойным оставалось то, что от него уцелело после взрыва бомбы, — спокойным, полным решимости и энергии. С чего он начал? С чего начнете вы, раскроив за завтраком череп собственной матери только потому, что она переложила вам сахару в кофе? Вы «попросите общественное мнение повременить с окончательным приговором». Сенатор Дилуорти так и сделал. Таков был обычай. Он получил обычную отсрочку. На всех перекрестках кричали, что он вор и плут, что он при помощи взяток и обмана добился субсидий пароходным компаниям, затеял мошеннические сделки с железными дорогами и вообще всеми мыслимыми способами грабил государственную казну. Газеты и все, кому не лень, честили его ханжой и лицемером, подлизой, елейным жуликом, гадом ползучим, который движение в защиту трезвенности и молитвенные собрания, воскресные школы, общественную благотворительность и миссионерскую деятельность — все ухитряется обратить в источник своей

личной выгоды. И так как все эти обвинения подкреплялись, казалось бы, серьезными и основательными уликами, народ единодушно поверил им.

Тогда мистер Дилуорти предпринял новый шаг. Он немедленно отправился в Вашингтон и «потребовал расследования». Даже и это не прошло незамеченным. Многие газеты выражались так:

«Останки сенатора Дилуорти желают расследования. Это звучит благородно, смело и невинно; но как подумаешь, что расследовать дело будет сенат Соединенных Штатов,— это просто курам на смех! С таким же успехом можно предложить джентльменам, содержащимся в государственных тюрьмах, судить друг

друга. Как видно, новое расследование будет подобно всем другим сенатским «расследованиям» — забавно, но бесполезно. Спрашивается, чего ради сенат все еще цепляется за громкое слово «расследование»? Нет надобности завязывать себе глаза, чтобы расследовать то, что очевидно».

Мистер Дилуорти появился на своем обычном месте в сенате и предложил резолюцию, по которой для расследования его дела надлежало назначить специальную комиссию. Резолюция, разумеется, была принята и комиссия назначена. Газеты тотчас заявили:

«Под видом назначения комиссии по расследованию дела покойного мистера Дилуорти сенат вчера назначил комиссию по расследованию *действительности его обвинителя, мистера Нобла*. Таков точный смысл и значение этой резолюции, и комиссия не может привлечь к ответу никого, кроме мистера Нобла, не превышая своих полномочий. Никого не удивит, что у мистера Дилуорти хватило наг-

лости предложить подобную резолюцию, никого не удивит, что сенат поддержал ее не краснея и принял, не сгорев со стыда. Нам вспоминается послание, которое мы получили однажды от известного взломщика Мэрфи, упрекавшего нас в том, что мы допустили ошибку, когда писали, что он отбыл один срок в каторжной тюрьме и один — в сенате Соединенных Штатов. «Последнее утверждение не-

«черно и несправедливо, — писал он, — и глубоко оскорбляет меня». После подобного невольного сарказма дальнейшие комментарии излишни».

И, однако, неприятное происшествие с Дилуорти взволновало сенат. Произнесено было великое множество речей. Один сенатор (газеты обвиняли его в том, что он снял перед выборами свою кандидатуру, взяв с противника пятьдесят тысяч долларов отступного, и он все еще не опроверг этого обвинения) заявил:

— Уже одно присутствие в нашей столице такого субъекта, как этот Нобл, публично выступающего против собрата, есть оскорбление сенату Соединенных Штатов!

Другой сенатор сказал:

— Пусть расследование будет доведено до конца; и пусть этот Нобл получит по заслугам, чтоб другим неповадно было; пусть знает он и ему подобные, что нельзя безнаказанно чернить репутацию сенатора!

Третий сказал, что его очень радует предстоящее расследование:

— Ибо давно пора сенату сокрушить какую-нибудь злобную шавку вроде этого Нобла и показать всем ему подобным, что сенат полон силы и решимости поддержать свое извечное достоинство!

Кто-то в публике рассмеялся, услышав эту пышную речь, и заметил:

— А ведь этот самый сенатор на прошлой неделе отправил все свое имущество домой за казенный счет — почтой, да еще заказной. Он, верно, таким способом тоже поддерживал «извечное достоинство» сената!

— Напротив, его современное достоинство, — поправил кто-то другой. — Это никак не напоминает извечное достоинство сената, зато вполне в новом вкусе, — нынче весь его стиль таков.

Поскольку в Соединенных Штатах законом не возбраняется говорить обидные слова по адресу сенаторов, этот разговор и множество других таких же разговоров могли продолжаться без всякой помехи. Но обратимся к комиссии по расследованию.

Мистер Нобл предстал перед нею и дал следующие показания:

Он — член законодательного собрания штата Земля Обетованная; в такой-то день такого-то числа, он, как и его собратья, приехал на сессию в столицу штата, город Мирную Обитель; всем известно, что он — политический противник сенатора Дилуорти и категорически возражал против его вторичного избрания. Мистер Дилуорти также приехал в Мирную Обитель, и пошли слухи, что он за деньги добивается от разных членов законодательного собрания обещания голосовать за него. Вышеназванный Дилуорти прислал за ним, Ноблом, прося его поздно вечером прийти к нему в номер гостиницы, и он пришел и был представлен мистеру Дилуорти; потом навещал его еще два или три раза, по просьбе Дилуорти, — обычно после полуночи. Мистер Дилуорти уговаривал его отдать ему, Дилуорти, свой голос; он отказался; Дилуорти настаивал, говоря, что он все равно непременно будет избран и может тогда погубить его, Нобла, если он будет голосовать против; все железные дороги, все до единого государственные учреждения и все столпы общества в штате Земля Обетованная у него в руках, сказал Дилуорти, и он без труда может возвысить или втоптать в грязь всякого, кого пожелает; и он привел разные случаи, чтобы показать, где и как он пользовался своим могуществом. Если Нобл будет голосовать за него, он, Дилуорти, сделает его членом конгресса Соединенных Штатов. Нобл опять отказался и заявил, что не верит, чтобы Дилуорти на этот раз был избран. Дилуорти показал ему список людей, которые будут голосовать за него, — их большинство в законодательном собрании штата; затем он дал новые доказательства своего могущества, перечислив Ноблу все, что говорилось и делалось на закрытых фракциях противной партии; уверял, что его шпионы доносят ему об всем и...

Тут один из членов комиссии возразил, что эти показания к делу не относятся и притом противоречат целям и задачам комиссии, ибо если они и бросают на кого-либо тень, то только на мистера Дилуорти.

— Пусть этот человек продолжает, — сказал председатель, — комиссия всегда успеет исключить из протокола показания, не относящиеся к делу.

И мистер Нобл продолжал. Он рискует быть изгнанным из рядов своей партии, если отдаст свой голос за Дилуорти, сказал он; Дилуорти возразил, что это лишь пойдет ему на пользу: ведь тогда он будет признанным его, Дилуорти, другом — и Дилуорти сможет открыто и последовательно продвигать его на политической арене и сделает его богатым человеком; Нобл сказал, что он бедняк и это жестоко — так искушать его; Дилуорти сказал, что это он уладит: «Скажите, сколько вам надо, и обещайте голосовать за меня». Нобл не дал определенного ответа. Тогда Дилуорти сказал: «Даю вам пять тысяч...»

Тут один из членов комиссии нетерпеливо прервал свидетеля, заявив, что весь этот вздор не имеет никакого отношения к делу, — это пустая трата драгоценного времени; ведь ясно, что тут пытаются набросить тень на нашего брата сенатора. Председатель сказал, что выслушать свидетеля — таков наискорейший способ довести работу комиссии до конца, принимать же его слова во внимание не обязательно.

Мистер Нобл продолжал. Он сказал Дилуорти, что пять тысяч долларов — не такая уж высокая плата за честь, доброе имя и за все, что дорого человеку; Дилуорти на это заявил, что он удивлен: по его мнению, пять тысяч — для многих — целое состояние; а какая цена Нобла? Нобл ответил, что десяти тысяч, пожалуй, достаточно; Дилуорти возразил, что это слишком много; ни для кого другого он на это не пошел бы, но он давно уже питает симпатию к Ноблу, а когда человек ему симпатичен, он всей душой жаждет такому человеку помочь; ему известно, что Нобл беден и на руках у него семья и репутация его в родном городе чиста, как стеклышко; ради такого человека и его влияния он, Дилуорти, многое готов сделать и верит, что будет вознагражден, если поможет такому человеку; страдания бедняков всегда находят отклик в его душе; он уверен, что Нобл найдет бла-

гое применение этим деньгам, они порадуют пострадавшие души и облегчат бремя нужды. Итак, он даст Ноблу десять тысяч; взамен ему нужно только одно: когда начнется голосование, пусть Нобл подаст за него свой голос и объяснит законодательному собранию штата, что, рассмотрев со всей тщательностью выдвинутые против мистера Дилуорти обвинения в даче взяток, подкупах и содействии принятию в конгрессе мошеннических законопроектов, он убедился, что все это — низкая клевета, попытка очернить человека, чьи побуждения чисты и облик безупречен; потом Дилуорти вынул из кармана пачку банковых билетов на сумму две тысячи долларов и из чемодана еще одну пачку — в пять тысяч и вручил обе пачки Ноблу. Затем он...

— Наконец-то! — перебил член комиссии, вскакивая на ноги. — Господин председатель! Наконец-то этот бесстыдный клеветник дошел до существа вопроса. Этого достаточно, и это решает дело. По собственному признанию, он получил взятку, и притом вполне сознательно. Совершенно серьезное преступление, сэр, и его нельзя обойти молчанием. Наше право и обязанность — назначить ему наказание, какого заслуживает всякий, злонамеренно пытавшийся очернить сенатора Соединенных Штатов. Нам незачем больше его слушать.

Председатель сказал на это, что будет лучше, если комиссия, как положено, доведет расследование до конца, не отступая от обычного порядка. Признание же мистера Нобла будет внесено в протокол.

Было уже далеко за полночь, продолжал мистер Нобл; он распрощался с Дилуорти и прямо от него направился к таким-то и таким-то членам законодательного собрания; он все рассказал им, заставил тут же пересчитать деньги и предупредил, что на объединенном заседании намерен разоблачить Дилуорти; как всем хорошо известно, он так и сделал. Остальные три тысячи Дилуорти должен был уплатить ему на другой день после своего избрания в сенат.

Потом пригласили сенатора Дилуорти и попросили сообщить все, что он знает об этом Нобле. Сенатор отер

рот платком, поправил белый галстук и начал свою речь. Если бы он не сознавал, сказал он, что общество нуждается в поучительных примерах и что оставлять безнаказанным покушение на моральные устои значит плодить новых Ноблов, — если бы он не сознавал этого так ясно, он умолял бы отнестись к несчастной заблудшей овце с истинно христианским милосердием, умолял бы простить ее и отпустить с миром. С самого начала было очевидно, что этот человек надеется на взятку; с этой целью он вновь и вновь преследовал сенатора и всякий раз пытался разжалобить его рассказами о своем бедственном положении. Сердце Дилуорти обливалось кровью, и не раз он был готов просить кого-нибудь, чтобы несчастному оказали помощь. Некый внутренний голос с самого начала предупреждал его, что перед ним дурной человек и намерения у него недобрые, но по своей совершенной неопытности в таких делах он, Дилуорти, был слеп к истинным побуждениям этого человека и ни минуты не подозревал, что тот замыслил очернить священное звание сенатора Соединенных Штатов. Он глубоко сожалеет о том, что ныне замысел этот очевиден и не вызывает сомнений и что ради чести и достоинства сената невозможно оставить его безнаказанным. С прискорбием он вынужден сказать, что по воле божией, — а пути господни неисповедимы, и не нам судить, почему и во имя каких благих целей провидение располагает так, а не иначе, — так, по воле божьей рассказы злоумышленника обладают некоторым внешним правдоподобием, — но оно не замедлит исчезнуть в ярком свете истины, каковой и будет сейчас пролит на события, о коих идет речь.

— Случилось так, — продолжал сенатор Дилуорти, — что примерно в то время, о котором я говорю, один мой бедный юный друг, живущий в одном из отдаленных городов моего родного штата, пожелал основать банк и попросил меня ссудить ему необходимую для начала сумму; я сказал, что в данную минуту не располагаю деньгами, но попытаюсь у кого-нибудь занять. Накануне выборов один мой друг сказал мне, что мои предвыборные расходы, должно быть, очень

велики, особенно обременителен счет в гостинице, — и предложил денег взаймы. Вспомнив о моем юном друге, я сказал, что охотно взял бы сейчас заимообразно несколько тысяч, а через некоторое время и еще немного; тогда он вручил мне две пачки банковых билетов, сказав, что в одной из них две тысячи долларов, а в другой пять тысяч; я не распечатывал эти пачки и не пересчитывал деньги; я не дал никакой расписки в получении; ни я, ни мой друг не сделали никаких записей относительно этого займа. В тот вечер этот нехороший человек Нобл опять пришел меня мучить. Я не мог от него отделаться, хотя мне дорога была каждая минута. Он упомянул о моем юном друге, который очень желал бы получить теперь же семь тысяч долларов, чтобы начать банковские операции, а с остальной суммой мог бы и подождать. Нобл пожелал взять эти деньги и передать их ему. В конце концов я дал ему обе пачки; я не взял с него никакой расписки и не сделал у себя никаких отметок и записей о передаче денег. Я столь же мало опасаюсь встретить обман и двуличие в других, как в самом себе. Больше я и не вспоминал об этом человеке до следующего утра, когда меня сразила весть о том, как постыдно он обратил во зло мое доверие и порученные ему мною деньги. Вот и все, джентльмены. Торжественно клянусь, что каждое слово в моих показаниях — чистая правда, и призываю в свидетели Господа нашего, который есть сама истина и любящий отец всех, чьим устам ненавистна ложь; заверяю вас честью сенатора, что я говорил одну только правду. И да простит всевышний этому грешнику, как прощаю ему я.

Нобл. Сенатор Дилуорти, по вашему текущему счету в банке видно, что вы вплоть до того дня и даже в тот самый день все свои денежные дела и расчеты вели не наличными, а при помощи чеков, и тем самым каждый платеж, каждая операция точнейшим образом учитывались. Почему же именно в данном случае вы предпочли наличные деньги?

Председатель. Попрошу не забывать, что расследование уполномочены вести не вы, а комиссия.

Нобл. Тогда не угодно ли комиссии задать этот вопрос?

Председатель. Комиссия задаст его... когда пожелает это узнать.

Нобл. Пожалуй, в ближайшие сто лет этого не случится.

Председатель. Еще одно подобное замечание, сэр, и придется препоручить вас сенатскому приставу.

Нобл. Черт бы подрал вашего пристава, да и всю вашу комиссию!

Члены комиссии (*хором*). Господин председатель, это неуважение!

Нобл. К кому неуважение?

— К комиссии! К сенату Соединенных Штатов!

Нобл. Так, значит, я становлюсь признанным представителем народа. Вы знаете не хуже меня, что весь наш народ относится к каждому троим из пяти сенаторов Соединенных Штатов без какого бы то ни было уважения. Три пятых из вас — те же Дилуорти.

Сенатский пристав быстро положил конец рассуждениям представителя народа и убедительно доказал, что это ему не Земля Обетованная и излишние вольности тут не допускаются.

Показания сенатора Дилуорти, естественно, убедили всех членов комиссии. Показания эти были подробны, логичны и неопровержимы; в них заключалось множество доказательств их совершенной правдивости. Так, например, всюду, во всех странах у деловых людей в обычае давать взаймы крупные суммы наличными, а не чеком. В обычае, чтобы тот, кто дает взаймы, не делал об этом никаких памятных записей. В обычае, чтобы тот, кто берет деньги в долг, также не делал никаких записей и не давал в том никакой расписки, — ибо, разумеется, должник не может умереть или забыть о своем долге. В обычае ссужать первого встречного деньгами, чтобы он мог основать банк, особенно если у вас нет на это денег и вы должны сами у кого-то занять. В обычае носить при себе в кармане или в чемодане крупную сумму наличными. В обычае вручать крупную сумму наличными едва знакомому человеку (если он вас об этом попросит) для передачи третьему

лицу, живущему далеко, в другом городе. Не в обычае сделать об этом у себя какую-либо запись или пометку; не в обычае, чтобы тот, кто взял деньги для передачи третьему лицу, дал в этом какую-либо расписку; не в обычае просить его взять расписку у третьего лица, которому он должен отвезти эти деньги. Было бы по меньшей мере странно с вашей стороны сказать предполагаемому посреднику: «Вас могут обокрасть в дороге; я положу деньги в банк и почтой отправлю моему другу чек».

Превосходно. Поскольку было совершенно ясно, что показания сенатора Дилуорти есть бесспорная истина, и поскольку это скреплялось и подтверждалось его «честным словом сенатора», комиссия вывела следующее заключение: «Не доказано, что в данном случае была предложена и принята взятка». Это в известной мере оправдывало Нобла и позволяло ему ускользнуть от возмездия.

Комиссия доложила о своих выводах сенату, и это высокое собрание принялось обсуждать их. Некий сенатор, и даже несколько сенаторов заявили, что комиссия не исполнила своего долга: она не нашла за этим Ноблом никакой вины, не определила ему никакой кары! Согласиться с выводами комиссии — значит позволить ему гулять на свободе как ни в чем не бывало, да еще похвалиться своим преступлением; это значит молчаливо согласиться с тем, что любой негодяй волен оскорбить сенат Соединенных Штатов и безнаказанно посягнуть на священную репутацию его членов; дабы не уронить свое извечное достоинство, сенат просто обязан примерно наказать этого Нобла — его надо стереть с лица земли.

Затем поднялся старик сенатор и высказался в совершенно ином духе. Это был сенатор того типа, что давным-давно устарел и вышел из моды, человек, все еще копающийся в пыли прошлого и безнадежно отставший от века. Тут, как видно, произошло странное недоразумение, сказал он. Джентльмены, по-видимому, всеми силами стремятся защитить честь и достоинство сената, поддержать его престиж. Но можно ли этого достигнуть, привлекая к суду какого-то неизвестного аван-

тюриста, пытавшегося поймать сенатора на удочку и выманить у него взятку? Да разве не правильнее было бы выяснить: а не попался ли сенатор на удочку с великой охотой, не склонен ли он по своей натуре к столь позорным приемам, и если так, то не правильнее ли призвать к ответу именно его? Ведь это же совершенно ясно! И, однако, создается впечатление, что весь сенат только тем и озабочен, чтобы оградить этого сенатора и направить следствие по другому пути. Поддерживать честь сената возможно лишь одним способом: допуская в его среду одних только честных и достойных людей. Если данный сенатор не устоял перед искушением и предложил кому-то взятку, значит он запятнал себя, и его следует немедленно изгнать. Вот почему оратор желает, чтобы указанного сенатора призвали к ответу — и не ограничились бы жалкими словами, как это делается обычно, но отнеслись к делу со всей серьезностью. Оратор желал бы знать всю правду о случившемся. Он лично ни минуты не сомневается в том, что вина сенатора Дилуорти уже установлена со всей очевидностью; и, по его мнению, смотреть на это дело сквозь пальцы и уклоняться от серьезного расследования — постыдная трусость со стороны сената. Поневоле подумаешь: ведь если сенат готов и далее терпеть такого человека в своей среде, стало быть он и сам таков и не считает себя обесчещенным присутствием подобной личности в стенах Капитолия. Оратор настаивает на строжайшей проверке дела сенатора Дилуорти, и, если нужно, пусть расследование продолжается вплоть до предстоящей внеочередной сессии. Нельзя уклоняться от таких вещей под неуклюжим предлогом недостатка времени.

Отвечая ему, некий distinguished сенатор заявил, что, по его мнению, не худо бы покончить с этим делом и утвердить доклад комиссии. Чем больше эту штуку ворошить, заметил он не без остроумия, тем хуже она пахнет. По правде сказать, он тоже нимало не сомневается в виновности сенатора Дилуорти, — ну а дальше что? Разве это такой уж из ряда вон выходящий случай? Что касается оратора, то, даже допуская виновность Дилуорти, он не думает, чтобы его присутствие

в течение нескольких дней, оставшихся до конца сессии, было до такой степени опасно для окружающих. Эта шуточка была принята восторженно, хотя и не отличалась новизной: ее отпустил днем или двумя раньше в палате генерал, представитель от штата Массачусетс, в связи с предполагавшимся исключением одного конгрессмена, который за деньги продал свой голос.

Сенат признал, что, если сенатор Дилуорти и посидит еще несколько дней на заседаниях, зараза не распространится, а потому утвердил доклад комиссии и предал это пустячное дело забвению.

Мистер Дилуорти занимал свое кресло до последней минуты сессии. Он облечен доверием своего народа, сказал он, и не обманет этого доверия! Он останется на своем посту и, если надо, на посту и погибнет!

В последний раз он высказался и проголосовал за хитроумное предложение, выдвинутое представителем Массачусетса: в силу этого предложения жалованье президента удваивалось, а каждому конгрессмену выплачивалось дополнительно по несколько тысяч долларов за работу, выполненную ранее на определенных условиях, согласно которым она уже однажды была оплачена.

По возвращении в родные края сенатор Дилуорти был встречен бурной овацией; его друзья заявили, что гонения и преследования, которым он подвергался, нимало не уменьшили их любви и доверия к нему — для них он все равно хорош¹.

¹ Семь тысяч долларов, переданные мистером Ноблом в законодательное собрание штата, были сданы на хранение до тех пор, пока их не востребует законный владелец. Сенатор Дилуорти сделал однажды попытку через своего protégé — начинающего банкира — получить их, но, поскольку не существовало никаких записей и документов, подтверждающих право последнего на эти деньги, попытка сорвалась. А отсюда мораль: когда ссужаешь кого-нибудь деньгами, чтобы он мог основать банк, непременно бери с него расписку. (*Прим. авторов.*)

ဟာၤန့ၣ်လၢၤဒုၤဖျါၣ်တၢ်လၢၤ

Ow holan whath ythew prowte
kynthoma ogas marowe².

Уже несколько дней Лора вновь была свободна. Первые два-три дня это было торжество, ликование, поздравления со всех сторон, счастливое, лучезарное утро после долгой ночи беспросветного отчаяния. В следующие два-три дня волнение постепенно стихало — после пронесшейся бури смирился прибой, улеглись грозные валы и только чуть шелестит волна, набегая на берег; понемногу утих ревущий ураган, и только веет легкий, мирный ветерок. Эти дни Лора провела в одиночестве и размышлении, отдыхая душой и стараясь постичь и поверить, что и в самом деле навсегда покончено с затворами и решетками, с ужасом тюрьмы и надвигающейся казни. Потом настал день, когда час за часом медленной чередой проходили перед нею последние обрывки тягостных воспоминаний, последние тени столь недавней поры, — и к исходу этого дня

² Пусть смерть близка,

Но сердце не смирилось (корнуэльск.).

прошлое осталось позади, точно берег, исчезающий в тумане, и она обратила взор вперед, к широко раскинувшемуся океану грядущего. Вот как быстро относим мы покойника на кладбище и, возвратясь оттуда, готовы снова бодро шагать по дороге жизни!

И опять поднялось солнце, озаряя утро первого дня, который Лора приняла как начало новой жизни.

Прошлое скрылось за горизонтом и больше не существовало для нее; она покончила с ним раз и навсегда. Глазами, полными тревоги, смотрит она в нехоженные просторы грядущего. Надо начинать жизнь заново — и это в двадцать восемь лет! А с чего начать? Перед нею лежит чистая страница и ждет первой записи. Да, это поистине знаменательный день.

Шаг за шагом вновь прошла она мысленно свой жизненный путь. Оглянешься назад — и, насколько хватает глаз, виднеются поросшие плющом и мхом руины — все, что осталось от гордых колонн и позолоты, от пышных воздушных замков, воздвигнутых ее тщеславием; каждый придорожный камень — знак катастрофы; нигде в этой пустыне память не находит зеленого оазиса, где надежда принесла бы плоды; жестокосердая земля не отзывается, ни единым цветком не свидетельствует она, что этой дорогой прошел счастливый путник.

Жизнь не удалась. Это ясно. И довольно об этом. Она хочет посмотреть в лицо завтрашнему дню; она сама проложит на карте жизни свой маршрут и будет следовать ему, не сворачивая. Нет, она не свернет, наперекор всему, — и пусть ее ждут скалы и мели, буря и штиль, и в конце — спокойная мирная гавань или крушение. Будь что будет, но она наметит себе путь — теперь, сегодня же — и пойдет по нему до конца.

На столе у нее лежало шесть или семь писем. Они были от поклонников, от людей, чьи имена знала вся страна; их преданности не убил даже суд, разоблачивший перед всем светом не слишком привлекательные стороны ее характера. Эти люди знали теперь, какова она на самом деле, и все же умоляли, как о самом большом счастье, позволить им назвать убийцу своей женой.

Она читала эти страстные, полные обожания и мольбы письма, и в ней заговорила женщина: о, если бы склониться головой на чью-то верную, преданную грудь и обрести покой после грозной битвы жизни, утешение от всех горестей, обрести любовь, которая исцелит ее израненное сердце!

Лора оперлась лбом на руку и думала, думала, не замечая уносящихся в вечность мгновений. Стояло утро, какие бывают ранней весной, когда природа едва начинает пробуждаться после долгого, изнурительного оцепенения; когда первый душистый ветерок пронесится в воздухе, по секрету нашептывая, что близится в мире чудесная перемена; когда бурая, измятая трава, лишь недавно освободившаяся из-под снега, словно раздумывает — стоит ли труда вновь хлопотать о зеленом уборе лишь затем, чтобы сызнова вступить в неизбежную борьбу с безжалостной зимой и потерпеть поражение, и вновь быть погребенной под снегом; когда сияет солнце и только редкая пичуга отважится первой защебетать полузабытую песню; когда самый воздух странно тих и насторожен и все словно замерло в ожидании. В эту пору грустишь и тоскуешь, сам не зная почему; и кажется, что прошлое безотраднo, как пустыня, над которой пронесся ураган, в настоящем все — тщета и уныние, а грядущий день только приближает смерть. В эту пору душа полна смутного томления — и либо мечтаешь бежать куда-то в далекие моря, на безлюдные тихие острова, либо опускаешь руки и говоришь: «Что толку в этой борьбе, в отчаянных усилиях и душевных муках? С меня довольно!»

Вот куда завели Лору раздумья над письмами поклонников. Наконец она подняла голову и с удивлением заметила, что время уже позднее. Она отложила письма, встала и подошла к окну. И сразу опять задумалась и стояла, глядя в пустоту невидящими глазами.

Вскоре она обернулась; лицо ее просветлело, на нем не осталось и следа мечтательности или сомнений: вскинутая голова, твердо сжатые губы — все свидетельствовало о том, что решение принято. Лора подошла к

столу; она вновь обрела былую горделивую осанку, бывшее высокомерие сквозило в каждой черточке ее лица. Она брала письмо за письмом, подносила к каждому по очереди зажженную спичку и смотрела, как они медленно обращаются в пепел. Потом сказала:

— Я высадила на незнакомом берегу и сожгла свои корабли. Эти письма были последним, что еще как-то связывало меня с моей прежней жизнью. Отныне та, прошлая жизнь и все, что в ней было, так мертво для меня, так далеко и чуждо, как будто я переселилась в другой мир.

Любовь не для меня, сказала она себе, прошло и не вернется то время, когда мне только любви и нужно было. С этим покончено, и больше ничего такого быть не может. Что за любовь без уважения! Я только презирала бы мужчину, который любил бы такую, как я. Да, конечно, женщине жить без любви — как рыбе без воды; но раз уж я потеряла право на любовь, лишь одно может придать хоть немного вкуса пустой, напрасну загубленной жизни: слава, поклонение, восторги толпы.

Итак, решение принято. Она обратится к последнему прибежищу разочарованных женщин — лекторской трибуне. В лучшем своем наряде, сверкая драгоценностями, она будет стоять перед многолюдной аудиторией, ослепительная и неприступная; она заморозит слушателей своим красноречием, поразит надменной красотой. Она будет переезжать из города в город, точно сказочная королева, — восторженные толпы провожают ее, а впереди уже с нетерпением ждут новые толпы! Каждый день, выходя на эстраду, она один короткий час будет жить в восхитительном опьянении... а когда занавес опустится и огни погаснут, когда все разойдутся по своим насиженным гнездам и забудут о ней, она погрузится в сон и не вспомнит, что сама она — бездомная кукушка; а если не придет спасительный сон — что ж, она мужественно встретит одинокую долгую ночь и будет ждать, чтоб пришел новый день и с ним — новый час блаженства.

Итак, вернуться к жизни и начать все сначала не так уж трудно. Она ясно видит свой путь. Она будет

отважной и сильной, она еще возьмет от жизни все, что можно.

Лора послала за устроителем публичных лекций мистером Гриллером, и они быстро обо всем договорились.

И вот опять ее имя мелькает во всех газетах, горит яркими красками рекламы на всех стенах. Газеты осыпают ее проклятиями и самой беспощадной бранью: как видно, ни капли стыда, ни малейшего сознания приличий не осталось в этой убийце, наглой героине кулуаров, в этой бессердечной соблазнительнице слабых, заблуждающихся мужчин! Газеты умоляют добропорядочных граждан: ради ваших непорочных жен и невинных дочерей, во имя благопристойности и нравственной чистоты дайте этому погибшему созданию решительную отповедь! Пусть раз и навсегда поймут она и ей подобные, что им больше не позволят мерзостным поведением и дерзкими речами бросать вызов человечеству: всему есть предел! Иные газеты были еще изобретательней, они не ругали и не поносили ее, но их неизменные иронические похвалы и насмешливое восхищение уязвляли куда сильнее и были для Лоры самой жестокой, изощренной пыткой. Все и каждый толковали и спорили о новоявленном чудо-лекторе, о том, какова будет тема ее предполагаемых лекций и как она справится со своей задачей.

Немногие еще оставшиеся у Лоры друзья написали ей или даже сами пришли умолять, чтобы она, пока не поздно, отказалась от своей затеи, ибо иначе неминуемо разразится гроза. Но все уговоры были напрасны. Нападки газет задели ее за живое, ее честолюбие взыграло, и теперь она рвалась в бой. Она была полна решимости как никогда. Пусть все видят, на что способна женщина, когда ее травят и преследуют!

Наступил знаменательный день. За пять минут до урочного часа Лора в закрытом экипаже подъехала к зданию, где находился огромный лекционный зал. Когда она вышла из кареты, сердце ее забилося быстрее и глаза вспыхнули торжеством: улица была полна народом, Лора с трудом пробралась к дверям! Наконец она оказалась в комнате за сценой, сбросила накидку

и подошла к зеркалу. Она осмотрела себя со всех сторон — все хорошо, ее наряд безупречен. Она пригладила волосы, поправила брошь, браслет, и все время в ее сердце пела радость, а лицо так и сияло. Кажется, целую вечность не была она так счастлива! Нет, нет, никогда в жизни она не была так счастлива, так благодарна судьбе... В дверях показался мистер Гриллер. Она махнула рукой, отгоняя его, как докучную муху.

— Не мешайте мне, — сказала она. — Я не хочу, чтобы вы меня представляли слушателям. И не бойтесь, ровно в восемь я буду на месте.

Он послушно исчез. Лора не сводила глаз со своих часов. Нетерпение снесало ее, казалось секундная стрелка тащится по кругу не быстрее черепахи. Наконец настало решающее мгновение, и Лора, высоко держа голову, царственной походкой вышла на сцену. Взору ее представилась...

...ярко освещенная зияющая пустота — во всем огромном зале не было и сорока человек! Лишь кое-где на скамьях попарно и в одиночку сидели, развалиясь, какие-то грубые, неотесанные мужчины да десять — двенадцать еще более грубых женщин.

Сердце Лоры замерло, ноги подкосились, сияющее лицо померкло. Прошла минута тишины — и вдруг все эти люди загоготали, замяукали, засвистали ей навстречу. Шум и гам нарастал, оглушая Лору, ей в лицо выкрикивали гнусные оскорбления. Какой-то подвыпивший субъект поднялся на ноги и швырнул в нее чем-то; он промахнулся, но «снаряд» забрызгал стоявший рядом стул, и это вызвало взрыв хохота и общее бурное одобрение. Лора была ошеломлена, силы изменяли ей. Шатаясь, она добралась до выхода и в комнате за сценой почти упала на диван. Вбежал Гриллер и готов был кинуться к ней с расспросами, но она протянула руки, и слезы брызнули у нее из глаз.

— Ни слова! — взмолилась она. — Увезите меня, ради бога, увезите меня из этого ужасного места! всю жизнь так — неудачи, разочарования, несчастья... вечно несчастья, вечно неудачи! Что я сделала, за что судьба меня так преследует! Увезите меня отсюда, умоляю, заклинаю вас!

На улице ее сразу затолкали, толпа бурлила и выкрикивала грубые ругательства, потом с улюлюканьем и ревом хлынула за каретой; со всех сторон неслись насмешки, брань, некоторые даже швыряли вслед чем попало. Камень с треском пролетел сквозь спущенную шторку и ударил Лору в лоб; ее так сильно оглушило, что она уже ничего больше не сознавала и не помнила, как кончилось это паническое бегство.

Много времени прошло, пока она наконец очнулась и увидела, что она у себя в гостиной, лежит на полу подле дивана, а кругом ни души. «Наверно, я дошла до дивана и села, а уж потом упала без чувств», — подумала Лора. Она поднялась с трудом; в комнате было холодно, руки и ноги у нее совсем застыли. Она зажгла газовый рожок и поискала глазами зеркало. Оно отразило неузнаваемое, чужое лицо — старое, измученное, все в крови. Стояла уже глубокая ночь, вокруг была мертвая тишина. Лора села, облокотилась на стол и закрыла лицо руками.

Опять ей вспомнилось прошлое, и она залилась слезами. Ее гордость была сломлена, и мужество покинуло ее. Памяти не на чем было отдохнуть, — лишь к отрочеству она вернулась с нежностью и сожалением; она медлила расстаться с этими годами, с единственной короткой порой, когда над нею не тяготело проклятие. Опять Лора видела себя двенадцатилетней девочкой, в первом нежном очаровании едва распускающегося цветка; она так любила ленты, любила наряжаться изящно и со вкусом, так дружила с пчелами и мотыльками и сама походила на веселую яркую бабочку; она верила в сказочных фей, вела таинственные беседы с полевыми цветами, хлопотала с утра до ночи, поглощенная милыми пустяками, для нее куда более важными, нежели все великие дела, над которыми ломают голову императоры и дипломаты. Тогда она была чиста и безгрешна и не знала, что такое горе; мир был полон солнца, а сердце ее — полно песен. Такою она была — и вот что с ней случилось!

— Если бы мне умереть! — сказала Лора вслух. — Если б вернуться назад, хоть на час снова стать той прежней девочкой, взять за руку отца, увидеть вокруг

родные лица, как тогда, в далекие светлые дни... а потом умереть! Боже, я смирилась, во мне нет больше гордыни, упрямое сердце мое исполнено раскаяния, — сжался надо мной!

Раннее весеннее утро, заглянув в комнату, осветило неподвижную фигуру: она по-прежнему сидела облокотясь на стол, скрывая лицо в ладонях. Проходили часы, солнце озаряло дорогой наряд, сверкало в драгоценных камнях; настали сумерки, потом в небе зажглись звезды, но она все не шевелилась; луна застала ее на том же месте, окружила, как рамой, тенью оконного переплета, залила потоком медвяных лучей; наконец тьма поглотила ее, а потом ее увидел новый тусклый рассвет; часы шли, близился полдень, и все еще ничто не нарушало неподвижности и тишины.

Но вот хозяева гостиницы забеспокоились; сколько ни стучали — ответа не было, и тогда решились взломать дверь.

Следствие установило, что смерть последовала от болезни сердца, мгновенно и без мучений. Вот и все. То была просто болезнь сердца.

ВАШИНГТОН ХОКИНС НАЧИНАЕТ НОВУЮ ЖИЗНЬ

Han ager ikke ilde som veed at vende¹.

Wanna unyanpi kta. Niye de kta he?

Iapi Oaye, vol. I, no. 7².

С годами Клай Хокинс после долгой борьбы поддался беспокойному духу нашего века и нашего народа, столь предприимчивого и легкого на подъем, и постепенно, в интересах своей торговли, забирался все дальше на Запад. В конце концов уже в Австралии он решил оставить бродячую жизнь, осесть в Мельбурне — и стал солидным, степенным и весьма преуспевающим коммерсантом. Но его жизнь остается за пределами нашей повести.

На деньги, которые посылал Клай, и существовали Хокинсы после смерти отца и до недавнего времени, когда Лора, столь успешно подвизавшаяся в столице, смогла взять на себя долю заботы о семье. Когда начались ее злоключения, Клай как раз уехал куда-то на восток, на далекие острова, где тщетно пытался привести в порядок кое-какие дела, расстроенные обма-

¹ Тот возница хорош, который умеет поворачивать (*датск*).

² Итак, в путь! Готовы ли вы? — «И а п и О а й и», т. I, № 7. (*На языке индейцев сиу (дакота).*)

пущим его агентом, и потому ничего не знал об убийстве Селби, пока, вернувшись, не прочел ожидавшие его письма и газеты. Первым его побуждением было сейчас же ехать в Америку и, если возможно, спасти сестру, ведь он так верно и нежно ее любил. Дела его были настолько расстроены, что уехать и оставить их без хозяйского глаза значило бы разориться окончательно; поэтому он распродал все в убыток и, немало потеряв на этом, пустился в дальний путь до Сан-Франциско. Приехав туда, он понял из газет, что суд над Лорой подходит к концу. В Солт-Лейк-Сити последние телеграммы сообщили о ее оправдании; Клай был безмерно благодарен судьбе, радостное волнение не давало ему уснуть, как в предыдущие недели не давала спать тревога. Теперь он направился прямо в Хоукай, и встреча его с матерью, с братьями и сестрами была веселой и безоблачной, хоть он и пробыл вдалеке от них так долго, что казался чуть ли не чужим в родном доме.

Но едва они успели расцеловаться и поздравить друг друга с благополучным окончанием процесса, как газеты разнесли по всей стране весть о жалком конце Лоры. Этот последний удар сразил миссис Хокинс, и счастье, что рядом был Клай, который утешал ее как мог и взял на себя все труды и заботы главы семьи.

Вашингтону Хокинсу не так давно минуло тридцать лет, он вступил в тот возраст, когда мужчина достигает расцвета сил, который мы называем зрелостью, но короткое пребывание в столице раньше времени составило его. Когда началась последняя сессия конгресса, в волосах Вашингтона появилась первая седина; она стала заметней с того дня, как Лору объявили убийцей; все больше и больше седел он в пору последующего томительного ожидания, затем — после крушения всех своих надежд, когда провалился законопроект в сенате и рухнула его верная опора — Дилуорти. А спустя несколько дней, когда он с непокрытой головой стоял над могилой и слушал панихиду по Лоре, волосы его были еще белей и лицо вряд ли моложе, чем у старика священника, отпевавшего ее.

Неделю спустя он сидел с полковником Селлерсом в номере на двоих, который они снимали теперь в дешевых меблированных комнатах в Вашингтоне. Полковник Селлерс, особенно в беседах с посторонними, именовав жалкую дыру, где они ютились, то «резиденцией», то «апартаментами». Новенький чемодан в парусиновом чехле, помеченном буквами Дж. В. Х., стоял у двери, перетянутый ремнями и готовый в дорогу; на нем лежала сафьяновая дорожная сумка с теми же инициалами. По соседству стоял другой чемодан — какая-то музейная древность, обтянутая телячьей кожей, потертая и исцарапанная; на крышке медными гвоздиками были набиты буквы Б. и С.; сверху лежали переметные сумы, которые, обладая они даром речи, должно быть многое могли бы порассказать из истории Америки за последние сто лет. Вашингтон поднялся, начал беспокойно шагать из угла в угол, потом хотел сесть на старый чемодан.

— Постой, что ты делаешь! — воскликнул полковник. — Ну вот, так-то лучше, для этого есть стул. Другого такого чемодана мне не достать. Я думаю, такого больше не сыщешь во всей Америке.

— Это, пожалуй, верно, — согласился Вашингтон, пытаюсь улыбнуться.

— Еще бы! Мастера, который сделал и его и эти сумы, уже нет на свете.

— А правнуки его еще живы? — Слова были шутливые, но голос Вашингтона звучал устало и невесело.

— Ну, не знаю, об этом я не задумывался... Но все равно, если и живы, им не сделать такого чемодана; никто этого не сумеет, — с простодушной убежденностью сказал полковник Селлерс. — Жена не любит, когда я беру с собой в дорогу этот чемодан, она всегда говорит, что его непременно украдут.

— Почему?

— Как это почему? Да ведь чемоданы всегда крадут!

— Ну, не всякие же.

— Такие уж конечно крадут. Это не простой чемодан, это большая редкость.

— Охотно верю.

— Так почему бы вору не стащить его, если под-вернется случай?

— Право, не знаю. А зачем?

— Послушай, Вашингтон, я сроду не слыхал ничего подобного. О чем ты тут толкуешь? Ты только вообрази: ты — вор, под боком лежит вот этот самый чемодан, и никто за ним не смотрит, — неужели же ты его не стащишь! Нет, ты только скажи — неужели ты бы его не украл?

— Н-ну, раз уж вы меня приперли к стене... не знаю, может быть я его и взял бы, но какое же это воровство?

— То есть как? Ты меня просто поражаешь! Что же тогда называется воровством?

— Когда присваивают чужое имущество.

— Имущество! Непонятно ты разговариваешь. Как по-твоему, что стоит этот чемодан?

— А он в хорошем состоянии?

— В превосходном. Только волос немного повь-терся, а так он совсем крепкий.

— И нигде не протекает?

— Протекает? Что ты хочешь сказать? Ты же не собираешься носить в нем воду?

— Ну а... а вещи не вываливаются из него, когда... когда он стоит на месте?

— Черт побери, Вашингтон, да ты надо мной смеешься! Что на тебя сегодня нашло, не понимаю? Очень странно ты себя ведешь. Что с тобой, скажи на милость?

— Сейчас все объясню, старый друг. Я почти счастлив. Да, счастлив. Я совсем не потому так быстро собрался и хочу ехать с вами, что пришла телеграмма от Клая. Я получил письмо от Луизы.

— Вот это хорошо! А что она пишет?

— Чтобы я скорей возвращался. Ее отец наконец-то дал согласие.

— Поздравляю, сынок! Руку! На всякую улицу приходит праздник, или как, бишь, там говорит пословица. Благодарение богу, Бирайя Селлерс еще увидит тебя счастливым человеком!

— Будем надеяться. Генерал Босуэл почти разорен. Когда строили железную дорогу до Хоукая, он пострадал не меньше других. Теперь он уже не так возражает против зятя-бедняка.

— То есть как это бедняка? Да ведь земля в Теннесси...

— Забудьте про землю в Теннесси, полковник. Я на ней поставил крест окончательно и бесповоротно.

— Да нет же! Неужели ты хочешь сказать...

— Много лет тому назад мой отец купил эту землю, желая оставить ее как благословение своим детям, и она...

— Ну конечно! Сай Хоккинс мне говорил...

— ...и она оказалась проклятием всей его жизни, и никогда никто не оставлял в наследство своим детям более тяжкого проклятия...

— Надо признать, в этом есть доля правды...

— Проклятие пало на меня, когда я был еще ребенком, и преследовало меня всю жизнь, каждый час, вплоть до нынешнего дня...

— О господи, а ведь верно! Сколько раз моя жена говорила...

— Я рос в уверенности, что нас ждет богатство, и никогда не пытался трудом зарабатывать свой хлеб.

— И это верно... но ведь ты...

— Годами я гонялся за этим богатством, как дети гоняются за бабочкой. Все мы давно жили бы в достатке, все эти ужасные годы мы были бы счастливы, если бы с самого начала поняли, что мы бедны, и стали работать, и трудились бы упорно, в поте лица, собственными руками создавая свое счастье.

— Да, да, правда! Видит бог, сотни раз я повторял Саю Хоккинсу...

— А вместо этого мы страдали и мучились хуже, чем грешники в аду! Я любил отца, я чту его память и не сомневаюсь в его добрых намерениях, но мне горько, что он так ошибался: желая осчастливить своих детей, он избрал неверный путь. Теперь я начну жизнь сначала. Хорошая, добросовестная, честная работа — вот с чего я начну и чем кончу! Уж я-то своим детям не оставлю в наследство никакой земли в Теннесси!

— Слова, достойные мужчины, сэр, достойные настоящего мужчины! Руку, сынок! И помни, если тебе понадобится совет Бирайи Селлерса, он всегда к твоим услугам. Я тоже намерен начать все сначала!

— Вот как?

— Да, сэр. Я повидал достаточно, чтоб понять, в чем моя ошибка. Адвокатура — вот мое призвание. Завтра же принимаюсь изучать право. Батюшки мои, что за человек этот Брэхем! Замечательный человек, сэр! Вот это голова! А как держится! Но от меня не укрылось, что он мне завидовал. Меткие удары, которые я нанес в своей речи к присяжным...

— В какой речи? Вы же просто были свидетелем.

— Да, для профанов, конечно, — профаны видели во мне только свидетеля. Но я-то знал, когда я просто даю кое-какие сведения, а когда хитро и обдуманно наносу удар суду. И уж поверь, они тоже это знали, мои доводы были неотразимы, и они всякий раз им поддавались! И Брэхем тоже это понимал. Я улучил минуту и без шума напомнил ему, что моя речь принесла свои плоды, и он шепнул мне на ухо: «Вы выиграли дело, полковник, это ваша заслуга, сэр; но ради меня — ни слова об этом!» А потом говорит: «Вот что я вам скажу, полковник Селлерс, вам надо заняться адвокатурой, сэр, это ваша стихия». И твой покорный слуга теперь займется адвокатурой. Это же золотое дно! У меня будет практика в Хоукае, потом в Джефферсоне, потом в Сент-Луисе, потом в Нью-Йорке! В столице всего западного мира! Взбираемся все выше, выше и достигаем кресла в Верховном суде. Бирайя Селлерс — председатель Верховного суда Соединенных Штатов, сэр! Человек с положением на веки веков! Вот как примерно я себе это представляю, сэр, — и это ясно, как день, как ясное солнышко!

Вашингтон почти не слушал. При первом же намеке на процесс Лоры лицо у него опять стало унылое, и он глубоко задумался, стоя у окна и устремив куда-то в пространство невидящий взгляд.

В дверь постучали, почтальон подал письмо. Оно было из Обэдстауна, Восточный Теннесси, и адресовано Вашингтону Хокинсу. Вашингтон вскрыл конверт.

В немногих строках его уведомляли, что ему следует уплатить за текущий год налог на семьдесят пять тысяч акров земельных угодий, принадлежавших покойному Сайласу Хокинсу в Теннесси; деньги должны быть внесены не позднее чем через два месяца, в противном случае, как это предусмотрено законом, земля будет продана с аукциона в уплату налога. При этом был приложен счет на сто восемьдесят долларов, — за землю в Теннесси не удалось бы, пожалуй, выручить и половины этой суммы.

Вашингтон стоял в нерешимости. Самые противоречивые мысли мелькали, сменяя одна другую. По старой привычке, хотелось еще немного дольше сохранить за собою эту землю, не упускать ее, в последний раз попытать счастья. Как в лихорадке, он метался по комнате, раздираемый сомнениями. Потом остановился, вынул бумажник и пересчитал деньги. Двести тридцать долларов — вот и все, больше у него нет ни гроша.

«Сто восемьдесят из двухсот тридцати... — соображал он. — Остается пятьдесят... только и хватит, чтобы добраться до дому... Платить или не платить?.. Хоть бы кто-нибудь решил это за меня!»

Он все еще держал в руке раскрытый бумажник, в бумажнике лежал маленький конверт — письмо Луизы. Взгляд Вашингтона упал на письмо, и он решил.

— Пусть эта земля пойдет с молотка в уплату налога, — сказал он, — и пусть она никогда больше не вводит в соблазн меня и моих близких!

Он распахнул окно, порвал счет в клочки, и их подхватило ветерком; Вашингтон смотрел вслед, пока все они до единого не скрылись из виду.

— Чары разрушены! — сказал он. — Всю жизнь над нами тяготело проклятие, но теперь ему конец! Едем!

Подъехал фургон; пять минут спустя, погрузив в него багаж и усевшись на чемоданы, два друга уже катили в этом тряском экипаже на вокзал; полковник всю дорогу пытался петь «В родную гавань мы плывем», — слова этой песни он знал хорошо, но мелодия в его исполнении была жестоким испытанием для слушателей.

СЧАСТЬЕ ЕЩЕ УЛЫБНЕТСЯ. НЕЖДАНАЯ РАДОСТЬ

Gedi kanadiben tsannawa¹.

La xalog, la xamaih mi-x-ul nu qiza
u quial gih, u quial agabi.

«Rabinal-Achi»².

Дела Филиппа Стерлинга шли все хуже и хуже. Будущее представлялось ему в самом мрачном свете. Слишком долго труды Филиппа оставались бесплодными, и мужество начало ему изменять; а главное, надежда на успех угасала с каждым днем — это было совершенно ясно. Туннель углубился далеко в гору и уже миновал то место, где, по всем расчетам, должен бы залегать угольный пласт, если он вообще там есть. И теперь с каждым новым футом туннель, кажется, уводит его все дальше от цели.

В иные минуты Филипп тешил себя надеждой, что он ошибся, определяя угол, под которым пласт, пересекавший долину, должен врезаться в гору. Тогда он отправлялся в ближайшую шахту, еще раз доставал карту месторождения, заново определял возможное направление пласта — и всякий раз убеждался, что его

¹ Заслуженная награда ждет терпеливого. (На языке капури.)

² Неужели напрасно, неужели без всякой пользы провел я здесь столько дней, столько ночей! — «Р а б и н а л - А ч и» (На языке киче.)

туннель уже прошел через ту точку, где он должен был пересечь пласт, и все меньше и меньше оставалось надежды. Его рабочие уже давно не верили в успех, и Филиппу нередко случалось слышать их разговоры о том, что никакого угля в этой горе не добудешь.

Десятники и рабочие соседних шахт, как и многочисленные выдавшие виды бездельники из соседней деревни, то и дело являлись в туннель, и их приговор был всегда одинаково безжалостен: «Никакого угля тут нет». Иногда Филипп принимался обдумывать все с самого начала, пытаясь понять, в чем же секрет, потом шел в туннель и расспрашивал рабочих, не появились ли признаки пласта. «Нет, — неизменно отвечали ему, — нет». Он брал с собой кусок породы, выйдя наружу тщательно его рассматривал и говорил себе: «Это известняк, он содержит лилиевидные остатки кораллов, — в этой породе должен быть уголь!» Потом со вздохом отбрасывал его: «Ничего это не значит. Там, где есть уголь, непременно залегает известняк с остатками таких окаменелостей, но из этого вовсе не следует, что там, где есть эта порода, непременно есть и уголь. Этого еще мало... Конечно, есть один признак совершенно безошибочный... Вот его-то мне и недостает».

Несколько раз за последний месяц он спрашивал себя: «Неужели я просто фантазер? Да, наверно. Все теперь гоняются за призрачным счастьем, все хотят, чтобы богатство свалилось с неба, и никто не желает наживать его в поте лица. Так не годится, нужно дать людям расчет и заняться каким-нибудь честным трудом. Нет здесь никакого угля. Какой же я был дурак! Надо с этим кончать».

Но решиться на это он не мог. За такими мыслями обычно следовало еще полчаса мучительного раздумья, потом он вставал, расправлял плечи и говорил: «А все-таки уголь здесь есть, и я не отступлюсь. Изрою всю гору, но не сдамся, пока жив!»

Филиппу и в голову не приходило попросить у Монтегю еще денег. Ведь у него теперь только один шанс из тысячи найти уголь, а потому нечестно было бы просить денег, и очень глупо поступил бы Монтегю, если бы дал их.

У Филиппа было три смены рабочих. И вот однажды, уплатив им за неделю, он убедился, что денег у него больше нет. Он не мог позволить себе влезть в долги и дал людям расчет. Немного погодя они явились к нему в хижину, где он сидел как воплощенное отчаяние, подперев голову руками и упершись локтями в колени. Один из рабочих выступил вперед.

— Мистер Стерлинг, — сказал он. — Когда Тим повернул ногу и провалялся целую неделю, вы платили ему половину жалованья, и это здорово поддержало его семью. И вообще, когда кому из нас приходилось туго, вы всегда помогали чем могли. Вы поступали с нами по справедливости, а мы тоже люди и сразу видим настоящего человека. От этой горы мы толку не ждем, но когда в человеке столько упорства, это мы уважаем. Уж, кажется, всё против вас, — а вы, знай, гнете свое. Черт меня подери, да неужто мы не остались бы с вами до самого конца, будь у нас хоть какой-нибудь харч! Так все ребята говорят. Вот мы и решили напоследок еще попытать счастья. Поработаем еще три дня; если ничего не найдем, не спросим с вас никакой платы. Вот это мы и пришли сказать.

Филипп был тронут. Будь у него деньги на «харч» на три дня, он принял бы это великодушное предложение, но теперь он, конечно, не мог уступить им в благородстве и мужественно отказался. Потом он всем им пожал руки и, оставшись один, вновь предался безрадостным думам. А рабочие все же отправились в туннель и «попытали счастья напоследок». Они проработали целый день; потом заглянули к Филиппу попрощаться и ушли, так и не сумев ничем его порадовать.

Назавтра Филипп продал все инструменты, оставив себе только два-три комплекта; кроме того, он продал на слом одну из опустевших теперь хижин вместе со всей домашней утварью; на эти гроши можно купить еды и продолжать работу в одиночку. В конце дня, одевшись похуже, он отправился в туннель. Там он зажег свечу и стал ощупью продвигаться вперед. Странное дело: из глубины слышится стук кирки или бура... а вот и огонек блеснул... Да это Тим!

— Я нанялся на «Золотой вереск», — сказал ему

Тим, — дней через десять мне приступать, а пока поработаю здесь. Надо же что-нибудь делать, и потом я вам должен — вы ведь мне давали деньги, когда я хворал.

— Ничего вы мне не должны, — сказал Филипп.

Но Тим стоял на своем.

— Ну, вот что, — сказал Филипп, — у меня есть немного еды. Будем работать, пока она не кончится.

Со следующего дня Филипп работал буром, а Тим киркой. Вначале Филиппу не терпелось увидеть результат каждого взрыва: не успеет дым рассеяться, а он уже тут как тут. Но всякий раз перед ним была все та же пустая порода, и под конец он уже почти равнодушно ждал взрыва и мало интересовался результатом. Он просто из упрямства продолжал тянуть свою лямку, не надеясь больше на успех.

Тим оставался с ним до тех пор, пока не пришло время ему уходить на «Золотой вереск», и тщетность их трудов удручала его, кажется, не меньше, чем Филиппа. Когда он ушел, Филипп продолжал сражаться с судьбой в одиночку; он работал изо дня в день, но дело шло медленно, и порой ему казалось, что он не подвигается ни на шаг.

Однажды под вечер он кончил бурить шпур, над которым трудился уже больше двух часов; он очистил его, засыпал порох и вставил запал, потом заполнил шпур землей и мелким щебнем, как следует утрамбовал все это, поднес к запалу свечу и побежал. Вскоре раздался глухой взрыв, и Филипп машинально повернул было назад, чтобы посмотреть, что получилось, но вдруг остановился в раздумье.

«Бесполезно, — сказал он себе. — Это просто смешно. Ну, найду я уголь... опять какой-нибудь жалкий пропласток, от которого все равно толку никакого...»

Он уже шел к выходу из туннеля.

«Я побежден, — думал он. — Ни денег, ни припасов... Ничего не поделаешь, надо бросить все это... Столько напрасного труда! Но нет, я не побежден! Я заработаю еще денег, вернусь сюда — и тогда посмотрим, чья возьмет! Да, но на это могут уйти годы, долгие годы...»

Выйдя из туннеля, он сбросил куртку, опустил на камень и долго смотрел на заходящее солнце, на порос-

шие лесом горные хребты, словно катящиеся волна за волной в расплавленное золото заката.

Что-то происходило у самых его ног, но он этого не замечал. Он глубоко задумался, и думы его становились все мрачнее. Потом он поднялся, бросил взгляд на далекую долину, и мысли его приняли новый оборот.

«Чудесный край! Как там хорошо! Но там, внизу, совсем не то, что здесь. Ну что ж, пойду домой укладываться — больше делать нечего».

И Филипп медленно пошел к своей хижине. На полпути он вспомнил о куртке, хотел было вернуться, но тут же улыбнулся и зашагал дальше — такое старье вряд ли понадобится ему в цивилизованном обществе. Пройдя еще немного, он вспомнил, что в кармане остались нужные бумаги, и, с досадой махнув рукой, повернул обратно, нашел куртку и надел ее.

Пройдя шагов десять, он вдруг остановился как вкопанный. Мгновенье он так и стоял, как бы пытаясь поверить чему-то и не смея. Потом потрогал рукой плечо, спину — и обмер. Лихорадочно схватился за полу куртки и весь задрожал. Он сорвал с себя куртку, быстро глянул на нее, швырнул в сторону и кинулся назад к штольне. Отыскал то место на земле, где прежде лежала куртка; пришлось низко нагнуться — в сумерках трудно было что-нибудь разглядеть; потом, чтобы окончательно убедиться, приложил руку к земле — и на пальцы его набежала струйка воды.

— Господи! Наконец-то!

Он зажег свечу и побежал в штольню. Там он подобрал кусок породы, выброшенный последним взрывом.

— Вот этой-то глины мне и надо было! Где она, там и уголь!

С великим усердием Филипп работал киркой еще долго после того, как совсем стемнело, и когда наконец побрел домой, он твердо знал, что он — обладатель угольного пласта, самого настоящего, мощностью в семь футов.

На шатком столе в своей хижине он увидел желтый конверт, в каких доставляют телеграммы. Филипп вскрыл его, прочитал телеграмму, скомкал и бросил на пол.

В телеграмме стояло:

«Руфь тяжело больна».

РУФЬ ВЫЗДОРАВЛИВАЕТ. ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Alaila pomaikai kaua, ola na iwi iloko
o ko kaua mau ia elemakule.¹

•••••
σ : ρ : λ α λ ρ ρ²

Вечером Филипп пришел на Илионский вокзал. Весть о его удаче опередила его, и, пока он ждал поезда, его окружила толпа любопытных; градом сыпались вопросы. Счастливец, этакое богатство! Уж теперь-то сомневаться нечего!

Как только Филиппу повезло, он сразу оказался важной персоной, речи его имели глубокий смысл и каждый взгляд был исполнен значения. Ведь слово владельца богатых угольных копей ценится на вес золота, и самую пустую его фразу люди повторяют как откровение.

Филиппу хотелось остаться одному. Его удача казалась ему в эту минуту просто насмешкой, злой шуткой судьбы, которая предлагает роскошные яства че-

¹ Тогда мы оба будем счастливы и наши дети будут покоить нашу старость (*гавайск.*).

² И будет он тебе в старости утешением и опорой (*сирийск.*).

ловеку, лишенному аппетита. Ведь он стремился к успеху прежде всего ради Руфи, а теперь, в час его торжества, она, может быть, умирает.

— Все в точности, как я ковориль, мистер Стерлинг, — твердил Филиппу владелец плионской гостиницы. — Я ковориль Джейку Смиту: уш этот-то своего добьется, провалиться мне на этом месте.

— Вам бы надо было войти в долю, мистер Дузенгеймер, — отвечал Филипп.

— Ваша правда, я и сам оп этом потумываль. Да все моя старуха: коворит, не лезь, не твоя сабота. Ну, я и не полез. И остался на бобах. А как мистер Прайерли, он разве сюта польше не приедет?

— А что?

— Да ведь сколько пыло выпито пива и трукого прочего, у меня все саписано, и счет тавно его ждет.

Эта ночь казалась Филиппу бесконечной, он не находил покоя. В другое время мерное покачивание вагона убаюкало бы его, а перестук колес и рев железного чудовища только весело напоминал бы ему, что все хорошо и скоро он будет у цели. Теперь же это были недобрые и пугающие звуки; да и поезд, казалось, ползет, как черепаха. И не только ползет, но и еще останавливается на каждом шагу и стоит, неподвижный, застывший, в зловещей тишине. «Не случилось ли чего-нибудь? — думал Филипп тревожно. — Нет, кажется, это просто станция. А может быть, тут есть телеграф?» И он жадно прислушивался: что если сейчас откроется дверь и проводник окликнет его и подаст ему телеграмму с роковым известием?

Как долго стоит поезд! И как медленно трогается он с места и снова идет сквозь ночь, качаясь, пыхтя и скрипя.

Время от времени Филипп отдергивал штору и смотрел в окно. Поезд тащился у подножья лесистых гор, и небо над ними было мрачное и зловещее. Вот и Саскеханна в лунных бликах... Вот долина, и на ней молчаливые домики; их обитатели сейчас мирно спят, без тревог, без волнений. Вот промелькнула церковь, кладбище, мельница, деревня; и вдруг, ни на секунду

не замедлив ход, поезд храбро полез по эстакаде в гору, и вот он уже карабкается по ее вершине, а внизу, на глубине ста футов, пенится и бурлит быстрый горный поток.

Что ждет его утром? Может быть, в эту самую минуту, когда он летит к Руфи, ее нежная душа улетает в иные дали, куда он не может за нею последовать? Полный самых мрачных предчувствий, он наконец забылся тревожным сном. В его ушах стоял шум, словно бурлящий поток в половодье рвался из берегов; казалось, сейчас он все затопит, — и Филипп отчаянно боролся, уже ощущая дыхание смерти; и вдруг подле него оказалась Руфь, вся в белом, с ангельски светлым лицом; сияя улыбкой, она указывала на небо и говорила: «Пойдем!» Он вскрикнул и проснулся — поезд с грохотом проносился по мосту, а за окном брезжил рассвет.

Когда настало утро, поезд трудолюбиво пробирался по щедрым землям Ланкастера, мимо бескрайних полей кукурузы и пшеницы, мимо скучных каменных домов, огромных амбаров и житниц, которые могли бы вместить все сокровища Гелиогабала. Дальше потянулись смеющиеся, ослепительно зеленые поля Честера и наконец пригороды Филадельфии; все явственней чувствовалась близость огромного города: длинные составы, груженные углем и уже пустые, стояли на путях, пересекались и убегали вдаль рельсы, дымили паровозы, все больше становилось фабрик. Наконец появились улицы, и воздух наполнился деловым шумом города. Все замедлялся перестук колес на стрелках и стыках рельсов, и вот поезд вполз в вокзал и остановился.

Стояло жаркое августовское утро. Широкие улицы были залиты солнцем, белые старинные дома напоминали закрытые, пышущие жаром печи. Духота угнетала Филиппа; изнемогавший от зноя город лежал точно в обмороке. Трамвай привез Филиппа в северную часть города, прежде входившую в район Спринг-Гарден и лишь недавно застроенную. Здесь, в маленьком кирпичном домике, под стать их нынешнему положению, жили теперь Боултоны.

Завидев этот дом, Филипп уже не мог сдержать нетерпения. Слава богу, ставни не закрыты — Руфь жива! Он взбежал по ступенькам и позвонил. Миссис Боултон встретила его на пороге.

— Филипп! Вот радость!

— Как Руфь?

— Очень больна, но чуть лучше. Жар понемногу спадает. Когда совсем спадет, наступит самое страшное. Доктор боится, что у нее не хватит сил перенести кризис. Да, ее можно повидать.

Миссис Боултон провела Филиппа в маленькую комнатку, где лежала Руфь.

— Конечно, это не то, что в нашем старом доме, — со вздохом сказала она. — Там было так просторно и прохладно! Руфь говорит, что ее прежняя комната кажется ей раем.

Мистер Боултон, сидевший у постели Руфи, поднялся и молча сжал руку Филиппа. Единственное окно было распахнуто, но с улицы вливался раскаленный, не приносящий облегчения воздух. На столе стояла ваза с цветами. Глаза Руфи были закрыты; щеки ее пылали от жара, и она беспокойно металась по подушке, точно от боли.

— Руфь, — сказала мать, склоняясь над нею. — Филипп приехал.

Руфь открыла глаза, и в следующее мгновение взгляд ее прояснился — она узнала Филиппа; когда он коснулся губами ее лба, она слабо улыбнулась и попыталась поднять свою исхудавшую руку.

— Фил, милый, — шепнула она.

Помочь было нечем, оставалось только ждать, когда спадет эта жестокая лихорадка. Доктор Лонгстрит сказала Филиппу, что Руфь, конечно, заразилась в больнице, но болезнь сама по себе была бы почти не опасна, если бы Руфь не переутомилась так и была бы не такая хрупкая и слабенькая.

— Последние недели она держалась на ногах только усилием воли, а воля у нее железная. Если же эта воля изменит ей теперь, то дело плохо. Сейчас вы, сэр, можете сделать для нее больше, чем я.

— А как? — поспешно спросил Филипп.

— Уж одно то, что вы здесь, как ничто другое, вдохнет в нее жажду жизни.

Потом лихорадка спала, и жизнь Руффи висела на волоске. Два долгих дня она была как пламя свечи на ветру. Филипп не отходил от постели больной, и она, казалось, чувствовала, что он здесь, и цеплялась за него, как человек, уносимый быстрым течением, цепляется за протянутую ему руку помощи. Стоило Филиппу отлучиться на минуту, и она снова и снова обводила комнату тревожным взглядом, как будто тщетно искала что-то.

Филипп так страстно, всеми силами души жаждал ее выздоровления, что его властная воля пробуждала и в ней волю к жизни.

После двух дней борьбы со смертью воля больной начала подчинять себе тело, и силы Руфи стали постепенно восстанавливаться. Еще через день доктор Лонгстрит уже не сомневалась, что наступило улучшение.

— Я так хочу жить для тебя, Фил! — едва слышно прошептала Руфь, когда Филипп сидел подле нее в этот день, держа ее слабую руку и стараясь уловить в ее лице малейший признак пробуждающейся спасительной решимости.

— Ты будешь жить, родная, ты должна жить, — сказал Филипп, и вера, мужество и непреклонная воля, звучавшие в его голосе, были как повеление, как приказ, которому готово было повиноваться все ее существо.

Филипп медленно возвращал ее к жизни, и она с радостью подчинялась, послушная и беспомощная. Это было так ново для нее — всецело опереться на другого человека и черпать силы в его воле. Какая удивительная, новая и дорогая сердцу радость — сознавать, что ее подняли и несут во вновь обретенный счастливый мир, озаренный светом любви, что поднял и несет ее тот, кого она любит больше жизни.

— Любимый, — говорила она Филиппу, — если бы ты не любил меня, мне было бы все равно — жить или умереть.

— А разве ты не хотела бы жить ради своей профессии?

— Подожди, когда в твоей шахте не останется

угля и вы с папой опять вылетите в трубу, ты еще скажешь спасибо, что у твоей жены есть профессия.

Когда Руфь достаточно окрепла для переезда, ее увезли в Илион, так как чистый воздух был необходим для ее окончательного выздоровления. Вся семья отправилась с ней. Без Филиппа Руфь не могла обойтись и дня, а мистер Боултон поехал взглянуть на чудесную шахту, пустить ее в ход, а там и подыскать покупателей. Филипп настоял на том, чтобы Илион вновь перешел в собственность Боултона; себе он оставил только ту долю, которая предназначалась ему с самого начала; таким образом, мистер Боултон вновь оказался дельцом и немаловажной персоной на Третьей улице. Шахта оказалась богаче углем, чем предполагали, и, конечно, принесет им всем целое состояние, если ею разумно управлять. Биглер, который сейчас же узнал обо всем, был того же мнения и с нахальством, свойственным ему и ему подобным, явился к Боултону за помощью: он купил несколько акций компании патентованных колес для железнодорожных вагонов, и ему нужна небольшая ссуда; этот негодяй Смолл совершенно разорил его!

Мистер Боултон ответил, что он весьма о том сожалеет, и посоветовал подать на Смолла в суд.

Смолл явился к мистеру Боултону с таким же обвинением против Биглера; и мистер Боултон великодушно дал ему такой же совет.

— Если вы с Биглером добьетесь друг для друга обвинительного приговора, — добавил он, — то сможете посадить друг друга в тюрьму за подделку моих векселей — это послужит вам утешением.

Однако Смолл и Биглер не поссорились. Оба они за спиной мистера Боултона ослабили его мошенничеством и распустили слух, что он нажил состояние своим банкротством.

Высоко в горах, на чистом воздухе, среди спелых плодов и золотой сентябрьской листвы Руфь быстро поправилась. Каким прекрасным кажется мир больному, все чувства которого обострены и который был так близок к иному миру, что теперь особенно чуток к самым мимолетным впечатлениям и всем существом

откликается на малейшую ласку чудодейственной природы-целительницы. Как хороша жизнь! Зелень травы, яркие цветы, синева неба, ветерок, колеблющий листву, очертания гор вдали, причудливые облака — все это величайшее наслаждение, словно чудесная музыка для того, кто по ней стосковался. Мир казался Руфи новым и неизведанным, как бы только что созданным нарочно для нее; любовь наполняет этот мир, и сердце до краев полно счастьем.

И в Фолкиле тоже стояла золотая осень. Алиса сидела в своей комнате у открытого окна, смотрела на луг, где косари снимали второй урожай клевера, и вдыхала его нежный аромат. Быть может, он не будил в ее душе горечи. Глубокое раздумье владело ею. Она только что написала письмо Руфи, а на столе перед нею лежал пожелтевший от времени листок бумаги с засушенным четверолистником клевера, — отныне только воспоминание. В своем письме к Руфи она от всей души поздравляла их обоих и желала им счастья на долгие, долгие годы.

— Слава богу, они никогда не узнают! — подумала она вслух.

Они никогда не узнают. И никто не знает, сколько таких женщин, как Алиса, дарят всех вокруг нежностью, преданностью и самоотверженной любовью, оставаясь навсегда одинокими.

— Она славная девушка, — сказал Филипп, когда Руфь показала ему письмо Алисы.

— Это правда, Фил, и мы всегда будем ее любить — счастье ведь щедро, а мы с тобой такие счастливые.

טוב אחרית דבר מראשיתו¹

¹ Конец всегда лучше начала (еврейск.).

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Ничто не придает книге такого веса и достоинства, как послесловие.

Геродот

По-видимому, нам нужно извиниться перед читателем за то, что нам не удалось пайти отца Лоры. Мы предполагали, что это будет нетрудно, — ведь в романах потерявшиеся персонажи находятся с такой легкостью. Однако задача наша оказалась очень трудной, более того — неразрешимой, и нам пришлось вычеркнуть все, что относилось к этим поискам. И не потому, что страницы, посвященные им, не представляли интереса, — нет, они были очень интересны, — но поскольку этого человека в конце концов так и не нашли, не стоило понапрасну тревожить и волновать читателя.

А В Т О Р Ы

КОММЕНТАРИИ

К лучшим образцам ранней социальной сатиры Марка Твена относятся принадлежащие ему главы в романе «Позолоченный век», который был им написан в соавторстве с Чарльзом Д. Уорнером. Основное действие «Позолоченного века» развивается в конце 60-х и в начале 70-х годов XIX века, когда вслед за окончанием Гражданской войны Севера и Юга Соединенные Штаты стали ареной деятельности ничем не ограниченного и поощряемого правительством частнокапиталистического предпринимательства. В романе показаны спекулятивная лихорадка и жажда наживы, охватившая широкие слои населения США, жалкая судьба слабых и ослепленных иллюзиями людей, безнаказанность капиталистических разбойников. Важное место в романе занимает также разоблачение коррупции в американской политической жизни, продажности законодательных органов США, должностных лиц, конгрессменов. В тех главах романа, где характеризуются политические нравы в Вашингтоне, дана серия едко сатирических зарисовок бесчестных дельцов и лицемеров, выступающих в роли «народных избранников». Заглавие романа «Позолоченный век» имеет проницательно-разоблачительный характер, так как идеологи капиталистической вакханалии в США стремились объявить ее «золотым веком» американской жизни. С легкой руки Твена и Уорнера наименование «позолоченный век» закрепилось в прогрессивной американской историографии за периодом капиталистического грюндерства в США.

Второй автор «Позолоченного века», Чарльз Д. Уорнер (1829—1900), был соседом Твена в Гартфорде, где Твен поселился с семьей в 1871 году. Уорнер был старше Твена и имел

большой писательский опыт и более прочную литературную репутацию, и сотрудничество его с Твеном первоначально расценивалось американским литературно-общественным мнением чуть ли не как пример литературного покровительства. На самом деле Уорнер был ординарным буржуазным литератором своего времени, а Твен — уже в этот ранний период творчества — выдающимся американским писателем-реалистом.

Доли Твена и Уорнера в «Позолоченном веке» количественно почти равны. По данным секретаря и литературного душеприказчика Твена — Альберта Пейца, приведенным в написанной им биографии писателя, Твену принадлежат в «Позолоченном веке» полностью следующие 32 главы: в первой книге романа — 1—11 (экспозиция основной фабулы романа, история семейства Хокинсов и их знакомства с полковником Селлерсом), 24 (сатирическое описание столицы США), 25, 27, 28 (крах Компании развития судоходства на реке Колумба), 30 (приглашение Лоры в Вашингтон); и во второй книге романа — 1, 2, 3, 5, 6 (переезд Лоры и полковника Селлерса в Вашингтон, их союз с сенатором Дилуорти и широкая картина общественных и политических нравов в столице США), 11, 12, 14 (кулуарные интриги и происки в конгрессе в связи с жульническим законопроектом об основании негритянского университета), 20, 21 (дальнейшее разоблачение политических нравов в Вашингтоне), 22 (поездка сенатора Дилуорти к своим избирателям), 26 (провал законопроекта о негритянском университете), 28 (расследование в сенатской комиссии обвинений против сенатора Дилуорти), 29 (последние дни Лоры), 30 (заключительная беседа полковника Селлерса и Вашингтона Хокинса), 31 (открытие Филиппом Стерлингом угля в Илионо), а также отдельные эпизоды в 4, 18, 25 главах второй книги. Обнаруженный не так давно экземпляр первого издания «Позолоченного века», принадлежавший Твену, с его пометками на полях, позволил внести в вопросы авторства романа дополнительные уточнения. В 13-й главе первой книги, написанной Уорнером, Твену принадлежит заключительная часть, где описано знакомство Филиппа Стерлинга и Генри Брайерли с полковником Селлерсом. Пометка Твена на полях 18-й главы гласит: «Набросано Клеменсом (то есть Твеном — А. С.), выполнено Уорнером». В 29-й главе столкновение Филиппа Стерлинга с поездным кондуктором сопровождается пометкой Твена: «Фактическое происшествие. Рассказано Клеменсом, написано Уорнером».

Существенно примечание Твена к 4 й главе второй книги романа, формально принадлежащей Уорнеру, но неразрывно связанной по содержанию с предыдущими и последующими твеновскими главами: «Написана Клеменсом и переделана Уорнером, который включил половину текста Клеменса». В 18-й главе Твену принадлежит описание поисков угля в Илионе. О 25-й главе Твен пишет: «Переведено Клеменсом из описания в диалог». Это очень важное примечание, так как оно объясняет появление в главе Уорнера столь характерных и безошибочно твеновских по стилю реплик полковника Селлерса. В 27-й главе Твену принадлежит небольшой эпизод с антрепренером Гриллером, устройте-лем лекции Лоры Хокинс. Твену также принадлежит шуточное «Послесловие» к роману. В тех же заметках Твена есть указание, что Уорнеру принадлежит небольшая вставка, посвященная детским годам Лоры, в написанной Твеном 6-й главе первой книги, а также два абзаца в твеновской же 22-й главе (вторая книга). Последнее показывает, что Уорнер поддавался влиянию стиля своего соавтора, так как вся эта глава написана очень органично и по-твеновски. Наконец, в заметках Твена говорится, что в предисловии к «Позолоченному веку» первый и второй абзацы принадлежат Уорнеру, третий и четвертый — Твену, пятый — Уорнеру и заключительный — снова Твену.

Из сказанного следует, что Твену в «Позолоченном веке» принадлежит все наиболее ценное в социальном и художественном отношении. Это зарисовки частной жизни и социального быта в городках-деревушках на Западе в первой половине XIX столетия и сатирические картины политических нравов в США в период после Гражданской войны. Обедстаун в Теннесси и Хоукай в Миссури изображены Твеном по воспоминаниям своего детства и отрочества. В сквайре Хокинсе он воспроизводит некоторые черты характера своего отца, а в Вашингтоне Хокинсе — старшего брата Ориона Клеменса. Прототипом для образа полковника Селлерса послужил, по указанию Твена, брат его матери — Джеймс Лэмптон. История с теннессийскими землями принадлежит к фамильным преданиям семейства Клеменсов. На близком личном знакомстве с используемым материалом основаны и центральные в романе вашингтонские главы Твена. В 1868 году, по возвращении из путешествия по Европе, он работал в Вашингтоне секретарем сенатора от Невады Уильяма Стюарта и имел возможность близко

наблюдать работу законодательных органов США и закулисную деятельность кулуарных клик. Твен — создатель двух образов «Позолоченного века», которые имеют бесспорное художественное значение: это Бирайя Селлерс — прожектор и «непоколебимый оптимист», добросердечность которого контрастирует с темными финансовыми махинациями, в которых он участвует, и Дилуорти — прожженный делец и бесстыдный демагог на посту сенатора Соединенных Штатов.

Историческая достоверность общественно-политического материала, использованного Твеном в «Позолоченном веке», не вызывает сомнений. Афера с несуществующим городом Наполеоном и Компанией развития судоходства на реке Колумба, заканчивающаяся расхищением огромных казенных сумм, воспроизводит в типических чертах многочисленные финансовые скандалы 60—70-х годов в США. В частности, Твен широко привлекает факты, связанные с делом железнодорожно-строительной компании «Кредит Мобильер», которое было в центре внимания американской прессы в 1872—1873 годах. В процессе разоблачения спекулятивной и мошеннической деятельности этой компании выявились многочисленные случаи подкупа конгрессменов, сенаторов и членов правительства. Как и герои «Позолоченного века», все они с помощью различных ухищрений ушли от ответственности. Кулуарная борьба вокруг законопроекта о мифическом негритянском университете, сопровождаемая в романе почти поголовным подкупом всего законодательного корпуса США, отражает вполне реальные черты связи «большого бизнеса» с правительственными кругами. Политическая биография сенатора Дилуорти воспроизводит биографию реального сенатора Помроя от Канзаса, тесно связанного с аферой компании «Кредит Мобильер». Махинации Уида и О'Райли, обирающих население Нью-Йорка, почти полностью совпадают с мошенническими действиями так называемой «банды Туида» (по имени «босса» демократической партии — Уильяма Туида), орудовавшей в муниципальных органах Нью-Йорка во второй половине 60-х годов. Множество других черт общественной и частной жизни в романе документально точны.

Хотя Уорнер, как видно, вместе с Твеном участвует в разработке основного сатирического замысла романа (примером может служить судебное заседание в 23-й главе второй книги), принадлежащая ему дополнительная сюжетная линия «Позолоченного века», связанная с семейством капиталиста-квакера Боул-

тона и любовными отношениями Руфи Боултон и Филиппа Стерлинга, имеет почти идиллический характер и принадлежит к либерально-буржуазной литературной традиции своего времени. Следует отметить, что при всей остроте социальной сатиры Твена в «Позолоченном веке» и он не свободен от власти буржуазно-демократических воззрений и иллюзий. В предисловии к английскому изданию «Позолоченного века», написанном в 1873 году, Твен утверждает, что «всеобъемлющий дух спекуляции», господствовавший в США и изображенный в романе, якобы обеспечивает прогресс общества и потому играет не только отрицательную, но и положительную роль в жизни американского народа.

«Позолоченный век» был написан в первой половине 1873 года и вышел в свет в 1874 году. В том же году он был переведен на русский язык и напечатан в «Отечественных записках», редактировавшихся Н. А. Некрасовым и М. Е. Салтыковым-Щедриным («Мишурный век» Марка Туэйна и Чарльза Дэдлей Уорнера. — «Отечественные записки», 1874, № 5—10).

Причудливые эпиграфы на множестве живых и мертвых языков разных стран мира подобрал для «Позолоченного века» друг Твена и Уорнера ученый-филолог Джеймс Трамбул. В первых изданиях романа эпиграфы были напечатаны на языке подлинников, без перевода, что дало повод рассматривать их лишь как литературную шутку, направленную против щеголяющих ученостью модных беллетристов. Подобная шутка действительно входила в намерение авторов. Однако, как видно из содержания эпиграфов, подбор их не случаен и они соединены с тканью романа общим замыслом.

А. СТАРЦЕВ

Стр. 5. К переводу китайской поговорки, являющейся эпитафией ко всему роману в целом, Марк Твен добавил следующее шуточное примечание: «Это изречение, часто вывешиваемое на дверных косяках китайских фирм, в вольном переводе звучит так: «Единение умов может из самого заурядного материала создать «Позолоченный век».

Предисловие

Стр. 10. *Как справедливо заметил Вагнер, такие эпитафии, туманно намекая...* — Ссылка на Вагнера имеет шуточный характер: знаменитый немецкий композитор не оставил никаких высказываний об эпитафиях.

С. Л. К., Ч. Д. У. — инициалы полных имен обоих авторов: Сэмюэл Ленгхорн Клеменс (Марк Твен) и Чарльз Дэдли Уорнер.

КНИГА ПЕРВАЯ

Глава I

Стр. 11. В качестве эпитафии приведена цитата из «Грамматики чиппевейского языка», выпущенной в 1850 г. Фредериком Барагой, католическим миссионером, приехавшим в Америку в 1831 г. из Словении. В 1837 г. Барага поселился среди чиппевеев (оджибвеев) — индейцев одного из алгонкинских племен, населявших район Великих Озер, и посвятил себя изучению их языка и созданию письменности.

Из комедии английского драматурга Бена Джонсона (1573 — 1637) «Одураченный дьявол» (1616).

Местность эта... пользовалась славой своеобразного Назарета, ибо никто не ожидал от нее ничего хорошего. — Имеется в виду фраза из евангелия: «Что может быть доброго из Назарета!» Назарет — маленький городок в Галилее — служит синонимом захолустья.

Глава II

Стр. 21. Эпиграф взят из эфиопского (абиссинского) перевода «Дидакалии» («Учение двенадцати апостолов») — свода постановлений и правил о строении и управлении христианской церкви, написанного в III в. н. э. на греческом языке.

Стр. 23. *Это — хлеб, отпущенный по водам* — перефразированное изречение из библии: «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его».

Глава III

Стр. 25. Цитата из романа великого французского писателя Франсуа Рабле (ок. 1494—1553) «Гаргантюа и Пантагрюэль».

Глава IV

Стр. 30. Из книги английского общественного деятеля и писателя Эдварда Лея (1602—1671) «Три диатрибы, или Рассуждения; первая — о путешествии: наставление для путешественников в чужие края...» *Мартин Зейлер* (1589—1661) — немецкий писатель и путешественник.

Глава V

Стр. 41. В качестве эпиграфа использована цитата из «Жизнеописания Абдул-Латифа», заимствованная из «Грамматики языка синдхи» Эрнста Трумпа (1828—1885) — немецкого ученого, автора трудов о литературе и языке синдхи. Абдул-Латиф (1162—1231) — арабский ученый.

В эпиграфе приведена французская поговорка.

Стр. 46. *«Несть отечества без своего пророка»* — юмористически перефразированное библейское изречение: «Несть пророка в своем отечестве».

Стр. 49. *«Женский альманах Годи»* — первый женский журнал в Америке; основан издателем Л. А. Годи в 1830 г.; выходил до 1877 г. и пользовался большой популярностью в обывательских кругах.

Бенедикт Арнольд (1741—1801) — офицер революционной американской армии в годы войны за независимость, был подкуплен англичанами и стал изменником.

Глава VI

Стр. 50. В эпитафье приведена китайская поговорка. Из сборника миссионерских гимнов *«Песни оджибвеев»*.

Глава VII

Стр. 62. Эпитафь взят из комедии *«Одураченный дьявол»* Бена Джонсона.

Стр. 67. *Она была баптисткой Старой Школы.* — В середине XIX в. от секты баптистов откололось меньшинство, выступавшее против «светской» деятельности секты; это меньшинство и называлось Старой Школой, а также «примитивными», или «твердокаменными», баптистами.

Стр. 68. *Граф Фужье* — имя вымышленное.

Глава VIII

Стр. 70. Из *«Книги изящного обхождения»* (1476) английского первопечатника Уильяма Кэкстона (ок. 1421—1491).

Офир, открытый древле Соломоном. — В библии упоминается страна Офир, откуда посланные царем Соломоном корабли привезли много золота.

Стр. 76. *Иеддо* — старинное название столицы Японии, города Токио.

Глава IX

Стр. 80. Цитата заимствована из библии, изданной на языке индейцев чоктау, населявших долину Миссисипи. В XIX в. племена чоктау были почти полностью истреблены американскими колонизаторами.

Из перевода библии на язык гренландских эскимосов, сделанного миссионером Фабрициусом.

Глава X

Стр. 87. Из перевода библии на язык гренландских эскимосов.

В качестве эпиграфа взят псалом XLV из «Книги псалмов», переведенный на язык массачусетских индейцев просветителем и миссионером Джоном Элиотом (1604—1690).

Цитата заимствована из книги итальянского писателя Джованни Боккаччо (1313—1375) «Декамерон».

Стр. 88. *...он заседал в конгрессе уже третий срок и его вот-вот должны были избрать в сенат.* — Хотя конгресс Соединенных Штатов состоит из двух палат: сената (верхняя палата) и палаты представителей (нижняя палата), в повседневном обиходе под конгрессом обычно подразумевается палата представителей.

Глава XI

Стр. 96. В эпиграфе приведена японская поговорка.

Стр. 97. *Лафайет* Мари-Жозеф (1757—1834) — французский политический деятель, известный своим участием в американской войне за независимость.

Глава XII

Стр. 102. В качестве эпиграфа приведена цитата из «Книги мертвых» — памятника древнеегипетской письменности XVI—XV вв. до н. э.

Асторская библиотека — основана в середине XIX в. по завещанию американского капиталиста Джона Астора, позднее превратилась в Нью-Йоркскую публичную библиотеку.

Стр. 103. *...ложи старого театра... где невозмутимый Бэртон...* — В 1848 г. выдающийся американский актер, режиссер и драматург Уильям Эванс Бэртон (1804—1860) основал в Нью-Йорке небольшой театр, который на протяжении восьми лет был самым популярным театром в Америке; Бэртон ставил как пьесы классического репертуара, так и веселые бурлески собственного сочинения.

Стр. 104. *...вроде экспедиций лейтенанта Стрейна или доктора Кейна.* — Стрейн Айзек (1821—1857) — морской офицер и географ, исследователь Южной и Центральной Америки,

в 1853 г. возглавлял экспедицию, обследовавшую Дарьенский перешеек в южной части Центральной Америки с целью выяснения возможности постройки канала между Атлантическим и Тихим океанами; Кейн Элайша Кент (1820—1857) — морской врач, исследователь Антарктиды; в 1853 г. возглавлял экспедицию по розыску пропавшего без вести в 1845 г. американского полярного путешественника Франклина.

Стр. 105. *Иельский университет* — одно из старейших высших учебных заведений США; основан в 1701 г. в г. Нью-Хэвен (штат Коннектикут).

Стр. 107. *Мистер Гринго*. — Гринго — кличка американцев, распространенная в Латинской Америке; давая своему персонажу эту фамилию, авторы хотели подчеркнуть, что он типичный американец.

Стр. 108. *Леория* — город в США, в штате Иллинойс.

Стр. 109. *Где-то в Миссури, на границе штата...* — На запад от штата Миссури простираются земли Канзаса, в то время еще не вошедшего в число штатов.

Стр. 110. *Джерси-сити* — пригород Нью-Йорка на западном берегу реки Гудзон, откуда в 70-х гг. начинались железнодорожные линии, идущие на Запад.

Глава XIII

Стр. 113. *Делегат в конгрессе от Запада* — то есть делегат от одной из западных Территорий, как назывались те части страны, которые еще не получили статуса штата; Территории посылали своих представителей в конгресс (в палату представителей, но не в сенат), однако они назывались не «депутатами», а «делегатами», и не пользовались всеми депутатскими правами.

Глава XIV

Стр. 121. *«Индейцам и сведам известны они издавна»*. — Первое европейское поселение на территории нынешней Филадельфии было основано шведами (сведами) в 1638 г. и называлось Новая Швеция; коренное население этих мест — индейцы племени делаваров (ирокезская группа) — было впоследствии истреблено или изгнано, и память о нем сохранилась лишь в местных географических названиях.

Эпиграф взят из книги «Описание Пенсильвании» американского филолога Томаса Мэйкина, написанной на латинском языке (XVIII в.).

Из поэмы «Освобожденный Иерусалим» (1581) итальянского поэта Торквато Тассо (1544—1595).

Стр. 122. *Кэмден-амбойские пески.* — Кэмден и Амбой — пригороды Филадельфии, расположенные на песчаном левом берегу реки Делавар.

Индепенденс-Холл, колледж Джирарда, Фэрмаунтовские фонтаны. — Индепенденс-Холл («Дворец независимости») — здание филадельфийской ратуши, построенное в 1732—1747 гг.; свое название получило после 4 июля 1776 г., когда с его ступеней была оглашена Декларация Независимости. Колледж Джирарда — здание, построенное в 1847 г.; в 1848 г. в нем, по завещанию филадельфийского миллионера Стивена Джирарда, были открыты школа и приют «для белых сирот мужского пола». Фэрмаунтовские фонтаны — фонтаны в загородном поместье Фэрмаунт, переданном владельцами в дар городу и впоследствии вошедшем в парковый ансамбль Филадельфии.

...ни один американец не может умереть спокойно даже в Неаполе. — Намек на известную итальянскую поговорку: «Vedi Napoli e poi muori!» — «Повидай Неаполь, и можешь умереть!»

Стр. 123. *Друзья.* — Общество Друзей (они же — квакеры) — пуританская секта, основанная в Англии Джорджем Фоксом в 1647 г. Квакерами (буквально: трясущиеся, дрожащие; от английского глагола «to quake») их называли в просторечии за то, что во время своих молитвенных собраний, «впадая в экстаз», они содрогались всем телом. В 60-е гг. XVII в., спасаясь от преследований, большая группа квакеров эмигрировала в Америку, где основала колонию Пенсильвании.

Стр. 125. *Брод-стрит* (буквально: широкая улица) — архитектурная ось планировки Филадельфии, первого американского города, построенного по единому плану. Брод-стрит считалась самой широкой и длинной улицей в мире.

Ежегодное Собрание. — Ежегодные Собрания являлись верховным судилищем квакеров по всем религиозным, организационным и дисциплинарным вопросам.

Джермантаун — ранее пригород Филадельфии, в настоящее время — район города.

Стр. 126. *Индейцы кикапу* — племя алгонкинской группы, стойко сопротивлявшееся натиску белых колонизаторов, стре-

мившихся изгнать их с родовых земель в долине реки Огайо; в 1819 г. остатки племени были все же принуждены переселиться в резервацию на Территории Канзас, к западу от Миссури.

Глава XV

Стр. 129. Эпиграф заимствован из труда «О медицине» Авла Корнелия Цельса — римского врача и ученого (I в. до н. э.).

«Внутренний свет». — По терминологии квакеров — состояние «религиозного экстаза», дающее право выступить во время собраний квакеров со словом покаяния или поучения.

Стр. 133. *Симонія* — продажа церковных должностей в католической церкви. Особенно широко была распространена в средние века.

Стр. 134. *Высокая и Низкая церковь*. — В 1873 г. в самой крупной церковной организации США — епископальной церкви — произошел раскол: сторонники протестантской епископальной церкви (Высокая церковь) стояли за усиление светской роли церкви и, соответственно, были склонны к более пышным обрядам и украшению церквей; отколовшаяся реформированная епископальная (Низкая) церковь проповедовала возврат к простоте раннего протестантства и считала необходимым воздерживаться от вмешательства в светские дела.

Первые Дни. — Имеются в виду первые дни Ежегодных Собраний у квакеров.

Стр. 135. *Беллона* — богиня войны у древних римлян, сестра бога войны Марса и его возница; изображается всегда на мчащейся колеснице, с распущенными волосами и пылающим факелом в руках (миф.).

Стр. 136. ...*в последнюю войну*... — то есть во время Гражданской войны 1861—1865 гг.

Глава XVI

Стр. 141. *Пайлот-ноб* — невысокая железорудная гора на юго-востоке штата Миссури.

Стр. 144. «*Клуб Чудаков*» (точнее: «Независимый Орден Чудаков») — распространенная в США буржуазно-благотворительная организация, созданная в 1816 г. и ныне имеющая отделения почти во всех городах США.

Стр. 147. *Джуба* — танец, сопровождаемый выкриками, хлопанием в ладоши и притопыванием; был особенно популярен среди американских негров в середине XIX века.

«Звездное знамя» — патриотическая песня американского поэта Ф. С. Кея (1779—1843), написанная в период англо-американской войны 1812—1814 гг. С 1931 г. — государственный гимн США.

Глава XVII

Стр. 149. *Массачусетс... находится в штате Бостон.* — В действительности город Бостон находится в штате Массачусетс.

Стр. 153. *Джордж Гор.* — Имеется в виду английский генерал и дипломат Чарльз Гор (1793—1869).

Глава XVIII

Стр. 156. *Бедда аз Идда* — импровизация неизвестного поэта Алжира, записанная на языке тамачек (язык полукочевых племен туарегов, древнейшего населения Северной Африки). Заимствована из труда французского ученого Луи Аното (1814—1878) «Опыт грамматики языка тамачек» (Париж, 1860).

Из средневекового рыцарского романа в стихах «Роман о Жофре», написанного на старофранцузском языке. Цитата заимствована из труда французского филолога Ф. Ренуара (1761—1836) «Романская лексика, или Словарь языка трубадуров».

Стр. 157. *...такие годы последовали за короткой перестрелкой из Лексингтонской пустоши и за категорическим требованием о сдаче форта Самтер.* — Речь идет о первых боевых эпизодах американской войны за независимость 1775—1783 гг. и Гражданской войны 1861—1865 гг.

Стр. 158. *Федеральные и конфедеративные войска* — то есть войска северян и войска южан; последние получили свое название от Конфедерации Американских Штатов, провозглашенной в феврале 1861 г. на конгрессе представителей рабовладельческих штатов в г. Монтгомери.

Стр. 161. *Вирджинский университет* — основан американским президентом Т. Джефферсоном и открыт в 1825 г.; по настоящию

Джефферсона в университете, впервые в США, было введено свободное от церкви обучение.

Стр. 164. *Беатриче Ченчи* — героиня итальянской хроники XV в.; обесчещенная своим отцом, она убила его ударом кинжала. Была прославлена в произведениях Шелли и Стендаля.

Глава XIX

Стр. 165. Из «Книги песен» («Анжелика», 1) Генриха Гейне.

Глава XX

Стр. 175. Из «Хроники четырех повелителей» — многогоменной староирландской летописи, составленной в 1632—1636 гг. францисканскими монахами.

Стр. 177. *Добрые Храмовники* — общество трезвости, основанное в 1851 г.; *Поборники Трезвости* (точнее: «Орден Поборников Трезвости») — общество, организованное при содействии церкви в 1842 г.; *Молодые Поборники Трезвости* — юношеская организация того же ордена; *Дочери Ревекки* — женская организация «Независимого Ордена Чудаков». Все эти организации обычно финансируются торговыми палатами (объединениями дельцов) американских городов, и деятельность их носит реакционный характер.

Стр. 178. «*Вестник конгресса*» — название одного из официальных печатных органов конгресса США.

Глава XXI

Стр. 183. Из второй книги «Элегий» римского поэта Секста Проперция (49—15 гг. до н. э.).

Из поэмы английского поэта Альфреда Теннисона (1809—1892) «Принцесса» (1847).

Стр. 185. «*Мейфлауэр*» («Майский цветок») — название корабля, на котором в 1620 г. в Америку прибыли первые переселенцы, называвшие себя «пилигримами». Потомки ста двух переселенцев, прибывших на «Мейфлауэре», особенно кичатся своим происхождением от «древнейших американских родов».

Стр. 186. *Кембридж* — город в штате Массачусетс, близ Бостона, названный по аналогии с английским университет-

ским городом, после того как здесь в 1636 г. был основан первый в Америке университет — Гарвардский.

Стр. 187. ...говорили... о бостонском радикализме. — В середине XIX в. Бостон был центром многих прогрессивных общественных течений, и прежде всего аболиционизма (борьбы за запрещение рабства и за освобождение негров).

Глава XXII

Стр. 191. Из сборника стихов «Лира и меч» немецкого поэта и драматурга Теодора Кернера (1791—1813).

В качестве второго эпиграфа приведена гавайская пословица.

Пой — любимое блюдо жителей Гавайских островов.

Стр. 198. *Аризона* — до 1912 г. одна из юго-западных Территорий США. В 1912 г. стала 48-м штатом.

Глава XXIII

Стр. 201. *Томас Раймер* (ок. 1220—1297) — Томас из Эрсельдуна, шотландский поэт и менестрель, прозванный Раймером («Рифмачом») за то, что одним из первых ввел в шотландскую поэзию рифму.

Глава XXIV

Стр. 205. В качестве эпиграфа приведена цитата из аллегорического романа английского писателя Джона Беньяна (1628—1688) «Путь паломника» (1678—1684). Заимствована из перевода романа на язык индейцев сиу (дакота).

Великая республика — так буржуазная американская пресса того времени называла США.

Стр. 207. *Капитолий* — здание конгресса в Вашингтоне; состоит из трех основных частей: центральной (ротонда), северного крыла (помещение сената) и южного крыла (помещение палаты представителей); строительство здания было начато еще при Джордже Вашингтоне в 1793 г. и закончено в 1827 г., однако впоследствии здание неоднократно достраивалось и перестраивалось.

Стр. 208. ...вам неминуемо придется осмотреть исторические фрески и барельефы... — Главный зал ротонды украшен

восемью огромными картинами на сюжеты из американской истории.

...лицезреть мистера Линкольна, обращенного в камень некоей молодой скульпторшей. — Речь идет о памятнике Линкольна (1809—1865), президенту США с 1861 по 1865 г.; впоследствии памятник был убран из Капитолия при его перестройке.

Декларация об освобождении. — Имеется в виду манифест об освобождении негров, написанный Линкольном в августе 1862 г. и вступивший в силу с 1 января 1863 г.

За рекой... раскинулся приземистый желтый храм. — Речь идет об особняке Арлингтон-Хаус, в котором жил первый президент Соединенных Штатов Джордж Вашингтон (1732—1799).

Стр. 209. *Памятник Отцу нации* — то есть памятник Джорджу Вашингтону, первоначально строившийся на средства, собранные по подписке и частично ассигнованные конгрессом; строительство началось в 1848 г., но закончилось лишь в 1885 г.

За Казначейством виднеется большой белый сарай. — Речь идет о резиденции президента Соединенных Штатов — Белом доме.

Стр. 214. *С. С. III.* — Сенатор Соединенных Штатов; *Л. С.* — личный секретарь.

Глава XXV

Стр. 216. В качестве эпитафии приведена строка из Смятова списка издания текстов Ассурбанипала — ассирийского царя, правившего в 668—631 гг. до н. э.; при раскопках древней ассирийской столицы Ниневии в 1849—1854 гг. была обнаружена библиотека Ассурбанипала, состоящая из 20 000 глиняных дощечек, покрытых ассирийскими письменами — клинописью.

Глава XXVI

Стр. 223. В эпитафии воспроизведена тамильская поговорка. Тамилы — одна из дравидских народностей Индии.

Стр. 228. *Шейкерская община.* — Шейкеры (буквально: трясуны) — религиозная секта пуритан-фанатиков, возникла в Англии в 1776 г.; во второй половине XVIII в., спасаясь от гонений, группа шейкеров эмигрировала в Америку, где ими был организован ряд земледельческих колоний. Шейкеры владеют имуществом сообща и соблюдают безбрачие.

Глава XXVII

Стр. 233. Из «Книги мертвых».

В качестве второго эпитафия приведена строфа из поэмы «В тростниках Кема» английского филолога Сэмюэла Батлера (1774—1839), написанной на греческом языке. Кем — река в Англии, на которой стоит город Кембридж.

Стр. 237. *Саспарель* (искаженное от сарсапарель, или сассапарель) — вечнозеленое колючее растение, употребляемое в южных штатах как корм для овец и мулов.

Глава XXVIII

Стр. 239. В эпитафии воспроизведена датская пословица.

В качестве второго эпитафия взяты строки из сатирического романа немецкого писателя Кристофа-Мартина Виланда (1733—1813) «Абдеритяне» (1776).

Стр. 244. ...*пожары в Чикаго и пожары в Бостоне*. — 8—11 октября 1871 г. произошел самый большой в истории США пожар, уничтоживший большую часть города Чикаго; через год (9—10 ноября 1872 г.) пожар в Бостоне уничтожил весь деловой центр города.

Глава XXIX

Стр. 251. Из издания библии на языке индейцев чоктау.

Стр. 258. «*Эй, Эней, а где старик Анхиз?*» — Эней — герой «Энеиды», поэмы римского поэта Вергилия (70—19 гг. до н. э.), вынесший из горящей Трои (Илиона) своего престарелого отца Аяхиза.

Глава XXX

Стр. 261. Из поэмы «Освобожденный Иерусалим» Торквато Тассо.

Во втором эпитафии приведены строки из стихотворения Бонавенте де Вентадура — провансальского трубадура XII века.

Глава XXXI

Стр. 265. Из поэмы Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим».

Из поэмы английского поэта Э. Спенсера (ок. 1552—1599) «Королева фей» (1590—1596).

Стр. 270. *Час молчания*. — Молитвенные собрания у квакеров начинаются с «часа молчания», в течение которого члены общины молятся молча, ожидая, когда в них «загорится внутренний свет».

Стр. 271. *Помните, этот старикашка — как его там... говорил, что только прекрасное полезно*. — Речь идет о высказывании древнегреческого философа Аристотеля (384—322 гг. до н. э.) о том, что прекрасное полезно при воспитании юношества.

Стр. 273. *«Вечером во ржи»* — популярная в Англии и Америке песня шотландского поэта Роберта Бернса; переведена на русский язык С. Я. Маршаком.

Стр. 274. *«Янки-Дудль»* — название шуточной песенки, от которой американцы, точнее — жители Новой Англии, получили прозвище «янки».

КНИГА ВТОРАЯ

Глава I

Стр. 276. Строки из «Кентерберийских рассказов» великого английского поэта Джеффри Чосера (1340—1400).

Глава II

Стр. 282. В качестве эпитафии приведена цитата из аллегорического романа Джона Беньяна «Путь паломника». Заимствована из перевода романа на язык индейцев сиу (дакота).

В качестве второго эпитафии приведены строки из поэтической хроники «Брут» (ок. 1205 г.) английского поэта Лайамона.

Стр. 288. *Корк* — портовый город в Ирландии.

Стр. 290. *Уильям М. Уид*. — Под именем Уида (буквально — сорняк) описывается Уильям М. Туид, заправила Таммани-Холла, нью-йоркского центра демократической партии; пользуясь партийным аппаратом, «босс Туид» и его сообщники провели в администрацию города и штата Нью-Йорк своих ставленников и через них прикарманили около двухсот миллионов долларов.

Стр. 291. *Синг-Синг* — тюрьма для уголовных преступников в штате Нью-Йорк.

Глава III

Стр. 300. В эпитафии приведена датская пословица.

Глава IV

Стр. 306. Цитата из драмы «Рабиал-Ачи», написанной на языке киче, одном из диалектов индейцев майя. Заимствована из книги французского филолога Шарля Этьена Брассера де Бурбура (1814—1874) «Собрание текстов на туземных языках — к изучению истории и философии древней Америки» (Париж, 1861).

В эпитафии приведена старинная французская пословица.

Стр. 312. *Джефферсон* Томас (1743—1826) — выдающийся американский просветитель XVIII в., президент США с 1801 по 1809 г.; *Джон Адамс* (1735—1826) — президент США в 1797—1801 гг.

Джон Джей (1745—1829) — государственный деятель и дипломат времен войны за независимость. *Бенджамин Франклин* (1706—1790) — выдающийся американский общественный деятель и ученый.

Глава V

Стр. 314. Из «Грамматики чиппевейского языка» Бараги. *Тэн* Ипполит (1828—1893) — французский теоретик искусства и литературы, философ, историк; представитель позитивистского направления в буржуазной философии и социологии.

Стр. 315. *Джордж Фрэнсис Трэн* (1829—1904) — американский писатель; в своих произведениях прославлял «частную инициативу».

«*Деспот за завтраком*» — произведение известного американского писателя Оливера Холмса (1809—1894).

Стр. 316. «*Венецианская жизнь*» — путевые очерки американского писателя Уильяма Дина Гоуэллса (1837—1920), вышли в свет в 1866 г.

Стр. 318. ...*философские труды Таппера... рассказы Артура*. — Таппер Мартин (1810—1889) — автор книги плоских дидактических изречений («Философия, вошедшая в пословицы»); Артур Тимоти (1809—1883) — американский писатель, сотрудник «Женского альманаха Годи», автор многочисленных рассказов о пользе трезвости и воздержания.

Стр. 320. Строка из Смитова списка издания текстов царя Ассурбанипала. В примечаниях к американскому изданию Твен сопровождал фонетическую запись ассирийского клинописного текста: «Ни-ни-ид [даг]-га ра а-ха-мис» следующим шуточным пояснением: «В различных копиях клинописного списка четвертая группа знаков пишется по-разному. Мистер Смит (переводчик ассирийского текста на английский язык) ставит здесь «даг», помечает его как вариант и переводит словом «поддерживать». Другие исследователи, возможно, прочтут это как «гул» — обманывать. Поскольку в «Позолоченном веке» филологические споры были бы неуместны, а настоящий отрывок хорошо известен, авторы предпочитают просто *опустить* спорное слово, предоставляя читателю заполнить пробел по его усмотрению».

Из поэмы Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим».

Глава VII

Стр. 328. «Алабама» — один из нескольких быстроходных крейсеров, проданных во время Гражданской войны Англией южанам и нанесших большой ущерб торговому флоту северян.

Если уж воевать, я надеюсь, мы выступим в защиту кубинских патриотов. — В 1868 г. на острове Куба, принадлежавшем в то время Испании, вспыхнуло восстание. Преследуя захватнические цели, президент Грант (1822—1885) собирался признать повстанцев, но вынужден был отказаться от своего намерения, поскольку США не были еще готовы к войне с Испанией.

Санто-Доминго (Доминиканская республика) — восточная часть острова Гаити.

Стр. 332. *...по делу, связанному с возмещением убытков по хлопку.* — На основании декларации президента Линкольна от 8 декабря 1863 г., гарантировавшей восстановление в правах и возмещение понесенного материального ущерба бывшим мятежникам, признавшим правительство своего штата, многие плантаторы-южане еще долгое время после окончания Гражданской войны предъявляли материальные претензии правительству США.

Стр. 333. Из канцоны арагонского короля Альфонса II (1152—1196). Канцона приведена на провапсальском языке в книге Франсуа-Мари Ренуара (1761—1836) «Романская лексика».

Из «Народных песен басков»; написаны на сулетинском диалекте — наиболее распространенном диалекте французских басков.

Стр. 334. *После падения Нового Орлеана он заполучил мзлую толику моего хлопка в обмен на соль и хинин.* — Новый Орлеан, последний оплот южан, держался до 26 мая 1865 г.; после падения Нового Орлеана в городе началась безудержная спекуляция дефицитными товарами, завезенными с севера, прежде всего хинином.

Герой Нового Орлеана. — Имеется в виду Эндрю Джексон (1767—1845), американский политический деятель и генерал, президент США в 1829—1837 гг. Одержал победу над англичанами, решившую исход англо-американской войны 1812—1814 годов; с этого времени Эндрю Джексон получил широкую популярность в США.

Глава IX

Стр. 339. Из трагедии В. Шекспира «Король Генрих IV».

Стр. 341. *...объединить два долга, выплатить их бумажными долларами.* — Селлерс путает два вопроса: вопрос о государственном долге США и вопрос о выплатах по облигациям государственного займа. По окончании Гражданской войны государственный долг южных штатов и государственный долг северных штатов («два долга») составили в общей сумме два миллиарда восемьсот миллионов долларов; выпущенные во время войны бумажные доллары вызвали инфляцию, но когда в 1868 г. правительство попыталось изъять их из обращения, это вызвало массовое движение протеста, особенно среди фермеров западных штатов; протест этот поддерживали богатые промышленники и финансисты восточных штатов, имевшие на руках большое количество государственных долговых обязательств (облигаций), которые при погашении займа получали полную стоимость облигаций золотом. Селлерс считает, что весь государственный долг можно погасить как простой заем, оплатив его бумажными долларами.

Баутвелл правильно понимает цену бумажным деньгам. — Речь идет о Джордже Сюэле Баутвелле (1818—1905), министре финансов в правительстве Гранта, добившемся принятия декрета, в котором правительство обязывалось при первой возможности обеспечить замену бумажных денег звонкой монетой по номиналу; в дальнейшем Баутвелл не столько стремился к изъятию бумажных денег, сколько к поддержанию бюджетного равновесия то выпуском новых эмиссий бумажных денег, то продажей золота из государственных запасов; во всех случаях его действия были выгодны уолл-стритовским банкирам.

Стр. 342. ...*об украденной копии договора об «Алабама».* — Переговоры между США и Великобританией о возмещении убытков, причиненных Соединенным Штатам крейсером «Алабама» и другими, привели к заключению так называемого «Вашингтонского договора» от 8 мая 1871 г., по которому английское правительство соглашалось передать дело на рассмотрение международного арбитража; по решению международного суда Англия выплатила США 15,5 миллионов долларов. «Вашингтонский договор» подготавливался за закрытыми дверями путем двусторонних переговоров между государственным секретарем США и особым «тайным уполномоченным» английского правительства, — поэтому появление в печати копии официально еще не оглашенного договора не могло не вызвать политического скандала.

Глава X

Стр. 346. Строки из «Тадж эль Ароос» («Венец невесты») — арабского энциклопедического словаря; заимствовано из десятичного комментария к словарю, написанного арабским ученым второй половины XVIII в. Сеидом Мухаммедом Муртада.

Из книги «Начатки языка басков» («Поэзия басков», 1545) Бернардо Дечепарре — поэта, основоположника письменной литературы басков, жившего в Наварре (Франция) в первой половине XVI в.

Глава XI

Стр. 355. Приводится эфикская (старокалабарская) пословица, заимствованная из книги Р. Бэртона «Остроумие и мудрость Западной Африки». Эфики — группа западноафрикан-

ских племен, живущих в Нигерии, на берегах рек Нигер и Калабар.

Стр. 362. *...поддержать закон об ассигнованиях в помощь нуждающимся членам конгресса.* — Речь идет о законопроекте об увеличении жалованья высшим государственным чиновникам и членам конгресса.

...нарушит восьмую заповедь. — Восьмая из десяти библейских заповедей гласит: «Не укради».

Глава XII

Стр. 372. Из «Деяний апостолов» на аравакском языке. Араваки — группа индейских племен, живущих в северной части Южной Америки (Венесуэла, Северная Бразилия).

Глава XIII

Стр. 379. В качестве эпиграфа приведено высказывание Сенеки (6 г. до н. э. — 65 г. н. э.) — римского философа, политического деятеля и писателя.

Приводится цитата из Цицерона (106—43 гг. до н. э.) — выдающегося оратора, писателя и политического деятеля древнего Рима.

Глава XIV

Стр. 387. Эпиграф взят из «Пополь вух» («Священной книги»), написанной на языке киче; заимствовано из книги Шарля Этьена Брассер де Бурбура «Собрание текстов на туземных языках — к изучению истории и философии древней Америки».

Стр. 390. *Цюрихская школа, Фрейбург, предприятия в Крезе и Шеффилдский институт.* — Речь идет о промышленных предприятиях и научно-исследовательских учреждениях, в которых практиковалось производственно-техническое обучение.

Стр. 395. *...такого шелка не сыщешь... это настоящий Янг Хайсон.* — Янг Хайсон — не сорт шелка, а сорт зеленого чая.

Глава XV

Стр. 399. В качестве эпитафии приведена итальянская поговорка.

Из «Песни о Беовульфе», памятника англосаксонского эпоса, сложенного в IX—X вв.

Стр. 408. *Гробница* — тюрьма в центре Нью-Йорка, построенная в 1838 г.; свое название получила от архитектурного оформления фасада, напоминающего древнеегипетскую усыпальницу.

Глава XVI

Стр. 410. *Дельмонико* — владелец одного из самых дорогих ресторанов в Нью-Йорке.

Стр. 413. *Лаис, Тимандра* — греческие гетеры (V в. до н. э.).

Глава XVII

Стр. 417. Из «Кентерберийских рассказов» Джеффри Чосера.

Глава XVIII

Стр. 426. В английском оригинале текст эпитафии напечатан на русском языке (источник не указан).

В качестве эпитафии приведена йорубская поговорка, заимствованная из книги Краутера «Грамматика йорубского языка». (Йорубы — народность Западной Африки, населяющая юго-западную часть Нигерии.)

Глава XIX

Стр. 435. Из стихотворения исландского поэта Сигурда Петерсона (XIX в.).

Глава XX

Стр. 445. В качестве эпитафии приведена волофская (сенегальская) поговорка, заимствованная из «Волофской грамматики» французского ученого Дара. Цитируется по книге «Остроумие и мудрость Западной Африки» Р. Бэртона. (Волофы — народность Сенегала во Французской Западной Африке.)

Из венгерской летописи «Короли».

Глава XXI

Стр. 453. Из комедии Ж. Б. Мольера (1622—1673) «Тартюф» (1667).

Из поэмы «Королева фэй» Э. Спенсера.

В качестве эпиграфа использованы строки из эпической поэмы «Роман о Лйсе» — произведения французской средневековой литературы. «*Laudate Deum*» — «Восславьте господа» (лат.)

Глава XXII

Стр. 456. Из поэмы «Королева фэй» Э. Спенсера.

Из комедии «Тартюф» Ж.-Б. Мольера.

Глава XXIII

Стр. 464. В качестве эпиграфа использованы строки из книги индийского философа Ишвара Кришны «Санкхья Карика» («Учение Санкхья») — дуалистической философской системы древней Индии, изложенной на санскрите. К переводу эпиграфа М. Твен добавил следующее шутовое пояснение: «Это описание нью-йоркского суда присяжных взято из свода санскритской философии, переведенного Колбруком».

«*Kiavreytiun Kimru*» — «Древние уэльские законы» (X в.).

Глава XXIV

Стр. 473. Датская пословица.

В качестве эпиграфа использовано высказывание Жана-Франсуа-Мари Легонидека (1775—1838) — французского филолога, автора трудов по бретонскому языку и литературе. В целях шутовской мистификации М. Твен добавляет к переводу цитаты, являющейся эпиграфом к главе, описывающей выступление адвоката Брэхема на суде, следующую «подпись» на латинском языке: «Легонидек. Портрет Брэхема».

Глава XXV

Стр. 483. Из романа «Гаргантюа и Пантагрюэль» Франсуа Рабле.

Приводится высказывание Легонидека.

Стр. 485. ...мы с вами докажем Кэлхуну и Уэбстеру, что мозг Америки вовсе не находится восточнее Аллеганских гор. — Аллеганский хребет долгое время считался границей между Востоком и Западом США. Кэлхун Джон Колдуэлл (1782—1850) и Уэбстер Дэниел (1782—1852) — американские буржуазные политические деятели.

Глава XXVI

Стр. 494. Из «Грамматики чипевейского языка» Бараги.

Глава XXVII

Стр. 501. Китайское изречение.
Испанская поговорка.

Глава XXVIII

Стр. 510. В качестве эпиграфа приводится эфикская (старокалабарская) пословица. Заимствована из книги Р. Бэртона «Остроумие и мудрость Западной Африки».

Из книги псалмов, переведенных на язык массачусетских индейцев Джоном Элиотом.

Глава XXIX

Стр. 523. Из мистерии «Сотворение мира», переложенной на корнуэльский язык; сохранилась в рукописи XV в.

Глава XXX

Стр. 531. Датская пословица.

В качестве эпиграфа приводится цитата из газеты «Йани Оайе», выходившей в 70-е годы XIX в. в штате Дакота, на языке индейцев сиу (дакота).

Глава XXXI

Стр. 538. Эпиграф заимствован из книги Р. Бэртона «Остроумие и мудрость Западной Африки». Приводится на языке ка-нури (борнео) — народности, населяющей район озера Чад.

Эпиграф взят из драмы «Рабиал-Ачи» на языке киче.

Глава XXXII

Стр. 543. В качестве второго эпитафия приводится изречение из текста библии на сирийском языке.

Стр. 545. *Сокровища Гелиогабала*. — Гелиогабал — римский император с 218 по 222 г. н. э.

Стр. 549. Цитата заимствована из текста библии на еврейском языке.

Послесловие

Стр. 550. Приписанный Геродоту эпитафия приведен на английском языке и принадлежит Твену.

Хвостенко

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЗОЛОЧЕННЫЙ ВЕК

Предисловие	9
-----------------------	---

Книга первая

Перевод Л. Хвостенко

<i>Глава I.</i> Сквайр Хокинс и его земли в штате Теннесси . .	11
<i>Глава II.</i> Сквайр Хокинс усыновляет Клая	21
<i>Глава III.</i> Дядя Дэниел впервые видит пароход	25
<i>Глава IV.</i> Путешествие сквайра Хокинса на пароходе по Миссисипи	30
<i>Глава V.</i> Хокинсы удочеряют Лору Ван-Брант	41
<i>Глава VI.</i> Десять лет спустя. Юная красавица Лора . .	50
<i>Глава VII.</i> Полковник Селлерс строит планы обогащения	62
<i>Глава VIII.</i> Вашингтон Хокинс в гостях у полковника Селлерса	70
<i>Глава IX.</i> Сквайр Хокинс умирает, завещав детям земли в Теннесси	80
<i>Глава X.</i> Открытие Лоры. Мольба миссис Хокинс	87
<i>Глава XI.</i> Обед у Селлерсов. Скромное угощение, блестя- щие перспективы	96
<i>Глава XII.</i> Гарри и Филипп отправляются на Запад строить железную дорогу	102
<i>Глава XIII.</i> Полковник Селлерс приветствует молодых людей в Сент-Луисе	111
<i>Глава XIV.</i> В Филадельфии. Первое появление Руфи Боултон	121
<i>Глава XV.</i> Руфь изучает медицину. Анатомический театр	129

<i>Глава XVI.</i> Образцовый железнодорожный инженер. Изыскательские работы у Пристани Стоуна	139
<i>Глава XVII.</i> Пристань Стоуна превращается в город Наполеон — пока только на бумаге	148
<i>Глава XVIII.</i> Мнимый брак. Лора становится жертвой обмана	156
<i>Глава XIX.</i> Брайерли флиртует с Лорой и попадает в сети	165
<i>Глава XX.</i> Государственный деятель — Дилуорти Златоуст	175
<i>Глава XXI.</i> Руфь в семинарии. Новые друзья, новые удовольствия	183
<i>Глава XXII.</i> Друзья в Фолкиле. Филипп влюблен. Гарри жаждет покорять сердца	191
<i>Глава XXIII.</i> Филипп и Гарри за работой	201
<i>Глава XXIV.</i> Город Вашингтон	205
<i>Глава XXV.</i> Начало работ в Наполеоне (Пристань Стоуна)	216
<i>Глава XXVI.</i> Мистер Боултон затевает новое дело	223
<i>Глава XXVII.</i> Полковник Селлерс попадает в трудное положение, но находит выход	233
<i>Глава XXVIII.</i> Как утверждаются ассигнования	239
<i>Глава XXIX.</i> Филипп разведывает угольные месторождения в Илионе	251
<i>Глава XXX.</i> Сенатор Дилуорти приглашает Лору в Вашингтон	261
<i>Глава XXXI.</i> Филипп ломает руку. Руфь помогает хирургу	265

Книга вторая

Перевод П. Галь

<i>Глава I.</i> Лора пользуется успехом в Вашингтоне	276
<i>Глава II.</i> Лору посещают знатные дамы	282
<i>Глава III.</i> Лора в кулуарах конгресса	300
<i>Глава IV.</i> Как обеспечивают большинство	306
<i>Глава V.</i> Приказчик в книжной лавке	314
<i>Глава VI.</i> Лора кокетничает с Бакстоуном	320
<i>Глава VII.</i> Лора снова встречается с полковником Селби	325
<i>Глава VIII.</i> Лора снова влюблена в Селби	333
<i>Глава IX.</i> Как в Вашингтоне распространяются новости	339
<i>Глава X.</i> Гарри безнадежно влюблен	346
<i>Глава XI.</i> Мистер Троллоп попался в ловушку и становится союзником	355
<i>Глава XII.</i> Газеты против законопроекта о негритянском университете	372
<i>Глава XIII.</i> Филипп доказывает, что он — друг Гарри Брайерли	379
<i>Глава XIV.</i> Почему Бакстоун поддерживал законопроект об университете в Теннесси	387
<i>Глава XV.</i> Лора убивает полковника Селби	399

<i>Глава XVI.</i> Лора в Гробнице	409
<i>Глава XVII.</i> Мистер Биглер спасен, а мистер Боултон залезает в долги	417
<i>Глава XVIII.</i> Филипп едва не нашел уголь	426
<i>Глава XIX.</i> Тупик. Филипп видит выход	435
<i>Глава XX.</i> Предварительная процедура в конгрессе. Сел- лерс справедливо чувствует себя оскорбленным	445
<i>Глава XXI.</i> Моральное воздействие в поддержку закона об университете	453
<i>Глава XXII.</i> Предвыборная деятельность Дилуорти в Мирной Обители	456
<i>Глава XXIII.</i> Суд над Лорой. Умные присяжные и образ- цовый судья	464
<i>Глава XXIV.</i> Ученый адвокат	473
<i>Глава XXV.</i> Дальнейший ход судебного процесса	483
<i>Глава XXVI.</i> В ожидании телеграмм	494
<i>Глава XXVII.</i> Приговор. Лора оправдана	501
<i>Глава XXVIII.</i> Сенат, ревностно оберегающий свою честь, осуждает коррупцию	510
<i>Глава XXIX.</i> Судьба Лоры	523
<i>Глава XXX.</i> Вашингтон Хокинс начинает новую жизнь .	531
<i>Глава XXXI.</i> Счастье еще улыбнется. Нежданная радость	538
<i>Глава XXXII.</i> Руфь выздоравливает. Взгляд в будущее	543
<i>Послесловие</i>	550
 <i>«Позолоченный век». А. Старцев</i>	 553
<i>Комментарии. Л. Хвостенко</i>	558

Марк Твен

Собрание сочинений, т. 3

Редактор Э. Раузина

Художественный редактор

Л. Калитовская

Технический редактор Л. Сутина

Корректор А. Иванова

★

Сдано в набор 9/V 1959 г.

Подписано к печати 17/IX 1959 г.

Бумага 84 × 108¹/₃₂. 18,12 печ. л.

29,72 усл.-печ. л. 26,492 уч.-изд. л.

Тираж 300 000. Зак. № 1266.

Цена 10 р. 50 к.

Гослитиздат

Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

★

Ленинградский Совет народного хозяйства. Управление полиграфической промышленности. Типография № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького. Ленинград, Гатчинская, 26.